

НОВЫЙ МИР

5-6

МОСКВА

1943

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1943 г.

№ 5—6

Год издания XX

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Стихи	2
ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ — Иван Никулин — русский матрос, повесть	5
В. СТАРИКОВ — Красный Камень, рассказ	42
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Электрическая машина, повесть	54
НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ — Отец, стихотворение	76
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Нечистая сила, комедия в 4-х действиях	77
НИКОЛАЙ БРАУН — Письмо, стихотворение	99
ДЖОН Б. ПРИСЛИ — Затемнение в Грэтли, повесть о военном времени и для военного времени. Перевод с англ. М. Е. Абкиной	100
<hr/>	
Г. ФЕДОСЕЕВ — Федор Васильевич Гладков (к 60-летию со дня рождения)	156
В. ЩЕРБИНА — «Хождение по мукам»	158
М. РОЗЕНТАЛЬ — Русская классическая эстетика и эстетика Плеханова (к 25-летию со дня смерти Г. В. Плеханова)	181

БИБЛИОГРАФИЯ

О. РЕЗНИК — Фигуры не имеет...	188
М. ЭССЕН — «На горе Маковце»	190

СТИХИ

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ



НА ПРИВАЛЕ

Росная вечерняя прохлада.
Молодые сосны при пути.
Как немного человеку надо —
Сбросить скатку, дух перевести,
Снять ботинки, размотать портянки,
Развязать засаленный кисет...
Кажется, что на земле полянки
Краше и уютней этой нет;
Кажется, что полной горстью милость
Людам щедро раздаёт весна;
Что тебе попритчилась, приснилась
Злая пустоглазая война;

Что земля и травы пахнут домом
И солёным запахом морей.
Добродушным уходящим громом
Кажутся раскаты батарей.
Ветровые синие просторы
Всё бы ты душой своей впитал...
Не вини товарища, который
При пути портянки размотал.
Помнит он, что спелых зорь алее
Кровь на узких листьях камыша.
Не размякнет, только станет злее
Верная солдатская душа.



ДОЧЕРИ

Над безмолвьем полянки
Галочки толки.
Две сестры-партизанки —
Две комсомолки.
На траве, возле гати,
Мёртвые обе.
«Не рыдай мене, мати,
Зрящи во гробе».

Смерть пришла, как усталость.
Ноженьки босы.
По траве разметались
Русые косы.
Грудь прожгли автоматы
В бешеной злобе.
«Не рыдай мене, мати,
Зрящи во гробе».

Причитает седая:
— Доченьки, дети...
Для того ль, подрастая,
Жили на свете?
На потоптанной мяте
Замерли обе...
«Не рыдай мене, мати,
Зрящи во гробе».

Будто дрогнули губы
Старшей, Татьяны:
— Нас у старого дуба
Ждут партизаны.
Ты пойди на закате
К старому дубу.
Не рыдай мене, мати
Мсти душегубу..



ПОДРУГЕ ВОИНА

К чему рыданья, жалобы и пени?
 Смири себя и думай о другом.
 Да! Никогда не проскрипят ступени
 Под кованым солдатским сапогом.
 Да! Никогда сквозь снеговую замать
 Не проблеснут любимых глаз огни.
 Его письмо последнее, как память
 О невозвратном счастье, сохрани.

Утерян счёт утратам и разлукам.
 Прожорлива голодная война.
 Быть может, к нашим сыновьям и
 внукам
 Придут любовь и мир, и тишина.
 Мы верим и надеемся... А ныне,
 Наперекор всевластию свинца,
 Ты сохрани в своём малютке-сыне
 Солдатское бессмертие отца.

★

ВЗГЛЯД ВПЕРЕД

Савве Головановскому

Под старость, на закате тёмном,
 Когда сгустится будней тень,
 Мы с нежностью особой вспомним
 Наш нынешний, солдатский, день.

И всё, что кажется унылым,
 Перевалив через года,
 Родным и невозвратно милым
 Нам вдруг представится тогда.

Странички жёлтые листая,
 Мы с грустью вспомним о былом.
 Забытых чувств и мыслей стая
 Нас осенит своим крылом.

Перележав на полках сроки
 И свежесть потеряв давно,
 Нас опьянят простые строки,
 Как многолетнее вино.

Под вечер в гестапо её привели,
 Прикладами били сначала.
 Стояла она чернее земли,
 Как каменная, молчала.

Когда ей руки стали ломать
 На исходе бессонной ночи,
 Плонула партизанская мать
 Немцу в бесстыжие очи.

Сказала
 (были остры, как нож,
 Глухие её слова):
 — Труд твой напрасный! Меня убьёшь —
 Россия будет жива.

Россия тысячу лет жила,
 Множила племя своё.
 Сила твоя, лядаций, мала,
 Чтобы убить её.

★

ЖИЗНЬ ВОЗВРАТИЛАСЬ

У черты городской, на полянке
 И за речкой, на том берегу,
 Чёрным ломом валяются танки
 На окрашенном кровью снегу.

Где-то близко стучат пулемёты.
 Горизонт от разрывов рябой.
 Поредевшие, потные роты
 Прямо с марша вливаются в бой.

Гроном выстрелов воздух распорот.
 Дым пожаров стоит, как стена.
 Но уже просыпается горд
 От тяжёлого, долгого сна.

Разбирают горящие доски.
 Сыплют снег на истлевший накат.
 На базарной площадке подростки
 Рвут с забора немецкий плакат.

Сталью касок пробитых бряцая,
 Карапузы бегут за полком.
 Пять сердитых старух «полицая»
 Под конвоем ведут в исполком.

Красный флаг над руинами поднят.
 Всюду русские, наши, слова.
 Караулы сменяют. Сегодня
 Пропуск — МУШКА,
 а отзыв — МОСКВА.

★

И БУДЕТ ТАК..

Когда умолкнут пулемёты,
Наступит мир в миру честнóм,
Артиллерийские налёты
Покажутся далёким сном.

И, слушая рассказ солдата,
Раскрыв от удивленья рот,
Тайком подумают ребята:
— Вот, старичина!
Лихо врёт!

★

ЖИЗНЬ И МЕЧТА

Умолкнет гром, пройдут года,
Мы постареем вдвое, втрое.
И будет сложена тогда
Легенда-сказка о герое.

Как шёл он, не жалея сил,
Против жестокого теченья
И в смертный час произносил
Высокопарные реченья.

Как предавался он мечте
В ночи, перед кровавой сшибкой.
Мы будем слушать сказки те
С весёлой старческой улыбкой.

Ведь мы к героям тех годин
В землянки запросто входили.
И ели с ними хлеб один.
И из одной баклажки пили.

Без нимба светлого на лбу,
Глотая пыль, топча порошу,
Они несли свою судьбу,
Как кирпичей тяжёлых ношу.

Таскали сумки на горбах,
Со смертью в прятки не играли.
И с грубым словом на губах,
Когда случалось, умирали.

Их явь и их ночные сны
Цвели цитатами едва ли.
А, вот, судьбу своей страны
Они в обиду не давали.

Пусть их украсят. Не беда!
Воображенье любит мощи.
Ведь человечья жизнь всегда
Была грозней, святей и проще.

По ущельям узким плутая,
Рассекая льдов синеву,
От Амура и от Алтая
Все дороги ведут в Москву.

Белый хлопок, и хлеб, и руды
Через степи, солончаки
Ей несут поезда, верблюды,
И волы, и грузовики.

Ищут взгляды людей с рассветом
Очертанья её вдали,
Потому, что в городе этом
Бьётся сердце русской земли.

Площадей её многолюдье
Не увидит враг наяву.
Весь народ богатырской грудью
Прикрывает свою Москву.

ИВАН НИКУЛИН—РУССКИЙ МАТРОС

Повесть

ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ



ПУТЬ-ДОРОГА

Моряк в одиночку путешествовать не любит, да и не умеет; скучно ему без родных бушлатов и бескозырок — не с кем вспомнить общих знакомых из Кронштадта и Севастополя, потолковать о кораблях, забыть с лихим пристукиваньем козла.

Никулин прошел свой вагон из конца в конец, но среди пассажиров не увидел ни одного моряка. Опечаленный, сел у окошка.

Едва поезд на остановке замедлил ход, Никулин спрыгнул на перрон и пошел вдоль состава в тайной надежде встретить своего.

Ему повезло. Еще издали увидел он краснофлотца.

— Здорово!

— А, дружище, здорово! Куда, откуда?

Морякам времени требуется немного — через пять минут знакомы, через десять — друзья. Раньше чем ударили два звонка, Никулин знал все о новом своем приятеле: зовут Василий, фамилия Крылов, был в госпитале, возвращается на Черное море в морскую пехоту.

— Ну, что же, Вася, — сказал Никулин. — Забирай, дружище, свой мешок и топаям в наш вагон.

На следующей станции вышли погулять и встретили еще троих — Василия Клевцова, Филиппа Харченко да Захара Фомичева. А уж если в каком-нибудь вагоне забивают козла пять моряков, то остальные обязательно соберутся в этот вагон со всего поезда. Так оно и вышло — вскоре к веселой компании присоединился Николай Жуков, потом Серебряков с Коноваловым, а дальше Никулин и счет потерял. На каждой остановке в дверь просовывалась бескозырка и раздавался вопрос:

— Наши флотские здесь едут?

— Здесь! — кричали в ответ. — Давай, шваргуйся!

Так все швартовались да швартовались, пока не забили до отказа полвагона. Никулин весело сказал:

— Братишки, да мы теперь целую эскадру укомплектовать можем.

— Вполне! — отозвался Фомичев. — Двадцать четыре человека. Полный комплект.

— Нет! — подал голос Клевцов. — Счет неровный. Двадцать пять — вот тогда будет полный комплект. Одного нехватает.

Словно бы в ответ на замечание Клевцова, дверь отворилась, и он вошел — двадцать пятый моряк.

— Эге! — сказал он, увидев множество бушлатов и бескозырок. — Не зря, значит, меня в этот вагон потянуло. Нюхом почуял своих...

С виду было ему лет уже пятьдесят — виски седые, в бороде и усах — серебро. Соответственно своим годам, он и в дорожку снаряжился не как-нибудь по-мальчишески, а солидно, запасливо, обстоятельно: в правой руке был у него чемодан, в левой — огромный ведерный чайник, за спиной — туго набитый мешок.

— Уф! — сказал он, присев на нижнюю полку, рядом с Коноваловым. — Запарился... Здравствуйте, сынки!

— Привет, папаша! — ответил Никулин. И так ловко, в самую точку пришлось это слово — «папаша», что потом никто иначе и не называл старого матроса.

Папаша приоткрыл чайник, понюхал пар.

— В порядке. Я его до поезда еще заварил. Пусть, думаю, настоится, а как в вагон сяду — сразу чай пить. А ну, сынки, доставайте кружки...

Когда чай был разлит по кружкам, Папаша развязал мешок и достал сахар. Сначала он вынул один кусочек, только

для себя: так диктовала ему бережливость. Но ведь кругом сидели моряки, свои!.. Папаша нерешительно посмотрел на краснофлотцев — и морская природа взяла все-таки в его душе верх над бережливостью и всеми прочими чувствами. Крякнув, он вытащил из мешка весь пакет, высыпал сахар на газету и роздал каждому по куску.

Отставать от Папашы никому не хотелось. И вот пошли открываться чемоданчики, сумки, мешки: один достал сало, второй — колбасу, третий — сыр, четвертый — печенье.

Когда чаепитие окончилось, Никулин пустил в круговую коробку папирос «Люкс». Двадцать пять человек, двадцать пять папирос — никто не остался в обиде.

...Так вот и ехали. Главенство по общему молчаливому согласию принадлежало Никулину. Папаша ведал продовольственной частью. Выяснилось при этом, что он великий мастер торговаться, понимает толк в любом товаре, а закупки предпочитает оптовые: если уж рыба жареная, то все четыре противня, если яйца — то сотня, если яблоки или сливы — целиком, вместе с корзиной. Харченко и Коновалову, как самым быстрым на ноги, поручены были заботы о кипятке. Нашлось дело и Васе Крылову — ему были сданы все билеты с тем, чтобы он хранил их и скопом предъявлял контролеру.

Об этом Васе следует сказать несколько слов отдельно. Он обладал необычайным талантом мгновенно и легко завладеть знакомством с девушками... Поезд не успел еще остановиться, а Вася уже на перроне. Через три минуты он весело болтает с местными станционными девушками, что вышли к поезду, через пять минут вытаскивает из кармана блокнот, карандаш и записывает адреса. На седьмой минуте — гудок, поезд трогается, Вася на ходу вскакивает в вагон и потом долго, до самого семафора машет из окна бескозыркой.

Моряки смеялись. Больше всех донимал Васю озорник и насмешник Жуков. С притворным сожалением он качал головой и говорил, вздыхая:

— Ах, Вася, Вася, жаль мне тебя. Не миновать тебе алиментов...

Крылов сердился.

— Дурак ты и пошляк — больше ты никто! Я не для этого вовсе...

— А для чего же?

— Я письма люблю получать, а родных у меня никого нет. Я вот с фронта по этим адресам напишу, а мне ответят. Понятно теперь?

Жуков не унимался.

— Эге! Да если тебе по всем этим адресам переписку иметь — контору завести надо!

Тогда вступился Папаша.

— Ну, чего привязался! Сирота парень, не понимаешь, что ли? Только бы зубы поскалить. Не слушай, Вася, пошли ты его куда-нибудь...

Дальше следовало крепкое словцо, и на этом разговор заканчивался, потому что по морским правилам вступать в пререкания со старшими не положено.

Своего Папашу моряки уважали. Да и как не уважать человека, который ещё тридцать лет назад служил на эскадренном миноносце из дивизиона Трубецкого, ходил к азиатским берегам, обменивался стальными приветствиями с «Меджидиэ» и «Бреслау», своими глазами видел трагедию Черноморского флота в Новороссийской бухте. Папаша рассказывал, что и отец его служил во флоте, а дед — матрос гвардейского экипажа — носил георгиевский крест за оборону Севастополя.

— От него, от деда, и фамилия наша пошла — Захожевы, — рассказывал Папаша. — Идет это мой дед с Крымской войны, на груди у него — крест, в кармане — отставка по чистой, денег сто рублей наградных, а итти-то ему и некуда: сирота был. Зашел в одно село, остановился у колодца — воды хлебнуть. Смотрит — молодка с ведрами. Хорошая такая, белая да румяная. Дед-то был не промах насчет ихнего поля. — «Дай-ка, — говорит, — ведро напиток». Слово за слово, разговор завел. — «Муж-то где?» — «Да вот на войну ушел... Нет и нет!» — «Жалко мне тебя, — говорит дед. — Трудно по хозяйству без мужика управляться, да и скучно, небось». Молодка в слезы. — «Не говори! По ночам изведешься вся, до света глаз не сомкнешь». А дед и говорит: «Вот что, человек я бесприютный, но по хозяйству, между прочим, не хуже любого могу управиться. Насчет чего другого тоже не думай — никому не уступим. Денег у меня есть наградных сто рублей — коров пару взять можно, да еще и коня. Бери-ка ты, молодуха, меня к себе в хату в помощники по хозяйству». А глаз у него карий, ус черный, волос русый, крест на груди сияет, ленточки вьются — да разве ж бабе тут мыслимо устоять? Словом, уговорил. Стали жить. И остался мой дед в том селе навсегда. А как все соседи звали его «захожий», то и фамилия наша такая пошла — Захожевы.

Поезд загудел, приближаясь к станции. Это была последняя станция — здесь пассажирское движение заканчивалось. Дальше ходили только военные эшелоны. Морякам предстояло пробираться к фронту окозами.

Станция, погруженная в беспросветную тьму, была забита военными, возвращавшимися из госпиталей, отпусков, командировок. Они атаковали каждый состав,

идуший к фронту. Гудки паровозов, лязг буферов, топот сотен ног, крики, угрозы, ругань — все это в темноте сливалось в один нестройный и тревожный гул. Никулин посмотрел, послушал, покачал головой:

— Нет, друзья, так дело не пойдёт. Если будем действовать вразброд — просидим на этой станции дня три... Надо командой действовать... А ну — стройся!.. Построились, рассчитались по порядку номеров.

— Вот что, — внушительно сказал Никулин. — Мы — команда, понятно. Едем из одного госпиталя. Я — старший. А теперь пошли к военному коменданту требовать немедленной отправки.

Хитрость удалась. Увидев двадцать пять молодцов в морской форме, комендант спорить не стал.

— Этих отправить немедленно! — сказал он помощнику.

К отправке на юг готовился грузовой эшелон, в котором было несколько пустых вагонов. Моряки заняли один из них.

Помощник коменданта сказал:

— В этот эшелон мы вообще никого не сажаем. Поскольку вы — команда, сделали исключение. Заодно будете охранять эшелон в пути. Жалко вот только, что вы без оружия.

— Не беда! — весело ответил Никулин. — Мы и голыми руками, в случае чего.

Мог ли он думать, что слова его окажутся пророческими!..

НА ФРОНТ! НА ФРОНТ!

Славно пахнет по ночам кубанская степь! Никулин и Захар Фомичев сидели, свесив ноги, в открытых дверях теплушки, вдыхая этот грустный и тонкий запах полыни и увядающих трав. Остальные моряки давно уже улеглись спать.

— И вот получаю в госпитале письмо, — глухим трудным голосом рассказывает Фомичев. — Конверт, как конверт, самый обыкновенный, а у меня сердце падает. Боюсь открыть. Чую — плохое письмо...

— Это бывает, — согласился Никулин. — Вроде как слезой оно пахнет.

— Не слезой, а кровью, — строго поправил Фомичев. — Если бы только слезой, то я бы стерпел. А то — кровью...

Он замолчал, прислушиваясь к скорговорке колес. Над степью в темнопрозрачной высоте сияли осенние звезды, порой они застилались дымом от паровоза.

— Кровью! — твердо, с напором повторил Фомичев. — Жена писала в этом письме, что Колю да Ксюшу, ребяташек моих, убили немцы, а самую искалечили. Навек не человеком сделали. Вот что в нем было, в этом письме!..

Помолчали еще. Мелькнул какой-то разъезд, а может быть, путевая казарма — не разберёшь в темноте. Коротко и гулко прогудел под составом железный мост, и опять говор колес стал ровным.

— Как же теперь жить думаешь? — спросил Никулин.

— Не знаю. — ответил Фомичев. — Сердце пекет — нет терпения. И днем пекет. И ночью. Я вот парень здоровый, одной рукой три пуда кидаю, а между прочим смиреннее меня парня не было. Чистый телок... Бывало, какой пьяный начнет задираться — я не связываюсь, скорей в сторонку, хотя этого пьяного одним пальцем пришибить могу. Ну его, думаю, к бесу, подальше от греха... А как письмо получил, — сам себя не узнаю. Сделался я ужасно свирепый.

— Это верно, — задумчиво сказал Никулин. — Теперь таких людей много...

Откинувшись в глубь вагона и загораваясь от ветра плечом, он закурил. Ветер срывал искры с горячей папиросы, мгновенно гасил их.

— Теперь у меня одна думка, — снова начал Фомичев. — У меня думка фронтовая, подрабься с ними, с немцами. Ох, уж и подерусь! Я теперь военную хитрость понимать научился. Вот удивительное дело — до этого самого письма не было во мне никакой военной хитрости. Лежал в нашем госпитале один капитан пехотный, хороший человек. Бывало, скажет: «Фомичев, вот тебе тактическая задача: фланги такие-то, огневые точки там-то, здесь — мельница, здесь, к примеру, овраг. У противника — рота, у тебя — два взвода, ты наступаешь. Что надо делать, с чего начинать?» А я лупаю глазами и ничего сообразить не могу. А вот после письма я об одном только думать стал — как бы фрицев бить половчее, поспособнее. Лежу и думаю: «буду на фронте. Пойдут, скажем, на меня три танка, а сбоку ихний пулемет работает. А справа — ложбинка...» Закрою глаза, и так это всё мне ясно привидится, ну, как на самом деле! И сразу соображение является, что и как делать, чтобы ни одного живым не выпустить. Сколько я таким манером передумал — и сосчитать невозможно. Лежу, а сам и с танками воюю, и с мотоциклистами, и с кавалерией. Встретились мы как-то в саду с капитаном. Он опять — задачу мне: «Решай, говорит, Фомичев!» Я ему враз все решил и все обсказал, — он даже удивился. «А ну, еще одну». Я опять решил. Он опять удивился. «Это, говорит, хоть и не совсем по военной науке, зато очень здорово. Тебе, говорит, Фомичев, надо на командные курсы, у тебя говорит, от природы даже замечательная хитрость». Он думал, что от природы, а того не знал, что меня военной хитрости

фрицы обучили, когда Колю и Ксюшу в землю закопали да жену искалечили. Вот она в чем, мука моя! Теперь на фронт с такой думкой еду — сто фрицев положить. Сотню положу, тогда и погибать можно, а раньше мне погибать никак нельзя. Мой счет — сотня!

Никулин одобрил:

— Думка очень правильная. Сотня — это хорошо...

— А твоя какая думка? — спросил Фомичев.

— Моя? — усмехнулся Никулин. — Моя думка такая — что ни больше их положить, то лучше. Моя думка, чтобы они на весь век свой закаялись к нам в Россию ходить, да и детям бы своим и внукам заказали. А погибать я не собираюсь. — мне после войны учиться надо. На военного инженера пойду учиться.

Фомичев в свою очередь одобрил думку Никулина, посидел еще немного, а потом улегся в глубине вагона рядом с Папашей на свежем сене. Никулин остался один, — он сидел на ветру, смотрел в небо, где горели осенние звезды и слабо белел Млечный Путь. Мысли его были ясны, широки и просторны. Думал он о себе, о Фомичеве, о России. Ведь Россия, родная страна — это не просто земля между Тихим океаном и Черным морем; это — миллионы жизней в прошлом, миллионы жизней сейчас и миллионы жизней в будущем. Были предки, и будут потомки. Жизнь — река, никогда и нигде не обрывающая своего течения. Эта простая мысль взволновала Никулина, потому что в глубине своей таила ещё одну мысль — о личном его бессмертии. Он принял жизнь от своего отца и передает своему сыну, — значит, обрыва нет!.. Ему стало хорошо, тепло и светло на душе. «Так и есть! — прошептал Никулин. — Где же он, обрыв? Нет его!» Потом мысли Никулина перешли на немцев, и он усмехнулся презрительно. «Хотят погубить Россию... Да как же ты ее погубишь, если и одного-то отдельного человека начисто убрать с земли нельзя — все равно останется в детях!..»

...Светало медленно, рассвет пришел туманный, сырой. Никулин почувствовал влагу на воротнике своего бушлата. Очертания близких кустов и деревьев расплывались, а дальше над всей землей стоял зыбкий белесый туман — совсем, как в море. Но в сиреновом небе все шире расходился светлый сноп, и вдруг, пробив туман, прямо в глаза Никулину ударил слепящий густой сильный луч. Солнце взошло. Никулин даже рассмеялся: «Здравствуй, дорогое, наконец-то!..»

Почуввав утро, просыпались остальные моряки; потягиваясь, гулко зевая, они подходили к открытой двери вагона. Мелькнула путевая будка; на переезде

стояла молоденькая девушка с зеленым флажком в руках. Моряки закричали, замахали бескозырками; она, смеясь, отвечала флажком. А потом, когда и будка, и девушка исчезли за поворотом, Жуков, щуря цыганские озорные глаза, долго потешался над Крыловым:

— Что же ты, Вася, зевнул — адреса не записал? Эх, не догадался ты, Вася, поезд остановить.

Последним поднялся Папаша. Как человек в годах, солидный и деловитый, он пренебрежительно относился к девушкам и ко всяким иным красотам природы, считая все это глупостями, бесполезными для человека.

— Чайку бы сейчас горячего, — сказал он мечтательно. — Давайте, развязывайте мешки, завтракать пора.

Но что-то случилось, поезд, завизжав тормозами, сбавил ход, остановился. Никулин, высунувшись из вагона, спросил бегущего мимо кондуктора:

— В чем дело?

— Путь, говорят, разобран.

Вдруг Никулин резким движением рванул вагонную дверь и захлопнул её, оставив только узенькую щелочку. Когда он повернулся к товарищам, они по его лицу сразу поняли всё, без слов.

— Немцы? — спросил Папаша.

Ответила ему очередь автомата. Да, это были немцы! В дверную щель Никулин видел, как бегут они из перелеска, нестройно крича и стреляя...

ПЕРВЫЙ БОИ

Никулин мгновенным взглядом окинул бледные лица товарищей и понял, что если наступившее опеченение продлится еще хоть полминуты, — погибнут все до единого.

Немцы шумно суетились около поезда.

— Ложись! — скомандовал морякам Никулин. — Ни звука. Как только откроют дверь — прыгай гадам на головы, души! Кто захватит оружие, — выдвигайся вперед и бей по другим!

Легли и замерли. Шум близился, уже ясно различимы были отдельные немецкие слова. Фомичев вдруг встал.

— Ты что? — зашипел Никулин.

— Хитрость! — горячим шопотом ответил Фомичев. — Хитрость придумал. Их надо в вагон заманить, здесь мы их лучше возьмем!

И он ловко начал закидывать моряков сеном.

Он успел как-раз во время. Немецкая речь послышалась совсем рядом, дверь откатилась.

— Русс, сдавайсь! — произнес чужой, ненавистный голос. — Ходи сюда!

Ни звука в ответ, ни шороха. Кряхтя, немцы полезли в теплушку — сперва двое,

за ними еще двое. Остальные ждали у открытой двери на полотне.

Никулин прямо перед собой увидел толстые ноги немца в обмотках и грубых ботинках с порыжевшими грязными задниками. Резким движением он дернул немца за ноги на себя. Немец, коротко вскрикнул, рухнул лицом вниз, в то же мгновение автомат его очутился в руках у Крылова. Вскочил Фомичев и с плеча хватил ближайшего немца кулаком в висок, — у немца изо рта, из носа хлынула кровь, он повалился, убитый наповал этим страшным дробящим ударом. Жуков и Серебряков сгребли третьего немца, а четвертым занялся в углу Папаша: прижав немца к стенке, он левой рукой вырвал у него автомат, а правой часто и быстро бил ножом. Все это произошло в одну секунду, а в следующую — по немцам, что толпились у вагона, застрекотали, заились их же немецкие автоматы, попавшие в руки моряков. Немцы шархнулись, а из вагона, свистя, гикая, гогоча, уже сыпались, прыгали наши. Немцы оторопели, увидев перед собою русских матросов, черных дьяволов, полосатую смерть.. Матросы кидались к убитым, хватили оружие; вот уже полетели в немцев их же немецкие гранаты.. Из кустов навстречу загрели станковые пулеметы, и захлебнулась бы лихая атака, но Василий Крылов, задержавшийся у поезда, увидел десяток немцев, втаскивающих пулеметы в открытый железный пульман, чтобы с его бортов ударить морякам в спину. С гранатой в руке Крылов бросился к пульману. Взрыв! Над пульманом встало облако сизого дыма. Когда оно рассеялось, Крылов уже стоял перед пулемётчиками с двумя парабеллунами в руках. Трое были убиты, уцелевшие подняли руки.

— Жуков! Фомичев! Сюда, ко мне!

Бой длился всего полчаса — беспримерный бой двадцати пяти безоружных моряков против большого немецкого стряда, вооруженного до зубов. Шестьдесят восемь немцев лежали, успокоенные навек, двенадцать сдались в плен, остальные рассеялись.

Моряки в этом бою потерь не имели, — вот разве только Фомичев вывихнул большой палец на руке, когда хватил с плеча в висок своего немца...

В ОБРАГЕ

Назвался груздем, полезай в кузов: принял во время боя командование — оставайся командиром и после боя.

К Никулину подошли главный кондуктор и машинист — хмурый старик с прокуренными сивыми усами, под его замасленной блузой виднелась на перевязи голая рука, перебинтованная выше локтя.

— Товарищ командир, — сказал главный, косясь на пленных. — Что с эшелон делать будем? Назад, что ли, подавать?

— Зачем же назад? — удивился Никулин. — Фронт снарядов ждет, патронов, а вы — назад! Курс проложен, по курсу и следовать.

— Путь разобран.

— Будет собран. Сколько у вас людей в поездной бригаде?

— Мало, не управимся.

— Своих подкину. Колхозники помогут из села.

— Дельно, — сказал машинист, слегка пошевелив усами. Он был широкоплеч, приземист, в его темное лицо как будто навечно втелась железная пыль.

— А и орлы ж у тебя, товарищ командир! — воскликнул он. — Не ребята — дикие тигры! Азотную кислоту будут пить, чертячьим мясом закусывать, не поморщатся! Помирать буду — вспомню!

Главный отправился в село — собирать колхозников на ремонт пути.

Никулин подозвал Папашу.

— Возьмете двух краснофлотцев, обыщите всех убитых. Документы, письма и прочие там бумаги — доставите мне. Соберите оружие, патроны, инструмент.

Нарочно, чтобы блеснуть перед стариком машинистом, он, отдавая приказание, обращался к Папаше по уставу — на «вы». Папаша понял это и встал «смирно», вытянув руки по швам.

— Есть взять двух краснофлотцев, обыскать всех убитых. Документы, письма и прочие бумаги доставить вам. Собрать все оружие, патроны, инструмент!

— Выполняйте!

Папаша с щегольством старого служаки повернулся, щелкнув каблуками.

Никулин тайком взглянул на машиниста. Старик был разстроган, жмурился, кряхтел, крутил головой.

— До чего же это хорошо, когда люди такую смелость в себе имеют и службу знают! — сказал он. — Я ведь понимаю, сам в первую германскую воевал, всю науку и дисциплину превзошел. Унтер офицером я был гренадерского двенадцатого полка.

Он отправился к своему паровозу. Никулин подумал, глядя вслед ему: «Большое это дело — дисциплина! Люди-то, вон, оказываются, все замечают...»

Отправив часть моряков на ремонт пути, Никулин вместе с Крыловым занялся допросом пленных. Крылов учился во второй ступени, кое-что по-немецки помнил; на счастье, и среди немцев нашелся один, с грехом пополам говоривший по-русски.

Подошел Захар Фомичев, посерев лицом, взглянул на немца.

— Эх, разговаривать еще с ними!.. В расход их!

— Почему ты здесь? — строго обрезал Никулин. — Приказа не слышал — путь исправлять?

— Сейчас пойду. А сотню свою я все-таки разменял сегодня! Девяносто три осталось...

Результат допроса коренным образом изменил планы Никулина. Выяснилось, что напавший на поезд немецкий отряд — это воздушный десант, высаженный немцами с целью обрыва наших коммуникаций. Пленный сказал, что в овраге, близ места высадки десанта, спрятаны парашюты, пулеметы, радиостанции. Остатки десанта, рассеявшиеся по округе, могли использовать это снаряжение.

К полудню путь был исправлен. Главный пригласил моряков садиться в вагон.

— Нет, — сказал Никулин. — Мы задержимся немного. Поезжайте, счастливый путь!

Он передал машинисту краткое донесение с просьбой передать военному коменданту ближайшей станции. Прощались сердечно. Машинист перецеловался со всеми моряками, даже прослезился...

Когда поезд был уже далеко, и гул его колес едва доносился, — моряки услышали три протяжных гудка.

— Старик привет посылает, — сказал Клевцов растроганно.

...Лес встретил моряков светлой, прозрачной тишиной, свежо и крепко пахло увядающим листом, сыростью — недавно прошли дожди, и мшистая земля неслышно принимала шаги. Дубы стояли еще зеленые, клены только начинали краснеть, а липы были уже насквозь золотыми и щедро осыпали землю своей листвой. По-осеннему пересвистывались синицы, по-осеннему стучал дятел; на полянке в косых солнечных лучах горела сранжевым пламенем рябина, бог весть откуда попавшая сюда, на чужую сторону. Вокруг рябины суетились, кричали дрозды, склевывая горькие ягоды.

К оврагу пришлось продираться сквозь густые заросли боярышника, бересклета, шиповника и орешника. На самом дне под наваленными ветками моряки нашли парашюты, ящики с боеприпасами, пулеметы, гранаты, ракеты, две походные радиостанции, мешок с посадочными знаками...

Никулин задумался, поджав губы.

— Сто шесть парашютов, — сказал он. — Ты слышишь, Фомичев? Восемь пулеметов. Фомичев, слышишь?

— Да, слышу, — ответил Фомичев: он увлекся шиповником и уже успел объехать половину куста.

— Ну и какое же твое мнение?

— Мнение простое, — ответил Фомичев, бросая в рот одну за другой пунцовые

ягоды. — Значит, было их сто шесть человек. Шестьдесят восемь мы положили, двенадцать взяли в плен, двадцать шесть осталось недобитых. Вот и все.

— Да я тебя не об этом спрашиваю! — рассердился Никулин. — Подумаешь — профессор математики нашелся, а то бы я сам без тебя не мог сосчитать. Брось ты свой шиповник, с тобой по-серьезному говорят! Я тебя о пулеметах спрашиваю!

— А что в них, в пулеметах?

— Эх, ты! Здесь сколько пулеметов? Восемь. Да там на станции было у них четыре. Двенадцать, стало быть. Многовато будто на сто человек... А?

— Многовато, — согласился Фомичев, — Ты что же думаешь, их больше было? Тогда где же остальные парашюты?

— Елова голова! — сказал Никулин. — Было-то их сто шесть, а будет больше. Я так полагаю, что фрицы думают еще группу высадить, а, может быть, и не одну... Посадочные знаки-то для чего у них? Сообразил теперь?..

Глаза у Фомичева загорелись:

— Вот бы прихватить!

— И прихватим!

Здесь же, на дне оврага, Никулин, собрав отряд, обрисовал морякам обстановку.

— Видите, дорогие товарищи, какое получается дело! Возможно, нам предстоит тяжелые бои. Так уж давайте ограничим наш отряд, как следует. Командир отряда, это — я. Нужен еще комиссар. А ну, поднимите руки, у кого имеется партийный билет.

Руку поднял только один Клевцов.

— Дело, значит, ясное, тебе, Клевцов, и быть комиссаром, — сказал Никулин. — А начальником штаба назначаю Фомичева Захара.

Фомичев испугался.

— Да ты что, товарищ командир! Какой я тебе начальник штаба, я и близко никогда к штабу не подходил. Я краснофлотец рядовой.

— А я кто? — ответил Никулин. — А Клевцов — кто? Ничего, брат, не поделаешь — война. Понадобится, так не то что начальником штаба, а доктором или инженером тебя назначу — и будешь работать. Прошу не возражать, товарищ Фомичев, приступайте к выполнению обязанностей.

Казначеем и начальником всей интендантской части Никулин, под общий одобрительный гул отряда, назначил Папашу. Фомичев тут же вручил ему найденную в овраге кожаную сумку, туго набитую советскими деньгами.

Папаша, явно польщенный оказанным ему доверием, все же поворчал для приличия:

— Страсть не люблю с казенными деньгами возиться — один грех с ними. Сколько тут?

— А бес их знает, — беззаботно отозвался Фомичев. — Посчитай, потом доложишь.

— Э-э-э, нет! — сказал Папаша, предостерегающе подняв палец. — Обожди! Такого правила я нигде не встречал, чтобы казначей деньги принимал без счета. Если уж по-настоящему, то надо комиссию: я, ты и еще два члена. А потом акт надо составить, — добавил он, желая блеснуть перед моряками знанием финансовых порядков. — Один, значит, сдал — подпись, второй принял — опять же подпись, а внизу чтобы члены расписались.

— Ну вот! — нетерпеливо вмешался Никулин. — Тебе еще несгораемый шкаф сюда, пишущую машинку да пару счетоводов.

Обидевшись, Папаша надулся, отошел с Фомичевым в сторонку и сел считать деньги. Он считал нудно, медлительно, проверяя каждую пачку; Фомичев томился, зевал, тоскливо смотрел по сторонам, но терпел: такая должность, ничего не попишешь.

Никулин тем временем советовался со своим комиссаром. Решили, что Клевцов останется пока в овраге, на случай, если уцелевшие фрицы явятся за своими пулеметами, а Никулин с тремя бойцами пройдет на опушку, где выброшен был десант, посмотрит, как там и что...

— Коновалов, Крылов, Харченко! — позвал Никулин. — Автоматы в порядке? Гранаты взяли? Пошли!

В каких-нибудь трехстах, четырехстах метрах от оврага лес начал свозить, светлеть, кустарник поредел, тропинка обозначилась яснее. А еще через сотню метров моряки вышли на веселую приветливую опушку. Дальше расстилалась холмистая степь — просторная, широкая, в алых лучах низкого солнца. Вправо на оголенных полях стояли копны хлеба.

— Не высовывайтесь, — предупредил Никулин. — Возможно, фрицы наблюдают. Смотрите зорче.

Но сколько ни смотрели моряки — ничего не увидели. Горбились пологие холмы, желтоватые вблизи и дымносивые на горизонте, мирно зеленел одинокий дубок, выбежавший из леса в степь, плалы по небу синеватые облака. Протянули, курлыча, журавли; Никулин долго смотрел им в след, пока станица их не растаяла в небе...

— Тише! Самолет, — сказал Харченко. Он приподнялся на локте, глаза его остановились.

— Да нет, почудилось тебе, — возразил Никулин, вслушиваясь.

— Я на корабле первым слухачом был, — ответил Харченко. — Я в таких делах не ошибаюсь. Идет сюда. Идет с норда.

И верно — Никулин, да и остальные уловили слабый отдаленный рокот мотора. А Харченко, весь подобрившись, спружинившись, как хороший пойнтер на стойке, слушал, казалось, не только ушами, но всем телом.

— Немец! — сказал он твердо и уверенно. — Разведчик. «Хеншель». Справа от нас, на малой высоте.

Харченко не ошибся — это был действительно хеншель.

Разведчик сделал широкий круг над опушкой, затем над лесом.

Никулина обожгло догадкой.

— Посадочные знаки! Живо! — скомандовал он. — В две минуты!

Пока бойцы расстилали по траве посадочные знаки, Никулин не мог найти себе места: а вдруг совсем улетел, не вернется, не увидит? Но вот снова начал нарастать гул мотора, и вскоре по склонам далеких холмов опять скользнула темная быстрая тень — разведчик вернулся.

Он покачал плоскостями в знак того, что понял выложенные сигналы, и, сделав еще два захода, ушел на запад, прямо на солнце.

ЮНКЕРСЫ С ВЕСТА!..

— Что ты думаешь по этому поводу? — спросил Никулин у своего начальника штаба.

— Думаю — полетел за своими.

— Точно! Объявляю аврал. Все немецкое снаряжение доставить из оврага сюда! Парашюты пусть остаются пока на месте.

Через пятнадцать минут приказание было выполнено.

Никулин позвал к себе комиссара и начальника штаба.

— Может по-всякому случиться, — сказал он. — Могут выбросить десант на парашютах, а могут транспортные самолеты пригнать. Если на парашютах, — начинайте бить в воздухе. Если самолеты, — не стрелять, пока не приземлятся. Отряд разбивается на четыре группы — первой командую я, второй — Клевцов, третьей — Фомичев, четвертой — Жуков. В каждой группе по два пулемета. Всю эту площадь вокруг посадочных знаков берем в кольцо. Пулеметы проверить заранее!

Быстрым шагом, почти бегом он обследовал поле, указал каждому командиру его позицию. Для себя он выбрал позицию в копнах.

Жукова точно ветром сдуло, и больше он к Никулину не подходил.

...Тускнели, меркли в степи алые отблески; от копен гуще, теплее шел сытный и пыльный запах зрелого хлеба, свежей соломы; закат угасал, его пламен-

ное золото блекло. — но еще прозрачен; ясен был воздух, еще светились слабым сиянием гребни холмов, еще купались в последних лучах высокие облака с расправленными краями...

— Тише! — сказал Харченко.

Все замерли, впились глазами в небо, но в нем ничего, кроме тишины и облаков, не было.

Харченко, затаив дыхание, вслушивался.

— Идут!

Слабый рокот в отдалении был едва уловим, а Харченко с горящими от возбуждения глазами уже докладывал командиру:

— Транспорт. «Ю-52». Идут с веста.

...Огромные тяжелые юнкерсы с гулом и ревом кружили над степью. Моряки залегли у пулеметов и ждали.

Вот первый самолет коснулся земли и, мерцая пропеллерами, подбрасывая хвост, покотился прямо на копны. Раньше, чем он остановился, сели второй и третий юнкерсы. В то же мгновение со всех четырех позиций, из восьми пулеметных стволов ударил по юнкерсам огневой ливень. Пули застучали, прошивая фюзеляжи, плоскости, бензобаки, моторы. Один из юнкерсов, еще не успевший остановиться, начал было набирать скорость, намереваясь взлететь, но в мотор ему, в самое сердце вонзилась длинная очередь — и взмыл над юнкерсом язык желтовато-красного пламени.

Так начался бой.

Пулеметы и автоматы группы Никулина били в упор по самолету, остановившемуся у копен, зажгли моторы и плоскости. Самолет горел; озаренные пламенем, выскакивали из него автоматчики и тут же падали, скошенные огнем.

Но одного не предвидели моряки: кроме автоматчиков, юнкерсы доставили по воздуху еще и легкие танки.

Низкий, плоский, широкий танк, скрежеща гусеницами, выполз из-под самолета и, набирая скорость, поливая копны шквальным огнем, двинулся прямо на позицию Никулина. И промедли Никулин, поддайся растерянности, нерешительности, колебаниям, — всем был бы конец! Но с той минуты, как назвал он себя командиром, — и мысли, и чувства, и воля в нем обострились, напряглись до предела; он находил решения и выходы мгновенно, словно кто-то подсказывал со стороны.

— Если меня убьют, примешь командование над группой, — сказал он Крылову.

Быстрым, но спокойным движением он взял две связки гранат и легко выбежал навстречу танку. Пули смертельно занули и зашелестели вокруг, но даже подобия страха не шевельнулось в его душе, даже слабой тревоги за себя он не почувствовал, — такая легкость была у него на сердце, что он, может

быть, даже засмеялся бы, если бы только в этих секундах нашлась одна свободная — для смеха.

Размахнувшись, он метнул связку и упал ничком, чтобы не задело осколками. Связка была еще в воздухе, а Никулин, опережая мыслью ее полет, уже знал, что не промахнулся, что сейчас, вместе со взрывом, лопнет, разорвется гусеница, танк закрутится, разбрасывая землю, и остановится... Тогда — вторую связку, по башне!

Так и случилось. Гусеница, вместе со взрывом, лопнула, распалась, танк, разбрасывая землю, закрутился на месте; вторая связка пришлась точно по башне, и огонь танка прекратился.

Веселый, возбужденный, с горящими щеками, словно хватив добрую чарку спирта, Никулин вернулся в копны.

— Вот и все! — сказал он Крылову, который, приподнявшись от пулемета, смотрел на него восхищенными, сияющими глазами. — Чего там долго балакать с ними!.. Раз, два — и в ящик! Однако ты, Крылов, держи их на мушке. Врут подлещи, — вылезут, долго не высидают в своей керосинке.

По копнам стреляли уцелевшие одиночные автоматчики, но их огонь был слаб, редок, неточен. Крылов, желая отличиться перед командиром, быстро погасил два автомата. Огонь немцев стал еще реже. Словом, бой на участке Никулина можно было считать выигранным начисто.

Между тем на участке Фомичева и Жукова творилось что-то непонятное — полное затишье, в то время как на участке Клевцова дело разгоралось все жарче и жарче. Там стучали автоматы, пулеметы, непрерывно дрожало бледно-судорожное пламя вспышек. А сумрак сгущался, и к тому же опустился туман.

— Надо, пожалуй, туда сходить, — сказал Никулин. — Поглядеть, что у них там... Крылов, группу оставляю на тебя. Самое главное — следи за танком.

Перебежками, а кое-где по-пластунски, он направился к позиции Клевцова. Он торопился, чувствуя по накалу боя, что дело там осложняется. Когда он был почти у цели и уже различал в сумраке смутный силуэт вражеского самолета, — грохнул вдруг огулительный взрыв, к небу поднялся сноп огня — и все затихло. Прозвучала короткая очередь — последняя.

...А еще через десять минут Никулин пришел на позицию Фомичева. Там встретил он и Жукова.

— Ну, что у вас? В чем дело?..

— Да что! — выругавшись, ответил злым, раздраженным голосом Фомичев. — Не приняли, сволочи, боя — скорее лапки кверху. Вон они стоят — в полном комп-

лекте с летчиком и бортмехаником. А вот и оружие ихнее. А как там у Клевцова дела?

— Клевцов убит, — ответил Никулин, — Коновалов и Серебряков убиты.

ПРОЩАЙТЕ, ДРУЗЬЯ!

Клевцов открыл огонь в тот момент, когда второй юнкерс только что коснулся земли своими колесами. Пули перебили шасси, юнкерс скапотировал, погнув правую плоскость и высоко задрал левую. Удар был так силен, что летчиков, как это потом выяснилось, убило на месте, а танк, подвешенный к фюзеляжу, вышел из строя.

Но автоматчики в кабине уцелели. Несколько немцев выпрыгнули и залегли, прикрывая огнем высадку остальных. Комиссар приказал Коновалову и Серебрякову взорвать самолет вместе с фашистами.

Не допознали моряки. Сперва Коновалов ткнулся в землю пробитой головой, шагах в пяти от него полег и Серебряков. Комиссар видел все это из своего укрытия.

— Эх, гады! — сказал он, стиснув зубы. — Погубили ребят. Гранаты мне!

По-пластунски переметнувшись через бугорок, комиссар пополз к самолету. Навстречу ему зашипел, завизжал свинцовый град. Слетела сбитая дулей бескозырка, срезало, как ножом, полевую сумку. Две пули прожгли плечо комиссара, две застряли в ногах. Превозмогая боль и смертную слабость, комиссар упрямо полз вперед и вперед. Еще одна пуля — в бок, смертельная. Заливая горячей кровью траву и землю, комиссар встал на колени и метнул гранаты под юнкерс.

...Хоронили моряков на сельском погосте, — отсюда, с голого бугра было видно далеко в степь, до самого края. День выдался ясный, холодный; порывистый ветер дышал севером. Гнулись редкие лозины, роняли мертвую листву, ветер гнал и крутил ее по земле.

Могила для товарищей моряки приготовили глубокую, просторную. Колхозные плотники сделали гробы; Папаша достал где-то красные полотнища и сбил крышки. Он же подготовил надгробие — большой плгчатый камень с высеченной зубиласм надписью.

На похоронах было много колхозников. Местный учитель привел свою школу.

Краткой была речь командира:

— Мы хороним товарищей, которые вместе с нами начинали бой. Мы в этом бою победили, хотя враг несравненно превосходил нас численностью и оружием. У него были и автоматы, и пулеметы, и гранаты, и танки, и самолеты. А победили мы потому, что дрались за правое, за святое дело, за советский на-

род, за нашу родину! В борьбе за ее честь и свободу, за счастье народа погибли наши дорогие друзья Клевцов, Коновалов и Серебряков. Им — вечная память и слава, а врагам — месть и гибель! А вы, ребяташки, — обратился Никулин к школьникам, — когда будете большими, поставьте на этой могиле хороший памятник. Они за ваше счастье, за ваше будущее погибли!

Он подошел к убитым, положил каждому на сердце бескозырку, заботливо расправив ленточки.

— Так и хоронить! — приказал он.

Застучали молотки, потом загудели комья земли по крышкам гробов. Быстро вырос над могилой холмик. Моряки уложили на этот холмик камень с надписью и отсалютовали троекратным залпом.

Прямо с кладбища моряки направились на ближайший железнодорожный разъезд. Никулин спешил, потому что со всех сторон шли смутные, тревожные слухи. И уже тянулись по дорогам телеги, груженные домашним нехитрым скарбом, запряженные лошадьми, волами, а иногда и коровами. В деревнях, через которые шли моряки, то-и-дело попадались хаты с заколоченными окнами и дверями. Эти невеселые картины были знакомы Никулину: значит, враг близко.

— Думка одна меня тревожит, товарищ начальник штаба, — сказал Никулин Фомичеву. — Подозрительный этот десант у них был. Если бы они просто диверсионную группу засылали, — они бы танков ей не придали. Уж не забивают ли они клин в наш фронт где-нибудь поблизости?..

У меня у самого такая же думка, — признался Фомичев. — Значит, имели какую-то цель, раз танки послали.

— Какую же цель?

— А вот теперь, товарищ командир, давай думать. Линия фронта далеко ли от нас?

— Бес ее знает, где она проходит. Может быть, в ста километрах, а может быть — и в тридцати.

— Я вот думаю, что в тридцати, — сказал Фомичев. — Ты радиостанции, что в овраге нашли, осматривал? Нет? А я, брат, их разглядел, я в этом деле кое-что смыслю. Оба передатчика на ультра-короткие волны, ближнего действия. От силы на двадцать пять, тридцать километров. Теперь смекай; чуюшь, чем пахнет?

Невесело усмехнувшись, Фомичев добавил:

— Хороши мы будем, если к фрицам в самую пасть попадем.

— Не попадем, — сказал Никулин. — Зубов у них нехватит нас разжевать. Сейчас на разъезде надо будет уточнить

обстановку. Свяжемся по телеграфу с каким-нибудь военным комендантом.

Фомичев отозвался:

— В колхозе мне говорили, будто поезда вторые сутки не ходят.

ТИХОН СПИРИДОНОВИЧ

Разъезд был тих, безлюден, пуст — обычный степной разъезд с низким земляным перроном, с облетающими акациями в палисаднике. Кругом серела степь — унылая, осенняя, до того голая, что сердце щемило!..

— Нет, не брехали в колхозе, — сказал Фомичев, разглядывая тонкий желтоватый налет на отполированной поверхности рельсов. — Поездов не было давно.

Начальника разъезда нашли в дежурной комнате. Высокий, веснучатый, небритый, с какими-то соломинками и пухом в рыжих, всклокоченных волосах, он занимался странным, вовсе уж не своевременным в такие дни делом — набивал патроны для охотничьего ружья.

— Здравствуйте, — вежливо сказал Никулин. — Разрешите войти.

Начальник хмуро разрешил.

Никулин начал разговор тонко, с дипломатией.

— Скажите пожалуйста, вы имеете какие-нибудь сведения о том эшелоне, что проходил здесь три дня назад утром?.. Тот самый эшелон, на который немцы напали.

— Имею сведения, — ответил начальник. — А вам зачем?

— А мы те самые моряки и есть, что его отстояли.

Сразу все переменялось. Хмурость начальника исчезла без следа. Он сбегал в соседнюю комнату, принес два стула, усадил гостей, крепко пожал им руки, назвав при этом себя Тихоном Спиридоновичем Вальковым.

Он был странный, смешной человек, этот Тихон Спиридонович Вальков — и лицо его, и шея, и руки были усеяны частой россыпью веснушек, даже в бледносерых галочьих глазах его, вокруг зрачка, Никулин заметил коричневые крапинки. Обрадовавшись гостям, он уже не могу успокоиться и все остальное время пребывал в мелком суетливом движении; почесывался, ерошил пятерней волосы, хрустел пальцами, двигал чернильницу, тербил себя за ухо, покусывал губы. Впрочем, во всем остальном он оказался человеком толковым, на вопросы моряков отвечал с военной краткостью и точностью. Да, состав, который они отбили у немцев, благополучно проследовал дальше и, надо полагать, уже прибыл к месту назначения. Ходят ли поезда? Нет, не ходят. Двое суток назад движение прекратилось. Одновременно оборвалась и связь в обе стороны.

— Говорят, что линия и с юга, и с севера уже перерезана, — сообщил начальник. — Так что мы, выходит дело, в клещах. Но только я этому не верю, — поторопился он добавить на всякий случай.

— Напрасно не верите, — заметил Никулин. — Раз прекратилось движение, и связь в обе стороны прервана, — значит, что-то неладно.

— Да, конечно... Ожидать можно всего... Вот я и готовлюсь. — Начальник кивнул головой на патроны.

— В партизаны, значит?

— А куда же еще? Не оставаться же немцам служить. Позор на себя принимать? Останешься, а потом, после войны что скажешь? Я человек хитрый, предусмотрительный, — начальник засмеялся. — Я с расчетом живу, на два года вперед загадываю.

Засмеялись и Никулин с Фомичевым.

Неожиданно для себя Никулин решил, в случае чего, принять этого длинного, смешного рыжего человека в свой отряд.

— Что же вы посоветуете? — спросил начальник.

— Первое я вам посоветую — ружье свое бросьте куда-нибудь в пруд или в землю закопайте. Крылов! — крикнул Никулин через приоткрытую дверь в общий зал, где, рассевшись на скамейках и подоконниках, ждали остальные моряки.

Вошел Крылов, вытянулся перед командиром.

— У тебя там в мешке лишний автомат есть. Дай-ка его сюда. И две обоймы запасные. Это вам, Тихон Спиридонович, подарок от моряков!

Крылов принес автомат. Никулин показал, как нужно с ним обращаться.

— Эта вещь понадежнее вашей будет.

— Нужно во что бы то ни стало уточнить обстановку, — сказал Никулин. — Если мы действительно в клещах, тогда нечего здесь сидеть. Тогда выход один — подаваться вглубь. Вот, если желаете, Тихон Спиридонович, — милости прошу в мой отряд.

— Спасибо. Я было и сам хотел к вам в отряд попроситься, да не посмел, — признался начальник. — Думаю — моряки не примут сухопутного.

— Хорошего человека почему же не принять? Порядки у нас, правда, строгие, зато уж ребята боевые. Товарища не продадут, у самого чорта из зубов вырвут.

В дверь постучали. Вошел Харченко.

— Товарищ командир, гул какой-то слышен. Вроде — поезд.

«ФД-1242»

Моряки и начальник разъезда мгновенно очутились на перроне. Никулин встал на колени, прильнул щекой к хо-

лодному рельсу. Рельс гудел, передавая далекий бег чугунных колес. Сомнений не оставалось — приближался поезд. Но кто в этом поезде — свои или немцы?

— Собрать пулемет! — скомандовал Никулин. — Всем в ружье!

Отряд разместился в канаве, близ полотна. На перроне остался только начальник разъезда.

Минут через десять из глубокой выемки выскочил паровоз — один, без вагонов. Он мчался на полной скорости, распуская за собой низкую гриву серого дыма. Начальник разъезда, размахивая красным флагом, кинулся навстречу ему. Вскочили и моряки, побежали на рельсы.

Брызжа из-под тормозных колодок синеватым огнем, весь в белом шипящем облаке, паровоз остановился перед разъездом — потный, пышущий сухим жаром, с разгоряченными, лоснящимися от масла шагунами и дышлами. Котел его дрожал и гудел, сдерживая могучий напор горячего пара.

Никулин, Фомичев и Тихон Спиридонович подошли к паровозу. Навстречу им спрыгнул машинист — молодой, русский, в расстегнутой рубашке, со следами мазута и угольной пыли на смуглом лице.

— Откуда?

— От немцев вырвались! Прямо между пальцев у них проскочили! — возбужденно и весело ответил машинист. — Уж и не чаяли спастись — прямо чудо выпало. Алеха! — крикнул он в будку. — Давай сюда.

Из будки показался кочегар Алеха, весь черный — только белели зубы да глаза. Неторопливо, степенно спустился по железной отвесной лесенке. Он был очень похож на калмыка — черные, жесткие волосы широко расставленные косые глаза, приплюснутый нос.

Машинист рассказал, что немецкий воздушный десант захватил сегодня утром крупное депо в пятидесяти километрах к югу от разъезда. Выскочить на магистраль удалось только одному паровозу — вот этому самому, «ФД-1242», — и спасителем его по справедливости должен считаться Алеха: чувствуя неладное, он без малого двое суток не уходил с паровоза, все время поддерживая пары. В пути пришлось дважды остановиться — из-за пробитого пулями тендера и засорившихся шлангов, потому и прибыли на разъезд так поздно.

— Мы еще и третьего возем — пассажира, — сказал машинист. — Маруся, ты что сидишь там? Стесняешься выходить? Ты погляди-ка, сколько здесь кавалеров!

— Сейчас! — отозвался из будки девичий голос. — Очень уж я грязная — вся в угле.

— В пути подобрали, — понизив голос,

пояснил машинист. — Смотрим — бежит с узелком по линии, тикает от немцев. Ну — пожалели, взяли на паровоз. Зовут Маруся, фамилия Крюкова.

Как-раз в эту минуту она выглянула из будки. Моряки встретили ее появление дружными аплодисментами, криками: «Браво, Маруся!» Она смутилась, закраснелась, начала поправлять волосы.

Жуков подмигнул Крылову, толкнул его локтем:

— Вася, не прозевай. Девка-то смотри какая! Королева!

Маруся и в самом деле была хороша со своими пепельными волосами, бойко вздернутым носиком, с горячими карими глазами, над которыми вразлет чернели широкие брови. К ней сейчас же потянулись десятки рук с папиросами, конфетами, яблоками. Но особенно разойтись морякам не пришлось: командир покосился, и все притихли...

Никулин продолжал разговор с машинистом.

— Значит, думаете, что на север, может быть, и удастся еще проскочить?

— Не знаю. Ручаться нельзя... Попробуем, попытка, говорят, не пытка.

— Ну, что же, — сказал Никулин. — Тогда и мы вместе с вами попробуем.

— Добре! — согласился машинист. — Что ни больше народу, то лучше, если уж отбиваться придется.

К Никулину подошел осунувшийся, грустный Тихон Спиридонович.

— Ну, счастливый путь... Желаю боевой удачи.

— А вы? — спросил Никулин.

— А я — останусь... Не имею права разъезд бросить...

Тихон Спиридонович отвел глаза, голос его дрогнул... Тяжело оставаться одному в неприютной холодной степи и ждать с минуты на минуту появления свирепых врагов.

— За автомат спасибо, — добавил Тихон Спиридонович. — Может быть, и пригодится еще.

У Никулина защемило сердце от жалости к этому долговязому неуклюжему человеку. Он стиснул пальцами руку Тихона. Спиридоновича повыше локтя.

— Если к вечеру нас не будет, значит — проскочили. Значит — путь свободен, и немцев на севере нет. А если дорога перерезана, — мы обязательно сюда на разъезд вернемся. А тогда уж подумаем вместе с вами, что дальше делать.

Уловив в глазах Тихона Спиридоновича сомнение, Никулин сдвинул брови.

— Мы вас, Тихон Спиридонович, так не бросим, вы не сомневайтесь. Слово даю вам, понимаете — морское, флотское слово!

ОТРЕЗАНЫ..

Это была бешеная, предельная скорость — Никулину вспомнились торпедные катеры. Тяжелый многотонный паровоз как будто вовсе не касался рельсов — скользил над ними, приподнятый своей скоростью.

Моряки-пулеметчики на передней площадке закрывались бушлатами — иначе невозможно было дышать. Маруся забилась в угол будки и смотрела оттуда широко открытыми остановившимися глазами. Наверно, думалось ей в эти минуты, что земной шар сорвался, слетел со своей оси, — и все в мире, так же как она сама, несется, мчится в неизвестность с бешеной, сумасшедшей скоростью. Куда, зачем? — никто не может сказать.

Никулин сдержанно, одними глазами улыbnулся ей.

— Страшно, Маруся? — прокричал он сквозь чугунный гул, свист, шипение и клокотание пара. Маруся в ответ беззвучно пошевелила губами и опять замерла.

Дорогой установили причину обрыва связи — в нескольких местах телеграфные столбы на протяжении десятков метров были подпилены и повалены: это сделали немецкие десантники.

Миновали станцию; здесь ничего не удалось узнать. Но дальше попалась путевая казарма. Навстречу паровозу выбежал человек с красным флагом.

Он сказал, что немцы, по слухам, не дальше, как в пятнадцать километрах отсюда по линии. В казарме никого нет — все ушли, а он — путевой рабочий — остался с женой и тремя ребятишками. Младший болен — куда с такой семьей уходить?..

Двинулись дальше. Машинист вел паровоз медленно, осторожно, чтобы в любой момент дать задний ход. Никулин, держась за поручни, повис на железной лесенке.

До следующей станции оставалось километра четыре, когда начался крутой подъем. Паровоз засопел и запыхтел с натугой.

Сперва над хмурым, темным горбом земли начала вырастать в небе водокачка, потом показались голые сквозные вершины ветел с бело-красным плечом семафора над ними, наконец Никулин увидел и самую станцию — желтую, с белыми обводами окон. Паровоз сбавил ход еще — теперь он шел совсем тихо, почти беззвучно, словно подкрадываясь.

— Стрелку пропустить или нет? — спросил машинист.

— А что? — отозвался Никулин.

— Пройдем, а немцы ее переведут, направят нас в тупик. Вот мы и попались.

— Да их что-то здесь и не видать, немцев, — сказал Никулин. — Но лучше задержись. Вышлем разведку на всякий случай.

Не пришлось высылать разведку. Оглушительно, резко ударил пулемет. Никулин бросился на переднюю площадку. Он увидел немцев, бегущих по линии к паровозу. В стороне, у сложенных штабелями шпал, суеилась группа солдат, выкатывавших легкую противотанковую пушку.

Никулин приказал повернуть пулемет на орудие. Туда же ударил десяток автоматов, прижимая к земле, отгоняя за шпалы орудийный расчет. Машинист тем временем уже перевел рычаг, и паровоз пошел задним ходом, стремительно набирая скорость.

— Назад! Смотри назад! — услышал Никулин тревожный голос машиниста и обернулся. По всему его телу, по сердцу и животу прошла волна колючего холода — наперерез мчащемуся паровозу бежали пять немцев с гранатами в руках. Дело решали секунды: успеют немцы добежать на дистанцию или нет? Моряки с бортовой площадки и с тендера яростно били по немцам из автоматов, но трудно было прицелиться на таком ходу.

— Ложись! — скомандовал Никулин, перекрывая голосом рев колес и свистящий шум пара.

На пятнадцать метров не добежали немцы, в пятнадцати метрах от полотна разорвались их гранаты, выбросив темные клубы дыма, застучав осколками по котлу и тендеру. Ударил пушка, но паровоз вышел уже за семафор, а дальше начинался уклон, и синела в туманном сумеречном дыму спасительная низина.

Опять началась сумасшедшая гонка. Немцы перенесли огонь на линию, надеясь разбить ее и тем преградить путь паровозу. Вероятно, немцы очень торопились: снаряды падали неточно, далеко от рельсов. Паровоз благополучно выскочил из опасной зоны.

— Фу, пронесло! — сказал Фомичев, вытирая тыльной стороной ладони потный лоб. — Как было втыпались! Повезло!..

СЛЕЗЫ МАРУСИ

Уже светила над степью сквозь туман низкая красноватая луна, когда паровоз, волоча за собою длинную черную тень, подошел к знакомому разъезду. Навстречу Никулину радостно кинулся Тихон Спиридонович.

— А я думал — не вернетесь... До меня ли вам в такой кутерьме!..

— Я слово морское дал — помните? — ответил Никулин.

— Спасибо! Ну, что слышно там, на линии?

— Линия перерезана. Немцы могут быть здесь с минуты на минуту. Надо уходить. Вы как решили, товарищи? — повернулся Никулин к машинисту и кочегару. — С нами идете или остаетесь?

— На позор, на мучение оставаться? — сказал машинист. — Нет, я не останусь... А ты, Алеха?

— Я? — удивился и даже немного обиделся Алеха. — Довольно странный вопрос. Винтовку держать, слава богу, не разучился.

— Паровоз взорвать! — кратко и твердо заключил Никулин.

К Никулину подошла Маруся. «Ну, вот! — с досадой подумал он. — Баб еще нехватало в отряде! Не возьму ни за что!»

— Товарищ командир! — сказала она. — Я тоже с вами пойду. Хорошо?

— Видите ли... — Никулин начал мямлить, кашлять, путаться в словах. — Тяжело вам будет. Мы с боями пойдем... Инсь раз и голодом придется сидеть по нескольку суток. Ночевать в лесу, в поле...

— К чему вы мне все это рассказываете? — настороженно, с неприязненными нотками в голосе спросила она. — Разве я сама не понимаю?

— Я это все к тому говорю, что вам лучше остаться, — решительно сказал Никулин, набравшись храбрости.

— Остаться?.. — повторила она, и голос ее обломился. — Вы понимаете, что вы говорите... Мне — остаться?..

— Ну, что же такого? — заторопился Никулин, стремясь поскорее закончить этот тяжелый разговор. — Разве одна вы останетесь? Не все же уходят. И вас никто за это не осудит. Если хотите, я вам записку дам, что ввиду невозможности принять в отряд...

Не дослушав, она спрятала лицо в ладони и заплакала навзрыд.

— Да вы не плачьте! — сказал Никулин. — Подождите плакать...

В растерянности он оглянулся, но никто не спешил ему на помощь.

— Сами уходите... а меня — к немцам! — говорила Маруся сквозь рыдания. — За то, что я комсомолка, советская девушка... За то, что я каждый месяц на доске почета была... Сами уходите, а меня — в петлю головой... А я думала... Я думала — моряки... Она зарыдала еще горше. Никулин чувствовал за спиной десятки глаз товарищей, и знал, что взгляды их неодобрительны. Его растерянность переходила в сматнение — он был безоружен, беззащитен перед Марусей. Дальше выдержать он не мог.

— Перестаньте же плакать! — сказал он, схватив Марусю за плечо и сильно тряхнув. — Я для вашей пользы вам говорил! А если хотите — идите, пожалуйста! На общих основаниях, как все! Идите, только потом не жалуйтесь... Фомичев! — позвал он, стремясь поскорее спихнуть кому-нибудь рыдающую Марусю. — Вот займись, успокой гражданку, она к нам в отряд поступает... Крылов! Чего стоишь, как пенек, — не видишь, вода нужна! Вон, из тендера наברי!

Вода из тендера пахла нефтью, ржавчиной; Маруся выплюнула ее, сказав жалким голосом:

— Тухлая...

— Свежей принеси! Живо! — заорал Никулин на Крылова и, чувствуя, что вот-вот лопнет от злости, пошел бешевать, распекая встречных и поперечных — Фомичева, Крылова, кочегара Алеху, Жукова — всех без разбора!..

Его умирил Харченко.

— Тихо!

Он долго вслушивался в ночной поглубевший от луны простор.

— Не пойму... Не умею сухопутные звуки разбирать... Для поезда больно уж тонко звенит.

Послушав еще, Харченко добавил:

— Однако, идет сюда — к нам.

Один из трех путей разъезда был закрыт паровозом, остальные Никулин приказал перегордить столами и скамейками из пассажирского зала. Отряд занял позиции по обе стороны путей — часть засела в канаве, остальные, во главе с Никулиным, — в здании разъезда.

Гул с юга приближался. Моряки слушали, стараясь сообразить, что это может быть такое?

— Дрезина моторная! — раздался голос машиниста. — Немцы, наверное, катят, путь проверяют.

Вскоре вдали на рельсах темным пятном обозначилась дрезина. Завал из скамеек и столов, преграждавший ей путь, был накрыт тенью от паровоза и неприметен издали — моторист чуть-чуть не врезался в него. Завизжав тормозами, дрезина поползла юзом и остановилась в каких-нибудь пяти метрах от завала.

Раньше чем немцы успели открыть дверь кабины, — моряки уже стояли кругом с автоматами наготове.

— Вылезай! По одному! — скомандовал Никулин. Крылов повторил его команду по-немецки. Первым вылез, с поднятыми руками, белообрый моторист, тщедушный, с цыплячьей шей. Ноги моториста подкашивались от страха, зубы ляскали

С него Никулин и решил начать вопрос, правильно считает, что насмерть перепуганный моторист не будет особенно заираться и врать.

ДАВАЙ, «ФЕДЯ»! ЖМИ, «ФЕДЯ»!

Допрашивали в дежурной комнате при тусклом свете семилинейной коптилки.

— Вы меня расстреляете? — спросил моторист. Зеленоватая бледность покрывала его лицо, он поминутно подпрыгивал на стуле от нервной икоты.

— Если скажете правду, — не расстреляем, — ответил через Крылова Никулин.

— Хорошо, — согласился моторист. — Я буду говорить правду. За нами следом идет воинский эшелон с двумя бронированными площадками впереди. Мы проверяли путь для него. На дрезине имеется радиостанция, но мы не успели ею воспользоваться. Мы...

— Все понятно! — прервал Никулин, быстро поднявшись со стула. — Больше ничего не требуется. Но помните — за каждое слово отвечаете головой. Крылов, останешься здесь дежурить.

На перроне Никулин кратко сообщил своим бойцам результаты допроса.

— Мы из этих бронированных площадок блин сделаем!

Он приказал машинисту и кочегару нагонять пары — максимальное давление, какое только возможно.

Алеха открыл дверцу топки. Оранжевый блеск озарил его приземистую кривоногую фигуру. Он сбросил блузу, остался в одной майке, лопаты угля одна за другой летели в топку. Машинист открыл поддувало, — пламя стало ослепительно белым и загудело, заревело низким сердитым басом. А кочегар работал без устали, без отдыха — то кидал уголь, то принимался шуровать в топке длинной кочергой. Его лицо, шея, голые руки лоснились от пота.

— Давай, давай! — торопил Никулин.

— Некуда больше, — отозвался из будки Алеха. — И так двадцать четыре нагнали. Котел взорвет... Ты не сомневайся, товарищ командир, — восемьдесят километров даст наш «Федя», а то и все девяносто.

Харченко, чтобы гудение пара не мешало ему слышать, ушел вперед по линии. Оттуда, из холодной лунной мглы донесся его глас.

— Идет!

Все притихли.

— Харченко! — крикнул Никулин. — Скажешь, когда останется четыре километра.

— Есть сказать, когда останется четыре километра!

Моряки молчали, даже не перешептывались. Минуты шли за минутой — и словно все натягивалась и натягивалась какая-то незримая тугая струна, готовая вот-вот лопнуть. Пленные стояли оцепенев, — они угадали замысел моряков.

Харченко быстрым шагом подошел к Никулину.

— Время, товарищ командир. А то разогнаться не успеет.

— Пускай! — скомандовал Никулин машинисту.

— Эх, «Федя», прощай! — сказал машинист с невеселой удалью в голосе. — От моей руки погибашешь... Ну, послужи в остатний разок!

Он резко двинул регулятор на полный ход. Паровоз вздрогнул и забуксовал, проворачивая колеса под собой на месте. Машинист спрыгнул. Паровоз двинулся — и пошел, пошел, пошел, сотрясая землю, злобно сопя и урча, словно в его железном брюхе, в яростном, но тщетном усилии освободиться, клокотал не пар, а перегретый гнев.

Машинист, весь дрожа, высоким альтом закричал вслед паровозу:

— Ай, «Федя»! Давай, «Федя»! Жми, «Федя»! Давай, давай!.. Э-э-эх!..

Ночная мгла быстро поглотила паровоз, уже ничего нельзя было разобрать вдаль на линии, только гудяще ныли рельсы, тихо стонали, сливая два встречных гула: один — ровный, размеренный, второй — стремительно нарастающий, переходящий в железный рев. Время остановилось, ветер упал; казалось, вся земля остановилась в полете и ждет, замирая. Тревожным звуком ныли рельсы — это навстречу немцам неупорно, неотвратно летела из темноты горячая лавина чугуна и стали; по насыпи и рядом с ней, прыгая по камням, перемахивая через мостики, мчался зловещий, словно кровью окрашенный сгусток багрового блеска из поддувала; брызгами летел щебень, а сзади, в лунной дымке вихрились и завивались пыльные смерчи.

... Удар был глухой, раскатистый; поднялось мутное зарево, дрожая, постояло в небе и погасло.

Все кончилось. Немецкие бронированные площадки перестали существовать вместе со всем экипажем. Судя по силе удара, полетели под насыпь и паровоз, и все вагоны.

Жуков, бледный от волнения, предложил:

— Я сбегая, погляжу. Я мигом обернусь.

— Некогда, — ответил Никулин. — Сейчас выступаем.

Подошел Фомичев.

— С мотористом что будем делать?

— Отпустить.

— Зачем? — удивился Фомичев.

— А затем, что обещал: раз обещал — надо выполнить. Веди его ко мне.

На перрон вывели моториста. Он затрясся, заплакал, повалился на колени

перед Никулиным, схватил его руку, потянулся губами к ней.

— Встань! — брезгливо сказал Никулин, пряча руку в карман. — Вот что, фриц, иди к своим... — Никулин слегка задохнулся. — Иди к своим, — повторил он, возвысив голос, — и скажи им так: русский, мол, матрос Иван Никулин велел вам передать, чтобы вы с нашей земли уходили по добру, по здоровью, пока еще время есть. А то каяться вам придется — сами захотите уйти, да поздно будет — ни одного живым не выпустим!.. Крылов, переведи ему, да как следует, чтобы он понял. Повторить заставь.

Крылов перевел. Немец понял, закивал головой, залопотал...

— Иди! — Никулин указал рукой в степь. — Иди, фриц!

Немец, сгорбившись, втянув голову в плечи, оседал на трясущихся ногах, медленно побрел через пути.

— Бойся, гадюка! — сказал Фомичев. — Пули в спину ждет!..

Никулин молчал, провожая немца тяжелым, недобрым взглядом.

— Двинулись! — наконец сказал он. — Людей построить.

Разъезд опустел. В одну сторону от него, в лунную холодную пустыню уходил немец.

В другую сторону уходили моряки и вместе с ними — Маруся Крюкова, машинист, кочегар Алеха и Тихон Спиридонович Вальков, покинувший свой захолустный разъезд ради трудов и подвигів бранных.

ПО СЕЛАМ И ХУТОРАМ

Никулин твердо решил не сворачивать никуда с проложенного курса, понимая, что при малочисленности отряда нельзя отвлекаться на второстепенные частные операции, разбрасываться по мелочам, рисковать людьми без крайней необходимости.

Впереди — прорыв к своим и, наверняка, с боем. Силы нужно беречь именно для этого решительного боя.

Так он и сказал однажды своим бойцам на привале:

— Мы сильны морской нашей спайкой, взаимной выручкой. Мы сильны тем, что все вместе бьем в одну точку, одним кулаком. Нас в отряде двадцать шесть человек, и каждый стоит двух десятков фрицев, потому что со всех сторон товарищи подпирают. Каждого из нас в бою двадцать пять товарищей поддерживают. Чувств арифметику или нет?

— Чуюм! — ответили бойцы.

— Точно!..

— Поэтому приказываю, — продолжал Никулин, — каждому бойцу себя, как

только можно, беречь! Каждый должен помнить, что, выбывая из строя, не только он сам погибает, но и товарищей подводит, лишает их своей поддержки, ослабляет весь отряд. Еще надо помнить, что госпиталя у нас нет, раненых лечить негде... Не бросим, конечно, если уж ранят, но оберегаться каждый из нас должен в обязательном порядке. А то — вон Крылов! В рост ходит под немецкими пулями. Ничего, мол, я не боюсь! За такие фокусы драить буду!

Он вел свой отряд глухими проселками, а то и прямо целинной степью, тщательно избегая больших дорог. Если попадалась на пути такая дорога, то ее пересекали ночью и шли ходко, чтобы встретить утро где-нибудь подальше — в перелеске или в глубокой балке. Приходилось останавливаться и в селах, в деревнях. Ближе к большим дорогам часто попадались села разоренные — гудел ветер, залетал в разбитые окна опустевших хат, хлопал незапертыми дверями, гнал и крутил по улицам черный пепел, обдавая моряков едким, терпким запахом остывшей гари.

Навстречу отряду выбегали уцелевшие жители — старики, старухи, женщины.

— Милые! Родные! Да неужто наши вернулись?

Тяжело было говорить этим людям правду — что нет еще, не вернулись наши. Покидая такое село, моряки уносили в сердцах еще одну жгучую каплю ненависти и гнева.

В глубину степи немцы пока не успели проникнуть — там уцелели кое-где и станицы, и деревни, и хутора. Хорошо было подходить ранним холодным утром к спрятавшемуся в глинистой балке хутору. Отражая зарю, горят приветливым теплым золотом окна хат, над камышевыми крышами солидно и домовито восходит из глиняных труб дымок, сиреневым столбом поднимается в чистую вышину и там расходится, прозрачно окрашиваясь алым светом. На речке, подернутой молочным паром, кричат утки, важно гогочут гуси, а под облетевшими осокорями задумчиво бродит пегий теленок с хвостом, украшенным репьями... И на разные голоса гавкают кудлатые псы.

Обнесенные плетнями, крепко стоят белые приземистые хаты — навеки вросли корнями в родную, дедовскую и прадедовскую землю, — а в хатах чисто, уютно, тепло, пахнет сухим укропом, мятой, свежим хлебом, упылающих печей хлопочут, высоко подоткнув юбки, дородные казаки, раздавая щедрые, звучные подзатыльники ребятишкам, проявляющим излишнее любопытство. Здесь, в таком тепле и уюте, за самоваром, к месту были бы мирные сельские разговоры об урожае, о

трудоднях, о покупке овец или коровы, о предстоящих свадьбах. Но морякам не пришлось услышать таких разговоров — другое было у всех на уме. Станицы, деревеньки и хутора охвачены были тревогой, смятением, моряков засыпали вопросами — близко ли окаятные немцы, да точно ли, что они пожалуют и что можно от них ожидать честному трудящемуся колхознику? И морякам с болью в сердце приходилось отвечать, что близко немцы, что пожаловать могут в любой день, что хорошего от них ожидать ничего нельзя. И в хатах становилось как будто холоднее, темнее: насупив седые брови, молча слушали старые казаки, а казачки — иные плакали, иные, скорбно и тяжело вздыхая, крестились на темные лики озаренных лампадой икон. Но хаты и вздыхали, и плакали, и скорбели, думая о страшном дне, но честь свою казачью, кубанскую берегли: там будь, что будет, а сегодня дорогих гостей надо принять как полагается.

На таких днях главенство принадлежало Папаше; он выдвигался на первый план, заслоняя собою и Никулина, и Фомичева. Разместив бойцов по хатам, он с полными карманами денег отправлялся на продовольственные заготовки.

— Здравствуйте, — говорил он, войдя в хату и сняв бескозырку.

— Здоровеньки будьте, — отвечал хозяин, какой-нибудь казак с толстыми обвисшими усами. — Сидайте, в ногах правды нет.

Начинался неторопливый разговор о войне, о трех сынах хозяина, ушедших в гвардейский казачий корпус генерала Кириченко.

— А во флоте никто не служит у вас?
— Во флоте — ни... Наше дело казацкое — конь, да клинок.

И хозяин невольно косился при этих словах на стену, где висела фотография, на которой он снят был еще молодым, верхом на коне, с обнаженным клинком в руке, с двумя георгиями на груди.

— Добре! — говорил Папаша. — Конь да клинок — тоже неплохо.

Постепенно и незаметно Папаша переходил к основной цели своего визита. Не уступят ли хозяева из своих продовольственных запасов что-нибудь морякам? За деньги, конечно, по вольной цене.

Вот здесь и начиналась главная заковыка. В редкой хате не предлагали Папаше от чистого сердца, от всей души, с казачьей размашистой щедростью самые разнообразные дары: яйца, сало, творог, солонину, хлеб, коржи, молоко. Папаша, зная аппетит своих подопечных, не отказывался — пригодятся в походе и коржи, и сало, и творог.

— А какая же будет за всё за это ваша цена? — осведомлялся Папаша.

— Яка там цина! — говорил хозяин. — Немец окаятный даром все у людей забирает, — так хоба ж я з своих гроши буду вимогати? У мене у самого трое в гвардейском козацком корпусе генерала товарища Кириченки служат.. Ни! Грошей не треба..

— Я права не имею задаром брать! — уговаривал Папаша. — Мне такая дана инструкция, чтобы за все платить.

Уговоры не действовали. На все доводы хозяин отвечал одно:

— У самого трое служат. Молодые, як и вси ваши хлопцы.

Хозяйка при этом тихонько всхлипывала, утирала рукавом глаза; с ней-то вовсе уже бесполезно было говорить о деньгах.

— Послушайте, хозяин! — не сдавался Папаша. — Дело ведь очень простое: мы покупаем, вы продаете.

— А я не продаю, — спокойно говорил хозяин, попыхивая из трубочки крепчайшим самосадам. — Тут не базар, а моя хата.

— Как же нам быть?

— А так — берите, да и кушайте на доброе здоровячко.

Что оставалось делать Папаше? Приходилось брать.

А командир потом сердился и недовольным тоном выговаривал Папаше:

— Мы не фрицы какие-нибудь, и не румыны, чтобы население обирать. Взял — плати. Лучше переплати, но только не бери задаром!

Да, хороши были эти дневки на тихих, затерянных хуторах — лучше и не надо бы, да только отравлены были они нестерпимой горечью нашего отступления. Покидая вечером, при свете осенней пасмурной зари, маленький, ласковый хутор, моряки знали — немного дней пройдет, и нагрянут сюда осатаневшие немцы... А когда уйдут — загудит по улицам порывистый недобрый ветер и пойдет гулять на свободе, выть в разбитых окнах, хлопать повисшими на одной петле дверьми, шевелить седые волосы уткнувшихся в землю стариков, раздуть юбки мертвых женщин, заносит пылью потускневшие глаза окровавленных ребятишек. Ветер взерошит шерсть на спине обезумевшего пса, вторые сутки скулящего у порога над своим безгласным хозяином, закрутит и погонит черный пепел и далеко понесет в голую степь едкий запах холодной гари...

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Вскоре в одном селе к отряду присоединились два красноармейца. Через день присоединился летчик сбитога за немец-

кими линиями нашего истребителя. Потом присоединились два сапера и еще шестеро пехотинцев, вышедших навстречу отряду из перелеска. На одном из хуторов наши выдворапливающего танкиста — забрали с собой.

Раньше на расчетах по порядку номеров левофланговый — Маруся Крюксова — кричала: «Тринадцатый полный!», — и это ей не очень нравилось, потому что втайне, в глубине души она была суеверна. Теперь она звонко, весело завершала расчет:

— Двадцать второй, неполный!

Марусю так и прозвали в отряде — «неполный», что очень шло к ее маленькому росту.

Никулин знал, что отряд будет увеличиваться и дальше — соответственно возрастут сложности в управлении, в снабжении, труднее будет скрытно передвигаться, организовывать привалы и дневки. Кубань — не Сибирь, места в Кубани степные, открытые; какая-нибудь лошадка может укрыть двадцать пять человек, но не укроет полторы сотни. С таким отрядом не придешь на маленький хутор, где всего десять — пятнадцать хат, такой отряд не накормишь тремя килограммами сала и сотней яиц. Придется заходить в большие села и станицы, а там лишних глаз, ушей и языков куда больше... Словом, будущее представлялось Никулину смутным, неясным, преисполненным всяческих тревог и неожиданных опасностей. Он все чаще задумывался, все сильнее давила на его молодые плечи тяжесть огромной ответственности.

...Случилось однажды отряду остановиться ранним утром на отдых в отлогой, мелкой ложине. Откуда-то принесло недобрым ветром Мессершмитт. Провиб облака, он пошел совсем низко над степью, в сотне метров. И нашлась в страде одна горячая, дурная голова, из новеньких, — вскопым, красноармеец зачастил в небо из своего полуавтомата. «Отставить!» закричал Никулин, но было уже поздно: летчик заметил отряд и пошел в атаку, поливая ложину свинцом из всех пулеметов.

Сделав два захода, самолет скрылся. Бойцы начали подниматься. Четыре человека остались лежать на земле — паровозный машинист и три красноармейца, в том числе обладатель горячей головы, которая сейчас холодела и сочилась кровью, пронизанная насквозь немецкой пулей.

На ночлеге Никулин лежал и всё думал, думал, но в мыслях не было ясности — они скользили, путались, и никак не удавалось закрепить их для себя в словах.

Эта бесплодная охота за собственными мыслями утомила его; все мешало ему,

все раздражало — и голоса хозяев за дверью, и храп Фомичева, и тяжкий, глухой шум ливня.

Резким движением он поднялся, спустил под лавку босые ноги, зажег копилку, посмотрел на часы. Восьми еще нет, совсем рано, а темь какая! Придется, пожалуй, до новой луны перейти на дневные марши... Потом он поморщился, вспомнив утреннее происшествие... Как все нехорошо получилось — задаром потерял четырех. Дернула же нелегкая этого дурака выскочить. И не с кого теперь спрашивать. Впрочем, один виновный налицо — он сам, командир Никулин. Если боец без команды вскакивает и начинает стрелять — значит, в части нет настоящего порядка и дисциплины, значит, отвечать должен командир... А тут еще дневные марши предстоят, — малейшая неосторожность одного бойца может погубить весь отряд. Нужна дисциплина железная, но как ее установишь, если в отряд все время вливаются новые неизвестные люди? Когда-то еще раскусишь и поймешь каждого из них, а время — не ждет, действовать надо сейчас, немедленно. — «Трудно, ох, как трудно!» — подумал он, чувствуя, что смертельно устал.

Он рассердился на себя за свою слабость. Мысли его прояснились и теперь шли одна за другой, в строгом порядке. Завтра же надо выстроить бойцов и сказать им, что вводится сверхстрожайшая дисциплина, а к нарушителям будут применяться только две меры: или изгнание из отряда, или расстрел. Пора уж заводить в отряде настоящие военные порядки. Значит — «приказ номер первый по отдельному сводному отряду морской пехоты. Приказываю всему личному составу как на маршах, так и на отдыхе соблюдать строжайшую дисциплину, крайнюю осторожность и скрытность...»

Никулин торопливо достал из внутреннего кармана бушлата карандаш, записную книжку, начал искать в ней чистую страницу, да так и застыл с книжкой в руках — погрузился в какое-то забытье. А когда очнулся, — опять и разум его, и тело, и дух подавлены были свинцовой, непреодолимой усталостью. Она, оказывается, не ушла, не исчезла, — она стояла рядом и выжидала только момента, когда он потеряет контроль над собой.

В записной книжке у Никулина хранился обернутый целлофаном портрет вождя. Придвинув ближе скудную копилку, Никулин долго всматривался в это знакомое до последней морщинки лицо далекого, но всегда и везде близкого человека, с которым связана была нерасторжимо вся жизнь и судьба Никулина, все радости и горести, мечты и на-

дежды. Так ясно представилась Никулину Москва, стены Кремля; за ними в просторном кабинете, работает Сталин... Давно погасла его трубка, — он позабыл о ней, погрузившись в анализы, сопоставления, расчеты. Великий мастер побед творит еще одну самую грандиозную свою победу. Сотни самолетов дерутся в воздухе, тысячи танков сцепились в яростной схватке на земле, в далеком холодном море сходятся боевые корабли, громя друг друга тоннами горячей стали; миллионы людей атакуют и миллионы обороняются; все в огне, все перевернуто, разрушено, сметено!.. А Сталин в Кремле спокоен, уверен, по-прежнему нетороплив в словах и движениях, — будущее открыто ему, сквозь дым и огонь он видит победу...

Если бы можно было взглянуть на него, услышать хотя бы голос! Нельзя — отрезаны; далека Москва, далек зубчатый Кремль...

...То ли задремал Никулин, то ли забылся, но в слитном шуме ветра и ливня почудился ему далекий голос — очень далекий, почти неуловимый для слуха, Медленно и постепенно он прояснялся, как будто всплывая из темной глубины. И Никулин весь дрогнул, узнав этот голос.

— Трудно? — услышал он. — Всем трудно, Никулин... Ты думаешь, мне легко? У тебя пятьдесят человек, а у меня двести миллионов, и я за всех — главный ответчик. Надо терпеть, Никулин, воевать надо. После победы отдохнешь.

— Я все понимаю, — сказал Никулин. — Я вытерплю, я крепкий; но в том самая главная заковка, что нет у меня командирской подготовки. Опыта нет, ошибок боюсь понаделать...

И опять донесся из Кремля, через тысячи километров, через поля, степи и леса, заботливый родной голос:

— Учись, Никулин, набирайся ума. Командиры не сразу на белый свет рождаются. Дрался ведь ты до сих пор с немцами и хорошо дрался, бил их и в хвост, и в гриву! Что же струсил вдруг? Нехорошо, Никулин, — держаться надо, в свою силу верить надо, тогда и дело пойдет у тебя на лад!

— Какое же будет ваше приказание, товарищ Сталин? — спросил Никулин, и услышал в ответ:

— А приказание мое простое. Сейчас ложись спать, а утром вставай пораньше, да натягивай покрепче вожжи в своем отряде. Веди ребят так же, как вел до сих пор. Я тебе, Никулин, доверяю — веди! В бой зря, без расчета, не ввязывайся, не увлекайся, не забывай, что ты в немецком тылу. А если уж придется, — действуй смелее, я тебе в случае чего подмогну... Победа будет за нами, Никулин!..

И голос затих, смолк, ушел в глубину.

Выл ненастный ветер, стучал в окно дождь; мигала копилка, слабо и зыбко освещающая угол хаты, и в углу, за столом, — Никулина, положившего голову на руки.

В РАЗВЕДКУ

Когда он проснулся, за окном уже развиднелось. Кричали простуженными головами петухи. Никулин вспомнил ночной разговор. «Приснитесь же такое!» — подумал он, усмехнувшись.

Может быть, это и впрямь был сон, но только сон странный, необычный. Сны ведь всегда забываются, — почему же сейчас Никулин мог повторить слово в слово все, что слышал ночью? И почему в его душе не осталось даже следа от вчерашней усталости, сомнений, колебаний и тяжелых мыслей?

За чаем сказал Фомичев:

— Наш семейный порядок до тех пор годился, пока в отряде только свои были, моряки. А сейчас новые люди приходят, и семейный порядок нам больше не годится. Надо военный заводить, по уставу. Тебе, Фомичев, приказываю оформить список личного состава. Людей каждое утро выстраивать на поверку. Всякие там разговоры в строю, как я много раз замечал, — прекратить. Самовольные отлучки запрещать. Командиров отделений назначим, с них будем и спрашивать.

...Ближе к фронту — морякам веселее! Все чаще попадались на степных дорогах группы вражеских солдат, автомашины, повозки. Солдаты так и оставались лежать, уткнувшись в землю, автомашины и повозки горели, застывая небо черным дымом, а моряки, нагрузившись трофейными гранатами и патронами, продолжали путь.

Продвигаясь по немецким тылам, вдоль фронта, Никулин рассчитывал выбрать где-нибудь сравнительно тихий участок, прикрываемый лишь незначительными вражескими заслонами, и внезапным ударом прорвать его.

Никулин все подготовил к этому последнему решительному удару, — одного только не хватало: точных сведений о расположении войск противника, о слабых местах его обороны. И Никулин медлил, понимал, что действовать наобум нельзя: малейший просчет — и отряд неминуемо погибнет.

Однажды утром на заброшенной дороге, что тянулась, огибая озера, через густые таловые заросли, моряки под голым облетевшим кустом увидели дрожащую, всхлипывающую, зарывшуюся в мокрые листья девочку лет восьми. Никулин подошел к ней, окликнул. Она вскочила и с громким плачем бросилась бежать. Фомичев поймал ее за руку.

— Куда? Вот скаженная!.. Ты что здесь делаешь, в кустах? Почему босиком?

Ботинки где твои? А пальто где? Ты откуда? Из какого села?

Она молчала, дрожа от испуга и холода, — босая, посиневшая, в одном ветхом платице.

У Папаши в термосе нашелся кипяток, Жуков достал из мешка теплый свитер и шерстяные носки, девочку закутали, накрыли стеганым ватником, напоили чаем.

Скоро она отошла, отогрелась и рассказала свою скорбную, страшную историю. Сегодня на рассвете немцы убили ее отца, мать, бабушку, сестру, увели корову, угнали овец, застрелили собаку Буянку и рыжего кота Гришку, подожгли хату. Сама девочка спаслась, убежав на огороды; немцы стреляли ей вслед... Потом она шла, очень долго шла — замерзла и устала. Забрела в эти заросли, запуталась в них, решила лечь под куст и умереть.

Моряки молча слушали ее рассказ, стараясь предугадать решение командира. Неужели пройдет он мимо, не заглянет в село, где так открыто, нагло бесчинствуют немцы, уверенные в своей безнаказанности?

Маруся, кусая губы, отвернулась, пряча от командира глаза, полные слез. Тихон Спиридович долго сморкался в свой грязный носовой платок. Папаша тяжело вздыхал и сопел угрюмо.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что позавчера ночью убежали из села двое пленных; отец девочки дал им хлеба на дорогу, а кто-то увидел...

— Пленные, говоришь? — Никулин оживился. — А много пленных у вас в селе? А немцев много? Танки есть у них? Знаешь — большие такие...

Девочка ответила, что пленные есть, немцы держат их на скотном колхозном дворе. Танки были, но все ушли, теперь танков нет.

— А немцы какие у вас — белые или черные? — попытался Никулин. — Горбоносых видела? Такие — страшные...

Оказалось, что немцы есть всякие — и белые, и черные, и горбоносые. Недавно пришли какие-то немцы совсем уж черные, очень веселые: поют, пляшут на улице и таскают у колхозников кур.

— Итальянцы, макаронники! — сказал Фомичев.

— Все собрались, как у Ноя в ковчеге, — добавил Папаша.

Никулин засмеялся.

— А мы вот заложим хорошую торпеду в этот самый ковчег, разнесем его вдребезги, к чертям собачьим! Как ты смотришь, товарищ начальник штаба, на такое дело?

У моряков отлегло от сердца, — значит, не пройдет командир мимо, значит, даст он духу всей этой нечисти.

— Ну, товарищ начальник штаба, давай

держат военный совет, — сказал Никулин, отойдя с Фомичевым в сторону.

Стали думать. Разведка предстояла очень сложная и опасная; для такого дела требовался человек, надежный во всех смыслах.

— Крылов? — вслух размышлял Никулин. — Горяч больно, завалится... Жуков?.. От этого за десять шагов морем пахнет. Его по одной походке сразу признают.

— Давай-ка, товарищ командир, я сам пойду, — предложил Фомичев. — Дело вернее будет. К тому же я военную хитрость имею, она в разведке как-раз пригодится.

На том и порешили. Фомичев, не теряя времени, сменил свой бушлат на старенький полушубок, надел заячий облезлый малахай — и сразу приобрел в этом наряде самый обычный колхозный вид.

— Правильная маскировка! — одобрил Никулин. — Чистый колхозник, черноземный человек. От морской воды, от соленой — ничего не осталось.

— Душа морская осталась, товарищ командир, — улыбнулся Фомичев. — Душа — она ведь не бушлат, ее на полушубок не сменишь.

— А ты ее подальше спрячь, — посоветовал Никулин. — А то она как-раз тебя и подведет.

— Не подведет! — с уверенностью ответил Фомичев. — Она у меня ученая, — службу и дисциплину знает. Я так решил: в случае, если туго придется, — таиться и бегать не буду. Пойду прямо к старосте. Честь имею явиться, господин староста. Разрешите доложить — дезертир из рядов Красной Армии. Был под трибуналом, но только при отступлении красные нас в суматохе бросили, вот мы и разбрелись кто куда... Социальное происхождение спросят — кулак. Отец сослан, брат в тюрьме... Такого наплету, что семь верст до небес. Словом, завтра об эту пору ждите обратно.

— А если не придешь?

— Если не приду, — тогда заказывай панихиду по моей морской душе.

Помолчав, он тихо и серьезно добавил:

— Часом случится что — напиши же мне. Адрес я Папаше оставил.

— Напишу, — пообещал Никулин. — Ну, счастливой тебе удачи. До завтра!

— До завтра, товарищ командир!

И пошел Фомичев — прямо через кусты, держа курс на далекое взгорье, за которым пролегла большая дорога. И, словно память по себе, оставил на сердце у Никулина странную тяжесть, какой-то незримый свинец в груди.

ЯКОРЬ ПОГУБИЛ

Не зря томился Никулин, не зря чуяло беду его сердце. Фомичев попался.

Он все предусмотрел, отправляясь в разведку, об одном только позабыл — о татуировке на груди и руках. Татуировка и выдала его немцам с головой. Кто поверит человеку, что он — природный колхозник, если во всю грудь у него красуется корабль, извергающий клубы дыма из своих пушек, а на правой руке, пониже локтя, изображен якорь, перевитый могучей цепью.

И сейчас, в глухую полночь, Захар Фомичев, в разорванной рубашке, без шапки, босой, в синяках и кровоподтеках после допроса, сидел в холодной, темной бане, прислушиваясь к шагам и кашлю часового за дверью.

Погубил Фомичева якорь. Вначале разведка шла очень ладно. В селе, помимо немцев, румын, венгров, итальянцев, были и местные жители, не успевшие уйти, и застрывшие здесь проезжие колхозники, у которых оккупанты отбирали лошадей и волов. Затерявшись в этой пестрой толпе, Фомичев, не возбуждая подозрений, быстро разузнал все, что требовалось: немцев в селе не больше двух взводов, румын и венгров — тоже немного, остальную часть сводного батальона составляют итальянцы. Скотный двор, где содержатся пленные, находится на западной окраине села. Неподалеку устроен склад горючего: видимо, оккупанты поджидают в скором времени танки. Фомичев разведал подходы к селу и уже собрался в обратный путь, но захотелось ему пить, и он завернул к колодцу. Когда он поднял тяжелую бадью и жадно прильнул к ней губами, рукав полушубка задрался и якорь выгнулся. А на беду оказались рядом какие-то румыны, которым такие якоря были, видимо, очень памятные еще со времени Одессы и Севастополя. Залопатав, загалдев, румыны поволокли Фомичева в комендатуру, к немецкому офицеру.

Немец говорил по-русски и обходился без переводчика. Выслушав Фомичева, едко усмехнулся.

— Я вижу, ты есть большой мастер говорить сказка для дурак... Но мы не есть дурак, а ты не есть бауэр, колхозник. Какой корабль ты служил?

Закончился допрос, как это всегда бывает у немцев, избивением, в котором принял участие и сам офицер. Фомичева заперли в баню, предупредив, что, если и завтра он ничего не скажет, — его расстреляют.

Фомичев много раз бестрепетно смотрел смерти в лицо, а сегодня всерьез испугался. До последней минуты он все еще надеялся, что удастся как-нибудь выкрутиться, но когда дверь бани закрылась за ним, — понял, конечно!.. Значит, погиб черноморский моряк Захар Фомичев, и зря погиб, без толку, без

пользы! Никому не пригодятся теперь сведения, собранные в разведке, незавершенным останется счет немецких голов. Думал о сотне, а набрал только полтора десятка. Плохи твои дела, Захар Фомичев, совсем плохи!..

Утром его повели на второй допрос. Он отвечал на все вопросы молчанием, готовясь к смерти. Но немцы, видимо, не потеряли еще надежды заставить его говорить. Очнувшись он опять в бане, с трудом открыл правый глаз. Левый — синий и заплывший — не открывался. Он ощупал рассеченный лоб, поднялся и сел на скамейку, стараясь вспомнить, чем закончился допрос. Его начали бить, это он помнил, а потом — провал в памяти, какой-то черный туман... Он хотел прилечь и застонал: каждое движение режущей болью отдавалось по всему телу.

В крошечное окошечко бани желтоватым лучом светило солнце, за стеной кудахтали куры — там, на воле, было утро, солнечное, яркое, с легким морозцем, опушившим края очеретовых крыш. «Ждут меня ребята! — подумал Фомичев. — Не дождутся... Эх, товарищ командир, — прощай, не увидимся!»

ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ

Фомичев ждал третьего и последнего допроса.

Морщась от боли, он подошел к окошечку, из которого видны были гумна, две облетевшие ракеты и за ними — степь в осеннем, солнечном золоте, просторная, широкая, до самого небосклона пустая. Никого в степи — ни пешего, ни конного. Еще большее жальлось сердце у Фомичева — лучше уж не смотреть!

В полдень у бани сменили часового. Вместо хмурого низкого венгра с подвязанной, распухшей от флюса щекой, встал итальянский солдат — красивый, ладный парень в щегольски сдвинутой набок пилотке, с большими темными, бархатными глазами. Заняв пост и выждав, когда скроется караульный начальник, он закурил, заглянул в окошечко, пустил на Фомичева струйку дыма, потом, прислонившись к стене и положив штык винтовки на сгиб локтя, достал из кармана зеркальце, щеточку и занялся приглаживанием и закручиванием своих усиков.

Вдруг он встрепенулся — на дороге, что огибала баню, увидел девушку. Она шла, опустив голову, не глядя по сторонам, и, казалось, ничего не замечала вокруг себя.

В действительности же Маруся — это была она — все видела и замечала. Она выбрала эту дорогу нарочно, узнав от местных казаков, что именно здесь, в темной бане томится пойманный вчера

матрос. Никаких определенных планов у посланной в разведку Маруси пока еще не было — она просто решила взглянуть на эту баню, приметить ее расположение. А может, быть, по какой-нибудь счастливой случайности, удастся подать ободряющий знак Фомичеву...

Она шла и видела все — крохотное окошечко в стене, огромный замок на двери, итальянского солдата, его усики, улыбку, бархатные глаза.

Все, что дальше говорила и делала Маруся, совершалось как бы помимо ее воли, само по себе.

Итальянец, бросив по сторонам вороватый взгляд — нет ли поблизости офицера? — вкрадчивой походкой направился к Марусе.

— Ах! — испугался в ней кто-то другой. — Я же не знала... Я сейчас уйду...

— Не бойсь! — сказал итальянец. — Не надо бойсь...

Он скосил глаза и улыбнулся Марусе. Она ответила улыбкой. То-есть, это не она ответила, а тот, другой, что спрятался в ней, — сама же она думала только о Фомичеве и не сводила глаз с крохотного слепого окошечка в стене бани. Итальянец потянулся к ней, — отстраняясь, она встала так, чтобы окошечко оказалось у нее перед глазами, а у солдата — за спиной.

— Не надо! — говорила она, снимая со своего плеча руку солдата. — Не надо же!..

А сама всем существом, глазами, сердцем звала Фомичева. «Ну, выгляни же, подойди к окошечку!..»

Должно быть, услышал Фомичев сердцем ее призыв. Окошечко изнутри забело; она поняла — это лицо Фомичева. В следующее мгновение они встретились глазами. Маруся смотрела через плечо солдата, который в это время, нагнувшись, разглядывал брошку на ее груди.

— Я здесь, — глазами сказала Маруся.

— Вижу, — ответил Фомичев тоже глазами, без слов.

А солдат все разглядывал и разглядывал брошку, потом начал ошупывать ее, нажимая ладонью с излишним усердием. ...Фомичев метался по темной и тесной бане. Вот она, Маруся, рядом, а сказать ей ничего нельзя! Так немного нужно сказать — и в руках у нее окажутся все сведения. А потом — пусть расстреливают! В свой смертный час он, Захар Фомичев, будет знать, что погибает не зря, что боевое задание выполнил до конца.

Но как передать, если между ним и Марусей — этот проклятый солдат?..

И вдруг Фомичева обожгла догадка. Военная хитрость! Вот когда она пригодилась!

Маруся услышала голос Фомичева. Он пел, и слова его песни доносились внятно.

Степь да степь кругом...

Путь далек лежит.

А в той глухой степи...

Часовой обернулся, погрозил пленному кулаком.

— Нельзя!..

Она даже вздрогнула, когда Фомичев подменил в песне первое слово.

...Он товарищу

Отдавал приказ... —

пел Фомичев.

А дальше на том же мотиве шли совсем другие слова, из другой песни, — из боевой песни, сочиненной самим Захаром Фомичевым.

...Их немного здесь,

Сотни три всего,

Немцев пятьдесят,

Дальше всякий сброд.

Танков нет у них...

Маруся слушала жадно, позабыв о солдате, который, осмелев, уже тянулся к ней губами и что-то несвязно бормотал, щекоча ее ухо своим горячим дыханием.

— Вечер, — шептал солдат. — Восемь час... Ты не бойсь, ты ходи.. Восемь час...

Тот, другой, прятавшийся в Марусе, делал вид, что не понимает, солдат принимался объяснять снова. А Фомичев все пел, и пел, тихонько, но внятно.

— Вечером? — наконец, поняла Маруся. — В восемь часов?

Она уже все знала: сколько в селе войск, какие это войска, откуда удобнее всего ударить; она знала, что танков нет, но их ждут и приготовили горючее.

— Ты не бойсь, ты ходи, — шептал солдат.

— Ладно! Приду!

Выпрямившись, она так поглядела на солдата, что он отшатнулся, пораженный столь резкой переменей.

— Восемь час... — забормотал он, сладко улыбаясь.

— Слышала!.. Ладно, приду! Жди, макаронник!.. Только потом не жалуйся!..

Она сильно и резко оторвала от себя руки солдата, повернулась и пошла.

НАЛЕТ

Раскрасневшаяся, запыхавшаяся Маруся появилась перед Никулиным.

Он, конечно, не мог ожидать столь строго ее возвращения — удивился, да же испугался.

— Что случилось?

— Разрешите доложить, товарищ командир, — ваше приказание выполнено!

Она светилась от радости, гордости.

— Разрешите доложить результаты разведки.

Она рассказала обо всем, что с ней случилось в селе. Никулин расхохотался и долго не мог успокоиться.

— Ну и дела! Значит, попался макаронник!..

ронник! Вот уж не думал я о тебе такого. Скромница на вид, а, смотри пожалуйста, — в момент округила! Молодец! Благодарность тебе!

Никулин не замечал, что обращается к Марусе на ты — в первый раз за все время. Она же заметила и расцвела, засияла еще больше: этим дружеским «ты» командир как бы впервые ставил ее в один ряд с моряками, своими товарищами.

Тихон Спиридонович завистливо вздыхал.

— Вот ведь, Маруся, какая удача вам.

— Будут и у вас, Тихон Спиридонович, боевые дела! — отвечала Маруся.

— Вот уж не знаю, подвернется ли случай. Я ведь такой — не везет мне... Долго смеяться и болтать, однако, не пришлось. Командир приказал готовиться к бою, проверить оружие.

Отряд разбился на три группы. Командование первой принял на себя сам Никулин, вторую группу поручил Крылову, третью — Жукову.

— Товарищ командир, мне в какую группу? — спросила Маруся.

— Тебе? Ни в какую...

— Почему? разве я стрелять не умею?

Он уловил обиду в ее голосе.

— А за девчонкой кто будет смотреть? Одну бросить — так, что ли, по-твоему? Скажу тебе еще, Маруся, — судьбу два раза под радой пытаться не годится. Ты свое сделала, теперь наша очередь. И прошу не спорить! Соблюдай дисциплину! — рассердился он, видя, что Маруся собирается протестовать.

Так и не пришлось Марусе принять участие в этом бою. Вместе с отрядом она дошла только до оврага и здесь осталась вдвоем с девчонкой, а бойцы, дождавшись сумерек, двинулись дальше. Никулин повел своих людей прямо в село, Крылов и Жуков пошли в обход.

Маруся выбрала себе место в кустах, на глинистом склоне оврага. Отсюда было видно сельскую колокольню, над которой по смутному и слабому мерцанию угадывался крест, поблескивающий в последних лучах, а ниже стоял дымный сумрак, и хмуро темнели над крайними хатами серые купы ветел.

Девочка все время тербила Марусю.

— Будут стрелять?.. Да? Будут стрелять?..

В ее глазах горели острые огоньки страха и любопытства.

— Молчи, молчи, — говорила Маруся, а сама волновалась не меньше — даже во рту пересохло.

Между тем солнце зашло совсем, далекие мерцание над колокольней погасло, потянуло ночной прохладной сыростью, на дне оврага забелел туман. А бой все еще не начался, над землей стояла тишина. Марусе каждая минута казалась часом. Хоть бы уж поскорее!..

И вдруг в потемневшее небо взвились две красных ракеты и рассыпались огнистым дождем. Никулин подал сигнал атаки. Маруся подскочила, услышав первую пулеметную очередь. Девочка заплакала. Донесли три глухих разрыва — в дело пошли гранаты. Потом все слилось в общем гуле — бой завязался.

Он продолжался недолго. Захваченные врасплох немцы, румыны, венгры, итальянцы выскакивали из хат и падали, скошенные пулями, осколками гранат. Пока Жуков и Крылов пробивались с двух сторон к центру села, Никулин налетел на скотный двор, где содержались пленные, перебил охрану, освободил пленных и повел за собой, приказав каждому любым способом раздобыть для себя оружие. Пленных оказалось больше сотни, через десять-пятнадцать минут все вооружились — кто автоматом, кто винтовкой, кто пистолетом или гранатой, а кто и просто тесаком. Никулин быстро пробился к центру села, соединился с Крыловым.

А Жукова не было. С того конца, откуда он наступал, доносилась винтовочная и пулеметная стрельба.

— Застрел парень, — тревожно сказал Никулин. — Иди, Крылов, выручай.

Но в это время, потрясая землю, ударил могучий взрыв противотанковой гранаты, стрельба прекратилась, и через десять минут из переулка на площадь вышли бойцы Жукова, гоня перед собой толпу солдат с поднятыми руками.

ПОДВИГ ТИХОНА СПИРИДОНОВИЧА

Бой еще не кончился, а Маруся уже бежала к селу, подхватив девочку на руки. Ей все думалось, что в горячке обязательно забудут о Фомичеве.

Напрасно она тревожилась. На площади у церкви она увидела Фомичева. Он сидел рядом с Никулиным на каменных ступенях паперти. Папаша бережно бинтовал его разбитую голову.

— А! Пришла! — закричал Фомичев. Отстранив Папашу, он встал, обнял Марусю и, прижав к себе, крепко поцеловал. — Спасибо, сестричка! Выручила! Без тебя пропадать бы мне...

Горячая судорога вдруг перехватила горло Маруси — она всхлипнула и залилась слезами на груди у Фомичева.

Никулин сердито крикнул, отвернулся: не любил он трогательных сцен.

Бойцы тем временем рассыпались по хатам, выволакивали последних, прятанных в погребах и на чердаках солдат. Только немногим гитлеровцам удалось выбраться из села и скрыться в степи.

Маруся увидела Тихона Спиридоновича.

— Ну, как воевали, Тихон Спиридонович? Совершили боевое дело?

Она засмеялась, хотя глаза были еще мокрыми.

— Совершил! — ответил Спиридонович, смущенно улыбаясь.

Жуков, стоявший рядом, добавил:

— Поздравь его Маруся. Герой!.. Жалко вот, гауптвахты нет — припаял бы я ему за такое геройство! Сначала бы медалью наградил «За отвагу», а потом — на гауптвахту на десять суток.

И он рассказал о сегодняшнем подвиге Тихона Спиридоновича.

Отряду, которым командовал Жуков, попался на пути немец, который из окна хаты прямо в лоб морякам открыл шквальный огонь из спаренных пулеметов. Пришлось залечь, и плотно, — немец не давал поднять головы. Создалось очень сложное, опасное положение: моряки теряли свой главный козырь — внезапность удара. Вражеские солдаты могли каждую минуту опомниться, ринуться в атаку и смять маленький отряд.

Тогда, под этим сплошным ливнем пуль, с земли поднялся Тихон Спиридонович. В полусвете зари Жуков сразу узнал его длинную сутулую фигуру в кургузом пальто с короткими развевающимися полами. Пригнув голову, точно собираясь бодаться, он с противотанковой гранатой в руках пошел прямо на пулеметы. Жуков похолодел — это была верная, неминуемая гибель.

— Ложись, — сдавленным голосом закричал Жуков. — Ложись, черт длинный!..

Тихон Спиридонович не слышал. Пулеметы яростно рвели ему навстречу, озаряя сумрак судорожным красновато-желтым пламенем, а Тихон Спиридонович шел и не падал. Это было, как чудо, что он шел и не падал под таким огнем, точно был бесплотен. Пулеметчик, вероятно, и сам испугался, а Тихон Спиридонович, приблизившись к хате шагов на тридцать, вдруг подскокочил и бочком, бочком, мелкими петушиными шагами побежал на пулеметы, занеся над головой гранату.. Бросил — и остановился.

— Ложись! — завопил Жуков. — Осколки!..

И не закончил — голос его оборвался в страшном грохоте взрыва. Пулеметы смолкли. Моряки бросились вперед.

Жуков подбежал к Тихону Спиридоновичу.

— Цел?

— Цел, — ответил Тихон Спиридонович, жалостно улыбаясь.

Жуков внимательно осмотрел его.

— Пулея не задело?

— Нет.

— И осколком не тронуло?

— Нет, не тронуло..

— Удивительно! — сказал Жуков. —

Очень даже удивительно!.. Первый раз такое вижу. Теперь, Тихон Спиридонович, жить тебе до ста лет!..

Маруся поминутно прерывала рассказ Жукова ахами и охами, возгласами изумления и восхищения.

— И не страшно было вам?.. — спрашивала она Тихона Спиридоновича. — Как вы могли решиться?..

— Случай такой жалко было упустить.

Потом Маруся вместе с Жуковым и Тихоном Спиридоновичем пошла разыскивать своего итальянца. Очень хотелось сказать ему: — «Ну, макаронник, встречай! Звал ведь «въечер, восемь час» — вот я и пришла!..» Но итальянца среди пленных не оказалось — может быть, он с пробитой головой лежал где-нибудь под плетнем, а может быть, брел ночной неприютной степью, озираясь и вздрагивая от каждого шороха.

Через час отряд Никулина, к которому присоединились освобожденные из плена бойцы и человек тридцать местных колхозников, вышел из села в степь. Девочку доверили во внучки одной древней старухе, которая пообещала вырастить ее, как положено.

Ярко светила полная луна. Никулин окинул взглядом колонну.

— Сто девяносто два человека! — сказал он Фомичеву. — Сила!

НАШИ НАСТУПАЮТ

Теперь, имея под своим командованием сто девяносто два человека — целую роту, — Никулин мог действовать смелее.

Он решил не задерживаться в немецком тылу. Погуляла и хватит, пора честь знать, пора возвращаться к своим.

Отряд, передвигавшийся до сих пор вдоль фронта, повернул к немецким передовым линиям — на прорыв.

А на следующий день произошло событие, изменившее все планы и расчеты Никулина. В сумерки над селом, где отдыхал отряд, появился, пробив низкие грузные тучки, наш советский самолет и сбросил белую стаю листовок. Ветер подхватил их, понес над крышами и деревьями, — вдогонку с воплями и криками ударились мальчишки... А через десять минут село радостно и взволнованно загудело из конца в конец:

— Наши наступают!..

Да — наши перешли в наступление и погнали немцев. Советское командование извещало об этом жителей оккупированных районов и партизан, призывая помогать наступлению, бить врага с тыла, резать пути его отхода, взрывать мосты, портить дороги. «Мы должны не только отеснить, но и уничтожить немецкие орды!» — говорилось в листовке.

Наши наступают! Эти слова звучали, во всех дворах и хатах. Сбылось, свершилось, наконец, то, о чем люди непрестанно думали с затаенной, но никогда не угасавшей надеждой... Старый казак, хозяин хаты, где остановился Никулин, с торжествен-

ной медлительностью стал на колени перед образами и поклонился земно. За окнами ветер раскачивал деревья, хлестал в стекла дождем, шуршал очеретом на крыше, гудел в трубе; перед образами красной каплей светила лампада, старика почти совсем не видно было в полутьме, — слышался только горячий, то жалобный, то гневный шопот его. Никулин не шевелился, боясь помешать этой молитве, праведности и святости которой чувствовал сердцем... В тот памятный ненастный вечер многие старики и старухи молились перед образами, а кто помоложе, посильнее — доставали из стогов и кизячных штабелей густо залитые салом винтовки, гранаты, пулеметы, готовясь достойно попрощаться с немцами, проводить их с нашей земли прямо в землю!

Никулин, собрав моряков в свою хату на экстренное совещание, сказал:

— Поздравляю вас, товарищи. Красная Армия перешла в наступление. Значит, пришло и нам время наступать. Хватит от немцев укрываться, сторонкой их обходить, — теперь сами будем их искать и бить везде, где только попадутся. Остаемся в немецком тылу — наше место теперь здесь. Завтра разобью отряд на подразделения, назначу командиров. Завтра же направим письмо в Москву товарищу Сталину от имени всех бойцов отряда.

Когда моряки разошлись, Никулин сел за письмо и сидел долго — все казалось ему, что слова, ложась на бумагу, теряют свой накал и живой трепет. Он перечеркивал, писал и снова перечеркивал. Было уже поздно, когда Никулин закончил письмо. Волнуясь и запинаясь, он вполголоса прочел его вслух и опять задумался, не зная — удалось ли, наконец, найти горячие, настоящие слова. «Пусть так и остается, — решил Никулин. — Он поймет, он прочитает сумеет!»

Спать не хотелось. Никулин вышел на двор. Дождь кончился, тучи ушли, над землей стоял светлый лунный туман. Было сыро и тихо, ветер вздыхал только изредка. Вдруг Никулин вздрогнул и насторожился, уловив глухой слабый рокот; не шевелясь и напряженно вслушиваясь, он стоял долго, но рокот больше не повторился. Так и не поняв Никулин — то ли почудилось ему, то ли вправду донесся по ветру далекий оружейный раскат — голос нашего наступления.

КЛЯТВА

Утром, выстроив отряд, Никулин прошел вдоль шеренг, внимательно вглядываясь в лица своих бойцов.

— Товарищи бойцы! — сказал он. — Красная Армия наступает, нам это изве-

стно. Наша задача — бить врага с тыла, резать ему пути отхода. И я должен предупредить, что поведу вас на самые опасные дела, не считаясь с численностью противника и его вооружением, Бои будут жестокие, неравные, может быть, всем нам суждено погибнуть. Если кто чувствует слабость, сомневается в себе, — пусть скажет сразу, чтобы потом не создавать в бою паники, не подводить товарищей.

Передохнув, он закончил:

— Слушать мою команду! Те, которые в себе сомневаются, — на месте. А кто за советскую власть, за родину и за Сталина готов биться до смерти — шаг вперед!

Строй всколыхнулся и весь подался вперед. Прямо перед Никулиным, выкатив могучую грудь, стоял седобородый казак с серебряной серьгой в ухе и медалью «За трудовое отличие» на груди — какой-нибудь колхозный бригадир или паесечник.

— Так я и думал, что в моем отряде подобались настоящие люди! — сказал Никулин. — Спасибо, товарищи! Примем клятву верности. Повторяйте за мной: — Я, боец отдельного коммунистического морского отряда имени товарища Сталина, клянусь перед родиной, перед любимым вождем драться с фашистами за свою родную землю до последнего издыхания!

Строй ответил сдержанным, слитным гулом:

— ...до последнего издыхания!..

— Если изменю своим товарищам, своей родине, то да покарает меня смертью рука советского правосудия!

— ...рука советского правосудия! — грозно и предостерегающе, с торжественной силой отозвался строй.

Разбив строй на подразделения, Никулин назначил командиров. Фомичев, Жуков, Папаша, Крылов и Харченко получили по взводу. Командирами отделений встали тоже моряки.

Письмо, адресованное вождю, подписывали по старшинству. Первым подписал сам Никулин, за ним — командиры взводов, отделений и, наконец, рядовые бойцы, начиная с правого фланга. Маруся Крюкова — вечная левофланговая — подписалась последней.

— Ну как, Маруся, не раздумала? — спросил Никулин. — А то, может быть, с письмом другого человека пошла, а ты останешься в селе, подождешь наших...

— Нет, не раздумала, товарищ командир. Раз уж вы меня в бой не берете... а письмо я доставлю.

— Будь осторожна... А если уж случится беда — попадешься, тогда надо держаться...

— Не сомневайтесь, товарищ командир. Я клятву принимала — до последнего издыхания!

— Верю! Ну, прощай, Маруся! — Он крепко тряхнул ее руку. — Скоро увидимся...

— Обязательно увидимся, товарищ командир.

Тихон Спиридонович задержался около Маруси. Он был смущен, расстроен, фуражка его съехала на затылок, сырой холодный ветер шевелил выбившуюся на лоб рыжую прядь.

— Вот и пришлось нам расстаться, Маруся... А поговорить о самом главном я так и не успел с вами.

Он заглянул ей в глаза. Она все поняла и слегка покраснела. Коснувшись ее локтя, он повторил со вздохом:

— Не успел... Да и не посмел, признаться...

Такое сиротливое грустно-смешное сделалось у него при этом лицо, что Марусю вдруг в самое сердце толкнула горячая женская жалость. Оглянувшись, она приподнялась на цыпочки и, обхватив рукой его шею, неуловимо быстрым движением поцеловала в губы. Он испуганно отшатнулся, залился густой краской, ничего не видя сквозь туман, застывший глаза, а когда опомнился, — Маруся пересекла уже улицу, в последний раз прощально махнула ему рукой и скрылась. Он рванулся было бежать следом, но команда «стройся!» остановила его. Повинуясь привычке, он занял в рядах свое место, услышав справа: «восьмой», без задержки отозвался: «девятый!», — а в душе его творилось что-то ему самому непонятное, какое-то смятение и кипение разноречивых чувств — сердце его горело от радости и от горького сожаления, что счастье ушло и, может быть, навсегда, что оно не далось ему в руки, а лишь слегка опажнуло его лицо.

— Направо! Шагом...

Никулин оборвал команду, не закончив.

Далекий рокот, такой же, как ночью, повторился под ряд несколько раз. Его ясно услышали все бойцы.

Сомнений больше не оставалось: это рокотала наша артиллерия, это звучал изредка могучий голос нарастающего, неукротимого наступления!

Никулин повел свой отряд на зойд-ост, наперерез немецким отходящим частям.

А прямо на восток, прямо навстречу свирепому голосу небывалых боев, с ясным лицом и без ужаса в сердце, шла, освещаемая холодными косыми лучами восхода, маленькая девушка, постоянный левофланговый, Маруся Крюкова.

Разгромив мимоходом несколько мел-

ких вражеских частей, уничтожив сотню автомашин и десятка полтора танков, Никулин со своим отрядом вышел к реке, к той самой излучине, где фашисты, по слухам, спешно наводили переправу для своих отступающих войск. План Никулина был ясен и прост: выбрав момент, захватить подступы к переправе и держать фашистов на восточном берегу до тех пор, пока не подоспеют преследующие их части Красной Армии.

Командиры единодушно одобрили этот план; что же касается дерзости и риска, то о них вовсе не говорили — на то и война!

Проверить и уточнить обстановку Никулин поручил Фомичеву, сказав:

— Во второй раз, думаю, не попадешься. Ученый...

Дождавшись темноты, Фомичев отправился в разведку, взяв себе в помощь Тихона Спиридоновича — своего дружка.

...Они подружились недавно — после того памятного боя, когда Тихон Спиридонович в полный рост, с противотанковой гранатой в руке, пошел прямо на рвущие пулеметы. В глазах Фомичева подвиг Тихона Спиридоновича свидетельствовал, с одной стороны, о военной неопытности, а с другой — о несомненной отваге; будучи сам человеком отважным, Фомичев больше всего ценил в других людях именно это качество, — потому и сблизился он с Тихоном Спиридоновичем.

В их отношениях не было полного равенства: Фомичев держался слегка покровительственно, как старший; Тихон Спиридонович несколько не обижался и молчаливо признавал его превосходство.

— Если бы мне смолоду попасть на море! — мечтательным голосом гозорил иногда Тихон Спиридонович. — Совсем иначе сложилась бы тогда моя судьба, и характер был бы у меня другой.

— Это верно! — солидным баском подтверждал Фомичев. — Душа у тебя сухопутная. Ей до морской, до соленой еще далеко. Однако, если к своим попадем, — вместе на море поедем. Я тебя определяю: у меня кореша в каждом порту. Сначала на берегу послужишь, а там, гляди, в плаванье пойдешь. Хлебнешь морской водички — она, душа-то, смотришь и подсолилась!..

Тихон Спиридонович был человек пылкий, увлекающийся, — мысль о превращении своей сухопутной души в морскую завладела им безраздельно.

Когда Фомичев позвал его вместе с собой в разведку, Тихон Спиридонович просил от гордости: приглашение это он воспринял как высокую честь для себя. Ведь Фомичев мог взять в спутники любого бойца; выбор его свидетельствовал о том, что Тихон Спиридонович продви-

нулся уже далеко на пути превращения души из сухопутной в морскую.

Шли всю ночь; было холодно, опаленная морозцем трава легко похрустывала под ногами. На рассвете увидели впереди, метрах в двухстах, белую пелену тумана.

— Стоп! — сказал Фомичев. — Река.

Скоро взойшло солнце, разогнало туман, и глазам разведчиков открылась крутая излучина. Окаймленная камышами, она уходила далеко за холмы, поблескивая своей спокойной розовой гладью. Там, у холмов работали фашисты, наводя переправу. В бинокль были хорошо видны ряды понтонов, груды наваленных бревен и досок, грузовики, то-и-дело подползавшие к реке.

— Торопятся, — сказал Фомичев, передавая Тихону Спиридоновичу бинокль. — Видно, крепко жмут их наши.

... Тронулись в обратный путь — сначала по-над берегом, потом — лощинами, балками, промоинами, оглядывая время от времени горизонт. Тихо было в степи, плалы облака, и от них по бурой траве скользили светлые тени; в небе, распластав крылья, неподвижно висел коршун, покоясь на незримом воздушном столбе. Эта чистая высота, ширь и тишина наполняли Тихона Спиридоновича грустной жалостью; он шел и вспоминал Марусю Крюкову, сияясь разгадать тайный смысл поцелуя, который она подарила ему на прощание. Тихон Спиридонович вздохнул: теперь уж ничего не узнаешь до встречи... Увлеченный своими грустными и тихими мыслями, он забыл о немцах, о войне, даже о Фомичеве забыл, хотя все время видел перед собой его широкую спину.

Война поспешила напомнить о себе.

С немецкими солдатами столкнулись нос к носу, когда переходили из одной лощины в другую. Почти одновременно с обеих сторон загрели выстрелы, но Фомичев успел опередить немцев, — его автомат заговорил полусекундой раньше. Это решило исход молниеносной схватки: двое немцев упали, за ними ткнулся в землю и третий, последний: граната, которой он размахнулся, выпала из его руки и оглушительно лопнула, подкинув его тело. Тихон Спиридонович почувствовал сильный удар в плечо и в ногу, понял, что ранен, и бледный, перепуганный насмерть, повернулся к Фомичеву.

Моряк стоял на коленях, держась за голову, его щека и ухо были в крови.

— Вот чертовщина! — хрипло выругался он. — Лечь не успел, задело осколком...

Тихон Спиридонович посмотрел сонными тусклыми глазами и медленно опустился на землю. Перед ним плыли крас-

ные тени, голос Фомичева уходил куда-то все дальше в глухую глубину.

ИСПЫТАНИЕ

Он очнулся не сразу — сперва ощутил спиртной вкус и запах во рту, потом, открыв глаза, увидел над собой Фомичева с большой черной флягой в руках.

Перевязывая Тихона Спиридоновича, Фомичев шутил, посмеивался, но синеватые губы его то-и-дело кривились от боли и слабости, а глаза лихорадочно блестели под белой повязкой.

— Раны твои пустяковые, — утешал Фомичев. — Заживут в две недели под белой повязкой.

Тихон Спиридонович послушно встал — все опять закачалось и поплыло перед ним, как в сильном хмеле. Он пошатнулся. Фомичев подхватил его.

— Нет! — сказала Тихон Спиридонович. — Не могу...

Фомичев посмотрел на него с беспокойством. До своих оставалось еще не меньше пятнадцати километров, а время подвинулось уже к полудню.

— Держись, браток! Доползем как-нибудь. Не здесь же, у немцев под самым носом, оставаться.

Волоча раненую ногу, Тихон Спиридонович пошел. Через пятнадцать минут присел на сырой бугорок. Потом он стал присаживаться все чаще, — силы покидали его. Наконец он лег на траву и угрюмо сказал, что дальше не пойдет — хоть смерть!

— Эх, ты! — осуждающе сказал Фомичев. — А собрался в моряки записываться...

Тихон Спиридонович повернул к нему похуевшее землистого цвета лицо с темными подглазьями и крикнул тонким злобным голосом:

— Силы нет, понял! Сам бы встал, без тебя!..

Он попробовал подняться, но смог только сесть, да и то ненадолго — опять его потянуло к земле.

Фомичев постоял, подумал и, хлебнув для храбрости из фляги, опустился на колени, спиной к Тихону Спиридоновичу.

— Давай, браток, устраивайся...

— Не надо, — сказал Тихон Спиридонович. — Ты иди... Ты меня оставь...

— А командир что скажет? — рассердился Фомичев. — А ребята?.. Скажут — раненого товарища бросил. Давай, Тихон, садись, не томи душу.

Тащить на себе пятипудовый груз — это и для здорового человека работа не легкая. У Фомичева остро щемило в груди, мутилось в глазах, — дышал он трудно, с насадой и свистом. Вна-

чале он решил отдыхать по десяти минут после каждого километра, но на первом же километре ухотился так, что лежал пластом полчаса.

Тихон Спиридонович пожалел товарища, встал итти дальше сам, но очень скоро опять изнемог. Опять Фомичеву пришлось заваливать его на спину, а ноги тряслись, разъежались, кровь тяжело подкатывала к вискам.

К вечеру низкое солнце позолотило степь, еще шире распахнув ее на все стороны. Фомичев прикинул: километров пять прошли, не больше.

Задыхаясь, он присел, осторожно опустив Тихона Спиридоновича на землю. Ногам и плечам сразу стало легко, воздух свободно, свежо хлынул в грудь.

— Плохи наши дела. Слышишь, Тихон Спиридонович?

— Слышу.

— Удивительное дело — и крови потерял я немного, а слабость такая, что совсем одолела... Не донесу я тебя, Тихон. Силы нехватает.

Тихон Спиридонович молчал. Он лежал на боку, уткнувшись лицом в сгиб локтя.

Поксвившись, Фомичев сказал:

— Вдвоем нам здесь в степи оставаться нет никакого расчета...

— Я же говорил, — глухо, в землю отозвался Тихон Спиридонович. — Я там еще говорил...

— Понадеялся я на себя, да ошибся малость. Главное дело — ранение, а то бы я вмиг домчал...

«Ну что же, — подумал Тихон Спиридонович, слыша голос Фомичева неясно, словно сквозь ватное одеяло. — Пусть так... Все равно!..»

Если бы Фомичев мог проникнуть в мысли Тихона Спиридоновича, то, конечно, ни за что не оставил бы его в степи. Но Фомичев был человек простой — что думал, то и говорил, и так же прямо понимал чужие слова, не стараясь разглядеть в их глубине второго скрытого смысла.

— Здесь место хорошее, укрытое, — говорил Фомичев, — в кустарнике никто не увидит. Да и ночь скоро... Очень хорошее место.

— Да, хорошее... — повторил Тихон Спиридонович. — Очень хорошее место...

— Один я мигом дойду, — продолжал Фомичев. — Доложу командиру, возьму бойцов и с носилками — обратно. Небось, не помрешь за ночь-то!

Приподнявшись на локте, Тихон Спиридонович посмотрел на своего друга и сказал:

— Я понимаю. Ты иди, Фомичев... Ты иди...

Фомичев неловко усмехнулся.

— Силы, понимаешь, нехватает!.. Если

бы не ранение — тогда дело, конечно, совсем другое!

— Ты иди! — повторил Тихон Спиридонович с напором в голосе. — Иди, Фомичев!..

— Да уж придется. Другого нет выхода...

Фомичев наломал веток, нарвал полыни, устроил Тихону Спиридоновичу подстилку.

— Зипун я тебе оставляю, а мне самому на ходу и так тепло будет. Вот коньяк тебе, а это фляга с водой... Хлеб, сала кусок. Автомат, гранаты, наган в порядке?

— Спасибо... В порядке наган.

— Ну, прощай!..

— Прощай!..

Тихон Спиридонович на секунду задержал руку Фомичева в своей руке, вздохнул и затих на подстилке.

Он слышал удаляющиеся шаги — шорох сухой травы и хруст веточек под сапогами; потом встала вокруг тишина, время остановилось, — Тихон Спиридонович остался один.

Над ним была чистая бездонная глубина, такая спокойная, что ему сразу хорошо стало на сердце; все кончилось, ни о чем не надо хлопотать и никуда не надо спешить. Он лежал, смотрел в небо и словно бы тихо растворялся в нем, рассеивался голубым туманом, и сам для себя, со всей своей жизнью, мыслями и чувствами становился постепенно как бы далеким воспоминанием, которое не терзает сердце, а лишь сжимает его слегка. — «Ну, и пусть! — подумал он. — И совсем не страшно...» Ему и в самом деле было совсем не страшно. Он закрыл глаза. На него слабо тянул понизу мягкий ветер, холодя щеку.

Минуты или часы прошли в забытьи — он не заметил, но когда снова открыл глаза, то не увидел сквозной и спокойной голубизны над собой, — небо опустилось и потемнело, утратив свою прозрачность, а по горизонту, между лиловыми завалами туч, протянулось тонкое и длинное оранжевое перо яркого огня.

Хотелось пить. Тихон Спиридонович нашарил флягу и поднес ко рту. Попался коньяк — все равно! — он хлебнул раз и другой, как воду, не чувствуя вкуса и крепости. Вскоре голова истомно закружилась, мысли прояснились и пещли вблескивать, сменяя одна другую и угасая бесследно. Тихон Спиридонович грустно усмехнулся, вспомнив Фомичева, — утешать взялся, вот чудак! А хороший был парень... Он вспоминал Фомичева, как вспоминают давно умерших или уехавших без возврата в дальние края, — словом, как вспоминают близких, встретиться с которыми больше не суждено.

Так же отдаленно вспомнил он Никулина, Жукова, Папашу, потом в неясной смутной дымке встало перед ним лицо Маруси Крюковой, и он в своем сердце не ощутил ни боли, ни тоски, ни порыва.

Это были те страшные минуты в человеческой жизни, которые старят и охлаждают сердце, замедляют его биение, наполняют вялым старческим безразличием, как холодным пеплом. Не очень крепск, видно, был стебель, на котором держался в жизни Тихон Спиридонович, и сейчас этот стебель пересыхал стремительно.

Он выпил еще коньяку и, оглушенный им, скользнул в черную пропасть, где не было ни мыслей, ни воспоминаний, ни видений.

...Очнулся он уже глубокой ночью. В холодной пустоте неба точно тянуло порывистым ветром — звезды мерцали неровно и дрожаще, то разгораясь, то снова тускнея. Беспредельным холодом веяло студа, нестерпим был этот ледяной звездный свет, а кругом стояла черная непроницаемая тишина и темь. Тихон Спиридонович приподнялся, посмотрел, ничего не увидел и сам почувствовал, что глаза у него безумные. — «Эй!» — крикнул он слабо и дребезжаще, — голос его рассеялся без следа в этом великом звездном холоде. Тогда он понял, что погиб, — он понял это с неотвратимой, безвозвратной ясностью и ужаснулся. «Захар! Эй, Захар! Фомичев!» — позвал он и заплакал, вспомнив, что Фомичев ушел от него...

Ему стало так безнадежно и страшно, такую предельную подавленность и обреченность ощутил он в себе, что не мог больше ни думать, ни рассуждать — оцепенел в тоскливом изумлении, плача слезами обиды и бессилия. Над ним повисла темная тысячелетовая глыба, готовая вот-вот оборваться — и некуда было убежать или спрятаться; с заледеневшим сердцем он ждал, боясь поднять глаза к звездам...

Он был уже мертв, хотя еще и шевелился, и всхлипывал, и дрожащими руками хватал поминутно флагу с коньяком.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТИХОНА СПИРИДОНОВИЧА

Те же яркие звезды, дрожащие трепетным, неровным огнем, то разноцветно вспыхивая, то опять тускнея, словно под сильным ветром, светили и Захару Фомичеву, когда он, одолев последний овраг, выбрался на глухой проселок, ведущий прямо к своим.

Фомичев был ранен тяжелее, чем показало ему вначале.

...Он дошел, а как — не помнил и сам.

— Ого! — сказал Никулин, увидев при свете карманного фонарика бурую от застывшей крови повязку на голове Фомичева, и под ней — осунувшееся иссиня-меловое лицо с запавшими глазами, торчащими скулами и сухими запекшимися губами.

— В порядке, — прохрипел Фомичев; в горле его засипело и булькнуло. — Разведали...

— Где Вальков?

— Там остался...

Фомичев покачнулся. Папаша подал ему кружку, наполненную чаем пополам с вином. Он выпил жадно и сел тут же, прямо на землю. Никулин приказал отвести его в свой командирский шалаш.

— Давай фонарик поближе, — сказал Фомичев, когда они остались вдвоем в шалаше. — Вот смотри... — Он достал из кармана записную книжку. — Здесь у них переправа, здесь — траншеи в обе стороны по берегу, а по буграм дзоты.

— Может быть, отдохнешь сначала? — предложил Никулин. — Утром разберемся.

— Некогда мне до утра ждать, — сказал Фомичев и вздохнул с бульканьем и клочкотанием в груди. — Здесь у них зенитная батарея, а здесь вторая. Вот видишь — я пометил...

Он рассказывал подробно и ничего не забыл. Книжку свою он отдал командиру. Ее картонная обложка вся пропотела и липла к рукам.

— Теперь, командир, давай мне шесть бойцов.

— Зачем тебе? — Никулин посмотрел на Фомичева с беспокойством: уж не бредит ли?

Фомичев удивился в свою очередь.

— Как зачем? — Что ж я, один пойду? А тащить кто будет?

Никулин сообразил, что речь идет о Тихоне Спиридоновиче.

— Значит, жив?.. А я думал, убили.

— Жив... Там остался, в кустах. Силы нехватало тащить его.

— Да-а-а, — протянул Никулин и крепко потер затылок, скрипя волосом. — Ты что же консервы не ешь? Может, подогреть?

— Не идут. Дюже устал... — Глаза Фомичева слипались, и он глядел на фонарик с усилием, не мигая. — Ты, командир, дай мне бойцов, которые поздоровет. Далеко, десять километров, а то и все двенадцать.

— Да-а-а, — повторил Никулин и положил ладонь на лоб Фомичева. — Жар у тебя... Пышет лицо.

— Пышет, сам чую, — согласился Фомичев. — И во рту тоже сохнет... Плохо вот, носилок нет у нас. На винтовку придется.

— Куда ты пойдешь? — сказал Никулин. — Ты с ног валяешься.

— Это верно, — опять согласился Фомичев. — Слабость ододела. Как добрался, и сам удивляюсь...

Кривясь от боли, он придвинул к себе какой-то мешок, прилег на локоть и расправил ноги, зашуршав сапогами по стенкам шалаша. Сейчас же веки его, отяжелев, опустились — через минуту он спал.

Но это уснул не он, а только его тело, разум же и воля продолжали бодрствовать, оберегая его морскую воинскую честь, — он вздохнул, встрепенулся и, подняв голову, сказал тягучим сонливым голосом:

— В сон клонит... Однако, время не ждет. Давай, командир, бойцов.

— Они, может быть, без тебя найдут? — нерешительно спросил Никулин.

— Пойду...

— Только я тебе не шесть бойцов дам, а двенадцать. Потому — обратно вас обоих нести придется.

— Наверное, придется, — согласился Фомичев. — Давай двенадцать — надежнее будет.

...Кому известен предел человеческих сил и выносливости? Взглянув на Фомичева, всякий сказал бы, что он не пройдет и двухсот шагов, а он прошел и двести, и триста, и четыреста, прошел километр, второй, третий...

Он впал в забытие на ходу, в какой-то смутный полубред, порой он совершенно перестал чувствовать самого себя, — и тогда оставалась только степь в светло-мглистом тумане поздней луны. Потом ощущение реальности возвращалось к нему — возникала тяжесть тела, гул в ушах, рядом возникали сдержанные голоса бойцов. Он тревожно осматривался — не сбился ли с пути?.. Станным покажется, но он ни разу не ошибся в поворотах, не запутался в буераках, кустарниках и оврагах — какой-то участок мозга работал неуслышно и вел его по заданному курсу точно.

— Здесь, — наконец сказал Фомичев. Бойцы остановились.

— Тихон! — негромко позвал Фомичев. Ни звука в ответ. — Тихон! — повторил он, и опять никто не ответил.

Пошатываясь, раздвигая руками кусты, он прошел еще несколько шагов. Впадина, в которой оставил он Тихона Спиридоновича, была наполнена густой тенью. Опустившись на колени, Фомичев достал фонарик и, прикрыв его полый бушлата, чтобы часом не заметили немцы, зажег. Голубоватый резкий луч упал на пепельно-серую землю, покрытую опавшими листьями, скользнул по сапогам Тихона Спиридоновича, блеснув на людюках, по выношенной с короткими рукавами железнодорожной шинели, и остановился, осветив закинутую голо-

ву, искаженное предсмертной судорогой лицо с мертво поблескивающими зубами и наган в закостеневшей холодной руке.

...Много прошло времени, дело подвигалось к утру, начало подмораживать, на сухую траву пал иней. Бойцы ежились, покашливали, но не осмеливались торопить Фомичева. А он при свете фонарика неотрывно смотрел в мертвое лицо Тихона Спиридоновича и молчал, ошеломленный огромной, небывалой обидой.

— Тихон! — сказал он требовательно и громко. — Ты за что меня обидел, а? Что я тебе плохого сделал, Тихон? Как ты мог подумать, как ты смел!..

И, лишая Тихона Спиридоновича своего доверия и дружбы, он закончил:

— Нет, не морская душа была у тебя, Тихон! Нет, не морская!..

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Марусю допрашивал сам комендант — грузный, тучный румын с оплывшим лицом, мясистым носом и томно-сонными глазами на выкате.

При обыске у Маруси нашли письмо. Дальше было все очень просто: комендант выполнял свои обязанности, а Маруся — свои. Он требовал, чтобы Маруся рассказала ему о передвижении отряда, о дальнейших планах Никулина, она в ответ говорила, что ничего не знает, или просто молчала. Румын сердился, орал, стучал по столу револьвером и щелкал курком; Маруся была спокойна, зная, что все это входит в обязанности коменданта, равно как в ее обязанности входит не пугаться криков, угроз и щелканья курком. И еще она знала, что комендант будет мучить и пытать ее, она же обязана дерпеть — словом, все для нее было предельно ясным, когда она, придерживая пальцами разорванный воротник блузки, стояла перед румыном.

То ли устал румынский комендант от ежедневных пыток, воплей, стонов и казней, то ли спешил куда-то, а может быть, по глазам Маруси, понял, что от нее все равно ничего не добьешься, — но только на этот раз он пренебрег своей обязанностью пытать и мучить людей, сказав:

— Как хотите, мадемуазель, молодая партизанка. Мы рано утром завтра будем тебя весить!..

После допроса ее втолкнули в низенькую темную комнату — три шага в ширину, пять в длину; окно было заложено кирпичом и только сверху светилась крохотная — руки не просунуть — щелочка. Дверь закрылась. Лязгнув засов. Маруся медленным взглядом обвела серые с зеленоватыми подтеками стены, в которых ей предстояло провести последние часы своей жизни.

Она не обманывала и не утешала себя ложными надеждами, что вот, именно в эту ночь, налетят наши, выбьют румын из села, освободят и спасут ее. Она знала, что так часто бывает в книгах, а в жизни почти никогда.

В камере не было ни стула, ни табуретки, садиться на холодный цементный пол ей не хотелось, и она принялась ходить из угла в угол, думая о своих боевых друзьях, оставшихся там (она даже в мыслях избегала называть деревни и села), о Никулине, Жукове, Папаше, Тихоне Спиридоновиче; иногда она оставалась, чтобы в сумрачном полусвете прочесть какую-нибудь надпись на стене.

Много было здесь всяких надписей — и коротких, и длинных, снабженных подробными адресами и просьбами сообщить родным, и безыменных с одними лишь инициалами. «Умираю победителем! Да здравствует Родина! Да здравствует Победа!» — вслух прочитала она; под этими двумя строчками была подпись: «Партизан У.»

«Отомстите за меня, за кровь детей и женщин! Смерть врагам культуры, прогресса и гуманизма! Сергей Никифоров, народный учитель, 63-х лет». Ниже: — «Не забывайте. Мы требуем от вас, остающихся жить, расплаты полной мерой за наши муки и смерть. Раиса Голодаева, агроном». Еще ниже: «Погибая, вижу зарю победы! Прощайте. Проклинаю немцев, благословляю родной народ — живи счастливо, радостно и не забывай меня. Врач Степан Огарев». Под всеми тремя надписями значился общий адрес и одна дата. «Значит, все трое — и учитель, и врач, и агроном — были из одного села: в одно время их взяли, вместе заперли в этой камере, и вместе они умерли». Маруся принялась размышлять о них.

Маруся была молодая веселая девушка, и жить ей очень хотелось, — она потому и старалась поменьше думать о своей смерти, что сердце ее от этих мыслей начинало томиться, холодеть и сжиматься толчками в невыносимой тоске. Что это было — страх смерти? Нет, скорее сожаление о жизни, которую Маруся любила безмерно.

Возможно, что, попади она в другую камеру или в эту же самую, но со свежесмытыми стенами, ей в глухом одиночестве было бы много труднее ждать своей смерти, и возможно, что тогда эта смерть, заслонив все остальное, показала бы Марусе великим событием. Но в этой камере Маруся не могла думать о своей смерти, как о великом событии, потому что стены рассказывали о десятках прервавшихся жизней, каждая из которых — думала она — была для мира много ценнее ее

простой маленькой жизни. Ну, кто она такая? Простая конторщица Маруся Крюкова с незаконченным средним образованием, не совершившая еще ничего замечательного... А до нее умерли врач, агроном, народный учитель шестидесяти трех лет; может быть, прошел через эту камеру профессор или знаменитый артист, — и тоже умер непреклонным бойцом за свободу и честь родной земли.

Она мелкими острыми зубками старательно обгрызала отросший в походе ноготь на указательном пальце и задумалась — что выцарапать? Она начала было свою надпись словами: «Да здравствует», — и застеснялась этих громких слов, под которыми уместна была бы подпись партизана У., но ее подпись неуместна! Постояв в наморщенным лбом и сосредоточенным видом еще немного, она нацарапала: «Я ничего не сказала. Прощайте! Маруся Крюкова».

Она не сознавала своей великой нравственной силы, и ей никогда не могло прийти в голову гордиться своей способностью дышать или умением говорить по-русски. Эта сила была присуща Марусе и потому не замечалась ею. Эта сила была настолько неисчерпаема в ней, что она тихо и даже с лукавством улыбнулась, вспомнив Тихона Спиридоновича, а потом нахмурилась и упрекнула себя, что, девичье озорства ради, понапрасну смугила его душевный покой, заставила зря волноваться и думать, томиться, быть может, бессонницей. Она беспокоилась о его бессоннице, стоя сама на грани вечного сна!

...Темнело, надписи слились с посеребрёнными стенами, луч, пробивающийся сквозь щель вверху, порозовел, солнце садилось, надвигалась ночь. За стеной в караульном помещении глухо слышались голоса румынских солдат, взрывы грубого хохота. Маруся закрыла глаза и закачалась, как в лодке; ей представилась широкая, безмятежная речная гладь, камыши, кусты, нависшие с берега, мягкий, ласковый шелест ветра. И она всё плыла, плыла, не шевеля веслами, по тихому и ровному течению... Она засыпала.

Глубокой ночью ее разбудил гогот и топот за дверью, лязг засова, скрежет ключа в замке. Дверь открылась, и при скудном свете фонаря она увидела ватагу пьяных румынских солдат. Она не сразу поняла, зачем они пришли, а когда сообразила, то ужасно испугалась и растерялась — к этому испытанию она не была готова, об этом не подумала своим чистым умом.

КАЗНЬ МАРУСИ

Когда перед рассветом румынские солдаты, натешившись вдоволь, наглумив-

шишь и надругавшись над Марусей, наконец, ушли, она, как в тинистую бездонную топь, погрузилась в беспросветное отчаяние. Брезгуя собой и с отвращением сознавая свою оскверненность, она не шевелилась, чтобы не чувствовать тела, которое было противно и тягостно ей.

...Прошел час, второй, третий, в щели наверху забрезжил холодный водянистый свет; он начал алеть, окрашивая собою верхний угол и потолок. А Маруся все лежала, не шевелясь, ее плечи не содрогались больше. Она затихла, в ее разуме и душе в эти часы последнего рассвета шла великая и напряженная работа возрождения.

Как бы вознаграждая Марусю за все испытания и муки, судьба дала ей в эти последние часы пережить и познать все, что может пережить и познать человек, — и давящую тяжесть безысходного отчаяния, и первый слабый проблеск внутренней духовной силы, и разрастание этого проблеска в луч, в поток, и, наконец, разлив его в сияющее море, в котором и осквернение ее тела, и предстоящая смерть утонули бесследно, как крошечка, не всплеснувши и не оставив даже кругов...

С душой, переполненной таким вот немеркнущим светом, и встала Маруся с пола, когда пришли вести ее на казнь.

Влажный, пахучий ветер освежил ее и слегка опьянил после душной вонючей камеры. Она улыбнулась ветру, небу, облакам и деревьям. Она могла улыбаться, потому что знала свою самую главную истину, а истина эта заключалась в ее неразрывном единстве, в слиянии с миллионами русских людей, которые, сообщая и помогая друг другу, делают одно великое дело — иные оружием, иные трудом, иные выдержкой и терпением, а иные, как, например, она, — молчанием, верностью и своими страданиями! И еще эта истина заключалась в том, что, в конце-концов, все люди умирают, и, следовательно, в этом событии нет ничего, что делало бы умирающего сегодня несчастнее тех, которые умерли вчера или которым предстоит умереть завтра; и важно не то, когда и где человек умирает, а, во-первых, за что он умирает, и, во-вторых, какой след он оставляет в мире по себе.

Поглощенная радостно-изумленным созерцанием того, что, сверкая и сияя, светило в ее душе, Маруся только мельком замечала дорогу: вспорхнувших воробьев, дикий и странный взгляд женщины с грудным ребенком на руках, рыжего пса, выщелкивающего зубами блох из мохнатой ляжки. Конвойных солдат, окруживших ее, Маруся не видела и не хотела видеть, — эти солдаты

были из того другого темного мира, который она покинула навсегда сегодня в рассветные часы.

На базарной площади она увидела два столба с перекладиной, тонкую веревку, узкие длинные козлы и перед козлами — толстый чурбак. «Это для меня» — подумала она привычными словами, но смысла в них вложила другой — что все это приготовлено для ее тела. Подойдя ближе, она заметила, что на перекладине было еще два пустых крючка — значит, вешали и по-трое. Она вспомнила врача, женщину-агронома и народного учителя шестидесяти трех лет... Безразличным, пустым и невидящим взглядом скользнула она по коменданту, стоящему у виселицы, и он, такой же преступник и скот, как его солдаты, сразу налился злобной ненавистью к ней.

Румыны согнали к виселице местных жителей, некоторые женщины плакали и отворачивались, солдаты, грубо ругаясь, грозили им оружием, заставляя смотреть. «Почему они плачут», — с недоумением подумала Маруся и, придерживая юбку, раздуваемую ветром, неуловимо гибким целомудренным движением шагнула на чурбак, а с чурбака — на козлы, как по лестнице.

Теперь она стояла высоко и видна была всем. Следом поднялся на козлы румынский солдат — палач — и приблизился к ней, прогибая своей тяжестью доски, — она почувствовала легкую пружинистую зыбь под ногами. Палач сорвал с нее жакетку, бросил на землю и, загнув Марусе руки за спину, скрутил веревкой. Она ясно взглянула в лицо палачу, и он отвел взгляд своих свинцово-тусклых, нетрезвых глаз, и его уши с пушком, золотящимся на солнце, налились кровью.

Он ждал, избегая смотреть на Марусю. А комендант что-то медлил. Палач дышал тяжело и громко. Маруся слегка отстранилась. Запах перегара был ей неприятен. Палач покосился на нее исподлобья. Он был в числе тех, которые ночью вошли к ней в камеру, и даже был первым среди них, и там горел фонарь, и она видела его лицо и должна была запомнить, и она не помнила, не узнавала и совсем не боялась. Все это было странно, непонятно палачу — и так же, как солдаты — конвойные, он смотрел на Марусю с удивлением и страхом. Руки его тряслись, когда по знаку коменданта он взялся за петлю.

— Не плачьте! — крикнула Маруся женщинам, желая утешить их. — Наши близки, наши наступают!..

Комендант кивнул палачу — заткни ей рот! Румын, оскалившись, ударил Марусю кулаком в лицо, и она захлебнулась хлынувшей кровью. Он торопливо начал надевать ей петлю на шею, но веревка

в его руках путалась, и Маруся сама помогала ему движениями головы. Надев петлю, палач спрыгнул на землю и обеими руками, с придыхом, сильно рванул подставку из-под ее ног.

ПАЛАЧИ БЕГУТ

Все кончилось. Ушли румыны, разошлись и крестьяне, между столбов виселицы на тонкой прямой веревке одиноко и страшно темнел холодеющий труп, слегка раскачиваясь под ветром. К полудню собрались тучки, покروпили редким дождем, а к вечеру опять прояснило, и закат встал такой спокойный, чистый и тихо торжественный, словно это разлилась в небе прозрачная морем золотого огня молодая светлая душа Маруси.

Когда закат потемнел и угас, по дороге мимо виселицы промчался мотоцикл и остановился у здания комендатуры. Связист в кожаном шлеме и поднятых на лоб очках вручил коменданту срочный пакет. Через пять минут в комендатуре началась переполюх. Мотоциклист привез сообщение о том, что красные прорвали вторую линию обороны.

Комендант в таких случаях умел действовать без промедления! С треском вылетали ящики письменных столов, открывались шкафы, во дворе запылали костры. Солдаты бросали в огонь пачки дел, донесений, приказов, отчетов, докладов. А в село уже вливался поток истрепанных отступающих войск; пушки, повозки, грузовики сталкивались, сцеплялись, толкались; фырчанье моторов, грохот кованых колес, ржание лошадей, хриплые вопли и ругательства шоферов, возниц, солдат, стоны и проклятия раненых, которых здоровые солдаты выбрасывали из грузовиков прямо на дорогу, — все это сливалось в один тревожный, нарастающий гул.

Вдруг весь этот гул, шум и гам покрыл одинокий отчаянный вопль:

— Русские танки обходят!

И все дрогнуло, смешалось, закрутилось, понеслось в темноту, в ночь, и уже ничего нельзя было разобрать в этом мятущемся хаосе, никто никого не слушал, никто ничего не знал, все мчалось, бежало, кричало и вопило, — началась паника.

...На рассвете, выбив из села последние арьергарды румынского прикрытия, вошла одна из наших частей.

Бойцы с ухватистой и деловой солдатской хозяйственностью сразу же принялись устраиваться. Загорелись по всему селу костерки, задымили печи, закипели котелки, чугуны, кастрюли и самовары. Всюду слышался громкий оживленный говор и смех бойцов.

На площади у виселицы стояли три

командира — майор с морщинистым, утомленным лицом и два молодых лейтенанта. Два бойца, взобравшись на козлы, снимали с виселицы мертвое тело Маруси — один слегка приподнял его, второй высвобождал шею из петли.

По дате в надписи, что оставила она в камере, узнали ее. Узнали также, что она ничего не сказала.

— Значит, знала что-то, — задумчиво сказал майор. — Знала и не сказала. И к населению обратилась с призывом. Эта девушка — героиня, ее надо похоронить, как полагается по-военному.

Ее похоронили на сельском кладбище, с воинскими почестями и салютом из десяти винтовок. На дощечке, что водружена была над ее могилой, майор написал:

«Мария Крюкова. Замучена и повешена фашистскими негодяями. Она погибла героически, не выдав врагу военной тайны, которую хранила свято, как подобает каждому бойцу. Отомстим за нее. Вперед, на врага!»

Возвращаясь с кладбища, майор сказал:

— Часов на двенадцать мы опоздали, а то могли бы ее выручить, да и румын прихватить. А теперь они давно уже переправились и дуют где-нибудь на том берегу...

Навстречу майору быстрым шагом шел его адъютант. Вытянувшись, доложил:

— Товарищ майор, получено сообщение. Румынские части задержаны на восточном берегу. Переправа захвачена каким-то неизвестным партизанским отрядом.

У ПЕРЕПРАВЫ

Никулин захватил переправу с налета, перед самым рассветом, когда по мосту уже началось движение отходивших румынских войск. Пехота, грузовики, повозки, орудия тянулись непрерывной смутно чернеющей лентой, — она выползала из узкой размытой лощины, стиснутой крутыми глинистыми обрывами, спускалась по косогору к реке, над которой плотной пеленой стоял белесый пар, и устремлялась по мосту.

Никулин ударил яростно, внезапно; отряд выскочил на румын с воем, свистом и гоготом, рассек надвое темную ленту войск и остановил ее движение. Румыны, уже вступившие на мост, спасаясь от хлесткого продольно-сквозного огня пулеметов, вопя и крича, сталкивая друг друга в реку, ринулись на западный берег. Остальные смешались на восточном берегу и темным клубящимся валом хлынули обратно в лощину, сминая задних, внося панику и смтение в их ряды. Бойцы Никулина тем временем быстро, по заранее объявленному порядку

(пригодилась книжка Захара Фомичева), занимали траншеи, дзоты, блиндажи, располагаясь с многочисленной охраной.

Через десять минут отряд закрепился на восточных подступах к переправе. Сам Никулин со взводами Папаша, Жукова и Фомичева занял главную позицию в центре, у выхода из лощины; правый фланг с траншеями, подходящими дугой к обрыву берега, занял Крылов, левый — Харченко.

— Ловко, товарищ командир! — радостным и гордым голосом сказал Фомичев, поправляя повязку на голове. — Прямо, как по нотам разыграли!..

— Обожди радоваться, — хмуро остановил его Папаша, немного суеверный, как и полагается старому моряку. — Не видишь, какая сила их собралась.

Они стояли в глубокой траншее, у чернеющего входа в командный пункт, расположенный под землей. Никулин молчал. Его слегка знобило от нервного напряжения. Самое главное начиналось теперь. Он понимал, конечно, что имея двести человек и вступая в бой с тысячами, он не может ставить перед собой иных целей, кроме выигрыща времени. В десятый раз он спрашивал себя, правильно ли рассчитал время, не слишком ли рано ударил, не преждевременно ли ввязался в бой, успеют или не успеют румыны, обескровив и уничтожив отряд, прорваться к мосту раньше, чем подоспеют наши?

С тревогой в сердце Никулин отметил, что у него осталось сто восемьдесят пять человек. Каждый был на счету, каждая винтовка значила в этом бою больше, чем целый танк в других условиях.

Вернулся Жуков, которого Никулин послал проверить фланги, доложил, что все в порядке. Между тем, румыны, успевшие перебраться через реку, начали приходить в себя и открыли огонь. Западный берег ожил, заговорил, опоясавшись вспышками, тускло взблескивающими сквозь туман. Над Никулиным тонко и горячо пропела пуля, вторая, потом прошелестела пулеметная очередь. Никулин нахмурился и опустился на сидение, вырубленное в стене траншеи: он боялся какой-нибудь случайной шальной пули.

В жизни каждого человека обязательно бывает самый главный решающий день, как бы подводный итог всему предыдущему — делам, чувствам, мыслям, день большого экзамена, великого испытания. Для Никулина такой день настал. О том, уцелеет он сам в бою или нет, он вовсе не думал — это был вопрос второстепенный, даже третьестепенный рядом с основной целью: задержать попавшегося в ловушку врага, добить его! Напрягая до предела всю силу воли

и разума, Никулин всецело сосредоточился только на одной этой мысли, все иное отошло, отодвинулось, освобождая место главному.

Он приказал установить в гнездах еще два спаренных пулемета из своего резерва. Бойцы кинулись выполнять приказание. В это время воздух со звенящим грохотом раскололся, и перед бруствером встал, сверкнув острым пламенем, черный косматый столб. За ним, почти без промежутка, встал, с таким же коротким сверканием, второй косматый столб.

Румыны, застрявшие на восточном берегу, опомнились и пустили в дело оружие.

Бой завязался.

Пять минут огня... Семь минут... К Никулину уже несколько раз подбегали докладывать об убитых и раненых... Десять минут огня, да такого, что даже бывалые бойцы, помнившие Одессу и Севастополь, поеживались. Румыны, видимо, решили покончить дело одним ударом. Огонь усиливался, учащался, слепя и оглушая бойцов, закидывая их косями подмерзшей земли. Солнце только-только вставало и еще не тронуло тумана, стоявшего над рекой, но здесь, у моста, он начал расходиться сам, без солнца, от бешеной канонады, сотрясавшей и землю, и воду, и воздух. Он испуганно колыхался, редел, и, окрашиваясь палево-алым светом восхода, таял, образуя сквозной пролом в своей молочно-белой стене. В этом ревущем и грохочущем проломе постепенно открывалась река, гладкая по краям, со струистым быстрым течением посередине, с белыми бурунами у понтонов. Дальше из редющего тумана выступала плоская низина западного берега, заросшего мелким кустарником. Справа же и слева туман стоял попрежнему густо, закрывая видимость.

Двенадцать минут огня... Тринадцать... Четырнадцать... Когда же атака? На пятнадцатой минуте взвились ракеты — сигнал. Оба берега одновременно прекратили оружейный и минометный огонь, рев и грохот затихли, остались только очереди пулеметов и автоматов, но это было — как тишина. Никулин прильнула грудью к холодному, покрытому инеем откосу траншеи. В низких прозрачных лучах, в сотне метров от него возникла подымающаяся с земли цепь атакующих. Такие же цепи возникли справа и слева. Румыны пошли в атаку.

— Огонь! — скомандовал Никулин; он был бледен, сердце его колотилось... «Огонь! Огонь!» — понеслось по траншее. «Огонь!» — отдалось на правом и левом флангах, у Крылова и Харченко. Навстречу румынам ударил наш огонь.

Он был густым и губительно метким. Румынам не удалось пробежать и пятнадцати шагов — огонь придавил их к земле. Понемногу, некоторые пригибаясь, а некоторые ползком, они начали отходить за рубеж. Фомичев со злым и напряженным лицом редко, расчетливо стрелял из полуавтомата, сердито покашливая, когда пули его настигали цель.

Нет, это не была еще атака — только пробная вылазка. А к переправе беспрерывно подтягивались новые вражеские части. Теперь перед Никулиным скопилось не меньше двух вражеских полков, не считая тех, что успели перебраться на западный берег. Но численность противника не занимала никакого места в расчетах Никулина. Он вел бой за выигрыш времени.

Он решил по мере возрастания своих потерь сжимать линию обороны, держа людей в одном кулаке.

Подожел Фомичев, сказал:

— Много полегло наших. Человек, небось, тридцать.

— Сорок четыре человека.

Фомичев протяжно свистнул.

— Крепко!.. А еще и часа не держимся.

— Час и двадцать две минуты, — поправил Никулин, взглянув на часы: он любил точность.

НЕРАВНЫЙ БОЙ

Начался штурм — на этот раз настоящий. К переправе подтянулись немецкие части. Ложилась одна волна, скошенная огнем, — возникала вторая, третья, четвертая...

В дело пошли гранаты — любимое оружие моряков. Земля загремела, вздыбилась перед фашистами. Но и сквозь эту стену грома, пламени, осколков прорвались они. Впереди был офицер с багровосизым лицом, без фуражки, с черными волосами, слипшимися на лбу.

Боевой порыв поднял Никулина, легко переметнул через бруствер. «За мной!» — крикнул он, обернувшись к своим бойцам, и ринулся со штыком на перевес вперед. Офицер на бегу поднял автомат и выпустил очередь. Никулин отпрянул в сторону, пули прошли рядом, — и раньше, чем офицер успел поймать его снова на мушку, метнулся длинным стежком прыжком, устремив перед собой штык. Офицер вскрикнул, схватился, перегнувшись, за винтовку. Штык пронзил его насквозь, и он рухнул. Четверо солдат, споздавших спасти офицера, с озверелыми лицами надели на Никулина. Он пятился, отбиваясь, — и полечь бы ему, да выручил Захар Фомичев: с ревом, с налитыми кровью глазами подскочил он, перехватил винтовку за ствол и пошел крушить тяжелым прикладом направо и

налево, вмиг опрокинул двоих солдат, расколол череп третьему, а с четвертым управился сам Никулин.

Фашисты не выдержали рукопашной схватки — сдали, попятились, покатались. Бойцы, разгорячившись, кинулись было за ними, но голос Никулина вернул их в траншею.

— Жарко! — сказал Никулин, вытирая рукавом бушлата потное лицо. — Ну, Захар, спасибо, — не забуду век!

— А зачем лезешь? — сердито отозвался Фомичев. — Без тебя управились бы...

Он весь был еще полон боя, руки тряслись, губы подергивались, повязка на голове почернела от земли, дыма и пота.

— Сходи на левый фланг, — крикнул Никулин. — Погляди, что там у Харченко. Если мало осталось бойцов, — веди всех сюда.

Фомичев, пригнувшись, побежал по траншее.

Он вернулся вместе с Харченко. Оказалось, что по левому флангу ударила немецкая отборная полурота. Дело дошло, как и в центре, до рукопашной. Немцев отогнали, но у Харченко осталось всего восемнадцать бойцов. Он привел их к Никулину. Харченко морщился и поминутно ощупывал голову.

— Прикладом угодил немец, — пояснил он, — хорошо, что я увернуться успел, вскозь пришлось.

— А немец?

— А немец не успел увернуться...

— Сто четырнадцать бойцов осталось у нас, — сказал Никулин. — Как ты смотришь, Фомичев, на это дело?

— Куда же теперь деваться? — ответил Фомичев. — Они ведь, румыны, тоже не безрукие... Но только к мосту их, все равно, не пустим, — добавил он решительно. — Один останусь, а буду держать!

Он пригнул голову, уперся взглядом в землю.

— Пекёт мне сердце... Так пекёт — нет никакого терпения. И что ни дальше, то хуже... в куски бы рвал!

— Возьми себя в руки, — сказал Никулин. — Если со мной что случится — тебе командовать. Не забывай...

В девять часов утра подступы к переправе находились все еще в руках Никулина. В его же руках находились они и в десять часов утра, и в одиннадцать... Это может показаться невероятным! Фашисты по численности и вооружению превосходили отряд Никулина не в десять, и не в двадцать, и не в пятьдесят, а в сотни раз; казалось, они должны смять горстку храбрецов мимоходом, не задерживаясь, даже не замедляя своего движения. Между тем, они застряли у переправы и не могли двинуться. Никулин не пускал их.

Измотанный, потерявший две трети своего состава, отряд Никулина продолжал сражаться с еще большим ожесточением и непреклонностью, вопреки всем арифметическим выкладкам.

...В одиннадцать сорок румыны опять поднялись в атаку. Она была отбита, как и все предыдущие. В строю у Никулина осталось пятьдесят два бойца. Он сам получил две пули — одну в плечо, вторую — пониже, в руку. Папаша и Фомичев перевязали его.

— Навылет? — спросил он, кривя побелевшие губы.

— Навылет, — ответил Папаша, мигнув Фомичеву. Он не хотел тревожить Никулина и не сказал, что верхняя пуля застряла в кости.

Голоса у Никулина закружились, он покачнулся на широкой земляной скамье, все перед ним затянулось серой пеленой, свет померк. Он услышал голос Папаша:

— Фомичев, давай скорее флягу!..

— Ничего, — с усилием выговорил Никулин. — Я сейчас... Ничего...

Лицо его стало еще бледнее. Он поднял веки. В сером тумане мутно и расплывчато возникло перед ним лицо Папаша. Никулин сердито стиснул зубы, — этого еще не хватало! Он — командир и не имеет права терять сознания во время боя. Ему удалось преодолеть свою слабость, свет перед ним прояснился.

— Людей остается у нас мало, — сказал он. — Еще одну атаку отобьем как-нибудь, а дальше — не знаю... Мост надо взрывать! — закончил он решительно.

БЕССМЕРТИЕ ИВАНА НИКУЛИНА

До сих пор Никулин берег мост: пригодится своим, когда подойдут. Теперь приходилось взрывать.

Фомичев крепко выругался:

— Да где же наши? Что они там — на волах ползут?!

Он не знал, что в это время наши части, направлявшиеся к переправе, добивали в степи немецкую танковую группу — из шестидесяти пяти танков только двенадцать сумели вырваться и сейчас на полной скорости шли к реке.

— Что-то они затевают, — настороженно и подозрительно сказал Никулин. — Мост надо взрывать, другого выхода нет. — А как ты к мосту подберешься? — отозвался Папаша.

— Да-да-да! — сказал Никулин. — Правильно, к мосту подходов нет... С того берега тоже бьют. Что же нам делать теперь? — Он медленным внимательным взглядом обвел лицо своих командиров. — Значит, пройдут румыны?

Командиры молчали. Папаша хмурился, Фомичев, сузив глаза, смотрел на

спящую от солнца гладь реки с мерцающим быстраком на середине.

— За что же тогда мы столько людей положили? — горячо и порывисто сказал Харченко. — За что, если румыны все равно пройдут? — Голос его странно дрогнул. — Только, товарищ командир, разреши мне! Я попробую. Может быть, доберусь!.. Я по-над самой водой под водой, по кромке...

— Куда ты доберешься? — оборвал его Фомичев. — На тот свет сразу ты доберешься, больше никуда.

— А что же теперь? — вскинулся Харченко, даже слегка подпрыгнув. — Значит, зря братишки погибли?

Фомичев, морщась, досадливо и тяжело отмахнулся.

— Не егози ты... Юзжит над самым ухом, только думать мешает. Не мешай ты, за ради бога! С берега к мосту пойти нельзя. — неторопиво сказал Фомичев. — Даже и пробовать нечего — толку все равно не будет. Значит, надо как-нибудь в обход. Военную хитрость надо применить.

— Водой? — подхватил Никулин, обрадованный тем, что его мысли находят себе подтверждение в словах Фомичева.

— Точно! — сказал Фомичев. — Другого пути к мосту нет. А плавать умеем — не зря матросы... Если берегом сейчас отползти вверх по течению метров на полтора, да потом впасть удариться — река сама к мосту вынесет, к средним понтонам.

— А гранаты? На себе?

— Плотик маленький можно сделать. Гони, да гони его перед собой, вот и все. Вода — она скроет. Солнышко даже слепит — не разглядят на середине... И я так полагаю, товарищ командир, что для верности надо послать двоих. С одним что случится — второй заменит.

— Кого же пошлем?

— Да сам я и пойду, — просто сказал Фомичев. — Сухопутного человека посылать нельзя — плавает плохо, а вода нынче ледяная. Сухопутный человек такого дела исполнить не может.

— А второго? — спросил Никулин.

Папаша, до сих пор молчавший, тяжело и шумно вздохнул.

— Давай уж я, товарищ командир...

Никулин задумался.

— Неохота мне тебя посылать, Папаша.

— Что так? Не доплыву, боишься? Я в молодых годах Керченский пролив перемахивал.

— Лучше бы из холостых кого-нибудь. Или вот, как Захара, у кого семья перебита.

— Поди, уж не бросят семью, — серьезно сказал Папаша. — Ведь не лес дремучий, не волк кругом — свои люди. Ты об этом не сомневайся, товарищ коман-

дир, — мою семью в колхозе не обидят. Сын, к тому же старший, в прошлом году курс окончил на профессора. Поддержит...

Приготовления закончились быстро. Папаша спустился в землянку командного пункта, где лежали раненые, принес обломки досок и свою кожаную сумку с деньгами. Фомичев принялся сколачивать плотик. Папаша, передавая Никулину сумку, сказал:

— Двенадцать с половиной тысяч здесь да еще мелочь — позабыл сколько. Счета и расписки там разные — в середине, в клеенку завернуты. Химическим карандашом писаны, расплываются от сырости, так я их в клеенку...

Помолчав, он добавил:

— Там же и адрес.

Фомичев, стоя на коленях, закручивал своими сильными пальцами проволоку, скреплявшую доски.

— Готово!

Он встал, отряхнул с брюк налипшую землю.

Никулин взглянул на плотик.

— Маленький, не поднимет. Гранаты — они веские, да одежда ещё...

Папаша и Фомичев промолчали. Никулин понял, что они не предполагают грузить на плотик одежду.

— Нет, это вы зря, — ответил он так, как если бы они сообщили ему о своем решении словами. — Одежду надо обязательно взять. Мало ли как бывает...

Оба они опять промолчали.

Никулин ничего больше им не сказал. Уложив гранаты в мешок, Фомичев протянул Никулину свою большую темную руку.

— Ну, товарищ командир, погуляли мы хорошо, жили дружно. Да вот — пришло мое время...

— Прощай, Захар!..

Они посмотрели друг другу в глаза. Фомичев угадал мысли Никулина и усмехнулся.

— Не в этом самое главное, товарищ командир! Все в порядке, ты не сомневайся... Самое главное...

Он не договорил, да и не нужно было ему договаривать: Никулин понял и так. Папаша простился по-старинному, троекратно поцеловавшись.

Забрав мешок с гранатами и плотик, они ушли. Никулин приказал открыть пулеметный огонь, чтобы отвлечь внимание румын. Эта предосторожность была не лишней, хотя вправо и влево от моста по берегу тянулся густой ивняк, которого румынские саперы не успели вырубить.

Время шло, тикали часы в руках Никулина. Мысленно он был с Папашей и Фомичевым. Румыны не обнаруживали никаких признаков того, что заметили их

продвижение в кустах. Значит, благополучно. Уже доползли, наверное, и сейчас, лежа на берегу, раздеваются, грузят гранаты на плотик, а одежду свою оставляют...

— Харченко! — сказал Никулин. — Ты бы наведася в землянку, поглядел, как там раненые.

Харченко ушел. Никулин, оставшись один, сел на вырубленное в земле сиденье и отвернулся лицом к сырой земляной стене...

Потревожили Никулина фашисты. Они вдруг оживились, зашумели, закричали, многие, позабыв осторожность, вскакивали и размахивали шапками, стоя на виду в полный рост. Огня между тем они не открывали. Все это было странно, непонятно и заставило Никулина насторожиться. Он смотрел вверх бруствера, стараясь разгадать причины столь радостного оживления.

Долго думать и гадать ему не пришлось!

— Танки! — сказал Харченко, и лицо его покрылось сероватой бледностью. Никулин вскинул бинокль в ту сторону, куда он указывал, и увидел танки с вражескими опознавательными крестами. Мысль его работала напряженно и ясно, как никогда. Вот оно, самое трудное, великое испытание на сегодняшнем большом экзамене его жизни! Вот оно пришло — самое главное и большее, о чем не договорил, прощаясь, Фомичев...

— Гранаты мне! — скомандовал Никулин, чувствуя, как все его существо наполняется силой, светом и легкостью. Он принял в здоровую правую руку связку гранат, бегом осмотрел их.

— Жуков, остаешься командовать. Последнее мое приказание тебе — не пускать! Стой до последнего!

Осененный какой-то чудесной и до сих пор ему неведомой силой, он чувствовал, что все, что он делает, — это правильно, несомненно и не может быть сделано никак иначе. С полной несомненностью он знал свою победу. наших войск все еще не было, но внутренним зрением он уже видел их так же ясно, как если бы видел глазами. Они были рядом, совсем близко, и румыны уже никуда не могли теперь уйти от гибели.

Семьдесят метров отделяли траншею от узкого горла лощины. По Никулину ударили автоматы и пулемет. Он бежал, необъяснимо, но твердо зная, что эти пули ему не опасны. Так же необъяснимо он почувствовал опасную очередь и залег. Пули прошли как-раз над ним и ударились в землю, шагах в четырех позади. Он вскочил и побежал дальше.

В лощине, в самом узком ее месте, он увидел выбоину, налитую до половины водой, и лег в эту выбоину. Он не по-

чувствовал воды и холода от нее, потому что ему было не важно и совсем не нужно это чувствовать. Гранаты он держал на весу, над водой. Он услышал железный шум надвигающихся танков.

Танки шли по узкой лошине гуськом. Когда передний надвинулся вплотную, — горячая светлая волна подхватила Никулина, и он, чувствуя всем своим существом, с неопровержимой ясностью и несомненностью, что перед ним не смерть, а бессмертие, — поднялся из выбоины и легко бросил свое тело под гремящие гусеницы.

ВПЕРЕД, НА ЗАПАД!

Этот взрыв, после которого передний танк подпрыгнул и, развернувшись, встал поперек лошины, загородив собою дорогу остальным танкам, услышали все бойцы в траншее.

Услышали и Фомичев с Папашей.

Они заложили свои гранаты с обеих сторон среднего понтона, на стыках мостовых звеньев. Они переговаривались через понтон, не видя друг друга.

— Готов? — прокричал Фомичев. Быстряк тащил его, и он держался за проволоочный трос. Звучно пела вода, несла пузыри и белую пену.

— Погоди, — ответил голос Папаша.

На берегу усиливалась стрельба, слышались крики «Атакуют!» — сообразил Фомичев.

Румыны атаковали. Поняв, что все их надежды на танковый удар лопнули, они вконец остервенели и пошли напролом. У моста завязался рукопашный бой. Харченко, дважды раненый, взял на штык толстого унтера, ударил назад прикладом, еще одного румына принял на штык. Рядом дрались Жуков, кочегар Алеха, упал старый казак с медалью «За трудовое отличие» на груди.

— ...Скорей ты! — крикнул Фомичев на ту сторону понтона. — Слышишь! на мост прорываются!..

— Готово!

— Считаю до трех!

— Давай!

Фомичев взялся за торчащую из связки рукоять гранаты.

— Раз!

— Раз, — отозвался Папаша с той стороны понтона.

— Два! Три!..

И, дернув рукоять гранаты, Фомичев изо всех сил пошел выгребать по течению, инстинктивно стремясь отплыть подальше от взрыва. Но далеко ли отплывешь за четыре секунды?..

Мост, глухо рывкнув и дрогнув, сверкнул вдруг на середине пламенем, вздыбился и окутался черным дымом...

Вырванное из середины, изуродованное и разбитое звено отделилось и, тяжело колыхаясь на волнах, пошло вниз по течению, сопровождаемое обломками, щепками, среди которых невнятно мелькнуло раза два что-то белое... Фомичев то был или Папаша, или просто свежесотесанный поперечный брус?.. Вода, торжественно гудя, с напором устремилась в широкую брешь и потащила разведенные концы моста наискось по течению..

Румыны яростно завывали. Они уже выбили наших из траншей, прижали к берегу. Еще одна надежда оставалась у них — восстановить мост. Но последние сорок метров, отделяющие румын от моста, были непреодолимы.

— Держись, Харченко?

— Держусь, Жуков!

Упал кочегар Алеха. Немного осталось бойцов — всего человек тридцать, — когда к реке вышли наши подоспевшие танковые соединения и казацкие лихие полки. Вся эта лава, гремя железом, полыхая огнем, сверкая и вспыхивая на солнце клинками, обрушилась на румын...

После того как переправа с обеих сторон была полностью очищена от врагов, за дело взялись наши саперы. Они свели разошедшиеся концы моста, соединили их; к рассвету мост был восстановлен, и по нему началось нескончаемое движение наших войск.

На Запад, на Запад, вперед, в наступление! Нескончаем был поток пехоты. Фырча моторами, тянулись грузовики. На Запад! На Запад! Гулкий досчатый настил, отзываясь на этот призыв, гудел и звенел под копытами казачьих коней. На Запад, за честь и свободу родной земли! Понтоны, хлюпая водой, оседали под тяжестью огромных танков, казавшихся в тумане еще более огромными и тяжелыми. Шли пушки — большие и маленькие, противотанковые и зенитные, шли минометные соединения, за ними — опять пехота, и снова казаки, танки, пушки, и опять пехота, пехота, пехота!..

Туда же на Запад вместе с войсками шли матрос Харченко, матрос Жуков и другие бойцы из отряда.

★

На этом, собственно, и заканчивается история о жизни и бессмертии черноморского минера Ивана Никулина и его боевых друзей.

КРАСНЫЙ КАМЕНЬ

Рассказ

В. СТАРИКОВ



1.

В глухую ночную пору в деревню вошел боец-пехотинец Иван Мохнашин, отставший от своих и долго скитавшийся один по трущобным псковским лесам. Он осторожно постучал в окно крайнего дома и попросился на ночлег. Старик, расспросив, кто он и откуда идет, открыл дверь.

Мохнашин остановился у порога избы и спросил:

— Немцев в деревне нет?

— Не бойся, солдат, — сердито сказала старуха. — Далеко ушли немцы.

Обидные слова больно задела его, но он смолчал.

— Куда же ты теперь, солдат, идешь? — спросила старуха.

— До своих, — глухим простуженным голосом ответил Иван.

— Быстро же ты идешь, — язвительно сказала она. — Уж сколько ваших через деревню прошло... Думали все, а вот и еще один явился.

— Ты, мамаша, дала бы мне чтонибудь на ноги. Сопрели у меня портянки, месяц сапог не снимал.

Старуха, невидимая в темноте, громынула крышкой сундука и бросила ему что-то под ноги. Нагнувшись, Иван нашарил рукой шерстяные носки и молча стал переобуваться. Голодный и злой, он чувствовал себя одичавшим от долгих скитаний и не собирался уступать старухе. Он не ждал, что его встретят, как родного и желанного человека. Не за что! Но и попреков старухи не хотел слушать. Чем виноват он, что немцы разбили их часть, рассеяли по лесам бойцов? Он не собирался кончать войну, не думал ни о плене, ни о родном доме. Даже винтовку нес с собой, две запасных обоймы еще хранились в подсумке.

А хозяйка, видать, попалась не из добрых.

— Голодный? — спросила она так, что впору было отказать.

— Да уж не сытый.

— Слазь-ка в погребницу, достань мочка солдату, — сказала она старику.

И пока тот лазил, она положила на стол хлеб, нож, достала чашку.

— Ну, иди к столу, — сказала старуха. — Только огня не задувай. В темноте теперь живем, а тут еще, неровен час, увидят, кто у нас, и головы нам не сносить.

А когда Мохнашин наелся и в сытой дреме отвалился к стене, она сказала:

— Веди его, Ефим, в баню. Все дальше от чужих глаз.

Захватив во дворе попаре снопов, старик и Мохнашин вышли в темь ночи, прошли тропкой, огородами, все вниз, мимо кустов, к бане. Невидимая, рядом плескалась река. В маленькой баньке было тепло, пахло мятой и въевшимся в бревна запахом распаренного березового листа.

— Как тебя звать, папаша? — спросил Мохнашин тихого и молчаливого старика.

— Ефим Яковлевич, — ответил тот. — А тебя? Ты, Иван, не сердись, на старуху. Крута она на язык, а в делах мягкая. Ты не суди ее, что баба в войне понимает.

— Хозяйка... — неопределенно сказал Иван, раструшивая по полу солому.

— Табаку, наверное, нет, — доверительно сказал Ефим Яковлевич, видимо, не решавшийся в избе предложить ему закурить. — На, закури, у меня и бумага есть.

Они свернули по цыгарке, старик высек о кремень огонь, и они закурили. Огоньки, разгоравшиеся при затяжках,

освещали на миг темное скуластое лицо Ивана и черную бороду старика.

Старику хотелось смягчить неласковый прием, поговорить с красноармейцем о войне, отвести в беседе душевную тоску. Он не судил его так строго, как Наталья; знал по прошлой войне, что бывают поражения и отступления. Старуха по-бабьи несет иногда несусветное, а не знает, как тяжело на душе у солдата, отбившегося от части, от товарищей, от ротной кухоньки, от командира.

— Ты не горюй, — сказал он. — Добьешься до своих. А мать Россия велика, не одолеть ее немцу. Пришли они сюда, тут и останутся.

— Я не горюю, — сонно ответил Иван. — Я еще немцев бить буду.

— Вот, вот... Ну, спи, — с сожалением, что не удался душевный разговор, сказал старик, затаптывая ногой цыгарку, — а завтра я тебя лесочком мимо немцев проведу, а там — свободная дорога, только шагай..

— Как ваша деревня называется?

— Красный Камень.

Иван. — Красный Камень? — удивился.

Иван. — Так и мою деревню зовут.

— Сам дальний?

— Дальний. С Урала.

Старик ушел, а Мохнашин, задвинув палку в скобу двери, вместо запора, загнал патрон в ствол винтовки, улегся на соломе, накрылся шинелью, закрыл глаза, но уснуть не мог.

Вот поди ж ты, и здесь деревня Красный Камень! Это разволновало вдруг Ивана. Воспоминания не давали ему уснуть. Они шли в обратном порядке. От таинственной сени опочечки лесов, от болот с одуряющим запахом гонобобеля, от озер, затерявшихся в камышах, — пристанищах диких уток. — цепочка воспоминаний тянулась к тому последнему горячему бою на реке, когда они потеряли веселого молодого командира — капитана Мартынова, убитого осколком мины, к тихой смерти своего друга Васи Кунчик, простреленного автоматной очередью в живот. А за этими тяжелыми воспоминаниями вставал веселый июльский полдень, когда всей деревней провожали их на войну, лихо играла гармонь, стучали о землю каблучки, девочки с песнями шли за ними и непонятны были слезы старух.

Сон вдруг навалился на него душной тяжестью.

Кто-то прошел мимо Ивана, он услышал скрип половиц, вскочил и схватился за винтовку. Старуха стояла возле него. «Вот ведьма, как она вошла?» — подумал он, вспоминая, что, заложив палку, он попробовал, туго ли держится дверь.

— Крепко спишь, солдат, — сказала она.

Скупой свет хмурого дня лился узкой полоской сквозь маленькое оконце в черную закопченную баню. Старухе было лет под шестьдесят, все лицо ее было изрезано морщинами. В руке она держала узелок.

Иван молча смотрел на нее. «Ох, злая...» — подумал он, заметив, какие у нее темные и недобрые глаза.

— Исхудал же ты, — сказала она. — Щетиной, как еж, зарос. — И Мохнашин невольно провел ладонью по запавшим колючим щекам.

Развязав узелок, она расстелила на лавке платок, выложила мясо, хлеб, яйца и поставила крынку молока.

— Поешь тут, а из бани никуда не ходи. Как затемнеет, старик придет и проводит тебя.

Она еще повозилась в бане, переставила деревянные шайки, поправила кирпич в каменке и ушла. Мохнашин подошел к двери. «Как она вошла?» Секрет был прост. Оконце открывалось, если повернуть в сторону гвоздь, а рука легко дотягивалась до скобы в двери. На таком запоре, видно, всегда и держали баню.

В оконце виднелась неширокая река с крутыми обвалившимися берегами, а на той стороне по горе поднимался березовый понурый лесок, иссеченный осенними дождями. Темная вянущая трава блестела; видно, недавно прошел дождь. Скучный, хмурый осенний день.

Иван сел на лавку и, хоть горек хлеб, поданный неласковой рукой, поел и стал ждать вечера, опять завалившись на полок.

Скучно тянулся этот день. Пошел дождь. Иван сидел у окна, по которому сбегали водяные струйки, чистил винтовку и слушал, не идет ли кто.

Стемнело, когда он услышал шаги в сенцах.

— Пойдем, — сказал Ефим Яковлевич. — На, возьми, — сунул он в руки Мохнашина мешок. — Старуха на дорогу припас собрала.

Затянув поверх шинели ремень, взяв в левую руку винтовку, поправив за плечами мешок, Иван вышел вслед за стариком на улицу. Скользкой тропкой они прошли берегом реки, по шатким мосткам перебрались на другую сторону и скоро свернули в лес, где дождь шумел сильнее. Темень была такая, что Иван задевал плечами деревья, оступался в ямины с водой и удивлялся, как это его проводник в такую ночь находит дорогу.

Так часа три шли они лесом.

— Теперь недалеко, — сказал старик. — Тут за леском плотина будет, а за ней и лежит твоя дорога. Сведу я тебя к леснику, а он уж дальше путь укажет. Деньков через пять будешь у своих.

— Спасибо тебе, отец, — тепло сказал

Иван. — Такое спасибо.. Обидно было, что могу в этих лесах пропасть. Мне бы только до армии добраться. Одна у меня теперь мысль: бить немцев, пощады им не давать, пускать им коричневую кровь.

— Возьми-ка табачку на дорогу. — Старик пихнул ему в руку кисет с табаком. — Бейте его, скорее к нам возвращайтесь. Тяжело в немецкой неволе жить. Старосту у нас на деревне немцы поставили. Был у нас тут до колхозов мельник Ивакин. Самого-то усадили на север, а немцы где-то его сына откопали. Ходит он теперь по деревне, над народом смеется, новыми порядками грозит. В соседнем селе немцы публичный дом открыли. Ивакин девок описывает, говорит, что трех девок мы немцам должны поставить, — и он замолчал, засопел носом.

— Придем, отец, тогда уж не сдобровать Ивакину, — обещающе сказал Мохнашин.

Лес кончился, и они вышли на дорогу. Потянуло речной сыростью. Грязь чавкала под ногами, дождь струился по лицу.

Старик вдруг потянул Ивана за руку и опустился на землю.

— Никак кто на плотине стоит, — шепнул он. — Неуж немцы?

Он долго лежал, всматриваясь и вслушиваясь.

— Немец ходит, в каске. Не выйдет, парень, надо назад подаваться.

— Один? — шопотом спросил Иван.

— Не поймешь, кажись один.

— Держи, — решившись на что-то, произнес Мохнашин и сунул в руки старика винтовку. — Жди меня тут, — и он пополз по дороге.

Ладони его окунались в грязь, волочились тяжелые полы набухшей шинели, промокли брюки, но он полз и полз, иногда останавливаясь и всматриваясь в темень. Зорки были стариковские глаза, если из такой дали увидели немецкого часового.

Возле плотины, справа, темнела будочка, но немцу что-то не сиделось в ней и он похаживал взад и вперед по дороге, напевая. Мохнашин лежал в канаве, наполненной водой, и выжидал. Финский нож он переложил в карман шинели и старательно вытер правую руку, чтобы рукоять не скользнула в ладони. Немец загоразивал ему дорогу, немец мешал пройти к своим.

Он бесшумно приподнялся, сделал несколько шагов и присел. Когда часовой дошел до него и повернулся, Мохнашин вскочил, и, как клещами, схватил его за шею, не удержался и вместе с немцем повалился в грязь, не разжимая рук. Немец хрипел и дергался, автомат, висевший на шее, мешал ему. Но воротник шинели не давал Мохнашину стис-

нуть сильнее шею шуплого и слабосильного немца. Мохнашин и сам задыхался, словно и его кто-то держал за горло. Быстрым движением он на мгновение отпустил шею часового, упираясь ему коленкой в грудь, выхватил нож и всадил его так, что хрустнули ребра. Но и в этот короткий миг солдат успел закричать диким, полным смертного ужаса голосом.

Его услышали. Где-то близко хлопнула дверь, мелькнула полоса света. Мохнашин сорвал с немца автомат и с ножом в руке побежал по дороге. Сзади уже топали ноги и поднялась беспорядочная стрельба.

— Сюда! Сюда! — крикнул старик, и Мохнашин свернул с дороги на голос Ефима Яковлевича и, спотыкаясь, побежал по полю.

Сзади гремели выстрелы, трассирующие пули, как жуки, чертили воздух. Оглянувшись, Мохнашин увидел мелькающие огоньки на плотине и возле дома. Это немцы освещали себе дорогу карманными фонариками.

Старик с Иваном уже достигли леса, когда над плотиной взвилась в небо осветительная ракета, залив мертвенным зеленым светом пустое поле с редкими кустами, плотину и мельницу. Ракета погасла, и они ходко пошли лесом, продираясь сквозь кусты, прислушиваясь к выстрелам.

— Убил немца, отец, и автомат унес, — восторженно сказал Иван. Он не верил, что все кончилось так быстро и счастливо. — Ну, наделал я тебе беды.

— Не уйди теперь тебе.

— Сегодня не ушел, завтра уйду. А немца-то убил.

— Как бы нам, парень, до света домой успеть, — тревожно сказал Ефим Яковлевич.

Он казался напуганным всей этой историей и все оглядывался назад. Ходко шли они лесом, выстрелы уже смолкли, ничего не было слышно, только дождь шумел над лесом.

Рассвет застал их возле самой деревни. Только вошли они в баню, как появилась старуха. Видно, она не спала ночь, дожидаясь старика.

— Немцы дост на плотине поставили, — виновато сказал он.

— Ой, Ефим, наделает он нам беды.

— Сегодня другой дорогой поведу, — примиряюще сказал Ефим Яковлевич. Они ушли, а Мохнашин вытащил из-под лавки вороненый тяжелый автомат, ласково похлопал его по прикладу, пересчитал патроны в обойме. Тридцать два патрона! С этим оружием он чувствовал себя сильнее. Нож был в крови, и Мохнашин почистил его о землю, вытер о полу шинели и насухо о солому. Достав из мешка припасы старухи, он, помянув ее добрым словом, закусил и

решил лечь спать. «А ловко все это вышло» — подумал он и засмеялся.

Но надо было что-то сделать с дверью. Мохнашин осмотрелся, нашел палку, приставил ее к окну, а шайку привалил к ней боком. Теперь, если кто вздумает открыть оконце, отодвинет палку, она свалит со скамьи шайку. Сонным его не застать.

Разбудили его истошные женские крики. Он вскочил с полка и подбежал к оконцу, но отсюда видны были только река и расшумевшийся под ветром лесок. А вопли и голошенье над деревней не стихали. И крики эти, словно ножом, резали ему сердце. Скинув палку и открыв дверь, он прошел в дощатые сенцы и припал лицом к широкой щели. На улице женские голоса были еще слышнее, да и ветер был со стороны деревни. А сквозь щель он видел лишь соломенные крыши изб и вскопанные огороды, где валялись, словно клубки спутанных веревок, картофельные плети. Потом раздался длинный сухой треск автомата, и сразу наступила тишина. Дрожь сотрясала тело Мохнашина, он порывался выйти и понимал всю бесполезность этого шага.

Низкое серое небо висело над деревней и огородами, осенний холодный ветер свистел в щелях и ворошил над головой соломой. Может быть, только чудилось, что на деревне голоса и причитают, словно по покойнику. Ничего нельзя было разобрать. Мохнашин все сидел в сенцах, вслушиваясь, так и не поняв — ветер свистит или на деревне и в самом деле голоса по мертвому.

В этих сенцах и застал его Ефим Яковлевич, когда в темноте, как и накануне, пришел за ним в баньку.

— Пошли, парень, — убито сказал он.

— Что у вас там было?

— Беда немецкая приходила, — с трудом произнес старик. — Говорил я тебе про трех девок для немецкого публичного дома. Вот и увезли их на потеху и забаву немецкой солдатни. наших девок проститутками делают. — Ему трудно было говорить, и голос его прерывался.

— Зачем же дали? Отбить не могли?

— Эх, парень, против винтовок и автоматов что сделаешь? Собирайся-ка. Дальняя у нас дорога будет.

— Надо бы с хозяйкой проститься.

— Покойницу обмывает. Убили они Дарьку, за дочь вступилась. Мужика-то дома нет, придет с войны, а ни жены, ни дочери. Да и еще трое малолетков осталось. Как вырастут?

И опять они двинулись в путь, обогнули деревню и долго шли мягкой полевой дорогой. Небо вызвездило, коромысло Большой Медведицы над головой указывало им путь на восток, туда, где сейчас гремели бои с немецким врагом.

Что-то вдруг зашумело вдали, и они свернули, притаились в кустах.

Басовитый шум быстро нарастал. Невидимые самолеты гудели в вышине. Рев их был ровный, грозный.

— Свои, свои летят немцев стукать, — взволнованно шепнул Мохнашин старику.

Здрав головы, они смотрели в звездное небо, стараясь увидеть хоть тень самолетов и слушая этот милый сердцу рев. Вскоре гул стих, а затем они услышали отдаленный грохот разрывов, увидели всполохи огня и бледное зарево, как будто луна всходила из-за горизонта.

— Это они Чихачево бьют, — уверенно произнес старик. — По немецким поездам метят, сказывают, много их там ходит. Как же они дорогу находят, по звездам, что ли?

— У них, папаша, приборы такие, что и до немецкой столицы доведут. Эх, отец, повоеюем мы еще с немцами, поплачут еще они от войны.

— Ну-ка, помолчи...

Он слышал что-то подозрительное.

— Немцы едут, — уверенно сказал старик. Теперь и Мохнашин услышал побрякивание железа, скрип колес и ненавистные немецкие голоса. Обоз двигался им навстречу широкой полевой дорогой. В темноте уже замелькали огоньки папирос.

И то, что немцы так спокойно едут ночью по русской земле, покуривая и болтая, а они прячутся, словно волки в кустах, наполнило такой злобой сердце Мохнашина, что он властной рукой взял за локоть старика и потащил его в сторону бугра над дорогой.

— Ложись, — приказал он.

— Ты что задумал, парень? — прикрикнул старик.

— Молчи, — резко сказал Иван. — Стрелять будем. Вот тебе винтовка. Стреляй по моей команде.

— Оставь, парень!

— Один стрелять буду, а не пушщу немцев.

Обоз был совсем близко. Огоньки папирос медленно плыли в черноте и, казалось, надвигались прямо на них. Мохнашин лежал рядом со стариком, крепко прижав к плечу удобный автомат, и считал немцев про себя. Он не видел, но чувствовал, что и старик крепко прижал винтовку и следит за немецкими огоньками. «Десять...» — досчитал про себя Мохнашин и тихо и протяжно сказал: — Огонь... — и нажал спусковой крючок.

Короткий треск автомата на миг оглушил его. И тут же грохнул винтовочный выстрел. Мохнашин опять пустил короткую очередь, и опять грохнул выстрел. Он видел, как огонек папиросы описал крутую дугу, он слышал перепу-

ганные крики солдат, ругань, команду, и он бил по этим голосам, и казалось, что вся широкая равнина наполнилась грохотом выстрелов.

Немцы еще не сделали ни одного выстрела, когда автомат вдруг сухо щелкнул, и Мохнашин понял, что патроны в обойме кончились. Он поднялся во весь рост, встал и старик, и они отбежали к кустам, и тут только первые пули, как стрижи, просвистели у них над головами. Пригнувшись, они побежали дальше. Позади них творилось что-то невообразимое: галдеж не стихал, хрупели лошади, трещало дерево. Одна, видимо, вырвавшись, скакала по полю, и солдат бежал за ней и кричал. Немцы палили длинными очередями, рассыпая веером трассирующие пули.

Старик и Мохнашин уходили все дальше и дальше от этого разноголосого шума и трескотни выстрелов. Немцы не рещались преследовать их.

— Ну, парень, рисковый ты, — сказал Ефим Яковлевич.

— Стукнули хорошо. Молодец, Ефим Яковлевич. Служим Советскому Союзу! В другой раз так не поедут.

— И опять ты у нас остался.

— Съест нас с тобой хозяйка.

2.

Ефим Яковлевич сидел на лавке и щурил карие глаза, посмеивался важно в черную бороду и рассказывал:

— Вот, парень, дело какое ночью было. Едет, сказывают, немецкий обоз, везут там шнапс, водку свою, муку, крупу, ну и всякую муру-буру. Едут они этак спокойно, немецкие сказки рассказывают, здешние места хвалят, хороший, дескать, и мирный народ здесь живет. А тут и почали в них стрелять, по людям, по лошадям. Били их били, всю ночь немцы отстреливались. А когда за светало, увидели немцы, что никого уже нет кругом — ни живых, ни мертвых. А у них раненные стонут, мертвые лежат, лошади разбежались, телеги поломаны, водка растекалась, мука с солью смешалась. Хоть и неизвестно, сколько убитых и раненых, а только на трех телегах их повезли.

— Кто же это их так? — усмехаясь спросил Иван.

— Вот народ и спрашивает: кто? Видать, говорят, немалый отряд приходил, что так храбро на большой обоз напал. На деревне сегодня праздник. Партизан в гости ждут.

Ефиму Яковлевичу было лет пятьдесят с небольшим. Уже третий день жил Мохнашин в бане и первый раз на свету видел близко хозяина. Невысокого роста, худощавый, он еще только приближался к старости. В черной бороде и на голове белые волоски почти не бы-

ли заметны. Темное, с раскосым разрезом глаз, оно напоминало иконы древнего письма хитрых русских святых. И странно было, что он так позволяет хозяйке верховодить дома и чуть побаивается ее.

— Теперь немцам бояться нечего, — вздохнув сказал Иван. — Нет больше патронов у этих людей.

Почесав в раздумье бороду, Ефим Яковлевич посмотрел в окно и нерешительно сказал:

— Неможко, может, и найдется патронов...

— Ефим Яковлевич, — взмолился Мохнашин. — Достань, сколько можешь. Ну, куда я пустой пойду?

— Не знаю, может, их уже и нет. Ведь много вашего брата через деревню прошло. Давали им патроны, пока были, отказу не было.

— Найдутся, ты попроси, походи.

— А и бедовый ты парень! Опять встретишь немца — бить будешь?

— Буду, отец, буду бить. Ни одного немца мимо не пропущу, — сказал он со злостью и даже зубами скрипнул. — У меня с ними счет большой. Мы их сюда не звали и не просили.

— Хорошее у тебя сердце, Иван.

— Злсе. Было доброе, стало злое.

— Вот он, — сказала Наталья. — Дружка себе нашел для бесед.

Сухая, поджав тонкие бескровные губы, она осуждающе смотрела на них черными вороньими глазами.

— Ищу, ищу, — проговорила она. — Что же, тебе и делов других нет? Ночью ходят, днем спят. Ему что, — показала она на Ивана, — а тебе надо дом конопатить.

— Отконопачусь, — пообещал старик.

Старуха так явно осуждала Мохнашина, что ему вдруг захотелось встать, взять винтовку и уйти, что бы там ни было впереди, какая бы беда ни стерегла его. Но он не встал, не взял винтовки, не шевельнулся и только сказал:

— Потерпи еще одну ночь. Уйду сегодня.

Она даже не удостоила его ответом,

— Это все я виноват, — сказал Ефим Яковлевич. — Уж такой плохой проводник. Напрасно ты на него, мать

— Ты мне избу проконопать, — и она пошла к двери, но остановилась и сказала Мохнашину. — Несет от тебя. Вся баня пропахла. Сними-ка белье, постираю.. К ночи высохнет. А вечером баню истопим, суббота сегодня.

Старуха вышла. Мохнашин встал, потянулся, с хрустом расправляя широкие плечи.

— Уходить надо, — раздумчиво сказал он. — Загостился.

— Не со зла она это говорит.

— Все равно надо уходить.

Ефим Яковлевич ушел и вскоре при-

нес свои давно ненадеванные брюки, синюю рубашку и черный пояс с кистями. Мохнашин переоделся в чистое белье и стал ждать вечера.

За эти два дня он немного отдохнул, и злое чувство одиночества стало не таким острым. Но сейчас ему вдруг так захотелось поскорее уйти из этой деревни, что он дорого бы дал, если бы на дворе был вечер. Такое неприязненное чувство было у него к этой черной старухе, которая откровенно и прямо высказывала ему свое недоброжелательное отношение, явно тяготилась его присутствием, что ему не хотелось больше с ней встречаться.

Война шла на своей, на русской земле. В каждом доме были рады бойцам, везде их просили оставаться, хозяйки пекли для них пироги, стирали и чинили белье, топили бани. За эти дни войны Мохнашин впервые почувствовал всю силу любви народа к армии, и никогда он не думал о том, что такое русский народ, и только теперь понял, что это счастье быть русским и драться за родину. Но так, как встретила Мохнашина эта старуха, его нигде не встречали. Всем своим видом, словами, неприязненным блеском глаз она укоряла его.

К вечеру старуха опять появилась в бане и молча, не глядя на него, наносила дров, затопила печь и натаскала в большой котел воды. Она мылась первая, и Мохнашин просидел это время в сенцах. Во всех домах в этот вечер топили бани, и людские голоса слышались совсем рядом. Иван держался настороже, опасаясь, что вдруг кто-нибудь заглянет сюда по-соседски. Что Иван скажет ему?

Старуха вымылась и ушла. Иван забрался на полок; набрал шайку горячей воды, вымочил основательно веник и начал хлестать свое тело. От знойного пара захватывало дыхание, горячие ливни веника падали на плечи, грудь, спину. Пришел Ефим Яковлевич, и вдвоем они парились до изнеможения, выбегая несколько раз в сенцы и оказываясь холодной водой. Никогда не испытывал такого наслаждения от бани Мохнашин, как в этот день.

— Наталья тебя в избу зовет, — сказал Ефим Яковлевич, когда они уже одевались.

Мохнашин удивился, но не отказался. Было уже темно, куда теперь пойдешь, да и отдых после такой бани был соблазнительным.

Окна в избе были завешаны овчинами и дерюжками. На столе стояла маленькая коптилка. У старухи было странно посветлевшее лицо.

— Куда уж вам теперь итти, — милостиво сказала она. — Поужинай с нами и ночуй сегодня в избе.

Эта неожиданная доброта удивила

Ивана. «Не такая уж она злая» — думал он ночью, лежа на мягком тюфяке и вслушиваясь в ровное громкое дыхание старика. От этой мирной ночи в чужом доме, где пахло хлебами, сухими травами, трещал сверчок и мышь скреблась под полом, а во дворе громко вздыхала корова, повеяло таким родным и милым, что он чуть не заплакал, вспомнив все мытарства и беды этого месяца, свой родной и далекий дом в уральской деревушке Красный Камень. «Вот как можно было жить, если бы не война», — подумал он. Но не было у него мыслей о возвращении домой. О войне, а не о мире думал и в эту ночь Иван Мохнашин.

Днем, когда старуха вышла из избы, Ефим Яковлевич хитро усмехнулся и достал из кармана горсть винтовочных патронов.

— Сгодятся, парень?

— И то, что у старика оказалось так много винтовочных патронов, навело Ивана на мысль, что, наверное, хитрит он с ним, а где-нибудь у него хранятся не один-два ящика.

А ночью они опять пошли искать лаяйку через немецкие патрули и заставы. Ночь была звездная, тихая и молчаливая. Не покидала уверенность Мохнашина, что и сегодня что-то случится у них, и утром они снова будут в Красном Камне, и он думал не о том, долго ли им итти, а о том, как бы вдруг неожиданно не наскочить на немцев.

Он не удивился, когда сквозь деревья блеснул неподвижный яркий электрический свет. Прокравшись, они залегли в кустах. На дороге стояли две грузовые машины радиаторами друг к другу. Остановка, видимо, произошла из-за порчи мотора, свет фар был направлен на раскрытый мотор, и двое немцев возились, стоя спиной к ним. «Эх, чорт, двоих не возьмешь» — с сожалением подумал Иван. Он чувствовал себя очень спокойно. После тех двух ночных столкновений предстоящий бой, когда немцы стояли на свету, казался чепухой. Старик с интересом наблюдал, что будет.

Неподвижный, мертвый свет фар освещал только мотор. Все остальное тонуло во мраке. Немцы двигались не спеша, ничего не опасаясь. Один из них ушел в черноту, но скоро вернулся и что-то крикнул. Подошли еще двое солдат. Это уже осложняло дело. Солдат могло быть больше.

Целясь, Мохнашин ждал, чтобы все четверо сгрудились у мотора. Казалось, что палец сам нажал спусковой крючок и грохнул выстрел. И, как всегда бывает в бою, запоминается только то мгновение, когда человек еще горючися, а потом уже какая-то иная сила руководит им. Мохнашин видел, что один немец повалился на мотор, второй осел

к земле, попытался встать, ухватившись рукой за крыло, но Мохнашин ударил по нему еще раз, и он уже не поднялся. Но сам Мохнашин, если бы его спросили, сколько раз он стрелял по этому немцу, не сумел бы ответить.

Перезаряжая на ходу винтовку, Мохнашин перебежал на другое место и стал присматриваться, чтобы определить количество врагов и место, где они сидят. Стреляли двое из-за машин. Он передвинулся, дал несколько выстрелов и опять перебежал. Немцы отходили, отстреливаясь, они двигались вдоль дороги, потом побежали.

Станным показалось, что вдруг стало так тихо. На дороге — две машины, светили фары. Немец как уткнулся головой в мотор, так и застыл, у колеса валялся второй, трудно и тяжело дышавший.

В кузове лежали тяжелые ящики. Мохнашин прикладом разбил один, запустил туда руку и нащупал патроны. Он стал набивать ими карманы. Во второй машине лежали такие же ящики.

— Быстро огоньку, Ефим Яковлевич. — приказал Мохнашин.

Он искал баки, нашел, разбил прикладом и пригоршнями набирал бензин и поливал машину.

— Огня! — нетерпеливо крикнул он.

Ефим Яковлевич высекал из кремня огонь, но руки у него тряслись, и трут не загорался. Мохнашин вырвал у него кремень, и трут, смоченный бензином, затлеял и, раздуваемый, вдруг вспыхнула маленьким синеньким огоньком. Иван поднес огонек к бензину, и жаркое пламя пыхнуло ему в лицо, загорелись руки и шинель. Иван, сбив пламя, побежал от машины.

В лесу, отойдя подальше, они остановились. Машины горели ярко, далеко освещали лес. Светлые языки пламени трепыхались над деревьями. Потом начали рваться патроны, и сноп искр поднялся над пожарищем.

— Вот как делают. — задорно сказал Иван. — Домой, что ли?

Ефим Яковлевич, шагая первый, молчал, удивляясь легкой удаче этого парня, смиренно попросившегося к ним на ночлег.

В бане Иван домовито снял шинель и повесил ее на гвоздик, достал обойму автомата и попробовал патроны. Они отлично годились.

— Вот мы и с боеприпасами, — торжествующе сказал он.

Старик изумленно смотрел на него.

— Ляхач, — пробормотал он.

И как-то само собой установилось, что каждую ночь они выходили, молодой и старый, на лесные и полевые дорожки, прокрадывались оврагами, пробирались боссами рек к мостам, обстреливали обозы и патрули, били по крупным и

мелким отрядам немецких хищников. Они ни о чем не уговаривались и не уговаривались. И старику все казалось, что он и в самом деле старается вывезти Мохнашина на дорогу к своим.

Звездные сентябрьские ночи становились все длиннее и темнее, и они все дальше и дальше уходили от Крабного Камня, маленькой и тихой деревушки на Псковщине, все на новых и новых дорогах стерегли немцев, неожиданно обстреливали их. Густые леса, овраги, кустарники помогали им легко уходить от огня, от преследований. Да и трудно ли уйти двоим в глухую полнотную пору!

Они не знали, кого могут встретить ночью, мало или много будет врагов. Но сколько бы их ни было, они открывали по ним огонь из автомата и винтовки. Старик и Мохнашин не знали, всегда ли они убивали или ранили немцев. Ведь их было только двое, и продолжительного боя они не могли вести. Но, наверное, всегда были убитые и раненые. Они били по врагу с короткой дистанции, почти в упор.

Уже по всей округе говорили о храбрости партизан, которые на всех дорогах бьют оккупантов, громят их обозы, жгут машины, снимают бесшумно часовых. В десятках деревень и сел с радостью ждали скорого прихода партизан, а мужчины готовились к уходу в леса и расспрашивали, где найти храбрецов из этих отрядов, в каких лесах они прячутся.

Старуха, видно, давно уже догадывалась, почему так загостился у них Иван Мохнашин, но вида не подавала. Она, правда, теперь его не осуждала, но и не стала с ним ласковее. Встречаясь, они больше молчали. «В беду он нас вгонит» — думала она, жалея старика, который заметал поухудел за это время. Все же ему нелегко давались эти ночные походы. Он и не высипался как следует. Днем Ефим Яковлевич старался пораньше выйти на улицу, чтобы соседи чего не заподозрили, и конопатил избу. Работа подвигалась медленно, но старуха не пилила его. А Мохнашину эти ночные походы, казалось, были только на пользу. Щеки его округлились, в голосе появилась звучность, румянец играл на лице. Он был весел, доволен собой, верил в свою силу.

Однажды Ефим Яковлевич спустился к нему в баню и тревожно сказал:

— Немцы вон что о нас пишут. — и протянул розовую немецкую листовку, в которой они предупреждали население окрестных деревень, что будут жестоко карать за укрыительство партизан.

— Солдат везде нагнали, — сообщил старик. — Сегодня нас староста на сход требует. Здорово напуганы немцы. По

лесам с облавами идут, партизанские отряды ищут.

Он вдруг засмеялся. То, что двое так могли напугать немцев, забавляло его.

— А партизан-то всего двое... — сказал ок.

Как-то под вечер старик вошел в баню и сказал:

— С гостем к тебе, Иван.

Невысокий, коренастый человек в пиджаке и брюках, запроваженных в сбитые сапоги, стоял за его спиной. Человек выдвинулся, оглядел внимательными быстрыми глазами Мохнашина и, довольнo улыбнувшись, сказал:

— Здравствуйте, товарищ командир партизанского отряда.

Взгляд у него был открытый, располагающий. Но Мохнашин молчал, недовольный болтливостью старика.

— Племянник мой, — сказал Ефим Яковлевич. — Ты его не бойся.

— Дай-ка нам, Ефим Яковлевич, вдвоем поговорить, — попросил незнакомец.

И когда они остались одни, он, все улыбаясь, сказал:

— Ну, в жмурки нам играть не стоит. Я — командир партизанской группы. Слышали о ваших делах. Вот не ожидал такого геройства от старика.

Они разговорились, и Мохнашин рассказал Горюнову, как он отбилса от своей части, как шел, питаясь грибами и ягодами, плутал лесами и вот застрял здесь.

— Так вам со стариком долго не продержаться, — заметил Горюнов. — Уходитса он скоро. Да и зима уж на носу. Надо вам о своей судьбе подумать. Хотите в наш отряд? Мы действуем отсюда километрах в шестидесяти.

Мохнашин подумал.

— Не хочется из этих мест уходить, — задумчиво сказал он. — Понравилась мне такая война. Уж больно хорошо можно немца бить. Пойду в ваш отряд.

Этой же ночью они и ушли из Красного Камня.

3.

Мохнашин, сидя на топчане в тесном земляном блиндаже, слушал рассказ молодого высокого партизана Саши Афанасьева, как минувшей ночью они отбили у немцев гурт скота, который те готовили к отправке в Германию.

— Мохнашин здесь? — крикнул кто-то громко, приподняв за край плащ-палатку, которая заменяла в блиндаже входную дверь. — Командир требует.

На улице было холодно. Свистел между голыми деревьями холодный октябрьский ветер. Снежная хрусткая группа лежала тонким слоем на земле.

Чем-то взволнованный, Горюнов ходил по поляне, где стояло несколько подвод с боеприпасами. Комиссар сидел на

бревне, на котором по вечерам у костров собирались партизаны.

Горюнов, увидев Мохнашина, перестал ходить и сказал:

— Есть для тебя важное задание. Доноси, что Борю Громова предал немцам староста Ивакин из деревни Красный Камень. Там он и живет. Деревня тебе знакома. Надо достать этого Ивакина и живьем притащить сюда. Сможешь?

— Урадец сделает, — вставил слово комиссар.

— Мертвый нам не нужен. Понимаешь? Убить его всегда успеем, не уйдет от нас. Живой нужен.

— Доставить старосту деревни Красный Камень Ивакина живым, — четко, по-военному, сказал Иван.

— Ты не хвастай, — сказал комиссар. — Тут наверняка надо действовать. У нас с этим старостой крутой счет за Борю будет.

Вернувшись в блиндаж, Мохнашин стал готовиться к походу, обдумывая, как выполнить это поручение. С ним должны были пойти Сергей Кузьмин, местный парень, рябенкий, невысокого роста, отличный разведчик, и Саша Афанасьев, студент педагогического института, которого война захватила на каникулах. Его отца, председателя сельсовета, немцы расстреляли за отказ передать немецкому командованию колхозное зерно. В семье Сергея Кузьмина погибли двое: его больная мать, — немцы выгнали ее из дома — и двенадцатилетняя сестренка, заподозренная в том, что она навела партизан на обоз.

Они чистили автоматы, набивали патронами диски и тихо переговаривались между собой. Смерть Бори Громова, хотя со времени ее и прошло около трех недель, не была забыта. Да и трудно забыть такую смерть.

Худошавый, светловолосый подросток, сын учителя, был любимцем отряда. Ловкий и смелый, он проникал в деревни, занятые гитлеровцами, не раз рискуя жизнью, приносил такие сведения о противнике, что все удивлялись, как это ему удается. Не по летам серьезный, он шел на самые опасные дела. Все узнали о трагической гибели его отца, сельского учителя, повешенного в школьном саду за то, что он скрывал у себя бойцов, выходивших из окружения. Мальчик, горячо любивший отца, мстил за его смерть.

В тот раз группе партизан было поручено подорвать на железной дороге воинский эшелон. Боря встретил подрывников, возвращаясь из разведки, и остался с ними. Они еще закладывали взрывчатку, когда вдали послышался шум поезда. Надо было отказаться от подрыва поезда или рискнуть. Они рискнули. Состав пошел под откос. Но, как рассказал единственный уцелевший

участник операции, трое партизан, в числе их и Боря Громов, погибли.

Но позже выяснилось, что Боря Громов не погиб в ту ночь. Отброшенный взрывом, тяжело раненный в голову, он сумел уползти в лес, с трудом добрался до деревушки и, спрятанный жителями, пролежал там несколько дней. Разведчик торопился вернуться в отряд, к своим товарищам, к которым он привязался с такой силой, какая возможна только у детей, входящих в жизнь. Возле деревни его и увидел староста Ивакин и сразу узнал. Староста нагнал его, сбил с ног и доставил в немецкую комендатуру.

У немцев он пробыл три дня. Те, кто видел, как его водили на допросы, рассказывали, что все лицо подростка было в синих кровоподтеках. Одежда на нем была изорвана, волосы на голове сваялись в комок. Крики истязуемого были слышны на деревне. Во главе комендатуры стоял Гитсфельд, сорокалетний жестокий человек, убежденный, что террором можно подавить население оккупированных районов, сделать его покорным. Он лично вел допросы подростка, и всякий раз Борю уносили из комендатуры без чувств.

Но, видимо, силы Бори подходили к концу. Когда его в последний раз привели и поставили лицом к лицу с Гитсфельдом, он сказал, что согласен отвечать на все вопросы, только пусть ему развяжут руки. Он должен совершить грех по отношению к своим товарищам и хочет помолиться об отпущении ему этого греха. Его просьбу исполнили.

— Рассказывай, мальчик, — сказал Гитсфельд и приблизился к нему.

Подросток смерил глазами ненавистную фигуру мучителя, прикусил зубами нижнюю губу, зажмурил глаза и изо всей силы ударил Гитсфельда кулаком по лицу. Тот повалился на стол и, побледневший, в ярости выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в мальчика. Боря был убит.

В тот же вечер истерзанное тело было повешено на устрашение всем на площади возле развалин церкви.

Ни Иван Мохнашин, ни его двое товарищей, собиравшихся пойти в занятую немцами деревню, не сомневались, что они проникнут туда и притащат Ивакина живым. Они еще не знали, как они это сделают, но они знали, что сделают.

Лично для Ивана это задание было приятно еще и потому, что давало возможность повидать Ефима Яковлевича. Теплое чувство испытывал он к этим двум людям, даже к суровой старухе. В этом чужом краю они стали для него близкими: они приютили его под своей крышей, кормили, поили. Не раз со стариком он бывал в опасных делах, и

Ефим Яковлевич никогда не отступал, не покидал его. Ему хотелось узнать, как они живут, и себя показать: жив, дескать, воевать продолжаю. Вероятно, это их порадует.

Вечером трое партизан лежали в березовом леске, отделенные от Красного Камня рекой и наблюдали жизнь деревни, обдумывали, как лучше миновать немецкие посты. Тихо и пустынно было в деревне. Прошел только немецкий патруль, женщина набрала в колоде воды.

Партизаны решили, как стемнеет, переходить реку вброд; мост охранялся усиленным нарядом.

— Иван, как ты здесь остался? — спросил Мохнашина Кузьмин. — Мы-то в своих местах деремся. У Саши отца расстреляли, у меня — мать и сестренка погибли. Мы немцев со своей земли гоним, а ты? Нам надо бить врага, который наши деревни занял.

Брови Мохнашина сурово сдвинулись.

— А земля у нас общая. Тут и моя деревня есть, вот эта, Красный Камень. Так и мою деревню на Урале зовут.

— А верно рассказывают, что ты две недели со стариком немцев на дорогах пугал? — продолжал разговор Кузьмин.

— Пугал, — усмехнулся Мохнашин. — Так пугали, что, наверное, не меньше полсотни фрицев в земле лежат. Старик-то в этой деревне и живет. Надо будет разыскать его, поможет он нам. В бане у него я жил. Вот удивляться...

Стемнело, а они все еще лежали, дожидались глухой ночной поры, молчали и только изредка перекидывались двумя-тремя словами. Послышались где-то далеко глухие гранатные разрывы, словно несколько раз ударили по днищу большой бочки.

— Налет начали, — шепнул Саша.

В эту ночь отряд проводил нападение на немецкий гарнизон в большом селе, километрах в пятнадцати выше по течению реки. Слышались резкая дробь пулеметных очередей, сухой треск автоматов, бухали гранаты. По воде звуки доносились отчетливо и ясно. Вдали в небе вспыхнула красным шариком ракета, описала кругую дугу и потухла.

— Попытаемся? — шепнул Мохнашин, и, встав, осторожно шагая, вслушиваясь, двинулся к реке.

У берега он чуть задержался, не решаясь сразу вступить в черную воду, блестящую звездами. Придерживаясь за кусты, он опустил одну ногу, нащупал дно и сполз вниз. Вода налилась в сапоги, холод мурашками растекался по телу. Мохнашин сделал несколько шагов и гогрузился в воду по грудь. Сразу стало очень холодно. Медленно, боясь нечаянным плеском обнаружить себя, переходили реку партизаны. Дно уже начало подниматься, и они вышли на

противоположный берег, прислушались. Бой вдалеке продолжался, но здесь в деревне было тихо. На берегу стало еще холоднее, чем в воде.

Берег этот был знаком Мохнашину, и он уверенно направился к бане, решив оставить здесь товарищей, а одному сходить на разведку к Ефиму Яковлевичу и от него узнать о доме, в котором живет Ивакин.

Возле бани они остановились. Звуки боя не стихали, время от времени слышались разрывы мин, гранат. Зарево далекого пожара вставало над лесом. Мохнашин вошел в сенцы и потянул дверь. Она не подавалась. Он вышел и, вспомнив о секретном запоре, отвернул гвоздь, открыл окно и бесшумно вытащил палку из скобы.

Открыв дверь, он смело шагнул в черноту и вдруг услышал испуганный знакомый голос:

— Кто тут? — спросили его.

— Ефим Яковлевич? — удивился он.

— Я, а кто спрашивает?

— Мохнашина помнишь? Чего тут сидишь?

— Ваня! — вскрикнула старуха. — Ваня пришел, — и она вдруг запримечала, всхлиывая. — Выгнал нас немец из дома, выгнал, родимый, на улицу, вот теперь в бане притулились, смертного часа со стариком ожидаем.

Мохнашин и Саша вошли в баню и закрыли дверь. Кузьмин остался снаружи.

— Вот не думал вас здесь встретить, — тихо сказал Иван.

— Ой, родимый, как теперь живем... Белый свет не мил, очи бы на солнышко не глядели.

Иван не знал, что сказать. В жалком голосе старухи было такое страдание, которое не утешить простыми словами.

— Потерпи, мать, — с неумелой лаской сказал он. — Придет и наше время. Выгоним его и отсюда.

— Скорей бы, сынок. Не дожить нам со стариком до этого часа. Ох, не дожить.

— Ефим Яковлевич, — сказал Мохнашин. — К тебе мы шли. Мальчика нашего Ивакин немцам предал. Суд над ним будем творить.

— За вашего Боря он от немцев ножи и вилки со слоновой костью получил. Его потаскушка перед бабами хвастала.

— Помогите нам взять его живым, Ефим Яковлевич. Велено живым доставить. Где он живет?

— Как не знать? Проведу вас, помогу. Один он живет, возьмете его.

— Пойдем тогда, нельзя нам долго мешкать. Прощай, мамаша. Наверное, скоро опять увидимся. Ждите в гости партизан.

— Скорее только, детушка. Прощай,

кровинушка, прощай, родный. Пошли вам бог удачи.

«Эх, как свернулась старуха», — с жалостью подумал Иван, выходя на улицу.

— Ну, что слышно? — спросил он Кузьмина.

— Тихо в деревне и налет, наверное, кончился.

Старик повел их огородами. Невидимые вошли они в деревню, добрались к избе и притаились на крыльце. Ефим Яковлевич постучал в окно.

— Кого надо? — спросил недовольный голос.

— Петр Васильевич, дело есть. Выдь на минуту, — сказал старик.

Послышался скрип половиц в сенцах.

— Какое у тебя дело ночью, — ворчливо сказал Ивакин и приотворил дверь. — Ну?

Мохнашин кинулся на него. Откинутая дверь громко хлопнула. Двое партизан вскочили тоже в сенцы. Послышались возня, хрип. Партизаны вязали веревкой длинное дело старосты. Мохнашин рукой придавил к полу его голову, зажимая ладонью широко раскрытый рот. Наконец старосту связали и в рот пихнули тряпку.

Мохнашин с Сашей вошли в ярко освещенную горницу. На постели спала, раскинувшись, молодая деваха. На столе лежали какие-то списки и бумаги. Видно, староста работал.

Иван грубо толкнул девку, и она, вскочив, хотела закричать, но под навешенным пистолетом съежилась и затряслась.

— Ой, не трожь, миленький, не надо.

— Тихо, — прошипел Иван. — Где ножи и вилки?

— Там, там, — она показала рукой на стеклянный шкаф.

Афанасьев нашел газетный сверток и развернул его, блеснули ножи и вилки с черенками слоновой кости.

— Гадина, — сказал Иван. Он смотрел на девку. Рубашка соскользнула с нее. От нее пахло чем-то приторным. «Убить, что ли? — подумал он. — Одно семя». Но ему стало противно, рука не поднималась на такое дело.

— Молчи, — свирепо сказал он. — Мы тут в сенях сидеть будем.

Захватив со стола бумаги, он задул лампу и вышел в сени.

Они поставили старосту на ноги, но он не хотел итти и повалился. Тогда они подняли его и понесли на руках, он начал извиваться и биться. Мохнашин с силой ткнул его в бок, и староста затих.

Старика уже не было на улице.

Нести старосту было тяжело. Они опять поставили его на землю, но он шел так медленно и неохотно, что Мохнашин несколько раз ударил его. Возле реки Ивакин опять заупрямился, пова-

дился и завертелся на месте, видимо, решив, что его хотят утопить. Пришлось взять его на руки. Ноша была неудобная. Ивакин, дергаясь, мешал нести его и ча середине реки Мохнашин ступил и уронил его в воду, но успел подхватить и тихо выругался. «Стукнуть бы его и делу конец, что возиться» — со злостью подумал он.

Выбравшись на берег, партизаны приехали отдохнуть.

— Сукин сын, — сказал Мохнашин. — Догулялся.

Они были мокры, усталы, злы. Но сидеть долго было нельзя.

Рассвет застал их далеко от Красного Камня в лесу. Высокий, отъездивший староста, босой, в рубашке без пояса злобно поглядывал на них. Лицо его и глаза налились кровью.

— Дадим ему подышать, — сказал Мохнашин, — а то еще подохнет раньше времени.

Он вытащил у него изо рта тряпку. Ивакин глубоко и жадно вздохнул и начал ругаться.

— Сволочи! Не перебили вас!

— Ты помолчи, — пригрозил Иван.

Но староста не хотел молчать, он шел, спотыкаясь, и ругался.

Горюнов вышел из блиндажа. Толпа партизан окружила старосту.

— Ивакин? — спросил Горюнов.

— Да, Ивакин, — с вызовом ответил староста. — А тебя немцы еще не повесили? Ну, скоро вздернут.

— А вот получай на первый раз, если ты Ивакин, за Боря, — сказал командир и с такой силой ударил кулаком по лицу старосту, что тот покатился по земле.

— Бросьте его под телегу, и стеречь как следует, — приказал Горюнов и пошел в блиндаж. — Спасибо тебе, Мохнашин! Вечером мы с ним займемся.

Глаза у командира были красные после бессонной ночи. Он только что вернулся с налета, шум которого Мохнашин и его товарищи слышали в Красном Камне.

4.

Налет на немецкий гарнизон должен был начаться в час ночи.

Командир партизанского полка Горюнов и комиссар сидели в том самом лесочке, который был виден из окна бани Ефима Яковлевича, и ждали начала атаки. Оба молчали, вслушиваясь. Ночь выдалась черная, тихая и холодная. Комиссар осторожно посветил карманным фонариком на часы. Они показывали десять минут второго.

— Почему же не начинают? — сказал он.

— Может, ушли немцы из деревни, — проговорил Горюнов.

Всякий раз, когда начало налета запаздывало, командирам казалось, что немцев в деревне нет. Тишина была такой глубокой и мирной, что не верилось, что через несколько минут может начаться бой, что будут рваться гранаты, загорятся дома, будут убитые и раненые.

— Надо послать связного к Мохнашину. Узнать, почему не начинает, — предложил комиссар.

— Подождем...

Было уже без четверти два. Эти прощенные сорок пять минут казались вечностью.

— Придется, видимо, посылать к Мохнашину, — решил командир и поднялся, чтобы послать связного. Но как-раз в эту минуту за рекой в центре деревни раздался сильный разрыв противотанковой гранаты, и метнулось рыжее пламя.

— Начали! — вскрикнул комиссар.

Тотчас и на других концах деревни загремели гранаты, раздалась первая пулеметные очереди. Ночной налет на немецкий гарнизон начался хорошо, дружно.

Запоздал же он по вине Мохнашина, назначенного командиром группы партизан. Он опасался сделать что-нибудь не так, каким-нибудь неумелым распоряжением погубить товарищей, проиграть бой с гитлеровцами, засевшими в домах Красного Камня.

Иван Мохнашин лежал на земле и, отягивая начало боя, ждал разведчиков и прислушивался, что делается в деревне. До изб оставалось еще метров полтора. Ничего подозрительного не было слышно.

Мохнашин редко говорил с товарищами о своей ненависти к немцам. Все слова казались ему недостаточными. Это были не люди. Он не мог их ни с чем сравнить. Это были враги, которых надо уничтожить как можно больше и как можно скорее. Теперь он думал, как сделать так, чтобы ни один немец не ушел из Красного Камня живым, и о той радости, когда он встретился с Ефимом Яковлевичем и его женой.

И то, что деревня называлась Красный Камень, как и его родная на Урале, увеличивало и подогревало его ненависть к врагу. Он лежал возле своей деревни, в ней страдали отец и мать, их он шел выручать, немцы обрекали на горе и на слезы близких ему людей.

Вернулись разведчики и сообщили, что в деревне тихо, немцы, ничего не подозревая, очевидно, спали.

Мохнашин приказал подходить к самой деревне и пополз по огороду к избам. Скоро он услышал звуки чужой речи. Справа и слева темнели строения. Очевидно, в проулке стоял немецкий пост.

«Теперь можно начинать» — подумал Мохнашин, отцепляя с ремня тяжелые

противотанковые гранаты. Он прислушался, где говорят немцы, встал на колени и метнул в это место гранату.

Это и была та граната — сигнал начала боя партизан в Красном Камне, которому с таким нетерпением ждали в лесу командир и комиссар.

Сразу же в ответ загремели выстрелы. Граната, видимо, не задела немцев. В двух концах деревни гремели гранаты, сухо трещали автоматы. На улице слышались крики немцев, застигнутых врасплох, ругательства, команда. В проулке, где залег с несколькими бойцами Мохнашин, бил немецкий пулемет. Гитлеровцы ничего не видели в ночной темноте и вели огонь по площади. Трассирующие пули стелились над огородами.

За соседней избой слышались крики, стрельба. Там завязалась рукопашная. На минуту пулемет умолк. Когда он заговорил снова, то Мохнашин уже был у стенки сарая и метнул в сторону пулеметчиков вторую гранату и упал на землю. Осколки просвистели над ним и простучали по доскам, а Мохнашина словно что кольнуло в ногу.

Пулемет уже молчал, слышались стоны. Все село наполнилось выстрелами, разрывами гранат. Вспыхнул пожар. Горела недалеко изба. Стали видны перебегающие от дома к дому немцы. Мохнашин, выбравшись к избе, вел по ним стрельбу из автомата. Загорелся еще один дом, на улице стало светлее. Партизан не было видно, они лежали возле изб и вели огонь по немцам, выбегавшим из домов. В панике метались они по деревне.

На правом краю деревни все настойчивее и настойчивее били пулеметы. «Неужели не ворвались наши?» — с внезапным страхом подумал Мохнашин.

— За мной! — крикнул он, вставая во весь рост, и тотчас по ним ударили с крыши из станкового пулемета. Но в эту минуту на крыше разорвалась граната и языки пламени побежали по соломе.

На краю деревни в небо взвились красная и зеленая ракеты, и Мохнашин увидел большую группу немцев, перебежавших от избы к избе. Он опять встал и побежал, прихрамывая. За ним бежало несколько бойцов. Мохнашин видел, как три немца упали, остальные подняли руки, прижимаясь к стене избы. В них полетели гранаты, а Мохнашин выпустил всю обойму автомата. Некоторые немцы еще пытались подняться с земли, иные куда-то ползали, растрепанные, потерявшие пилотки.

По деревне уже бежали партизаны, звучали одиночные выстрелы. Слышался сильный треск горящего дерева. Все окрестности посветлели. Партизаны захватили Красный Камень.

Все было кончено с немцами. На улице появились жители. Громко причитали

женщины, плакали перепуганные дети. У горящих домов бегали люди с ведрами.

Мохнашин шел, опьяненный счастьем, по деревне, отбитой у врага, направляясь к дому Ефима Яковлевича.

Он столкнулся с Горюновым.

— Что хромаешь, командир? — весело спросил он Мохнашина. И тут только Мохнашин почувствовал сильную боль в ноге.

— Осколком задело, — сказал он, нагнувшись и увидев в сапоге дыру.

— Сильно?

— Чепуха.

И Мохнашин торопливо пошел дальше. Ему не терпелось скорее увидеть старика. Еще несколько партизан попались навстречу и весело крикнули:

— Трофеи захватили! Приходи шоколадом угощаться и патефон слушать!

Мохнашин увидел колодец и недоуменно огляделся. Здесь должен быть дом Ефима Яковлевича. И вдруг он все понял. Отсвет пламени освещал кучу черных бревен и печную трубу. Ничего не уцелело от дома Ефима Яковлевича. Осталась груда углей.

Стало так больно ноге, что Мохнашин с трудом дошел до крыльца ближайшего дома и снял сапог, полный крови. Горячая, она текла ручейком из раны.

К нему подошла женщина.

— Зайди в избу, сынок, — сказала она счастливым голосом. — Избавили вы нас, слава богу.

— Дай-ка чемнибудь ногу перевязать. Ранило меня.

Она побежала в избу и вернулась с полотенцем. Перегнывая ногу и слушая, как женщина благодарит его, он сказал:

— Тут дом Ефима Яковлевича стоял?

— Тут, сынок, тут. Сожгли его, окажные. Красноармейцев он у себя хоронил. Хороший был человек, царство ему небесное. Расстреляли его немцы.

— А жена его?

— Умерла Наталья. Гора не перенесла, от горя умерла.

Все оборвалось внутри у Мохнашина. Он поднялся.

— Знал их? — спросила женщина.

— Знал, — глухо ответил Иван. — Спасибо за полотенце.

«Не успел, — с горечью думал он, шагая по деревне. — Не выручил стариков». Глаза его были сухи, но такое горе было в его сердце, что ему хотелось лечь на землю и закричать.

Он вдруг остановился и громко сказал: — Простите, старики, но уж теперь... — он яростно сгнул руки.

В эту ночь, в деревне, отбитой у врага, он ощутил, как велика его ненависть к немцам, каким яростным пламенем она горит в нем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА

Повесть

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



Утро было на редкость пасмурное, в классе еще холодно, и первый урок был алгебра. В такой день лучше всего заболеть и остаться дома. В другое время Петя, наверное, так бы и сделал. Он бы, конечно, стал кашлять, жалобно стонать, жаловаться на жар, на головную боль и на горло, и папа в конце-концов пожалел бы его. Но сегодня Петя прибежал в гимназию раньше всех. От нетерпения он даже плохо спал. Всю ночь ему снились деньги.

Еще осенью, в начале учебного года, однажды, перед концом урока Константин Трофимович — математик — объявил, что мальчики, желающие собирать деньги, могут сделаться вкладчиками Государственной сберегательной кассы. Сберегательные карточки и марки можно покупать у него. При этом он вынул из портфеля несколько желтых сберегательных карточек и три листа сберегательных марок, похожих на почтовые.

Карточки выдавались даром, а марки надо было покупать и наклеивать на карточки.

Марки были в разную цену: в копейку, в три копейки, в пять копеек, в десять копеек — каждая цена другого цвета. Каждая сберегательная карточка вмещала марок ровно на один рубль.

Когда сберегательная карточка заполнена, — марки погашаются и вкладчику сберегательной кассы вместо сберегательной карточки выдается уже большая, настоящая сберегательная книжка, по которой в главном отделении сберегательных касс государственного казначейства в любой момент и по первому требованию можно получить свое сбережение как полностью, так и частично, причем на всю сумму вклада начисляются три процента годовых.

Так что, если, например, какой-нибудь мальчик, — объяснил Константин Трофимович, — сделает вклад в Государствен-

ную сберегательную кассу в размере ста рублей, то по истечении года на его капитал нарастет три рубля процентов, что в общей сумме составит уже не сто рублей, но сто три рубля, каковые и перейдут в основной капитал мальчика.

«Вкладчик», «сумма», «проценты», «основной капитал», «государственное казначейство».

Эти слова, конечно, были хорошо известны и раньше из задачника Шапошникова и Вальцева. Но там были задачи, то-есть, нечто отвлеченное, почти неосоздаемое, лишенное объема и красок. Там был «некто», отдающий свой «капитал» в «рост». Там была «некоторая сумма», вырученная от продажи «некоторого товара» и положенная на «известный срок» в банк, из расчета «двенадцати процентов годовых».

Этот «некто» стоял перед глазами, неуловимый, как призрак, в то время, как его, отданный в рост, капитал где-то обростал и обростал призрачными процентами, простыми и сложными и легкими, как снег, опускающийся на белую шапку фонаря.

Но здесь, у Константина Трофимовича, все это было наглядно, осязаемо, трехмерно, даже имело вкус и цвет.

Капитал имел вид сберегательной марки: коричневой двухкопеечной, зеленой трехкопеечной, синей десятикопеечной. Можно было лизнуть языком и почувствовать его вкус — вкус почтового клея. Его можно было понюхать, почувствовать запах экспедиции заготовления государственных бумаг — денежный запах государственного казначейства, в свою очередь состоящий из двух запахов — запаха штемпельной краски и дымного запаха пылающего сургуча.

Петя, как очарованный, смотрел на сберегательные карточки и на сберегательные марки, которые Константин Трофимович раскладывал на кафедре.

Собирать деньги. Конечно. Он обязательно будет собирать деньги.

Разумеется, Петя уже и раньше много раз начинал собирать деньги. Один раз он даже насобирал рубль сорок копеек. Но это было совсем, совсем не то. Тогда была какая-то чепуха — круглая деревянная коробка, гипсовая кошка со скважиной в спине. Коробка открывалась, кошку ничего не стоило разбить молотком. Он так и поступал. Нет, это была какая-то чепуха.

Теперь он будет собирать деньги по-настоящему. Теперь он делается вкладчиком Государственной сберегательной кассы. Его капитал будет храниться в подвалах государственного казначейства. Его капитал будет стеречь казначейские сторожа с револьверами системы «Смит и Вессон» на синих шнурах. На его капитал будут нарастать известные проценты.

Больше он никогда не будет завтракать. Каждый день вместо завтрака он будет покупать одну десятикопеечную синюю сберегательную марку и наклеивать ее на сберегательную карточку. Через месяц у него будет капитал в три рубля. Тогда он получит сберегательную книжку и станет вкладчиком. Еще через месяц у него уже будет шесть рублей. Еще через месяц — девять. Это совершенно ясно. Через год у него будет капитал в тридцать шесть рублей — и тогда мы посмотрим. О, тогда мы посмотрим!

Можно себе представить, какое жалкое лицо сделает Павлик, когда увидит в руках у Пети золото и кредитные билеты.

Петя едва дышал.

Так как дело было перед большой переменной, и гривенник лежал еще в кармане, то Петя первый подошел к кафедре, купил у Константина Трофимовича синюю марку за десять копеек и тут же наклеил ее на сберегательную карточку.

С этого дня петина жизнь резко изменилась. Он стал вкладчиком. В его боковом кармане лежала сберегательная карточка. Он не мог больше думать ни о чем другом. Первые семь десятикопеечных марок были наклеены в течение пяти дней. В дело пошли те двадцать копеек, которые Петя получил в воскресенье на церковь: он не купил просфорку и не поставил свечки, хотя дома сказал, что просфорку купил и свечку поставил.

Но дальше собирать деньги стало труднее. Если урок алгебры был до завтрака — все шло хорошо: Петя покупал марку и слонялся всю большую переменную, хотя и голодный, но зато очень гордый, с таинственной, блуждающей улыбкой и сердцем, полным счастья.

Если же урок Константина Трофимовича был после большой перемены, дело обстояло хуже. Искушение было слыш-

ком велико. Частенько случалось, что Петя не выдерживал характера и, проклиная себя, сердито покупал в буфете стакан чаю с сахаром за две копейки, пирожное с желтым кремом за четыре копейки, и бублик «семитати» за две копейки, после чего у него оставалось капитала всего две копейки, на которые он, немного подумав, покупал еще один бублик. После этого капитала совсем не оставалось.

Словом, быть вкладчиком казалось очень и очень трудно.

Тем не менее, после пяти месяцев хлопотливой жизни у Пети были заполнены три сберегательные карточки, которые мальчик и сдал торжественно Константину Трофимовичу.

Настал день, когда Константин Трофимович обещал принести Пете и вручить — уже не сберегательную карточку, а настоящую, большую сберегательную книжку со специальным номером, печатью Главного управления государственных сберегательных касс и множеством подписей.

Константин Трофимович исполнил свое обещание. За несколько минут до конца урока он вызвал к доске вкладчиков и вручил им сберегательные книжки.

Получив свою сберегательную книжку, Петя почувствовал, как мороз прошел по его лицу. Лицо замерзло. Петя шаркнул ногами, с достоинством поклонился Константину Трофимовичу и, не торопясь, пошел на место, держа перед собою в обеих руках сберегательную книжку, от которой пахло папиросами.

Его движения были скованы скромной гордостью. Лицо стало очень серьезным. Оно побледнело. Глаза сделались еще уже и темней. В то же время сердце страшно колотилось и внутренний голос, высокий и страстный, полный нечеловеческого блаженства, пел: «Теперь я вкладчик. О, теперь я вкладчик!»

Петя сел на место, засунул сберегательную книжку глубоко в парту, но руки из ящика не вынул, продолжая крепко держать сберегательную книжку холодными пальцами. Он устало облокотился на другую руку, а внутренний голос продолжал петь на все лады: «Теперь я вкладчик! О, теперь я настоящий вкладчик! У меня есть капитал!»

Едва прозвенел звонок и Константин Трофимович вышел из класса, как всех вкладчиков окружили товарищи, требуя показать сберегательные книжки.

Навалились товарищи и на Петю. Петя никому сберегательную книжку в руки, конечно, не дал, а показывал издали и осторожно перелистывал ее сам, собственными руками, и сам читал вслух то, что в ней было написано.

Великолепной писарской прописью, ясно и красиво, с нажимами и росчерками

была выведена петина фамилия, имя и отчество, а также была проставлена сумма вклада — три рубля.

Петя рассматривал сначала сам, а затем давал издали посмотреть товарищам бледносиреневую обложку сберегательной книжки, с маленьким, четко отпечатанным двуглавым орлом. Он показывал кудрявые подписи, печати и лиловые оттиски различных штампов, испещрявших первую страницу. Остальные страницы были пока пустые, и Петя показывал на свет их водяные знаки, их паркетный узор, девственно чистый, полупрозрачный, как замерзшее стекло.

А внутренних голос, тем временем, все пел: «Я вкладчик! Я вкладчик!»

Потом Петя пошел гулять в коридор.

Он не рискнул оставить сберегательную книжку в классе. Он взял ее с собой. Она не помещалась в боковом кармане, а сгибать ее не хотелось. Петя держал ее в обеих руках, бережно прижимая к груди.

В коридоре Петя снова показывал сберегательную книжку мальчикам из других классов и давал объяснения.

Перемена продолжалась всего десять минут. Но уже через шесть минут петин сберегательной книжкой перестали интересоваться.

Петя остался один наедине со своим восторгом, который не только не уменьшался, но, наоборот, с каждой минутой все рос, рос, расширялся, распирали и требовал от Пети немедленных действий. А каких — Петя и сам не знал.

Впереди еще предстояло четыре громадных урока и три перемены, из которых третья, большая, — продолжится тридцать минут.

Нет, такого длительного бездействия выдержать было невозможно. Бездействие сводило с ума. Зря пропадал целый день.

Будучи вкладчиком, имея сберегательную книжку, обладая капиталом в три рубля, который можно получить немедленно по первому же требованию, и оставаться еще четыре часа в гимназии... Нет, это было бы слишком глупо. Нужно как можно скорее идти домой, показать сберегательную книжку родным и знакомым, тете, кухарке Дуне, дворнику. Необходимо поскорее сходить к Нюсе Когану, пусть и он посмотрит.

А там будет видно.

Теперь все стало ясно. Остаться в гимназии больше нельзя ни одной минуты. Просто глупо.

Раздался звонок. Перемена кончилась. Тогда, вместо того, чтобы возвратиться в класс, Петя пошел по опустевшему коридору, спустился по парадной мраморной лестнице этажом ниже, остановился возле двери в учительскую и прислонил-

ся к косяку. Вид его выражал крайнее недомогание.

Первым из учительской вышел инспектор. Это был новый инспектор, еще далеко не старый человек, красавец, с острой бородкой и седыми висками. На нем был не сюртук, но форменная щегольская тужурка из толстого, черного диагоналевого сукна с серебряными звездочками статского советника на синих бархатных петлицах. Эти серебряные звездочки были похожи на сильно увеличенные снежинки. Его мягкие шевровые сапоги на резинках приятно скрипели, и от него приятно пахло свежим одеколоном и брокаровским мылом.

— Ты что здесь околачиваешься? — заметив Петю, сказал новый инспектор звучным, красивым голосом, привыкшим к диктанту.

— Я заболел, — жалобно сказал Петя.

— Какого класса?

— Четвертого. Вачей Петр. Я заболел. Можно мне пойти домой?

— Что у тебя болит?

Петя хотел сказать «живот», но сейчас же сообразил, что это было бы просто глупо. Наивная брехня, достойная приготовишки. Петя знал, что в городе эпидемия дифтерита. Он решил ударить наверняка. Он с искусно сделанным трудом проглотил слюни и сказал:

— Горло. Трудно глотать.

Новый инспектор потрогал петину глоту.

— Жара нет, — сказал новый инспектор.

— Нет есть, — сказал Петя. — Я ел снег.

— Ты ел снег?

— Я ел сегодня снег, — сказал Петя, — и теперь мне очень больно глотать. Вот видите.

Петя опять с трудом проглотил слюни и сделал страдальческое лицо. Теперь ему самому показалось, что глотать действительно больно.

— Зачем же ты ел снег? — сказал новый инспектор с отчаянием. — Кто тебя научил есть снег?

— Я не знаю, — с глупой и печальной улыбкой сказал Петя. — Мне хотелось пить, и я сегодня ел снег.

Петя ничуть не врал. Он действительно сегодня ел снег. Но он ел его не только сегодня. Он ел снег и вчера и позавчера. Каждую зиму он ежедневно ел снег и каждую весну сосал сосульки, имевшие восхитительный привкус ржавого железа. Это было безумно приятно. Это делали все мальчики, и от этого никто никогда не болел.

Однако новый инспектор был удручен.

— Оказывается, в этой гимназии ученики едят снег! — повторил он несколько раз под ряд, пожимая плечами и вкладывая в эти слова некий особый, полемический смысл.

— Можно мне пойти домой? — сказал Петя.

— Ступай к доктору, — сказал новый инспектор: — сейчас же ступай к доктору. Боже мой, в этой гимназии учащиеся едят снег. Я напишу твоим родителям, что ты ел снег. Я напишу об этом в канцелярию попечителя учебного округа.

— Я больше не буду, — сказал Петя.

— Ступай к доктору, — сказал новый инспектор. — Оказывается, они здесь все едят снег. Ну-ну.

Пока Петя таким образом беседовал с новым инспектором, мимо них из учительской прошло на урок несколько преподавателей.

Сперва вышел преподаватель географии с указкой в руках и за ним служитель в старом мундире с голубым воротничком пронес множество палок с географическими картами.

Потом вышел преподаватель русского языка со стопкой тетрадей под мышкой. Из тетрадей выглядывали розовые промокاشки.

За преподавателем русского языка вышел священник, взбивая пухлой рукой свои женские волосы и жадно докуривая тоненькую дамскую папироску.

За отцом законоучителем появился учитель природоведения, перед которым в поднятой руке служитель нес громадную легкую модель цветка с идеально правильным зеленым пестиком, идеально желтыми тычинками, с розовыми лепестками идеально правильного венчика и громадной завязью на тонкой проволоочной ножке, воткнутой в деревянную подставку. Цветок качался.

Учитель рисования пронес две геометрические фигуры — шар и конус, — сделанные из пальмаше, некогда глянцево-белоснежные, но с течением времени ставшие желто-серыми, а местами просто черными.

Француз не без труда тащил под мышкой несколько наглядных цветных картин «Четыре времени года», которые почти касались пола, и Петя заметил одну из них, хорошо ему знакомую — «L'hiver» (зима), с водяной мельницей под толстой треуголкой снега, с головастой ветлой возле замерзшего черно-зеленого пруда и с усатым господином на коньках «снегурочка», который, отбросив назад изящную ножку, толкает перед собой затейливые санки — кресло в форме лебедя, на которых сидит молодая особа с крошечной муфтой в руках.

Затем появился учитель пения, легко неся свой воздушный груз — скрипку, смычок, платочек и канфоль.

Петя смотрел на эту процессию педагогов и учебных пособий с чувством некоторой неловкости и даже, может быть, сожаления. Так, вероятно, смотрит дезертир, решивший бежать с поля боя, на колон-

ну свежих войск, идущих в атаку с пушками и развернутыми знаменами.

Но это чувство было мимолетно.

В следующее мгновение Петя уже мчался в докторскую по пустынному, гулкому коридору, скользя каблуками по узорчатым метлахским плиткам, мимо стеклянных дверей классов, мимо замаскированных окон, мимо эмалированных плательниц и фаянсовых баков с перевернутой водой, под кранами которых на цепочках висели оббитые эмалированные кружки.

Прибжав к докторской, он еле дышал. Лицо его пылало. И это было очень хорошо.

Петя постучал в обитую белой клеенкой дверь и, получив разрешение, вошел в докторскую. Он шаркнул ногами и поклонился доктору.

Доктор только-что снял халат и был в одном жилете. Он как-раз надевал пиджак с крошечным новеньким университетским значком, чтобы идти на урок в седьмой класс, где он преподавал гигиену.

Служитель с голубым воротничком готовился выносить из докторской скелет, у которого болтались кости рук и на пружине щелкала челюсть.

Увидев Петю, доктор отложил пиджак и опять надел халат.

— Неси скелет в седьмой класс, — сказал доктор служителю. — Я сейчас приду. Что случилось? — сказал он Пете.

— Я заболел, — скорбно сказал Петя.

— Это катастрофа, — сказал доктор, блеснув глазами.

Доктор подержал Петю некоторое время за пульс, а потом сказал:

— Не морочь мне голову.

— Нет, честное слово, — сказал Петя льстиво и вместе с тем жалобно. — Я очень плохо себя чувствую. Видите, какой я красный.

Доктор был выкрест и весельчак. Он только-что начал практику и во всех отношениях был доволен жизнью. Кроме того, он недавно женился и пережил медовый месяц. У него были чисто выбритые розовые щеки, небольшие подстриженные усики и глянцево-белые глаза молодожена.

— Я вижу, что ты красный, — сказал доктор. — Но это еще абсолютно ничего не доказывает. Что у тебя болит?

— Горло. Трудно глотать.

— Тебе трудно глотать, — пробурчал доктор. — А ты не глотай. И вообще не морочь мне голову. Садись.

Доктор посадил Петю на клеенчатую кушетку, покрытую скользящей простыней, и велел разинуть рот.

Одной рукой он взял Петю за затылок и с силой повернул петину голову лицом вверх, а другой рукой вынул из банки специальную кривую лопаточку и нажал

ею на корень петиного языка с такой силой, что язык онемел.

Доктор заглянул в петино горло сначала одним глазом, потом другим, потом, не говоря ни слова, вымыл руки над фаянсовой раковиной, вытер их махровым полотенцем, снял хаат и надел пиджак.

— Ты еще здесь? — сказал доктор, удивленно посмотрев на Петю, который стоял посреди докторской, тоскливо разглядывая проволочные формы рук и ног, развешанные по стенам. — Иди. У тебя не болит горло.

— Нет болит, — сказал Петя. — Я ел снег.

— Неужели? — рассеянно пробормотал доктор, ища что-то на письменном столе.

— Я сегодня ел снег, — сказал Петя, — и теперь мне очень больно глотать.

Петя подумал и прибавил, скосив глаза:

— У меня дифтерит.

— Может быть, у тебя индийская чума? — сказал доктор, продолжая возиться у письменного столика.

— У меня дифтерит, неужели вы не видите, — упрямо сказал Петя, ужасаясь тому, что он говорит.

— Пошел вон, — сказал доктор равнодушно.

— Я сегодня ел снег. Мне очень больно глотать. Я заболел. У меня дифтерит, — быстро сказал Петя, почти плача.

— Так что же ты от меня хочешь?

— Можно мне идти домой?

— О! — коротко, с глубоким облегчением сказал доктор. — О! Теперь я слышу разумную речь. Ты здоров, но ты хочешь идти домой. Это я вполне понимаю.

Доктор быстро написал узенькую увольнительную записку, вручил ее Пете, подвел мальчика к двери, повернул за плечи, слегка поддал сзади коленом.

— И чтоб это было последний раз, боясь, — сказал доктор, закрывая за Петей дверь.

Размахивая запиской, Петя стремительно разбежался по совершенно пустому коридору.

За десять шагов до класса он неподвижно установил ноги специальным образом одна за другой, в одну линию, раскинул руки и понесся, как по льду, по скользким метлахским плиткам, которые щелкали под каблуками.

Петя во-время затормозил, иначе он непременно въехал бы головой в стеклянную дверь класса. Возле двери Петя передохнул, сделал скорбное лицо человека, заболевшего дифтеритом и еле волоча ноги, вошел в класс, где уже начался урок физики.

Сегодня как-раз были «опыты». На кафедре стояла электрофорная машина с толстым стеклянным диском, несколько напоминавшим циферблат часов, но только вместо цифр были наклеены по-

лоски свинцовой бумаги, похожие на восклицательные знаки. Возле машины хлопотали учитель физики и два гимназиста-ассистента.

Когда Петя вошел в класс, опыт только-что начался. Один из ассистентов крутил маленькую ручку, с довольно крупным медным колесом. На это колесо была надета кожаная трансмиссия, соединявшая колесо с осью стеклянного диска. Диск плавно тронулся. Сначала он вращался медленно, хотя и гораздо быстрее медного колеса; и полоски свинцовой бумаги мелькали редко, как спицы извозчичьей пролетки. Потом диск стал вращаться быстрее, хотя медное колесо вращалось все-таки медленнее. Тогда свинцовые полоски замелькали, поблескивая, как велосипедные спицы.

Послышалось прерывистое шуршание медных щеточек, которые все чаще и чаще задевали мелькающие свинцовые полоски.

Но вот диск пошел еще шибче, шибче, шуршание щеточек стало сплошным, свинцовые полоски слились в неподвижный круг, блестящий, как ртуть. Где-то в самой середине машины, работающей полным ходом, вдруг возник тонкий, как волос, звук напряженного, высокого тона, не то з-з-з-з-з, не то у-у-у-у-у. И вдруг на глазах у всех произошло чудо возникновения электричества.

Оно возникло из ничего, из трения медных щеточек о свинцовые бумажки!

Физик взял две палочки, похожие на ручки детской скакалки, но только с медными шариками на концах, — «индуктор» и «дедуктор», — приблизил их друг к другу и вдруг между ними с легким треском проскочила синяя электрическая искра. Затем проскочила ещё одна икра. Затем две искры под ряд, почти слитно. Затем три, четыре.

Искры проскакивали между двумя медными шариками одна за другой, с явственным треском электрических разрядов.

Гимназисты смотрели, затаив дыхание. Петя стоял возле двери, очарованный чудом возникновения электричества из ничего. Он не мог отвести глаз от волшебного зрелища этой миниатюрной грозы, которая — с громом и молнией — вдруг разразилась в руках физика.

Петя смотрел на проскакивающие между двумя медными шариками искры. Он слышал легкий треск крошечных электрических разрядов. Ему казалось, что в его жизни это уже когда-то было. Он это уже когда-то видел. Уже что-то подобное случалось. Так же проскакивала синяя искра и так же потрескивало.

Но где это было? Когда?

И вдруг он сразу все вспомнил.

Мама. Она еще тогда была жива. Да! Это была мама. Это была темная комната. Нарочно темная. Был солнечный день, но в комнате нарочно закрыли ставни и

даже занавесили окно темным, клетчат-ным пледом.

Мама сидела перед туалетным столиком и каучуковым гребешком расчесывала распущенные волосы. Волосы у мамы были длинные, пышные, темные. Петя был совсем маленький. Может быть, ему тогда было три года. В комнате было почти темно, и мамины волосы казались еще длиннее, пышнее, темнее. В неполной темноте мамины волосы казались совсем черными, даже смолистыми. Мамины глаза лукаво блестели из темного зеркала. Тут же стоял папа в сюртуке и посмеивался.

Мама расчесывала волосы каучуковым гребнем и они смолисто трещали, осыпанные синими искрами. Мама протянула Пете гребешок. Петя не успел его взять. Из гребешка с легким треском выскочило несколько синих искр. Петя с испугом отдернул руку. И тогда в первый раз было произнесено волшебное слово «электричество». Его произнес отец...

— Ты что здесь делаешь? — сказал физик, заметив, наконец, Петю. — Ты опоздал?

— Я сегодня ел снег, — машинально сказал Петя. — И я заболел. У меня жар. Доктор велел идти домой.

Петя показал записку.

— Ну так что ж ты стоишь? Иди.

Петя сделал несколько шагов к своему месту, но вдруг остановился, не в силах отвести очарованных глаз от электрической машины.

— Николай Николаевич, — жалобно сказал Петя, показывая пальцем на палочки с медными шариками, между которыми проскакивала искра. — Что это за штука?

— Это индуктор и дедуктор. Ну, ступай. Раз ты болен — забирай учебники и ступай домой.

— Индуктор и дедуктор, — горестно прошептал Петя.

Ему ужасно хотелось их потрогать. Он бы дорого дал, чтобы ему позволили покрутить машину. Но он сегодня ел снег. Он был опасно болен. Доктор велел ему сейчас же идти домой.

Несмотря шаркая ногами, Петя отправился на свое место, он кинул учебники в ранец и развинченной походкой больного дифтеритом вышел из класса. Но выйдя из класса, Петя еще некоторое время торчал за дверью, показывая товарищам через стекло здоровый, свежий язык и делая разнообразные ужимки, что было весьма принято в подобных случаях.

Тем временем физик что-то сделал с машиной и теперь, вдруг, в его руке зажглась маленькая электрическая лампочка. Правда, она горела очень слабо и очень неровно, то вспыхивая, то почти совсем угасая. Но она горела. Она да-

вала свет. Она была «электрическая лампочка».

В это время в Одессе электричество считалось еще большой редкостью, почти чудом. Электричество горело только в квартирах богатей. Улицы освещались керосином или газом. Только на Маразлиевской улице по вечерам гудели громадные яйцевидные дуговые фонари в сетках. Из этих фонарей иногда с шипением падали на мостовую перегоревшие угольные свечи, доставлявшие много радости маразлиевским мальчикам.

Было приятно пройти вечером по Маразлиевской, облитой мертвым, голубым, каким-то лунным светом шумящих электрических фонарей.

Первую линию электрического трамвая еще только прокладывали.

Когда Петя увидел в руках физика мигающую электрическую лампочку, у него пересохло в горле. В этот миг он даже забыл, что у него есть сберегательная книжка и что он вкладчик.

О, зачем, зачем он сегодня ел снег, зачем у него жар, зачем у него болит горло, зачем он полез к доктору!

Теперь, вместо того, чтобы так глупо уходить домой, можно было бы напроситься в ассистенты, стоять возле кафедры, крутить чудесную машину и, — кто знает! — может быть, даже поддержать в руке мигающую электрическую лампочку.

Однако Петя недолго предавался поздним сожалениям. Ему пришла в голову мысль, которая потрясла его до глубины души. Ведь он вкладчик, у него есть капитал, который можно получить немедленно и по первому же требованию. Так в чем же дело? Ну сколько стоит электрическая машина? Рубль, два? Пожалуйста. Два с половиной? Пусть даже — три. Это не имеет значения. Боже мой, как он раньше не подумал об этом.

Теперь кончено. Сейчас же, сию минуту, он пойдет в государственное казначейство, потребует свой вклад и приобретет электрическую машину. И потом целый день будет крутить ручку своей собственной электрической машины и любоваться своей собственной электрической лампочкой.

Можно себе представить, какую жалкую рожу скорчит Павлик, когда узнает, что у Пети есть собственное электричество. О, тогда мы увидим!

Не медля ни секунды, Петя ринулся вниз в шинельную. Он с такой силой рванул свою шинель, что стоячая вешалка чуть не повалилась и цепочка, на которой висела шинель, лопнула.

Петя быстро вытащил из одного рукава шинели башлык, а из другого — фуражку, в то же самое время стараясь достать ногами из ящичка свои калоши с медными буквами П. Б.

Служитель с голубым воротником без труда заставил Петю надеть башлык. Хотя Петя и вырывался, но служитель все-таки надел на петину голову поверх фуражки башлык и так крепко обмотал его вокруг горла и таким грубым узлом завязал на затылке, что Петя совершенно не мог поворачивать голову.

Тесные ремни ранца давили подмышками, толстая шинель на вате топорщилась, волосатый башлык лез в рот, козырек фуражки под башлыком насунулся на глаза и мешал смотреть.

Жар до крови раскаленной чугунной мальцевской печки, по которой бегали искры, на одно мгновение охватил Петю при выходе из шинельной. На одно мгновение Петя увидел ярко начищенную, медную подстилку, на которой стоял затейливый домик этой мальцевской печки с затейливыми слюдяными окошечками и куполообразной крышей. Сквозь розовые от жара, похрустывающие слюдяные окошечки Петя мельком увидел груды раскаленного, спекшегося кокса и тотчас был ослеплен его нестерпимым сиянием.

Петя выбежал во двор, где его чуть не свалил с ног ветер, несший с Куликова поля тучи пурги. На газоне дымилась занесенные снегом три голубых ели.

Стараясь держаться боком к ветру, а иногда даже становясь к нему на некоторое время спиной, Петя выбрался на улицу. В глазах среди струящейся белизны метели все плавали и плавали и мешали видеть до черноты синие отпечатки слюдяных окошечек.

Петя дошел, преодолевая ветер, по Новорыбной до угла Большой Арнаутской и в нерешительности остановился возле газетного киоска. Он еще не имел ясного плана дальнейших действий.

Вдруг он увидел Гаврика.

Гаврик шел по той стороне Большой Арнаутской, направляясь, как видно, «в город». Он шел без пальто. Пальто ему заменяла очень старая, ветхая двубортная тужурка с сильно укороченным воротником. Воротник был хотя и поднят, но не закрывал ушей полностью. Из воротника выглядывали кончики ушей, малиновых от стужи. Не помогала делу и чересчур маленькая фуражечка «капитанка», изо всех сил натянутая на давно нестриженную голову. На ногах у Гаврика были желтые, летние полуботинки, со сбитыми каблучками, несколько великоватые, но все же цельные.

Гаврик шел, прижав к груди руки, засунутые в рукава, и бодал головой ветер, бивший его в лицо и норовивший свалить с ног.

Напирая на ветер головой и грудью, Гаврик боролся с бурей.

Пожалуй, его можно было бы принять за нищего. Но только нищие ходят по улицам совсем не так, как шел Гаврик. Нищие бредут по улице без цели, оставаясь у ворот и заглядывая во дворы. Нищему некуда спешить. Нищий редко спешит. Нищий идет, не торопясь. А если мороз слишком лют, и нищий боится опоздать в ночлежку или торопится в монополюку выпить шкалик водки, — тогда нищий суетливо бежит в своих угольно-черных лохмотьях, бесцеремонно расталкивая прохожих, дробно стуча ногами и приплясывая.

Гаврик шел торопливо, но не бежал.

У него был вид серьезного, занятого человека, идущего по важному делу. Кроме того, одежда Гаврика отличалась от нищенской тем, что хотя и была до последней степени ветхой, но не имела ни одной дырки. Все дырки были грубо, но аккуратно зашиты, залатаны, заштопаны. Даже все пуговицы были крепко пришиты к его ветхой двубортной тужурке с сильно укороченным воротником. Правда, это были пуговицы разных фасонов и цветов, но они были крепко пришиты и отлично служили.

Петя подобрал тяжелые полы шинели на стеганой ватной подкладке и, крутясь под ударами ветра, бросился догонять Гаврика.

Наконец, он его догнал и крепко стукнул кулаком по спине. В тот же миг с ловкостью кошки Гаврик обернулся, присел и выставил хулаки. Его зубы были злобно стиснуты и глаза остро прищурены. Он всегда, в любую секунду был готов к нападению.

Но, увидев перед собой Петю, Гаврик добродушно растянул губы, сизые от холода.

— Клифт! — сказал Гаврик и ловко щелкнул ногтем большого пальца по клеенчатому потрескавшемуся козырьку своей «капитаночки».

— Клифт! — ответил Петя.

Он стащил зубами вязаную перчатку и так же щеголевато щелкнул по кожаному лакированному козырьку своего гимназического картуза.

Это было новое приветствие, которое только-что вошло в моду у одесских мальчиков и считалось самым высшим шиком на всем протяжении от Большого фонтана до Дюковского сада.

— Клифт! — сказал Гаврик.

— Клифт! — сказал Петя.

После чего он крепко пожал ярко красную руку приятеля.

— Куда шмалишь? — спросил Петя.

— На тульчу. А ты что: правишь казну?

— Спрашиваешь!

В переводе на русский язык это значило:

— Привет!
 — Привет!
 — Куда ты идешь?
 — На толкучий рынок. А ты что: прогуливаешь уроки?
 — Странный вопрос: конечно.

Но в то время все одесские мальчики разговаривали на таинственном и довольно странном языке, заимствованном у рыбаков, матросов, портовых грузчиков и знаменитых одесских босяков, обитателей трущоб и ночлежек. Пусть же это никого не удивляет.

Некоторое время приятели шли молча. Пете не терпелось поскорее сообщить Гаврику о том, что он стал вкладчиком, и показать сберегательную книжку. Он буквально дрожал от нетерпения. Ужасно хотелось хвастать. Но хороший тон требовал не торопиться.

Наконец, когда, по мнению Пети, прошло достаточно времени, — а на самом деле прошло не больше двух минут, — Петя вдруг остановился, как бы только-что вспомнив новость, хлопнул себя по башлыку, с которого посыпался снег, и крикнул:

— Стой! Я совсем забыл. Гаврик, стой, подожди. Слушай здесь. Стой!

Гаврик остановился. Мальчики стояли посреди тротуара спиной к ветру, и ветер валил на них с крыш пургу. Петя тяжело дышал от счастья и волнения.

— Гаврик, стой. Слушай здесь. Знаешь, кто я теперь?

— Ну?

— Не ну, а ты скажи. Знаешь?

Гаврик не любил чего-нибудь не знать. Он этого терпеть не мог. В этом было нечто почти унижительное. Его гордость страдала. Он сердито наморщил лоб. На лбу, ярко розовом от стужи, морщины казались совсем белые, как макароны.

— Ну, ну, — сказал Петя самодовольно, — скажи?

— Гимназист, — сказал Гаврик.

— Дурень, — сказал Петя.

— Сам дурень, — сказал Гаврик.

— От дурня слышу, — сказал Петя. — Не знаешь?

— Ну?

— Нет не ну, а ты скажи. Знаешь?

— Не знаю, — нехотя сказал Гаврик, умиравший от любопытства.

— Ага! Не знаешь? Так я тебе скажу: вкладчик. Ага!

Невыносимая гордость и блаженство звучали в петином голосе.

— Что ты говоришь! — с фальшивым изумлением воскликнул Гаврик, для которого слово вкладчик во всех отношениях было пустым звуком.

— Но Гаврик терпеть не мог чего-нибудь не знать.

— Что ты говоришь! — повторил он еще раз и для того, чтобы окончательно

скрыть свое невежество, хлопнул Петю по ранцу, с которого посыпался снег. — Молодец вкладчик!

— Да, — сказал Петя. — Вкладчик. А что, скажешь — нет? И могу доказать.

— Докажи.

— И докажу.

— Не докажешь.

— А вот и докажу.

— А вот не докажешь.

— Не докажу? Нет? Тогда смотри.

Петя тут же, посреди тротуара, скинул ранец, зажал его между ног, расстегнул и торопливо вытащил бледносиреневую книжку государственной сберегательной кассы. Он открыл ее на первой странице и, все время дуя, чтобы ее не запорошил снег, показал Гаврику.

Гаврик прочел все, что там было написано и кое-что понял. Однако это ничуть не поразило его. То, что так сильно действовало на петино воображение, — все эти штампы, подписи, печати, параграфы правил для вкладчика, таинственные и почти волшебные слова — «проценты», «сумма», «капитал» — все это для Гаврика было лишено очарования.

Он принимал все это так, как оно было, во всей своей будничной простоте и даже скуке. Его ум не находил пищи там, где петино воображение уже создало целый мир и населило его призраками.

— Теперь ты видишь? Теперь ты видишь? — возбужденно говорил Петя, укладывая сберегательную книжку в ранец и надевая его сначала на одно плечо, а потом, вывернув руку, пристегивая к другому. — Теперь ты видишь, что я вкладчик и у меня есть капитал? Ага!

— Где еще тот капитал? — сказал Гаврик равнодушно и свистнул.

Петя остолбенел.

— Как это — где капитал? — закричал Петя, и его красные от мороза щеки даже пошли от возмущения белыми пятнами. — Ты ж сам видел. Написано. Сумма вклада три рубля.

— Эге, где еще эти три рубля!

Петя смотрел на Гаврика во все глаза с яростью, с отчаянием и не находил слов. Было все так ясно. Сумма вклада — три рубля. Вклад выдается немедленно и по первому же требованию. На капитал нарастают проценты. Три процента годовых. Яснее, кажется, трудно себе представить. И все-таки Гаврик не понимает. Нет, наверное, отлично понимает, только ему завидно, и он нарочно притворяется дурачком.

Но Гаврик не притворялся. Он хотя действительно кое-что и понял, но понял не все. Он прivityк к простым понятиям. Деньги есть деньги. Три рубля есть три рубля — одна зеленая бумажка или три больших серебряных рубля, прият-

ных на ощупь, скользких и тяжелых на вес. Или же два рубля целых, а остальные мелочью. Или, как угодно, хоть все три рубля медяками. А то, что написано три рубля, — это еще ничего не значит. На буквы ничего не купишь. Написано — написано, а потом придешь получать и дадут дулю. Бывали и такие случаи.

Не дальше как этим летом Гаврик разгружал в практической гавани арбузы у одного грека, по двадцать копеек в день, работал целую неделю, а в субботу пришел в контору получать один рубль сорок копеек по записке старосты артели и получил дулю.

Грек сказал:

«Иди, мальчик, не морочь мне голову, я ничего не знаю. Староста тебя нанимал? Нанимал. Так пускай староста с тобой и рассчитывается».

А старосты и след простыл.

Знаем мы это.

— Эге, где еще эти три рубля! — упрямо повторил Гаврик.

— Три рубля есть, — сказал Петя.

— Где ж они? Покажь

— Есть.

— Я их не вижу.

— Увидишь.

— Хочу видеть.

— Мои три рубля лежат в государственном казначействе.

— Это не важно. Я их хочу видеть глазами. Покажи.

— Осёл.

— Ты!

— Ага, заело!

— Кого заело?

— Тебя заело.

— Меня заело? Ха-ха. Это тебя заело. Я — вкладчик. А ты кто? Босьявка!

— От босьявки слышу.

— Не гавкай. У меня на книжке три рубля, а у тебя — что? Дуля!

— У меня дуля?

— Да. У тебя дуля с маслом. Вот такая дуля. На, съешь.

Петя быстро стащил зубами варешку и поднес к глазам Гаврика кулак, сложенный дулей. Большой палец высовывался очень далеко и оскорбительно двигался, почти царапая нос Гаврика довольно грязным ногтем. Это было сильнейшее оскорбление.

Петя не сомневался, что сейчас начнется драка. Он побледнел, вдавил голову в плечи и выставил кулак. Но, к удивлению, Гаврик ничуть не обиделся. Он снисходительно оглядел Петю и сказал:

— Чего нарываешься? Не нарывайся. Стой. Смотри здесь.

С этими словами Гаврик, не торопясь, расстегнулся, полез глубоко в недра своей тужурки, покопался там и поднес к петинному носу кулак, в котором было что-то зажато.

— Видел?

Гаврик разжал пальцы и, к своему безграничному изумлению, Петя увидел горсть серебряных и медных денег.

— Рубль тридцать, — сказал Гаврик, ловко подбросив на ладони стопку коротко звякнувших монет. Затем он бережно опустил их обратно в недра тужурки и застегнулся.

— Ага! Ну, кто теперь вкладчик? Кто босьявка? У кого дуля? Спрячься!

— Откуда у тебя деньги? — закричал Петя.

— Заработал, — коротко сказал Гаврик. Лицо его стало очень серьезным, озабоченным. Он вздохнул.

— Понимаешь, такое дело, — сказал он, сплевывая. — Мотья опять порвала ботинки. Ну что ты скажешь на эту девочку! Совершенно порвала. Ни один сапожник не берет. Я прямо не знаю, что мне с этой девочкой делать. На ней все горит. Докрутилась до того, что не имеет в чем идти в школу. Сидит дома. Главное, я ей на пасху купил совершенно новые ботиночки за четыре двадцать. И — что ты скажешь! — уже от них ничего не осталось. Как тебе это нравится? Такая отчаянная девочка. Навалилась на мою шею. А что же делать, как поступать? Хожу, подбираю ей ботиночки. Только никак не могу подобрать. Ничего нет подходящего. Кругом такие цены, что хоть не заходи в магазин. Самые дешевые детские ботиночки — три восемьдесят. Где я такие деньги возьму? Я их не сам делаю. Теперь думаю заскочить на тульчу, может быть, там подберу что-нибудь подходящее.

Гаврик все это рассказывал, не торопясь, солидно. Его небольшое лицо, пестрое от холода, выглядело строгим и озабоченным, как у взрослого. Петя вполне сочувствовал своему другу и хорошо понимал его.

Гаврику, действительно, приходилось очень туго. С тех пор, как исчез Терентий, — куда он исчез, никто не знал, но можно было предположить, что его внезапно арестовали на улице и держат где-то в тюрьме, — от него не было никаких известий.

С тех пор, как исчез Терентий, все заботы о его семье легли на плечи Гаврика. Жена Терентия почти все время болела. Работать приходилось одному Гаврику. И он работал, сколько хватало сил.

Но не так-то легко было найти работу и заработать денег четырнадцатилетнему мальчику, в то время, как многие взрослые тоже ходили без работы.

Летом еще куда-скуда. Летом случалась работа в порту. Летом поддерживали знакомые рыбаки, бравшие на лов. Зимой приходилось совсем плохо. Бывали дни, когда вся семья ничего не ела.

А тут еще эти мотины башмаки. Отчаянная девочка, на ней все горит!

— Попробую заскочить на тульчу, — сказал Гаврик. — Может быть, там подберу что-нибудь подходящее. А ты куда шмалишь?

— В государственное казначейство, получить свой вклад, — сказал Петя солидно.

— Так тебе и дадут.

— Бьём пари, на что хочешь.

— Закройся!

— А я тебе говорю — дадут. В сберегательной книжке написано «вклады выдаются немедленно и по первому же требованию». Вот я сейчас пойду в государственное казначейство, получу вклад, и руплю... электрическую машину.

Электрическая машина соскочила с языка неожиданно для самого Пети. Но не мог же он не козырнуть чем-нибудь перед приятелем, который шел на толчок покупать ботинки.

— Что ты купишь? — спросил Гаврик.

— Электрическую машину, — небрежно сказал Петя с таким видом, как будто покупал электрические машины каждый день и не придает этому никакого значения.

Гаврик прищурился, всматриваясь в лицо приятеля. Он всматривался долго, как бы стараясь понять, с кем он имеет дело: с шутником или сумасшедшим. Но петино лицо не было похоже ни на лицо сумасшедшего, ни на лицо шутника.

Гаврику приходилось видеть сумасшедших. В городе их было довольно много, и они были хорошо известны.

Был, например, знаменитый городской сумасшедший Марьяшес, так сказать, король одесских сумасшедших, такая же достопримечательность города, как памятник Дюку де-Ришелье, Николаевский бульвар или городской голова Пеликан, украшавший люстру в одесском городском театре.

Тщеславные одесситы гордились Марьяшесом. Они были уверены, что это самый лучший сумасшедший в мире. Его часто можно было встретить на центральных улицах. Он быстро шел по тротуару в сюртуке с развевающимися фалдами, окруженный детьми и собаками.

Он громко и раздраженно разговаривал сам с собой, стремительно жестикулируя длинными, худыми руками с высокими бумажными манжетами.

Иногда он входил в какой-нибудь магазин, чаще всего в кондитерскую, разбивал там железной тросточкой графин, жадно съедал несколько пирожных и, осыпая проклятиями приказчиков, выбегал на улицу, где его терпеливо ждали дети и собаки.

Его не преследовали. Было известно, что его брат — известный присяжный

поверенный Марьяшес, богатый человек — заплатит за все.

Был другой сумасшедший — Мосейка, напоминавший Марьяшеса, но сортом поуже. Он появлялся на окраинах и был как бы Марьяшесом бедных.

В лавки его не пускали, вместо сюртука на нем болталось старое летнее пальто и ругался он хотя так же громко, как Марьяшес, но с извиняющимся выражением на измученном лице.

Был еще один сумасшедший, Липский, старик с наружностью католического священника или во всяком случае сторожа костела.

Круглый год он ходил с непокрытой головой, лысой, пергаментно-коричневой, заглубленной от стужи и зноя — головой пиллигрима.

Чаще всего его можно было встретить в самых уединенных аллеях Александровского парка. В железных очках с увеличительными стеклами, с изношенным шотландским пледом на плечах, согбенный, он очень медленно шел, держа в руке несколько пожелтевших листов почтовой бумаги, исписанной непонятными каракулями.

Он подходил только к парочкам.

Заметив на скамейке кавалера с барышней, он почти бесшумно приближался по пыльному гравию, останавливался и, нерешительно протягивая свои листки, произносил монотонным голосом, с польским акцентом:

— И вы, господин, и вы, госпожа, вы поедете в Вилькомир...

Он низко кланялся, долго стоял в согнутом положении, показывая свою коричневую лысину, и затем медленно удалялся в глубину аллеи, как призрак бормоча:

— И вы, господин, и вы, госпожа..

Нет, Петя не был похож на сумасшедшего.

Может быть, — шутник?

Шутников Гаврик тоже часто видел. Шутники хватали извозчика за колеса, громко хохотали, нарочно спотыкались для того, чтобы испугать идущего позади прохожего, тушили газовые фонари. У них были самодовольно глупые и веселые рожи.

Нет, Петя не был похож на шутника. У него были блестящие, правдивые глаза и лицо, дышавшее вдохновением.

Гаврик смутился.

А, чорт его знает, может быть и вправду Петя идет покупать электрическую машину. От этих гимназистов всего можно ожидать.

По правде сказать, Гаврик очень смутно представлял себе электрическую машину. Просто машина — это еще понятно: большое, железное, с колесами, окутанное паром. Такую не купишь. Черес-

чур дорого стоит. А электрическая — кто его знает.

— Слышь, Петька, — не совсем уверенно сказал Гаврик, — часом ты не брешешь?

— Собака брешет.

— А какая она?

— Кто?

— Эта электрическая машина? Большая?

— Не особенно.

— Как что? Как половина конки будет?

— Меньше.

— Ну, тогда как стол будет?

— Меньше.

— Как ящик из-под апельсинов будет?

— Как ящик будет. Приблизительно вот такая.

Петя добросовестно показал руками размер электрической машины — в длину, в ширину и в высоту.

Гаврик поскреб затылок.

— А ты ее видел?

— Спрашиваешь!

— Где же ты ее видел?

— У нас в гимназии.

— Какая ж она?

— Обыкновенная. Ничего особенного. Стекланный круг и две палочки вроде ручек скакалки с медными шариками. Называются электроды. Очень просто.

— А что делает?

— Электричество.

— Ну!

— Представь себе.

— Как же она его делает?

— Ее крутят, а электрическая искра проскакивает между электродами. Понятно?

— Что же тут непонятного? Понятно.

А зачем? Для фокуса?

— Для опыта, — наставительно сказал Петя. — А еще можно вместо искры, чтоб электрическая лампочка горела. Вот такая малюсенькая лампочка.

— И горит?

— Горит.

— Как же она горит?

— Так и горит. Машину крутят, а она жорит.

Гаврик засмеялся.

— Брешешь!

— Собака брешет.

— И ты купишь себе такую машину?

— Непременно.

— А гроши?

— Здравствуйте. Я ему сто, а он мне двести. А сберегательная книжка?

— Не дадут.

— Дадут.

— А вот не дадут.

— А вот дадут.

И опять начались препирательства. Они, вероятно, так бы никогда и не кон-

чились, если бы вдруг приятели не увидели, что стоят перед большим серым зданием, на котором мелкими золотыми буквами выложено: «Государственное казначейство». «Государственное» — на левом крыле дома, «казначейство» — на правом, — а посередине золотой двуглавый орел.

Оказывается, незаметно для себя, Петя и Гаврик пересекли почти весь город.

Так вот он, этот таинственный казенный дом, это могущественное государственное учреждение, где в сводчатых подвалах стоят зеленые кованые сундуки, набитые золотом и ассигнациями, среди которых ходит с пылающим сургучом в руках костлявый старик в зеленом мундире, покрытом орденами и медалями, — сам государственный казначей, хранитель государственных сокровищ.

Приятели нерешительно переглянулись.

— Ну? — сказал Гаврик, легонько трогая Петю локтем.

— Что — ну?

— Пройдешь?

— Конечно.

— А не дрефишь?

— Здравствуйте.

— Чего же ты не идешь?

— Сейчас пойду.

— Брось! Лучше заскочим на тульчу, подберем Моте богиночки. А сюда когда-нибудь другим разом соберемся.

— Нет сейчас.

Сказать по правде, Пете и самому как-то не верилось, что можно немедленно и по первому же требованию получить свои три рубля. Кроме того, было действительно страшновато. Но Петя был ужасно упрям. Ему во что бы то ни стало хотелось настоять на своем.

— Пошли, — сказал он решительно.

— А, может, не стоит?

— Ага! Дрефишь?

— Кто?

— Ты.

— Я?

Гаврик презрительно покосился на Петю. Не говоря ни слова, Гаврик обеими руками взялся за чудовищную ручку дубовой двери государственного казначейства, громадной, как ворота, и потянул ее изо всех сил. Дверь поддавалась с большим трудом. Послышался тугой вздох какого-то поршня.

Подбадривая друг друга пинками, мальчики пролезли в щель, и дверь за ними бесшумно захлопнулась.

Они очутились в очень большом, грязном, плохо освещенном вестибюле. Резкий запах мокрого шинельного сукна и керосина слышался в синеватом воздухе. Монотонный гул присутственного места реял вверху.

Швейцар в мундире с зеленым ворот-

ником сидел на стуле под вешалкой и пил чай в прикуску.

— Здравствуйте, — сказал Петя швейцару, — простите за беспокойство, но дело в том, что я вкладчик. Это — мой товарищ. Мы пришли вместе. Он не вкладчик, но я — вкладчик. У меня есть книжка государственной сберегательной кассы. Вот моя книжка. Посмотрите.

Петя вынул из ранца и показал швейцару сберегательную книжку.

— Я бы хотел, если можно, получить свой вклад. Это, кажется, где-то здесь. Не можете ли вы мне сказать, куда надо обратиться.

Швейцар не удостоил Петю ни одним взглядом. Он как-раз в то время держал перед собой на трех пальцах блюдце и усердно дул, отчего на поверхности жидкого чая образовалась язва.

Швейцар молча показал большим пальцем через плечо назад, вверх.

Чувствуя себя совсем маленькими, Петя и Гаврик поднялись по узорчатой чугунной лестнице с заслякоченными ступенями и вытертыми перилами.

Они очутились в громадном низком зале, в глубине которого висели два портрета — царя в голубой ленте и царицы в жемчужном кокошнике.

Во всю свою длину зал был разделен деревянным барьером с точеными баясинями. По одну сторону барьера за конторскими столами сидели чиновники, по другую — находилась публика.

Публики было очень много. Она состояла главным образом из стариков и старух, получающих пенсию.

Высокомерные старухи в салопах, ротондах и мантильях, в маленьких шляпках и капорах с лентами, сидели на потертых еловых скамейках с решетчатыми спинками. Они сжимали в костлявых руках муаровые редикюли, обшитые блестками. Они то-и-дело брезгливо отодвигались от соседей, причем их поджатые, сборчатые губы выражали высшую степень отвращения.

Отставные генералы, дряхлые старики с трясущимися головами, расхаживали вдоль стен, держа за спиной старинные фуражки с громадными козырьками времен севастопольской кампании и черными суконными наушниками. Они опирались на палки с резиновыми наконечниками.

Среди них Петя и Гаврик к своему ужасу увидели страшного генерала Байкова — грозу всех одесских уличных мальчишек, гимназистов, городских и солдат.

Генерал Байков был такой же достопримечательностью Одессы, как и Марьяшес.

Это был угрюмый старик с толстым височным носом, багрово-красным, пористым, волосатым, усеянным желтыми

точками, одним словом, до чрезвычайности похожим на клубнику.

С утра до вечера генерал Байков ходил по приморским районам города, стуча громадными кожаными калошами с медными задниками.

Он шёл, раскинув пальто на красной подкладке, и следил за тем, чтобы все солдаты и городские становились ему во фронт. Ему, как отставному генералу, становиться во фронт не полагалось. Но он ничего не желал знать. Он требовал, чтобы становились во фронт. Кроме того, он требовал, чтобы все гимназисты при встрече с ним останавливались и снимали фуражки.

Если кто-нибудь из низших чинов не становился во фронт и кто-нибудь из гимназистов не снимал фуражки, он наливался кровью и начинал кричать таким страшным генеральским басом, употребляя такую непечальную брань, что прохожие в ужасе разбегались.

Извозчикам, запрашивавшим сверх таксы, он разбивал лица в кровь. Что же касается уличных мальчишек, то он ненавидел их лютой ненавистью. Стоило ему увидеть уличного мальчика, — хотя бы даже самого смиренного и вежливого, — как генерал Байков в молчаливой ярости устремлялся за ним и швырял в него своей знаменитой клячкой, стараясь попасть по ногам.

Петя и Гаврик съезжились и шмыгнули мимо страшного генерала. К счастью, он их не заметил. Он сердито ходил, распахнув пальто на красной подкладке, возле барьера и громким голосом пел: «ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру».

Кроме страшного генерала Байкова, Петя и Гаврик увидели здесь также еще одного знаменитого одесского отставного генерала — Кардиналовского. Это был старичок очень приличной наружности, в артиллерийской фуражке с громадным козырьком, закрывавшим три четверти его крошечного лица.

Он был гласный городской думы и снискал себе широкую известность, как неутомимый борец с распущенностью нравов.

Особенно неутомимо генерал Кардиналовский воевал с дамскими модами, видя в них страшного врага, подрывающего устой государства и ведущего к вырождению русского народа.

Узкие корсеты из китового уса, шиньоны, валики, большие шляпы, шлейфы — приводили его в ярость. Когда же появлялись длинные шляпные булавки с острыми концами, генерал Кардиналовский объявлял против них священный поход. Он выступал против них в городской думе, он произносил страстные речи в роскошном фойе Городского театра в антракте между двумя действиями

«Аиды», он громко говорил об этом в вагоне конки.

По ночам он садился за письменный стол, зажигал четыре свечи, надевал на лоб специальный зеленый абажур и писал письма в редакцию местных газет:

«Милостивый государь, господин редактор! — писал он. — Позвольте через посредство вашей уважаемой газеты довести до всеобщего сведения о следующем возмутительном факте, свидетелем которого я был вчера, 2 сентября сего года, в 3 часа 15 минут, на углу улиц Ришельевской и Малой Арнаутской, на остановке Одесской городской конно-железной дороги. Некая, по внешнему виду вполне интеллигентная дама, не пожедавшая, впрочем, назвать впоследствии своего имени, вместе с прочими пассажирами ожидала на остановке прибытия очередного вагона конки. Хотя на даме была вызывающе громадная шляпа, но я не счел для себя удобным сделать ей замечание и смолчал. Когда же вагон, наконец, подошел, дама, ничтоже сумняшася, стала пробираться в него, хотя из ее громадной шляпы во все стороны торчали острые булавки, грозившие выколоть глаза или же нанести какие-нибудь другие не менее серьезные ранения другим пассажирам, мирно едущим по своим делам. Будучи гласным городской думы, я счел себя вправе обратиться к вышеупомянутой даме с альтернативой — либо вынуть из шляпы свои смертоносные шпильки, либо покинуть вагон и продолжать свой путь по способу пешего хождения. Так как ни того, ни другого неизвестная дама исполнить не пожелала, а, наоборот, повела себя по отношению меня крайне вызывающе, называя «известным (sic!) психопатом», я, будучи гласным Городской думы, счел себя вправе остановить конку и подзвал подоспевшего к этому времени блюстителя порядка, постового городского бляха номер 786 и т. д. и т. д.»

Составив письмо в редакцию и аккуратно переписав его четыре раза по числу наиболее влиятельных одесских газет, генерал Кардиналовский подписывался — «примите и пр. Гласный Городской думы генерал-майор в отставке Кардиналовский», и лично разносил его утром по редакциям.

Для одесских модниц генерал Кардиналовский был безусловно человек опасный. Но Гаврик и Петя прошли мимо него без особого страха.

Не так-то легко было найти то место, где вкладчику по первому требованию выдавался вклад. Раз десять подходил Петя к разным людям, шаркал ногами и вежливо спрашивал:

— Простите за беспокойство, но дело в том, что я вкладчик. Не можете ли вы мне сказать, где я могу получить свой вклад?

Но никто не знал точно. Одни посылали наверх, другие вниз, третьи — прямо по коридору, а потом налево, четвертые вообще выражали сомнение, здесь ли это.

В государственном казначействе оказалось множество коридоров, комнат, лестниц, дверей и закоулков, заставленных еловыми шкапами, на которых виднелись кипы дел, перевязанных шпагатом.

Петя неутомимо бегал по лестницам, мыкался по коридорам, открывал какие-то липкие двери и заглядывал в какие-то сумрачные залы, полные людей.

Гаврик покорно следовал за приятелем и время от времени говорил:

— Слышь, Петя, а может быть, не стоит? Слышь, Петя, пойдем лучше на толчок, подберем Моте ботиночки. А сюда заскочим другим разом.

Но Петя и слушать ничего не хотел. Он уже вошел в азарт. Его щеки горели. Ему было жарко, даже душно. Он снял башлык и расстегнул шинель.

В конце-концов, все же удалось отыскать где-то на третьем этаже окошечко с надписью: «Выдача вкладов».

Петя протянул в окошечко свою книжку и, задыхаясь от волнения, сказал:

— Здравствуйте. Я вкладчик. Вот моя сберегательная книжка. Я хотел бы получить свой вклад. Это можно?

Пожилой чиновник в потертом форменном сюртуке протянул руку с папироской, зажатой между двумя пальцами. Остальными свободными пальцами — большим и мизинцем — он захватил петину сберегательную книжку и небрежно перелистал ее.

— Какую сумму берете?

— Три рубля.

— Весь вклад?

— Весь вклад.

Петя старался говорить с неторопливым достоинством, как и подобало настоящему вкладчику. Он навалился грудью на барьер, напряженно следя за всеми манипуляциями, которые, между тем, проделывал чиновник над его книжкой.

Петя изо всех сил кусал губы и хмурился, чтобы не дать лицу расплыться в неуместно-глупую улыбку. И, надо сознаться, это ему вполне удалось. Верхняя половина Пети — от головы до пояса — вела себя безупречно. Зато с нижней половиной — от пояса до калаш — делалось нечто невероятное. Ноги сами собой танцевали, брыкались Гаврика; как бы желая сказать: «Ага Ага! Теперь ты видишь?»

— Стало быть, вы берете весь вклад? — повторил чиновник.

— Весь вклад, — сказал Петя, гордо взглянув на Гаврика, но не удержавшись и молниеносно показав приятелю язык.

— Тогда вы должны закрыть свой счет, — сухо сказал чиновник.

Петя ужаснулся.

— Как это?

Чиновник протянул листок бумаги.

— Подайте заявление. Вот там на столе имеются письменные принадлежности — чернила и ручка.

Петя взял листок бумаги и, шатаясь, пошел к большому еловому столу, сплошь закапанному лиловыми чернилами с металлическим отливом.

Гаврик шел сзади и спрашивал испуганным шопотом, теребя Петю за рукав:

— Слышь, Петька? Что такое? Не хочит выдавать?

— Да нет же, — чуть не плача, говорил Петя, — нужно только еще подать заявление.

— Заявление? — проговорил Гаврик, и лицо его вытянулось. — Эге!

Он не удержался и даже свистнул.

— Слышь, Петька. Слушай здесь. Пойдем лучше. Я ж тебе говорил.

— Отстань! — орызнулся Петя — Ты ни черта не понимаешь!

Но он и сам ни черта не понимал. Какое-то заявление... Новое дело! Нет, быть вкладчиком оказалось трудно и хлопотливо.

Со вздохом Петя сел к столу, взял испачканную казенную ручку и, высунув набок язык, старательно написал заявление о закрытии счета. После этого он отнес заявление чиновнику и жалостно спросил:

— А теперь что?

Он уже не верил в получение суммы и проклинал себя за то, что так необдуманно сделался вкладчиком.

Гаврик смотрел на Петю с сочувствием. Он вполне его понимал. То же самое было и с ним, когда он пришел к тому проклятому греку и вместо денег получил дулю с маслом.

И вдруг произошло чудо. С ловкостью фокусника чиновник стукнул по заявлению каким-то штемпелем, потом стукнул этим же штемпелем по сберегательной книжке, расчеркнулся, потом щелкнул ключом, и вдруг у него в пальцах появилась совершенно новенькая зеленая, еще ни разу не сложенная, как бы накрахмаленная трехрублевая ассигнация. Он потряс ею в воздухе, отчего ассигнация загремела и, молча, положил ее на барьер.

Петя оцепенел от неожиданности. Он был не в состоянии протянуть руку. Между тем Гаврик изо всех сил толкал Петю ногами и, стиснув зубы, шипел у него за спиной:

— Что же ты стоишь? Бери! Не будь дураком, хватай! Петька! Слушай здесь. Ну?

Петя очнулся. Он осторожно, обеими руками взял ассигнацию, расшаркался, сказал чиновнику «мерси» и понес ее

сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, пока не почувствовал, что бежит. Гаврик насилу поспевал за ним.

Наконец, на лестнице они остановились и стали рассматривать ассигнацию. Три рубля. Никогда в жизни у Пети еще не было такой крупной суммы. Петя и Гаврик самым тщательным образом, со всех сторон обследовали кредитку. Они ее даже понюхали. От нее исходил сильный и удивительно приятный типографский запах экспедиции заготовления государственных бумаг.

Они посмотрели ее на свет и долго любовались водяными знаками — этими прозрачными буквами и цифрами, призрачно возникшими и засветившимися сквозь тесный узор печати.

Они любовались тончайшей разноцветной сеткой, которая волнисто окружала большую цифру 3 посредине ассигнации с маленькими, изящными, очень четкими факсимиле кассира и управляющего Главной конторой Государственного банка.

— Ага! ага! — возбужденно восклицал Петя. — Я тебе что говорил? Теперь видишь? Ага! Чья правда?

— Твоя правда, — соглашался Гаврик.

— Видал, как я ловко получил вклад?

— Спрашиваешь!

— Молодец я?

— Молодец.

Петя торжествовал.

Правда, одно маленькое обстоятельство слегка отравляло это торжество: он уже не вкладчик; только-что был вкладчиком, а теперь больше уж не вкладчик. Петя чувствовал в себе какую-то небольшую, холодноватую пустоту, подобную той пустоте, которую испытывает гимназист, выгнанный из класса и стоящий за классной дверью в пустом коридоре.

Но в сравнении с петиным торжеством, в сравнении с его богатством, это почти не имело никакого значения.

— Теперь идем покупать электрическую машину! — сказал Петя, когда они вдоволь налюбовались трехрублевкой.

Полчаса назад Гаврик, может быть, стал бы еще спорить. Но после того, как Петя на его глазах так ловко получил три рубля, Гаврик чувствовал себя побежденным. Теперь Петя внушал ему безграничное доверье. Кроме того, ему ужасно хотелось увидеть электрическую машину. Электрическая машина овладела его воображением.

— Слышь, — сказал Гаврик. — И лампочка будет гореть?

— Обязательно, — сказал Петя.

— Ну?

— Я тебе говорю, — сказал Петя, деля сильное ударение на местоимение я.

Через минуту приятели уже шагали

по улице, жмурясь от ветра, несшего на них призрачные столбы пурги.

Скоро они добрались до центра. Здесь, на углу Преображенской и Дерибасовской, был магазин учебных пособий. Петя сразу узнал его витрину.

За громадным замерзшим стеклом лежала труба со множеством дырочек, над которыми теплились сине-желтые язычки светильного газа. Это было остроумное приспособление для оттаивания оконного льда. Теплый воздух струился вверх по стеклу, съедая морозные узоры инея. Лед таял. Сквозь его тончайший, совершенно прозрачный слой, омытый льющейся каплей, виднелась, — как в ледяном гроте, — выставка учебных пособий: банка с заспиртованными змеями, коллекции бабочек и минералов скелет, волшебный фонарь с черной трубой, загнутой назад в виде гармоники.

Здесь были колбы, реторты, двугорлые склянки, сообщающиеся сосуды. И все это являлось как бы только преддверием некоего таинственного храма, где окруженная, быть может, еще более устрашающими пособиями, обитает сама Наука.

Испытывая невольный страх и почтение, приятели открыли набухшую дверь и вошли в магазин учебных пособий.

Они были немного разочарованы: витрина обещала большее. Впрочем, такова была особенность всех одесских витрин: они всегда обещали больше, чем мог предложить магазин.

Магазин учебных пособий ничем не отличался от других магазинов центра. Это было узкое помещение, в глубине которого горел одинокий газовый рожок.

За паркетным прилавком на маленькой лесенке стояла молодая особа в котиковой шапочке и переставляла на полке коробки. Трудно было представить, что именно это и есть сама Наука. В лучшем случае, это могла быть самая младшая сестра Науки. Да и то — вряд ли.

— Что вам надо, мальчики? — строго спросила младшая сестра Науки.

Петя с достоинством выступил вперед.

— У вас есть электрическая машина?

Младшая сестра Науки подошла к внутренней двери и громко крикнула за портьеру:

— Папа, у нас есть электрические машины?

Вслед за тем послышалось шарканье туфель, и в дверях появился пожилой еврей в лисьей шубе и люстриновой ермолке.

Он зажгёт второй газовый рожок и спросил приветливо:

— Что вы хотите, молодые люди?

— Нам надо электрическую машину, — сказал Петя.

— А деньги у вас есть? — спросил хозяин магазина учебных пособий, приветливо разглядывая Петю и Гаврика.

— Не беспокойтесь, — сдержанно ответил Петя.

— Какую-же электрическую машину вы бы желали иметь? — спросил хозяин, обращаясь уже исключительно к Пете, как к гимназисту и главному покупателю.

— Такую, знаете ли, со стеклянным диском. Как у нас в гимназии. Только непременно, чтобы зажигалась электрическая лампочка.

— Вы имеете в виду электрофорную машину Теплера?

— Во, во! Главное только, чтоб горела электрическая лампочка.

Хозяин, кряхтя, влез по лесенке, снял с самой верхней полки электрическую машину и поставил ее на прилавок.

— Превосходная самовозбуждающаяся электрическая машина, — сказал он, — системы «Парва» Лиссера. При благоприятных условиях дает искры до десяти сантиметров длиной. Советую вам взять. Цена всего восемнадцать рублей семьдесят пять копеек.

Густая краска залила петины уши.

— Дорого, — сказал он, надувшись.

— Могу, как учащемуся, сделать десять процентов скидки, — сказал хозяин.

— Все равно дорого, — пробормотал Петя.

— А за сколько же вы, молодой человек, имели в виду приобрести машину?

— За рубля три.

— И больше, чем три рубля, у вас нету?

— Я еще могу добавить один рубль тридцать копеек, — неожиданно сказал Гаврик простуженным голосом, не отводя очарованных глаз от машины, волшеббно-мерцавшей медью, стеклом и нинелем.

Не говоря ни слова, хозяин потушил лишний газовый рожок, — влез на лесенку и поставил машину обратно на самую верхнюю полку.

Петя и Гаврик смущенно переглянулись.

Красные, вспотевшие, они вышли из магазина учебных пособий на улицу и услышали пронзительный голос младшей сестры Науки, крикнувшей им вдогонку:

— Мальчики! Закрывайте за собой дверь!

И вьюга опять навалилась на них.

— Ну? — сказал Гаврик.

— Ну? — сказал Петя.

Они стояли, подавленные, возле магазина учебных пособий, не зная, что же дальше делать.

— Я тебе говорил, — сказал Гаврик угрюмо.

— Что ты мне говорил?

— Что нехватает денег.

— Ты мне этого не говорил.

Чем недоступнее была электрическая машина, тем сильнее хотелось ее иметь. Не было в мире вещи, о которой более страстно мечтали в эту минуту приятели.

Гаврик окончательно забыл о Моте, об ее башмаках и о толчке. Он думал только об одном: об электрической машине. Она неотступно стояла у него перед глазами — недостижимая, таинственная, появившаяся на миг и скрывшаяся в потемках верхней полки.

Это было какое-то дьявольское наведение. Можно было подумать, что сама богиня Науки ослепила маленького одесского босака и его глаза перестали видеть все, кроме электрической машины.

Приятели стояли подавленные.

Но человеку свойственно бороться за свою мечту до последней возможности. В благородном поединке с судьбой человека всегда поддерживает и осеняет своим крылом надежда.

Ну, да. Ведь, собственно, еще ничего не потеряно. В городе есть другие магазины учебных пособий, где, очень может быть, электрические машины стоят гораздо дешевле.

На это, правда, надежда была слабая, но все же это была надежда.

Имелся магазин учебных пособий на Пушкинской, имелось два магазина учебных пособий на Ришельевской, наконец, может быть, дешевые электрические машины есть в знаменитом универсальном магазине братьев Петрокино на Греческой или в магазине игрушек вдовы Колпакчи на Екатерининской, рядом с магазином Абрикосова.

Не теряя ни минуты, Петя и Гаврик отправились по магазинам. Однако всюду их постигла неудача. На Пушкинской электрическая машина стоила двадцать пять рублей сорок две копейки. В одном магазине на Ришельевской запросили четырнадцать рублей и отдавали за тринадцать, в другом — требовали шестнадцать и не уступали ни копейки. У братьев Петрокино и у вдовы Колпакчи электрических машин вовсе не оказалось.

Правда, в магазине на Пушкинской мальчикам повезло. Приказчик позволил покрутить машину. Сначала, как главный покупатель и гимназист, крутил Петя. Потом крутил Гаврик и собственными глазами видел, как длинная искра проскакивала между двумя медными шариками и как потом зажглась электрическая лампочка.

Но разве это могло хоть немного утешить?

Наоборот. Мысль, что машины не бу-

дет, приводила теперь в отчаяние. С этой мыслью невозможно было примириться.

Тогда приятели с упрямством маниаков стали ходить по городу, надеясь найти еще хоть один магазин учебных пособий. Это было безнадежное предприятие. Магазинов учебных пособий в городе больше не имелось.

И все-таки Петя и Гаврик ходили по улицам. Это была надежда на чудо, волшебное «а вдруг». Вот они поворачивают за угол и вдруг за углом оказывается тот, последний, самый главный магазин учебных пособий, где продаются очень дешевые электрические машины.

Они поворачивали за угол, но, увы, того магазина не было.

Они переходили из улицы в улицу, они заглядывали в самые глухие переулки — напрасно. Того магазина не было.

В полном отчаянии они стали заходить в аптеки и посудные лавки, спрашивая, опустив глаза, электрическую машину. Они все еще надеялись на чудо. Они страшно устали и проголодались, но не чувствовали ни усталости, ни голода.

Уже смеркалось. Прошел фонарщик с длинной лестницей на плече. В дыму метели стали зажигаться газовые фонари. Осветились и засверкали бриллиантами замерзшие стекла витрин.

Мороз щипал уши и щеки. Щеки стали твердые, как яблоки. Заледеневшие ресницы слипались, как намагниченные. А мальчики все ходили и ходили, не желя сдать.

На каждом шагу их подстерегали соблазны.

Витрины скобяных магазинов манили богатым выбором перочинных ножей — со множеством разнообразных лезвий, открытых веером, — никелированными коньками «Нурмис», ящичками с набором столярных инструментов. Это все тоже можно было купить.

В других витринах на самом видном месте были разложены новенькие мячи светло-желтой английской кожи, грубой и вместе с тем мягкой, даже на вид скрипучей.

Витрины шли одна за другой. Крутились механические стойки, увешанные гирляндами карманных часов черной вороненой стали. Сверкали торты, похожие на цветочные клумбы с высоким леденечным фонтаном и сахарной визитной карточкой с загнутым уголком. Картонные раскрашенные маски, шутихи, пугачи, маленькие паровые машины и заводные поезда приковывали к себе взоры.

Петя и Гаврик быстро проходили мимо, изо всех сил стараясь не смотреть на витрины. Но соблазны легких, заманчивых покупок преследовали их по пятам. Торговля шла не только в магазинах. Торговля шла и на улице.

Боже мой, сколько можно было купить на улице необходимых интересных вещей!

Разве не стоило, например, купить маленького вислоухого щенка, которого предлагал прохожим здоровенный босой парень, прыгая с ноги на ногу на углу Екатеринбургской и Дерибасовской?

А сколько силы воли нужно было иметь, чтобы не купить у другого продавца коробочку удивительных крошечных пирамидок, представлявших настоящее чудо; если поджечь такую крошечную пирамидку, из нее вдруг начинала выплывать кольцами толстая серая змея пела невероятной длины.

Да мало ли было еще других соблазнов! Но у приятелей был железный характер.

Однако время шло, а того магазина все не было и не было.

И вдруг в тот самый миг, когда Петя и Гаврик уже готовы были повернуть домой, они увидели большой, новый магазин, освещенный электричеством. Его витрины не обогревались газом и невозможно было рассмотреть, что там выставлено, но по всему фасаду мерцала длинная золотая надпись: «Магазин электрического оборудования».

Мальчишки вздрогнули. В одно мгновение они поняли: это — «то»! Они молниеносно переглянулись, толкнули друг друга локтями и ногами и тотчас открыли великолепную стеклянную дверь с золотым вензелем, — В. К. Э., — вписанным в золотой ромб.

Не только Гаврику, но даже и Пете никогда еще не приходилось бывать в подобном магазине — громадном, сияющем, а главное так непохожем на другие магазины.

Это был в полном смысле «новый» магазин. Он был новый не только потому, что вся его обстановка была совершенно новая, с иглолочки, а он был «новый» потому, что в нем продавались совершенно новые, только-что изобретенные, еще невиданные предметы электрического оборудования.

В городе только начиналась проводка электричества, еще только прокладывалась первая линия трамвая, а предприимчивая «Всеобщая компания электричества» уже заблаговременно открыла магазин, где можно было купить все для электричества.

Здесь были электрические настольные лампы, розетки, тюльпаны, бра, электрические каминь, плиты, вентиляторы, утюги.

В кафельном полу отражались огни электрического освещения. Эти огни — яркие, белые, холодные — казались тоже новенькими, с иглолочки.

И новеньким, с иглолочки, был солид-

ный приказчик, стоявший за лаковым прилавком ледяного блиска и чистоты.

Но одет он был совсем не так, как обычно одевались одесские приказчики богатых магазинов, то-есть, не в черный сюртук или визитку. Нет, на нем был серый клетчатый американский костюм спортивного покроя, как у знаменитого гонщика Уточкина, желтые, почти красные, американские башмаки на толстых подошвах, часы-браслет на руке и сигара во рту.

Только массивный бриллиантовый перстень на волосатом мизинце и гладкий прямой пробор выдавали его принадлежность к сословию одесских приказчиков. В остальном же это был стопроцентный американец, янки, — делец, изобретатель, спортсмен.

— Простите за беспокойство, — сказал Петя, останавливаясь посреди пустынного магазина. — У вас есть электрические машины?

— К вашим услугам, — сказал приказчик. — Могу вам предложить динамо-машину трехфазного тока в шестьдесят пять лошадиных сил.

С этими словами приказчик, не торопясь, вышел из-за прилавка, подошел к динамо-машине, привинченной к плиткам пола, и хлопнул ее по мощному корпусу, похожему на гигантскую чугунную улитку.

— Превосходная штука!

— А лампочка от нее может гореть?

— О, да! — снисходительно улыбнулся приказчик, свободным жестом вынимая изо рта раскаленную сигару и держа ее навесу. — О, да! Эта штука в состоянии питать током довольно значительную электрическую сеть в триста — триста пятьдесят лампочек.

— Сколько стоит?

— Двести сорок рублей с нашей установкой.

— Ой, нет, что вы, это нам слишком дорого, — испуганно сказал Петя. — А дешевле у вас есть какие-нибудь электрические машины?

— Это самая дешевая.

— Пойдем, — уныло сказал Гаврик.

— До свиданья, — сказал Петя.

— К вашим услугам, — сказал приказчик.

Приятелям печально поплелись к двери.

— Простите, — вдруг сказал приказчик, которому, как видно, смертельно надоело с утра до вечера стоять, ничего не делая, за прилавком в этом сверкающем, но совершенно безлюдном магазине, среди дорогих электрических приборов. — Простите, а вам, собственно, для какой цели необходима электрическая машина?

— Нам надо, чтоб грела лампочка, — сказал Гаврик.

— Одна лампочка?

— Пускай хоть одна. Лишь бы горела, — сказал Гаврик.

— Понимаете, — сказал Петя, — мы хотели купить электрофорную машину, всюду искали, но электрофорные машины тоже очень дорого стоят.

— В одном месте запросили двадцать пять, в другом — четырнадцать, а отдавали за тринадцать, — сказал Гаврик, — где же это видана такая дороговизна?

— А мы непременно хотим, чтоб горела лампочка, — добавил Петя.

— Сколько же у вас есть денег? — спросил приказчик, любясь своим мизинцем.

— Есть три рубля, — сказал Петя.

— Я еще могу добавить рубль тридцать, — сказал Гаврик.

— Ну, что ж, — сказал приказчик. — Прекрасно. У нас на складе имеются прекрасные элементы Лекланше. Цена всего сорок копеек штука. Вы можете приобрести десять элементов Лекланше и составить батарею, которая вам вполне заменит электрическую машину. Советую вам взять элементы Лекланше, это будет недорого и практично.

Луч надежды снова мелькнул перед Петей и Гавриком. «Элементы Лекланше». Это нисколько не хуже, чем «электрофорная машина». Пожалуй даже «элементы Лекланше» звучало лучше, волшебнее. А главные «элементы Лекланше» стоили всего сорок копеек штука.

«Элементы Лекланше» были так же доступны, как пирожные, финики, коньки.

— Как это.. «элементы Лекланше»? — спросил Петя, с наслаждением повторяя эти слова, вполне научные и вместе с тем звенящие нежно, как стеклянный елочный колокольчик.

— О, необыкновенно просто и практично. В элементе Лекланше пористый сосуд наполняется смесью толченого кокса и перекиши марганца и туда вставляется специальная угольная пластинка, а специальная цинковая палочка помещается в растворе нашатыря..

— И стоит сорок копеек?

— Сорок копеек.

— В таком случае покажите нам «элементы Лекланше».

— К вашим услугам.

Приказчик слезил куда-то вниз, под прилавок, и поставил перед приятелями четырехугольную банку с круглым горлом и носиком.

Банка была до половины налита какой-то жидкостью с белым осадком. В банку был вставлен пористый фаянсовый цилиндр, а в этот фаянсовый цилиндр была вставлена угольная пластинка с фаянсовым изолятором и медным винтиком с красивой шляпкой,

имевшей очень «электрический» вид и чем-то даже напоминавшей винтик «электрофорной машины». Из носика банки выглядывал конец цинковой палочки, снабженный колпачком с хвостиком. Колпачок тоже имел очень «электрический» вид.

— Вот «элемент Лекланше», — сказал приказчик. — К вашим услугам.

Со смешанным чувством надежды и разочарования смотрели мальчики на довольно грязную банку.

— Где ж она крутится? — после некоторого молчания осторожно сказал Гаврик.

— Она не крутится, — сказал приказчик.

— А как же?

— Происходит химическая реакция, — сказал приказчик, — в результате чего возникает электрический ток. Вот здесь — положительный, а вот тут — отрицательный.

Приказчик показал на медный винтик и на цинковый хвостик.

— Вы можете в этом легко убедиться, приложив язык одновременно к обоим полюсам. Вот сюда и сюда.

Приятели помялись.

Но так как дело шло о важной покупке, в которую Гаврик вкладывал все свое состояние, он решился первый. Далеко высунув язык, он с опаской лизнул винтик и хвостик. В ту же секунду он отскочил от «элемента Лекланше».

— Ух ты, как бьет! — воскликнул он с восхищением. — Петька, слышь, это что: самое и есть электричество?

— Конечно. Элементы Лекланше. Шутить?

— А ну, теперь попробуй ты.

— Очень надо, — надменно сказал Петя. — Не пробовал я элементов Лекланше!

— Дрефишь?

— Кто?

— Ты.

— Я?

Петя пожал плечами и, неохотно приблизившись к банке, лизнул медный винтик и цинковый хвостик, причем его лицо скривилось от страха. Но Петя твердо выдержал характер. Хоть ток порядком кольнул его язык, он лизнул еще раз и только тогда отошел от элемента Лекланше, небрежно заметив:

— Ничего особенного. Немножко кисленько.

— Берете элементы Лекланше? — сказал приказчик, которому уже наскучило возиться с мальчиками.

Гаврик в глубоком раздумье почесал на затылке давно нестриженные, золотисто-каштановые волосы.

— А электрическая лампочка будет гореть?

— Будет

— Покажите, чтоб горела.
— Для этого нужно составить батарею из десяти элементов и присоединить к ней электрическую лампочку.

— И тогда будет гореть?

— Обязательно. Прикажете завернуть?

— А лампочка? Где мы возьмем электрическую лампочку?

— А лампочку, — с очаровательной улыбкой сказал приказчик, — вы получите от нашей фирмы в виде премии.

— Покажите какую?

Приказчик с плохо скрытым раздражением полез куда-то вверх и показал мальчикам небольшую прелестную электрическую лампочку с матовой надписью на сверкающей колбочке стекла.

— Ну, берем? — шопотом спросил Гаврик.

— Берем! — решительно сказал Петя и обратился к приказчику: — В таком случае, пожалуйста, будьте так добры, дайте нам десять элементов Лекланше.

— К вашим услугам.

Со вздохом облегчения приказчик вывалил на прилавок груду пустых четырехугольных банок, груду цинковых палочек, угольных пластинок, пустых пористых цилиндров и стал все это заворачивать в хрустящую фирменную бумагу с вензелем В. К. Э., вписанным в ромб.

— Подождите! — с ужасом закричал Гаврик. — Они же пустые! Нет, вы нам их сделайте как следует.

— Но мы элементы Лекланше не отпускаем в заряженном виде. Наши покупатели их сами заряжают дома. Это очень просто. В стеклянную банку вы нальете раствор нашатыря, пористый цилиндр вы наполните смесью толченого кокса и перекиси марганца и элемент заряжен.

— А где мы это возьмем?

— Мой бог! — воскликнул приказчик. — Нашатырь и перекись марганца вы можете получить в любой аптеке, а кокс — в любом угольном складе.

— А деньги?

— У нас тогда больше не останется денег!

Приказчик так низко склонился головой к прилавку, что полоса его прямого пробора стала багровой и в молчаливой ярости развел руками.

Свет померк в глазах мальчиков.

— В таком случае извините, — еле ворочая пересохшим языком, проговорил Петя. — До свиданья.

— До свидания, — угрюмо сказал Гаврик.

— К вашим услугам, — яростно сказал приказчик.

Мальчики понуро вышли из роскошного магазина и некоторое время стояли посреди улицы, — вполголоса совещаясь.

Через две минуты Петя, красный от смущения, вошел обратно в магазин и сказал с порога:

— Простите, а если в батарее будет не десять элементов Лекланше, а восемь — тогда лампочка тоже будет гореть? Или не будет?

— Все равно будет гореть! — сказал приказчик.

— Вы наверное знаете? — сказал Петя.

— Совершенно точно, — раздраженно сказал приказчик.

— Извините за беспокойство.

— К вашим услугам.

Петя вышел на улицу, и мальчики посовещались еще немного, после чего опять — уже оба — с бледными, решительными лицами вошли в магазин и бодро сказали в один голос.

— Дайте нам, пожалуйста, восемь элементов Лекланше.

В руках приказчика сверкнул новенький плоский зеленый карандаш в золотой оправе. Казалось, в нем — в этом карандашике — было что-то электрическое. Он сверкнул, как молния.

— Три рубля двадцать копеек, — сказал приказчик.

С быстротой электрической искры он выписал сумму и расчеркнулся в форме молнии.

За молнией тотчас последовал гром.

С треском электрического разряда приказчик вырвал из книжечки чек и с поклоном вручил его Пете.

Приятели подошли к кассе, и Петя положил на гутаперчевый кружок с присосками свою новенькую трехрублевую ассигнацию. Гаврик порылся в недрах тужурки и присоединил к петиной ассигнации почти черный гривенник и два медных пятака, из которых один был с отпечатком плоскозубцев.

Электрическая касса «Националь» зашелкала и взвыва, как сирена. (В этом магазине даже касса была электрическая, что представляло в то время редчайшее явление!) Из кассы выдвинулся пустой ящик, куда розовая рука кассирши, покрытая кольцами, смахнула деньги, после чего ящик задвинулся.

Теперь все было кончено.

На одно мгновение Петю охватил ужас. Боже мой, с какой стремительной, непоправимой быстротой совершаются в жизни превращения: еще утром Петя был вкладчик и вдруг стал не вкладчиком; вот только-что, миг назад, у него была совершенно новенькая, ни разу не согнутая трехрублевка, а теперь у него опять нету ничего.

Но это чувство опустошенности продолжалось совсем недолго.

Предстояло еще много забот. Надо было купить нашатырь, перекись марганца и кокс. Надо было скорее, как

можно скорее, добраться домой и, не теряя драгоценного времени, зарядить элементы Лекланше, составить из них батарею и включить лампочку.

Мальчики осторожно вынесли из магазина большой, довольно тяжелый пакет с элементами Лекланше.

Так как у Пети денег больше не было, то все остальные покупки производились на счет Гаврика.

В аптеке была куплена перекись марганца и пять фунтов нашатыря. С коксом дело обстояло хуже. Пришлось обойти четыре угольных склада, прежде чем в пятом — нашли кокс. Кокс стоил дешево, но его не во что было взять. Пришлось набить им ранец и все карманы.

Гаврик платил за все беспрекословно, только при каждой покупке его лицо покрывалось небольшой испариной. Он даже незаметно для самого себя кряхтел точно так, как кряхтят бережливые люди, которым приходится сильно раскошиться.

Отягощенные объемистыми покупками, с карманами, набитыми коксом, которого взяли на всякий случай десять фунтов, то есть четверть пуда, приятели плелись против вьюги по улицам и через каждые пять шагов Гаврик озабоченно спрашивал:

— А электрическая лампочка будет гореть?

— Спрашиваешь!

— Ей богу? Перекрестись.

— Святой истинный крест.

— А как не загорится, тогда что?

— Загорится. «Элементы Лекланше». Шутить?

— Кто его знает.

— Чудак. Ты же сам пробовал. В язык било?

— Било.

— Ну так, в чем же дело?

— Смотри, Петька. Если не загорится, лучше тебе тогда не жить на свете.

Но эти пререкания носили вполне дружеский характер.

Настроение у приятелей было возбужденное, веселое. Они торжествовали победу. Они горячо и деловито обсуждали все вопросы, связанные с совместной эксплуатацией электрической батареи.

Хотя петин пай значительно превышал пай Гаврика, но Петя проявил исключительное великодушие: он сам предложил, чтобы электрическая батарея лишь первые два дня постояла у него дома, а потом ее можно перенести к Гаврику, и пусть она всегда находится у Гаврика, ярко освещая по вечерам хибарку.

— После всех расходов у Гаврика осталось еще тринадцать копеек. Вдруг Петя вспомнил, что он сегодня ушел из гимназии до завтрака и у него сохра-

нился гривенник. Сложенные вместе эти деньги представляли крупную сумму.

И день кончился для Пети и Гаврика настоящим триумфом: они нашли за двадцать копеек извозчика и гордо, с колокольчиками и бубенчиками, подкачали к воротам на санках, — красные, немного смущенные, с карманами, набитыми коксом, обхватив громадный пакет окостеневшими руками и положив на него подбородки.

Поднимаясь по лестнице, они так торопились, что едва не рассыпали весь нашатырь, который и без того уже по-немногу высыпался из лопнувшего бумажного мешка. Они дышали громко и часто, как собаки.

У Пети нехватало терпенья позвонить: для этого надо было освобождать руки, ставить пакет на пол и так далее. Петя повернулся задом и стал изо всех сил колотить в дверь ногами.

Он поднял такой шум, что все семейство Бачей выбежало в переднюю.

Едва Дуня, завернув мокрую руку в фартук, повернула ключ, как Петя тотчас ввалился, прижимая к груди пакет. За Петей робко следовал Гаврик с большой бутылкой перекиси марганца и мешком, из которого тонкой струйкой сыпался нашатырь.

Куски кокса со стуком падали из переполненных карманов.

— Тетя! Папа! Дуня! Павка! — кричал Петя, задыхаясь от возбуждения. — Скорее, скорее! Снимите с меня скорее ранец! Что вы стоите? Вы же видите, что у меня заняты руки. Угадайте, что я купил? Вы ни за что не угадаете!

Но, как видно, никто не разделял петиних восторгов.

— Во-первых, — ледяным голосом сказала тетя, — сколько раз я тебе повторяла, чтобы ты никогда не смел стучать в дверь ногами. Что это еще за мода! Это раз. А, во вторых: где ты до сих пор шлялся? Ты был сегодня в гимназии?

— Он ушел из гимназии после первого урока, я сам видел, — сказал Павлик и на всякий случай спрятался за тетю.

— И, в-третьих, — продолжала тетя: — Что это у тебя за вид? Откуда ты взял этот уголь? И, вообще, что все это значит?

— Да, да, — сказал отец, покосившись на Гаврика. — Что это значит?

Может быть, в другое время Петя стал бы вывираться, выкручиваться, дерзить. Но сейчас он чувствовал себя на такой недосягаемой высоте, что даже не считал нужным оправдаться. Он снисходительно, с нескрываемым сожалением посмотрел на тетю.

— Да, — сказал он, — совершенно верно. Я ушел из гимназии после первого урока. Но зато, что я купил! Когда вы увидите, что я купил, вы не будете так говорить.

— Что же ты купил? — с оттенком ужаса воскликнула тетя.

— Сейчас увидите. Гаврик, неси сюда.

Петя как был — в калошах, шинели и башлыке — прошел в столовую и поставил на обеденный стол пакет, после чего стал бережно выгружать из карманов кокс. Гаврик робко следовал его примеру.

— Зачем ты кладешь уголь на стол? — сказала тетя, багровея.

— Это не уголь, — поучительно сказала Петя. — Это кокс.

— На что тебе эта дрянь?

— Дрянь? А вот сейчас вы увидите!

Тетя, папа, Дуня и Павлик в молчании смотрели на грудку кокса, на разорванный мешок, из которого сыпался нашатырь, на бутылку с фиолетовой жидкостью, на все эти непонятные предметы, загромождавшие стол.

— Угадайте, что это такое, — сказал Петя, положив руку на пакет и обвел всех сияющим взглядом. — Не знаете?

Он выдержал эффектную паузу.

— Не тяни kota за хвост, — дерзко сказал Павлик, отступая на всякий случай за Дуню.

Но Петя не удостоил его ни одним взглядом.

— Это — электричество, — сказал Петя. — Я купил электрическую батарею.

— Я тоже давал деньги, — заметил Гаврик вполголоса.

— Да, Гаврик тоже давал деньги. Я давал и он давал. Мы вместе купили электрическую батарею. Вот.

С этими словами Петя содрал шпагат и торопливо развернул хрустящую бумагу с маркой «Всеобщей Компании Электричества».

Все приблизились к столу.

С нескрываемым удивлением и разочарованием рассматривали они довольно грязные, кривые банки, угольные пластинки и цинковые палочки.

Надо сказать правду — дома все эти вещи выглядели гораздо хуже, чем в магазине.

— Что это за хлам? — наконец, сказала тетя.

— Это не хлам, а элементы Лекланше, — высокомерно отчеканил Петя. — А если вы не понимаете, то лучше молчите.

— Боже мой, но зачем это тебе?

— Чтоб горела электрическая лампочка.

Папа и тетя переглянулись и пожали плечами. Папа надел пенсне, заложил руки за фалды сюртука и наклонился над элементами Лекланше.

— Положим, лампочка не будет гореть, — сказал он.

— Как не будет! — закричал Петя. — Это же элементы Лекланше!

— Ну и что ж из того, что элементы Лекланше. Вот именно поэтому лампоч-

ка и не будет гореть. Слишком слабый ток.

Петя побледнел.

— А он сказал, что обязательно будет гореть.

— Кто это — он?

— Приказчик в электрическом магазине.

— С чем тебя и поздравляю.

— Он сказал, что если сделать батарею, то непременно будет гореть.

— Ну что ж, — сказал отец миролюбиво, — смотря, какую батарею. Если соединить элементов двести, то может быть одна, очень маленькая лампочка и загорится, но вряд ли.

— Сколько элементов? Ты говоришь, сколько элементов?

— Элементов двести, триста.

— По сорок копеек штука? — закричал Петя в ужасе.

— Ну, уж там не знаю, по скольку, но и то, повторяю, вряд ли загорится.

— А он нам сказал, что восемь элементов хватит.

— Он, наверное, просто пошутил.

— Пошутил?

Петя стал красный, как бурлак. Пот струился по его воспаленному лицу.

— Ты сам ничего не знаешь! — крикнул он и даже затопал калошами.

— Петя, Петя... Опомнись! — ласково сказала тетя. — Как тебе не стыдно? Василий Петрович преподаватель, человек с высшим образованием, кроме того, он твой отец. Если он тебе говорит, что лампочка не загорится, — значит, можешь ему верить. Она не загорится. Для этого даже не нужно быть ученым. Это известно всем. Элементы Лекланше употребляются для электрических звонков. В каждой квартире есть

— В каждой квартире?

— Да.

— А почему же, тогда, у нас нет?

— И у нас есть.

— И у нас?

— Ну, конечно. Неужели ты не замечал? Вот видишь, какой ты ленивый и не любопытный. Иди сюда, смотри.

С этими словами тетя взяла Петю за рукав, повела в переднюю и показала ящик над дверью.

Петя посмотрел и зашатался. В открытом ящике, затянутом паутиной, стояли две старые стеклянные банки — два «элемента Лекланше», от которых тянулись провода к электрическому звонку.

— Теперь ты убедился? — сказала тетя и пошла обратно в столовую, шумя платьем.

Петя бросился за ней, бормоча:

— Тетичка, тетичка... Он же сказал, что непременно будет гореть..

— А ты и уши развесил?

— Тетичка, понимаешь, мы заплатили три рубля двадцать копеек и еще за

кокс и нашатырь, и мы еще ехали на извозчике за двадцать копеек.

Если бы развалился дом, если бы крыша упала на голову, если бы море вышло из берегов и одной чудовищной волной смыло город, если бы солнце двинулось в обратную сторону и звезды посыпались вниз, — то этот ужас был бы ничем в сравнении с тем ужасом, который почувствовал Петя.

Это была полная катастрофа — непонятная, как смерть.

Петя стоял перед столом и смотрел на банки, угольные пластинки, цинковые палочки и фаянсовые пористые сосуды, которые еще две минуты тому назад носили волшебное наименование «элементов Лекланше», а теперь представляли собою грудку отвратительных бессмысленных предметов, не возбуждавших ничего, кроме мутного отвращения.

Это было похоже на казанок червонцев, вдруг превратившихся в черепки

— Дуня, уберите этот хлам куда-нибудь на чердак, — сказала тетя.

Папа посмотрел на тетю, тетя посмотрела на Павлика, все трое посмотрели на Дуню, Дуня посмотрела на Петю, а потом папа, тетя, Дуня и Павлик начали хохотать.

Папа хохотал, кашлял и придерживал пенсне. Тетя хохотала заливисто и неудержимо со слезами в горле и на глазах. Павлик подхихикивал особенно злобно. Дуня смеялась, не совсем понимая причину смеха, просто так, за компанию.

Петя сидел в башлыке, в калошах, в шинели на стуле, уставя глаза в одну точку на полу.

И все забыли про Гаврика.

А Гаврик стоял возле двери, сгорбившись, и грыз себе кулаки, что было признаком сильнейшей ярости.

Он гораздо раньше Пети понял весь ужас того, что произошло. Он не делал себе на этот счет никаких иллюзий. С его глаз точно спала волшебная пелена. Конечно, это обман, как и все в жизни. Он изо всех сил залился на себя, проклинал свою опрометчивость, и грыз, грыз кулаки, делая страшные усилия, чтобы не заплакать.

Для Гаврика это и в самом деле была настоящая катастрофа: дома сидит Мотя без ботинок, дома нечего есть, а он —

глава семьи, единственный кормилец, — так, по дурацки, ни за что, за здорово живешь, выбросил псу под хвост с таким трудом заработанные деньги. Нашел, кого слушать! Нашел, кому верить! Элементы Лекланше! Электричество! Ух, как он его ненавидел, этого Петю.

Гаврик, сгорбившись, вышел в переднюю и хрипло позвал:

— Петька, иди сюда!

Петя покорно встал от стула и поплелся.

И в ту же минуту из передней слышались приглушенные звуки, похожие на шипенье двух котов, посаженных в один мешок.

Раздался глухой топот ног, кряхтенье, потом что-то упало, — вероятно, круглая, в форме бочки, корзина для грязного белья, — потом слышалось опять шипенье, щелкнул ключ, сильно стукнула входная дверь, и Петя понуро прошел через столовую к себе в комнату, ни на кого не глядя и вытирая рукавом нос, из которого текла юшка.

Выбежав на улицу, Гаврик стал прикладывать ко лбу снег. Над глазом была порядочная гуля. Гаврик со всех сторон пощупал ее. Она была твердая, как недозревшая слива и уже начинала болеть. Да, настоящий «бланш!» Этого Гаврик от Пети никак не ожидал; он был неприятно удивлен. Сжав губы и шумно, сердито дыша носом, Гаврик пошел домой. Он шел, нарочно не торопясь, медленно, остывая от драки. Торопиться было некуда.

Изредка он останавливался, громко сморкался и прикладывал к губе свежий снег. Кровь еще возбужденно бурлила и в ушах шумело, но уже мягкая, глухая тишина зимнего вечера мало-помалу охватывала душу. Только теперь Гаврик заметил, что погода переменилась. Как это часто бывает на черноморском побережье, степной ветер, беспорядочно крутивший целый день, вдруг упал, вьюга улеглась. Над садами и дачами мутно светилась низкая луна. По ней бежали дымчатые облака, с каждой минутой становившиеся все тоньше и тоньше. Местами сквозь них уже проглядывало чистое небо с редкими морозными звездами.

Море под луной сияло зеленым золотом...

ОТЕЦ

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ



На ветру горит, не сгорая,
В негасимом огне рябина.
Ждёт — никак не может дождаться
Вести с фронта старик от сына.

Потянулись над лесом гуси —
Он расспрашивал их о сыне.
Ничего не ответили гуси
И пропали в туманной сини.

Журавли закружились над чащей —
Он окликнул косяк журавлиный,
И они не встречали сына,
Пролетая дорогой длинной.

Опускались в лесу самолёты,
На поляне, за логом лисьим.
Всем они привозили письма,
А ему всё не было писем.

На ветру горит, догорает
В негасимом огне рябина.
Но не может отец поверить,
Что ему не увидать сына.

Ведь сыновнего счастья ради
Бьётся он в партизанском отряде,
С молодыми ходит в разведку,
Караулит врага в засаде.

Он к губам не подносит фляжку,
Собираясь итти на дело,
Быть должны в такие минуты
Светлым сердце и чистым тело.

Он на немцев бросается первый,
Угловатые плечи сутулая,
Как зарок на него положен,
Не берёт его вражья пуля.

На ветру потемнела — сгорела —
В негасимом огне рябина.
Говорит старик: не могу я
Умереть, не увидев сына.

И выходят в ночь партизаны,
Как туманные звёзды, бессонны,
И взлетают мосты на воздух,
В пропасть падают эшелоны.

Под дождём, намокнув до нитки,
Жмётся осень у частокола,
Ищут след партизанский немцы,
Жгут дотла деревни и сёла.

А в далёкой лесной засеке
Говорит командир отряда:
— Злитесь враг, значит, наши близко,
Приготовиться к встрече надо.

Серой изморозью колючей
На заре покрылась рябина.
Старику не спится: теперь-то
Он, наверно, увидит сына.

Где-то с треском рвутся снаряды,
В небо ввинчиваются ракеты.
Их старик отмечает, как прежде
Отмечал он весны приметы.

Сделал сердце его моложе
Ветер боя, горячий и резкий.
Отступали от города немцы
По большой дороге Смоленской.

И вернулся старик в свой город,
Где в тревогах душа окрепла,
И нашёл он на месте дома
Грудю камня и кучку пепла.

Вспомнил он — здесь был палисадник,
Там — у тына — шумела рябина...
И подумал: вернётся сын мой,
И не будет угла у сына.

Как же может закрыть глаза мои
Злая старческая истома,
Как могу умереть, доколе
Не построю нового дома?

А пока поживу, как жили
В партизанской нашей землянке...
Уходили войска на запад,
Ржали кони, гремели танки.

НЕЧИСТАЯ СИЛА

Комедия в 4-х действиях

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

★

Александр Алексеевич Мардыкин — статский советник.

Вера — его дочь.

Николай Иванович Шилов — молодой человек.

Карл Карлович Вольф — секретарь Мардыкина.

Антонина Павловна Коробова — владелица рельсопрокатного завода.

Пётр Мартынович Бабёнышев — бывший владелец мыловаренного предприятия.

Хамов — камердинер Мардыкина.

Леонтий — швейцар.

★

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Проходная комната перед кабинетом Мардыкина. Леонтий, бритый старичёк, в жилете и фартуке, вытирает шваброй пол.

Леонтий. Ангелам во благообразии уподобимся... Дом свой, аки чертоги небесные, соделаем... (В дверь — стук, он идёт, приоткрывает дверь, берёт газету.) Газету принесли... Приставлен ты, слуга не мятежный, к вратам дома сего... (Звонок, он идёт к двери.) Суета, суета, звонят, стучат...

(Входит Николай.)

Николай. Дядюшка дома?

Леонтий. Позвольте вас спросить: какой вам нужен дядюшка?

Николай. Александр Алексеевич Мардыкин, ну — генерал дома, я спрашиваю?

Леонтий. Когда его превосходительство газету у меня спросят, да прочтут её, покуда кушают кофею, да в кабинет проследуют, — тогда его превосходительство будет дома.

Николай. Хорошо, хорошо... Поди, скажи, приехал, мол, из Петербурга племянник — Шилов Николай Иванович, и с дороги пошёл купаться.

Леонтий. Понятно.

Николай. Искупается, мол, и придёт через полчаса с чемоданом.

Леонтий. Понятно, с чемоданом.

(Леонтий идёт в губину и дёргает за звонок. Николай в это время быстро разворачивает газету и отмечает в ней карандашом одно место.)

Николай. Дядюшка в добром здравье? Кузина Верочка выросла, чай?..

Леонтий. В полном порядке изволят быть его превосходительство и барышня Вера Александровна.

Николай. Так я мигом вернусь.

(Сворачивает газету и уходит. Появляется Хамов.)

Хамов. Чего звонишь? Чего меня беспокоишь?

Леонтий. Передай самому: — племянник приехал, Шилов, из Петербурга.

Хамов. Ждали такого, допусти. (Садится.) Наш-то с утра встал не с той ноги. Как плесканёт мне в рожу кофеем, — муха, говорит, в чашке... Не могу я за всеми мухами смотреть...

Леонтий. Должен, раз ты слуга, смотри и за мухами...

Хамов. Но, но, проповеду, швабра... Убийственная должность камердинера, а тут ещё жара... Да не в мухах дело, а в Антонине Павловне, с ней у нашего вчера стычка вышла... Круто он завернул, миллион хочет хапнуть.

Леонтий. Пустолайка ты, тьфу. У самого-то совесть чёрная, — вчерась с просительницы сдёрнул трёшницу, а может, она у неё последняя была.

Хамов. Избаловался я здесь... Ну, ладно, давай газету...

Леонтий. Честность — это наш с тобой капитал, за миллион её не продавай...

(Входит Вольф.)

Вольф. Хамов, газету...

Леонтий (подаёт ему газету). Пожа- луйста, Карл Карлович.

Хамов. Карл Карлович, из Петербурга племянник приехал...

Вольф. Какой племянник?.. Шилов?..

Леонтий. Да-с...

(Хамов уходит.)

Вольф. Сюда не пускать, провести чёрным ходом прямо наверх... Кто газету пометил карандашом?

Леонтий. Кто писал, тот и пометил, так принесли.

Вольф. Очень интересно (отходит, садится, читает).

(Входит Вера.)

Вера. Леонтий, у папы ещё не начался приём?

Леонтий. Барышня, племянник приехал...

Вера (радостно улыбнулась). Ну, конечно, это был Николай Шилов, — я перешла бульвар, а он бежал по солнечной стороне... (Озабоченно.) Леонтий, я хочу говорить с папой...

Вольф. Отлично искупались, Вера Александровна?

Вера. Отлично... (Леонтию). Хочу говорить немедленно, сию минуту.

Вольф. Вода была достаточно прохладная?

Вера. Достаточно прохладная... (Идёт.)

Вольф. Мне, как секретарю, подобает быть в курсе всего, неправда ли? Что это за неотложный разговор с Александром Алексеевичем?.. Не связан ли он со внезапным появлением здесь господина Шилова?..

Вера. Слушайте, Карл Карлович, вам на самом деле взбрело в голову жениться на мне?

Вольф. Помилуйте. Смее ли я в моём положении? Что за вопрос?..

Вера. Жениться на мне очень трудно... Гораздо труднее, чем обдѣлывать все ваши тёмные делишки, в которые вы настойчиво втягиваете папу.

Вольф. Откуда вдруг такая осведомлённость, Вера Александровна?

Вера. Я нечаянно подслушала разговор в папином кабинете...

Вольф. Вчера? С Антониной Павлов- ной?

Вера. Да... Правда, я мало чего поняла, но я, всё же, не такая дура... Этот разговор был нечестный и непорядочный.

Вольф (захохотал). Вы очаровательны, как ёлочный ангел на ватном облаке...

Вера. А вы — паук, который прыгает...

А пауков я ненавижу больше всего на свете...

Вольф. Ого! Если ты не заставил женщину полюбить себя — внуши ей ненависть.

Вера. Вы пошляк.

Вольф. Вот это уже грубо...

Вера. С тех пор, как вы появились, — папа стал другим человеком — в доме у нас мрачно и скучно и хочется бежать из дома...

(Быстро входит Хамов.)

Хамов. Его превосходительство...

(Деловым шагом входит Мардыкин, с портфелем, необыкновенно важен.)

Мардыкин. Посторонних нет?

Хамов. Никак нет, ваше превосходительство...

Мардыкин. Так что же ты, болван, кричишь на весь дом?

Хамов. От усердия, ваше превосходительство...

Мардыкин. Пшёл вон... (Хамов скрывается.) А где Николай Шилов?

Леонтий. Они купаться пошли, ваше превосходительство.

Мардыкин. Купаться? То-есть, как?

Леонтий. Обыкновенно, на речку-с... Обернусь, говорит, в полчаса, приду с чемоданом...

Мардыкин. С чемоданом? То-есть, как?

Вера. Папа, Николай писал, что хочет у нас остановиться. Ты позволил. Я так ему и ответила.

Мардыкин. Почему он должен непременно останавливаться у меня? Здесь не постоялый двор.

Вера. Николай будет жить наверху. Он мой гость, а не твой. Я, вообще, папа, хочу с тобой поговорить очень серьёзно...

Мардыкин. Уволь, уволь, уволь... Делай, как хочешь. В этом доме я не могу иметь своих желаний, я — пешка, я — раб. (Вольфу.) Карл Карлович, я ждал газету двадцать минут в столовой.

Вольф (подавая газету). Обратите внимание, — на третьей странице — статья, чья-то рука отметила её карандашом.

Мардыкин. Чья-то рука? Что вы хотите сказать?

Вольф. Не дружеская...

Мардыкин. Бывают руки разные... Бывает, — человеческая рука, а бывает... вы понимаете?

(Разворачивает газету.)

Вольф. Сегодня я, наконец, получил удовлетворительный ответ...

Мардыкин. От кого?

Вольф. Из Германии...

Мардыкин. Ох, Карл Карлович... мне это всё, как-то так, не особенно того...

Вера (останавливая отца). Я хочу говорить с тобой немедленно...

Мардыкин (закрываясь газетой). Вера, я занят делом.

Вера. Твоё главное дело — это твоя дочь, более важных дел у тебя нет...

Мардыкин (Вольфу). Вот — пожалуйста...

Вера. Я хочу говорить без посторонних свидетелей...

Вольф. О! Прощу прощения... (уходит в кабинет).

Мардыкин. Говори и — как можно короче...

Вера. Папа, чем ты занимаешься?..

Мардыкин. Кто? Я? Леонтий, пошёл вон... (Леонтий уходит)... Я начальник отделения департамента министерства торговли и промышленности...

Вера. Ты занимаешься тёмными аферами, папа? Да?

Мардыкин. Кто тебя учит таким глупейшим вопросам?

Вера. Вчера вечером я слышала, как тебе это же самое сказала Антонина Павловна и ты только промывчал...

Мардыкин. Ты подслушивала под дверь?

Вера Да.

Мардыкин. Кто тебя воспитывал, я спрашиваю?

Вера. Ты.

Мардыкин. Безнравственная девочка...

Вера. Папа, что такое нравственность? Ты должен мне это объяснить, как отец и воспитатель...

Мардыкин. Фу! (вытирается платком.) Всегда ты — не вовремя и некстати... Ты же видишь, я читаю газету.

Вера. Я подожду...

Мардыкин. Ну, — нравственность это то, что ты должна была впитать в себя с молоком матери.

Вера. Меня вскормили на коровьем молоке.

Мардыкин. Тем более, полагается тебе быть идеалом в смысле послушания. Послушание отцу и честность к ближнему. Вот. Ну, мне некогда (смотрит в газету).

Вера. Минутку, папа... Если я должна слушаться тебя — значит, ты нравственный человек?

Мардыкин. Замолчи, скверная девочка! Я тебя выдеру за такие вопросы...

Вера. Теперь — последнее, самое главное: зачем ты хочешь выдать меня замуж за Карла Карловича, твоего секретаря?

Мардыкин. Это ложь.

Вера. Вчера ночью ты обещал ему мою руку...

Мардыкин. Я шутил. Удовлетворена? Ты не даешь мне прохода, ты мне мешаешь работать, здесь деловое учреждение, иди в свою комнату и займись делом... Ага! Вот оно. (Нашел, наконец, в

газете отчеркнутое место). Канальи. Это донос... Вольф, Карл Карлович. Кто посмеет написать?..

(Входит Антонина Павловна.)

Антонина. Господи помилуй, кричит, как лев... Здравствуй, отец родной. Верочка, здравствуйте, бутончик розовый... С утра, милёнок, реву в три ручья... Александр Алексеевич, принесли мне сегодня столичную газету, и в ней одно место отмечено карандашом...

Мардыкин (роняя газету). У вас тоже было отмечено?..

Антонина. По миру меня хотят пустить... Что я вам вчера говорила, Александр Алексеевич, — не верили мне... (Вере). В цветущем возрасте итти мне с лотком тарань продавать... Это ли не печаль... (Мардыкину.) В газете прямо сказано, что на мне спекулируют какие-то мошенники...

Вера. Антонина Павловна, я об этом только-что начала говорить с папой.

Мардыкин (мрачно). Вера, иди к себе... (Антонине — еще мрачнее) Пожалуйста в кабинет...

Антонина (Вере). Реву, реву, а как увижу вашего папашу, так и глаза просохли...

(Мардыкин и Антонина Павловна уходят. Леонтий подбирает газету.)

Вера. Леонтий, подай сюда...

Леонтий. Лучше её в печке сожгу, Вера Александровна... Одно беспокойство от этих газет, (Подает ей газету.) Хуже нечистой силы они... В старину, слава богу, люди без газет жили, тихо, мирно...

Вера. Леонтий, ты послушай только... (читает) «Ещё о наступлении германского промышленного капитала»...

Леонтий. Вот я и говорю, что нечистая сила.

Вера. «Нам сообщают из губернского города Н., где находится рельсопрокатный акционерный завод, принадлежащий некоей вдове К... Этот завод поставляет рельсы для строящейся железной дороги... Ну, тут дальше о значении отечественной промышленности... «Вокруг этого завода ведутся тёмные махинации... Германские агенты, не брезгая подкупом, клеветой, угрозами, ложными слухами и прямым мошенничеством, всячески играют на понижение стоимости акций завода, что ими и достигнуто. Акции начали падать. Мы не сомневаемся, что в скором времени акции будут скуплены и окажутся в Германии, и на воротах нашего отечественного завода будет красоваться вывеска: «Германское акционерное общество Крупн» или в этом роде... Не менее печально, что в эти грязные махинации замешано одно чрезвычайно влиятельное лицо, проживающее в городе Н...» Всё ясно: влиятельное — это папа...

Леонтий Быть беде в нашем доме...
Вера. Леонтий, мы пропали, тёмный агент — это Карл Карлович...

(Входит Николай.)

Николай. Вот мой чемодан... Верочка!
Вера. Здравствуйте, Николай.
Николай. Батюшки, как выросла...
Вера. Нет, я уже перестала расти...
Леонтий, снеси чемодан наверх, в комнату для гостей...

(Леонтий берёт чемодан, уходит.)

Николай. Батюшки, как похорошела!
Вера. Ваша комната будет окнами в сад, там очень прохладно и тихо...

Николай. Я же отлично помню, у вас были страшно тонкие ноги, страшно длинная шея и всегда испарипанные локти.

Вера. Николай, тогда мне было четырнадцать лет...

Николай. Кузина, я вас всё-таки поцелую... (она подставляет щеку). И в другую... (она подставляет другую щеку)... Очень вкусно. Я даже не ожидал, когда сюда ехал.

Вера. Николай, вы кончили институт?

Николай. А как же... Кончил политехникум, потом был в Англии, на заводах... инженер...

Вера. Служите?

Николай. Куда там... На заводы, Верочка, берут преимущественно немецких инженеров, а русским вежливо предлагают подождать...

Вера. Чем же вы занимаетесь, не махинациями, нет?

Николай. Писал стихи, но слишком лёгко в мыслях. Мечтал стать мировым боксёром — слишком тяжёл в весе... Изобрёл точилку для безопасных бритв, взял патент, опять дорогу перешли немцы... сейчас работаю в газете.

Вера (с ужасом). В газете?

Николай. А разве это плохо? Да, да, Верочка, — это страшный секрет... Дядя не должен знать, что я газетчик... Будете молчать?

Вера. Раз вы попросили, конечно, буду молчать...

Николай. Значит, мы начнём дружить с вами?

Вера. Удовольствие от моей дружбы получите очень среднее. Я подозрительная, мрачная, скучная, папа утверждает, что я безнравственная...

Николай. Можно ещё раз в щеку?

Вера. Если вам это доставляет удовольствие, пожалуйста.

(Подставляет, он целует.)

Николай. Щека вроде персика.

Вера. Шершавая?

Николай. Прохладная и горячая.

Вера. Я всё-таки рада, что вы при-

ехали, Николай. Я совсем одна... Мы здесь очень плохо живём...

Николай. Рассказывайте.

Вера. Папа намеревается выдать меня замуж за обезьяну.

Николай. Как её зовут?

Вера. Карл Карлович Вольф, папин секретарь.

Николай. Немец! Всё понятно... Конеч ниточки найден... Великолепно...

Вера. Ничего не «великолепно». Увидите его — настоящая обезьяна... По ночам он с папой разговаривает о таких вещах, просто страшно... Делает с папой всё, что хочет... Ах, если бы нам только избавиться от этого отвратительного человека...

Николай. Так, так... Значит, это Вольф орудует...

Вера. Тёмные махинации это — ои.

Николай. Послушайте, Верочка, всё это несколько меняет дело.

Вера (протягивает ему газету). Вот прочитайте-ка, что здесь пишут про папу и Вольфа.

Николай. Чего читать! Что я буду читать, когда я сам и писал эту статейку.

Вера. Вы?

Николай Я...

Вера. Господи, вы...

Николай. Я послан от газеты узнать подробности всего этого грязного дела и собрать документы...

Вера. Значит, мы пропали? Папа, действительно...

Николай. Тёмный мошенник, да...

Вера (с тихим отчаянием садится в кресло). Конеч всему...

Николай. Подождите... Дядя, несомненно, опутан этими дельцами...

Вера. Николай, вы наш враг?

Николай. Подождите... Какой я к черту ваш враг... Думаете, мне приятно была эта командировка?.. Хотя, вру: мне было всё равно, потому что я вообще ничего не думал... Мне сейчас очень приятно.

Вера. Значит, вовсе я не персик, это тоже неправда...

Николай. Подождите... Дело в том, что Вольф меняет всю картину. Я страшно рад, что здесь Вольф. Вы говорите, что Вольф хочет на вас жениться? Гм... Вот чертовщина.

Вера. Папа очень добрый, только у него в голове путаница... А Карл Карлович его совсем опутал... Папа старый... Я уверена, что если ему объяснить, что он поступает дурно, он раскается...

Николай. Я помню дядюшку, он был чудачком и милым человеком... В общем всегда был похож на старую бабу с бакенбардами...

Вера. Папа даже в чертей верит...

Николай. В каких чертей? Подождите... Вы меня не пугайте... Какие еще черти?..

Вера. Бумажные.

Николай. Ну?

Вера. Раньше этого не было, папа был очень честный... А за последнее время папа делает что-нибудь нечестное, сейчас же раскается, берёт бумагу и ножницы, вырезывает чортика и надписывает на нём этот свой грех.

Николай. Чтобы не забыть?..

Вера. Ну, да... У нас в столовой большой шкаф битком набит чертями.

Николай. Сложная штука...

Вера. Николай, спасите нас...

Николай. Вольф использует дядюшку до конца, потом сдерёт с него шкуру... Но сначала Вольф женится на вас.

Вера. Ого, пускай попытается...

Николай. Итак: нужно найти прямую улику против Вольфа и вышвырнуть его отсюда к чертям... Во-вторых, вытряхнуть из дядюшки всех чертей...

Вера. А в-третьих?

Николай. Поцеловать вас в щёчку — и в Петербург, с первоклассным сенсационным материалом... Да, дядюшка и в особенности Вольф, будут, конечно, допытываться, — для чего я сюда приехал... Вера, я приехал ради вас, я в вас вдребезги влюблён, и вы в меня вдребезги. Просто и понятно.

Вера. Николай, это сложная и опасная игра...

Николай. Глупости... Вера вы способны полюбить меня, как мужчину?

Вера. Нет.

Николай. Я тоже не способен полюбить вас, как женщину.

Вера. Ну, тогда нам бояться нечего...

Николай. Я вас обидел, Верочка?

Вера. Нет, я всегда знала, что не могу внушить никаких чувств.

Николай. Вот и я точно такого же мнения о себе...

Вера. Николай, а с чего это начинается?..

Николай. Двадцать шесть лет я задаю себе этот вопрос... В Лондоне я работал в Публичной библиотеке над этой темой... Прямого ответа нет...

Вера. Нет?..

Николай. Одни предполагают, что это начинается со сближения душ...

Вера. Туманно...

Николай. Очень. Другие предполагают начинать прямо с поцелуя в губы...

Вера. Ну, это слишком просто.

Николай. Вы находите? Наконец, есть школа, утверждающая, что мужчина должен быть нахалом, грубияном и дерзкой, которому море по колено...

Вера. Море по колено — это уже не плохо...

Николай. Какой же стиль мы выберём?

Вера. Давайте уже пробовать все стили — ведь это игра?

Николай. Игра... (за дверью голоса.) Сюда идут. Я начинаю.

(Николай целует Веру в губы. Входят Мардыкин, Антонина Павловна и Вольф).

Антонина. А! Взаос!

Мардыкин. Вот так штука!

Николай (кидается к Мардыкину, обнимает). Дядюшка. Родной. Всё такой же. С бакенбардами.

Мардыкин. Постой, постой... Я знаю, что я с бакенбардами... Объясни-ка мне, что это всё значит?

Николай (обнимает Антонину). Красота моя купеческая. Цветёт, как розан.

Антонина. Ой, все рёбра поломал...

Николай. Дядюшка, с поезда в речку и прямо к вам...

Мардыкин (Вере). Ты отчего красная? Что?

Вера. Я так рада... Он такой милый...

Мардыкин. Милый, милый... (Николаю). Покажись-ка мне... Гм. Здоровый парень... Шелопай, думать надо?

Николай. Молод ещё, дядюшка, хочется повеселиться...

Мардыкин. А всё-таки с этими поделуями ты у меня полегче... Познакомься с Карлом Карловичем...

Николай. Шилов...

Вольф. Вольф...

Мардыкин. Ну что вы как церемонно, обними и его за одно.

Николай. Русские обычаи немцам не впрок, дядюшка...

Вольф. Я родился в России, я коренной русопят...

Николай. Это и заметно.

Мардыкин. Надолго ко мне?

Николай. Времени я никогда не считаю, дядюшка...

Мардыкин. Да ты не егози. Какие у тебя планы?

Николай. У меня, дядюшка, десять тысяч планов.

Мардыкин. Действительно ты шелопай. Сядись. Сядьте, господа. Из твоих десяти тысяч планов назови хоть один разумный.

Вера. Папа, дело в том, что Николай инженер.

Антонина. Инженер? Такой хорошенький...

Вера. Очень талантливый инженер, посмотри, какие у него мускулы.

Мардыкин. Ты тоже, матушка, не егози. (Николаю.) Служить думаешь, или тянет к спекуляции, коммерции?

Николай. Служил бы, дядюшка, немцы к заводам не подпускают...

Мардыкин. Причём же немцы? Ты же в России, надеюсь...

Николай. Всё они заполнили, проклятые... Да вот, был у вас мыловаренный завод Бабёнышева, сейчас прохожу:

вывеска «Генрих Вольф и Ко»... (Вольфу) Кстати, не ваш родственник?

Вольф. Однофамилец.

Антонина. У меня тоже — горе с молодыми инженерами. Наняла одного по рекомендации Карла Карловича, — такой мускулистый немец, кровь с молоком, оказался циник бессердечный, грубиян, пришлось прогнать... Ох, тяжела, Александр Алексеевич, вдовья доля...

Мардыкин. Антонина Павловна, по вас это не заметно...

Антонина. Правда?

Николай. Дядюшка, в сущности, я здесь мимоездом, заскочил засвидетельствовать почтение... Но, когда я увидел Верочку, все планы вылетели у меня из головы... Простите, но мне хочется сказать вам спасибо за неё, спасибо...

Мардыкин. Ах, мальчишка!

Антонина. Смело сказано.

Вольф. И даже более, чем смело.

(Все молча взглянули на него. Мардыкин поджал губы — и Николаю.)

Мардыкин. Шутки шутками, а ты всё-таки границы знай...

Николай. У вас весь город в цветах, сирень, белая акация, цветы даже на уличных фонарях... (Глядя на Веру.) Как не опьянеть здесь от цветов. И как ужасно, что этот райский городок кишит тёмными дельцами... (Указывая на газету.) Я только-что прочёл заметку, отчеркнутую карандашом... Дядюшка, вы влиятельное лицо, возьмите метлу и вышвырните за порог всю грязь...

Вольф. Господин Шиллов разговаривает прямо-таки готовыми фельетонами из либеральной газеты...

Мардыкин. Да, да, ты можешь развивать свои взгляды в каком-нибудь другом городе, но здесь, друг мой, я этого не потерплю.

Вера. А я во всём согласна с Николаем...

Мардыкин. Вот вам, — пожалуйста...

Вольф. Веру Александровну можно извинить, Вера Александровна слишком юное существо, естественно она увлеклась красивым фонтаном слов господина Шилова. Я позволю себе задать ему два вопроса...

Николай. Прошу.

Вольф. Мы здесь в тесном кругу, в семейном, так сказать, кругу.

Вера. Нет, не в семейном.

Вольф. В дружеском кругу.

Вера. Нет, не в дружеском... Не сверкайте на меня глазами...

Мардыкин. Что за наказание, не дерзи, не перебивай...

Антонина. Когда же ей и подержать-то, как не в девках, Александр Алексеевич.

Вольф. Так вот, кого персонально из

нас господин Шиллов предлагает вымести метлой из этого почтенного дома?

Антонина. Ай, ай, до чего колкий вопрос...

Николай. Нечистую силу...

Мардыкин. Нечистую силу (поплёвывает.) Откуда в моём доме нечистая сила?...

Антонина. Свят, свят (поплёвывает).

Вольф (Николаю). Благодарю, я вздохнул с облегчением... Второй вопрос...

Николай. Прошу.

Вольф. Каким псевдонимом господин Шиллов подписывает свои статьи... Фамилию его я не раз встречал, а псевдонимом...

Мардыкин. Как. Ты пишешь в газете? Писака? Длинный нос?

Антонина. Не поверю, они слишком привлекательный молодой человек... Глазки бегают, зубки сверкают, такие в газетках не пишут...

Вера. Николай пишет...

Николай. Стихи. Значительно хуже Пушкина... Вопросов больше нет?

Мардыкин. Стихи? Ну, то-то, брат, смотри... Поменьше изводи бумаги и чернил... (Антонине) То-то, слушаю, он всё про цветы какие-то распространяется... Шелопай... Воображаю его десять тысяч проектов... Леонтий, просители есть?

Леонтий. Один дожидается.

Мардыкин. Ну и пускай дожидается... Господа, идёмте завтракать... (встаёт, идёт, Николаю) Напугал ты меня с мечтостой силой, ей, ей... Ветер у тебя из уха свищет, стихотворец...

Антонина (Вере). Одно могу сказать: с троюродным кузеном... Молодой человек нечеловеческой привлекательности...

Вольф (Вере). Ваш кузен не тот, за кого он себя выдаёт.

Вера. А вы любите обезьян? (показала ему гримасу.)

(Все уходят. В дверь стук.)

Леонтий (идя к двери). Не пушу, не ведено, дожидаться велено... (не пуская) Ты куда? Ну, ты куда прёшь нахально?

Бабёнышев (входит). Гони меня, миленький, гони меня в шею...

Леонтий. Скоро вы его превосходительству кончите надоедать?

Бабёнышев. Пока ему тошно не станет.

Леонтий. Ушли бы вы от греха, право.

Бабёнышев. Гонишь меня, Леонтий, а помнишь, как стоял у меня в конторе, при дверях, в ливрейном сюртучке?..

Леонтий. Сами виноваты в своём убожестве, Пётр Мартынович... Разве под силу вам бороться с его превосходительством? Они орёл, а вы...

Бабёнышев. Поди, скажи ему, чтобы деньги выслал.

Леонтий. Завтракают.

Бабёнышев. Подожду. Племянничек к вам приехал. На беду приехал. Несчастье у вас скоро будет. Дал бы бог поскорее.

Леонтий. Неистовый какой вы, Пётр Мартынович.

Бабёнышев. У меня теперь на пепелище моё неистовство одно осталось. Хочу, миленький, твоего барина в могилу вогнуть.

Леонтий. Как вас, такого ядовитого старичка, земля терпит?

Бабёнышев. Поползёт он за мной на коленях, по горбату камёню, потрясёт баками, восплачет, а я-то верхом ему на загривок, да господу помолюсь, да въеду на его шее в ад, в самое пекло... Гори...

Леонтий. Ай, ай, ай...

Бабёнышев. На чём меня погубил Александр Алексеевич? на каустической соде... всю соду скупил и не на свои денешки, а на немецкие, через Карла Карловича... Заводик-то мой мыловаренный и лопнул, а теперь срок пришёл Мардыкину лопнуть...

(Входит Николай.)

Николай. Леонтий, сходи — из чемодана принеси мне папирос... (Леонтий уходит). Получили моё письмо?

Бабёнышев. Расчёту нет, Николай Иванович, по мелочам-то я из него больше выколочу. Хожу каждый день, страшаю да вымогаю... Я без его превосходительства, прямо говорю, жить не могу. Скучно мне без его превосходительства.

Николай (оглядываясь). Говорите последнюю цену, я покупаю все письма, и Мардыкина, и Вольфа, чохом. Ну?

Бабёнышев (с волнением подходит к нему). Молодой, молодой, да как же так быстро решать-то можно... Сжился я, сжился с горем-то моим... Да, тридцать тысяч за все письма... Да соглашайся, молодой, полсотни сейчас запрошу...

Николай. Нам с вами не о чем говорить... (уходит).

Бабёнышев. Держись, держись, терпи, терпи, Бабёнышев, всё твоё будет... (Колокольный звон за окном.) На мои денешки колокола повешены, мои денешки звонят...



ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Столовая. Стол, накрытый к утреннему завтраку. У стены большой, глухой шкаф. Налево входная дверь. В глубине арка, за ней три двери: прямо — в сад, направо — в комнату Веры, налево — в комнату Мардыкина.

Вольф, держа за спиной портфель, шагает по столовой, он сдержанно возбуждён и зол. Остановился, глядит под ноги.

Вольф. Так... (поднял голову к потолку). Так... (Бросил портфель на стол, налил из бутылки пива в стакан, хлебнул). Мерзавец, опять пиво тёплое. Хамов! (Схватывает колокольчик, звонит.) Хамов!

Голос Мардыкина (за дверью, что в глубине, налево). Хамов! Хамов! Я тебя спрашиваю, мерзавец. Остановись, когда с тобой говорят. Хамов!

Хамов (пытается из двери). Не могу знать.

Мардыкин (появляется вслед за Хамовым). Как ты не можешь знать? Кто же должен знать, негодай?

Хамов. Воля ваша... Не знаю и не знаю...

Мардыкин (размахивая у него под носом бумажкой). Кто мне третий день эти записки на стол подсовывает, я спрашиваю?

Хамов. Не иначе, как нечистая сила, ваше превосходительство.

Мардыкин. Нечистая сила? Опять

нечистая сила. А как ты смеешь допускать её в кабинет?

Хамов. Да как же её не допустишь, ваше превосходительство, её за шиворот не ухватишь...

Вольф. Что ещё у вас стряслось?

Мардыкин (упав в кресло). Третье предупреждение.

Вольф. Какие глупости.

Мардыкин. Нет не глупости. Вы не смеете мне говорить «какие глупости». Ложась спать, я сам замкнул ставни, я осмотрел все двери на чёрном и на парадном... Сейчас подхожу к столу, псд чернильницей опять лежит... (показывает записку.) «Остановись, пока не поздно, нам известно всё. Больше предупреждать не будем...» Написана печатными буквами и странными красными чернилами... Это рука социалиста или... чья-то рука, вы понимаете?

Хамов. Сквозь щель, али в печную трубу она лезет совершенно свободно...

Мардыкин. Пошёл вон, дурак...

Хамов. Против неё средств никаких нет, разве молебен отслужить... (уходит).

Вольф. Так... Всё это мне мало нравится.

Мардыкин. Я совершенно не озабочен — нравится это вам или не нравится...

Вольф. Советую вам найти в себе душевное равновесие, ваше превосходительство, вам оно понадобится сегодня и завтра.

Мардыкин. Не смейте мне читать лютеранские проповеди. В каком хочу равновесии, в таком и нахожусь. А почему я должен быть в равновесии именно сегодня и завтра?

Вольф. Сейчас это узнаете. (Вынимает из портфеля бумагу и ножницы).

Кстати, я купил вам новые ножницы и бумагу — поплотнее прежней, чёрную гляцевитую...

Мардыкин (швыряет ножницы и бумагу на стол). Вы проявляете необычайную заботливость, Карл Карлович... Вырезывайте сами чертей, если вам нравится...

Вольф. Александр Алексеевич, вылейте валерьяну.

Мардыкин. Я получил третье и последнее предупреждение... Я не хочу рисковать... (указывая на шкаф). Он полон. Мне пятьдесят пять лет... Я не желаю больше вырезать чертей. Довольно. Слишком много грехов, господи прости...

Вольф. Так... Что же вы решили делать, получив третье предупреждение?

Мардыкин. Ах... Я бы жил на покое окружённый многочисленными внуками... Ах, как приятно честная, безгрешная жизнь, этого вам всё равно не понять, Карл Карлович. Проснёшься поздно утречком, потянешься безо всякой заботы, а там уж сядешь пить кофей с горячими лепёшками, благодушно похлопаешь одного карапузика по задку, а другого ущипнёшь за животик. На окнах канарейки распевают. А тут ещё кто-нибудь придёт для душевной беседы...

Вольф. Вы окончательно решили стать честным человеком?

Мардыкин (осторожно). А кто же может не хотеть этого?

Вольф. Чтобы вам благополучно приплыть к счастливому берегу с карапузиками и канарейками, придётся вырезать ещё одного чортика из этой бумаги.

Мардыкин (опять указывая на шкаф). Знаете ли вы, что здесь не менее ста двадцати моих грехов больших, средних и малых?

Вольф. Будет сто двадцать один.

Мардыкин. Совесть, я спрашиваю, совесть есть у вас, Карл Карлович?

Вольф. На немецком языке нет такого выражения.

Мардыкин. Вот тебе на.

Вольф. Совесть — понятие чисто русское, от глузости, лени, безделья и неорганизованности... Совесть... Бррр... Сильный человек знает только одно: победить, взять... Остальное не важно.

Мардыкин (бормочет). Волк, чистый волк, господи, с кем связал меня? Слушайте, Вольф, вы толкаете меня в пропасть.

Вольф. Я вас толкаю к миллионной Антонины Павловны.

Мардыкин. Грешник, грешник... Она меня любит, она в меня верит... (колотит себя по голове). Чёрный ты человек...

Вольф. Или вы сейчас же перестанете ломаться, или я бросаю дело на полпути...

Мардыкин. Не кричите на меня громко...

Вольф. Эта записочка, найденная вами под чернильницей, означает: нас выследили и, если мы сами теперь же не нанесём сильного удара, чья-то рука ударит вас так, что никакие черти не помогут...

Мардыкин (подходит к шкафу, приотворяет дверцу и сейчас же захлопывает). Сто двадцать первый... Столь великий грешник... Что может прибавить мне ещё один грешок?.. Но зато он будет последним. Попробуйте возразить. Не смейте усмехаться. Перейдём к делам. (Привычным жестом проводит по бакенбардам.) Докладывайте, я вас слушаю...

Вольф. Сегодня в десять утра на рельсопрокатном заводе Антонины Павловны должна случиться неприятность...

Мардыкин. Превосходно...

Вольф. Неприятность настолько серьёзная, что акции завода немедленно дадут резкий скачок вниз.

Мардыкин. Великолепно...

Вольф. Завтра на бирже будет наиболее удачный день для скупки акций Антонины Павловны.

Мардыкин. Роскошно.

Вольф. Так как несчастье назначено на десять... (глядит на стенные часы). Гм... Уже двенадцатый час, пора бы... А, чорт! Вечное русское разгильдяйство...

Мардыкин. Какую, именно, пакость вы на этот раз придумали на заводе?..

Вольф. Биржа дрогнет, ого. Узнаете через несколько минут. Вот... (Кладёт перед ним бланк). Условная телеграмма. Подпишите...

Мардыкин. Кому?

Вольф. Будущему хозяину завода. «Германия. Эссен. Вольфгангу Вольфу».

Мардыкин. Опять Вольфу? Сколько вас Вольфов? Вы все Вольфы?

Вольф. Однофамилец.

Мардыкин. Что это значит? «Поздравляю ангелом сто тысяч поцелуев»?

Вольф. Ну, ясно: немедленно поку-

пайте. Что покупать они знают, лишь ждут от вас сигнала.

Мардыкин. А это: «Сто тысяч поцелуев»?

Вольф. Вам, в виде благодарности за услуги, позволено приобрести акций Антонины Павловны на сто тысяч рублей, вы подтверждаете условие. Всё договорено. Подписывайте.

Мардыкин. Какой-то Вольфганг Вольф заглаживает целый завод, а мне собачий кусок, сотняшку тысяч. Я разорён (подписывает).

Вольф (прячет телеграмму в красный бумажник). Как только на заводе произойдёт катастрофа, — телеграмма летит в Эссен. Теперь, верните-ка мне список, который я вам передал третьего дня.

Мардыкин. Какой список?

Вольф. наших тайных агентов. Сегодня я должен уплатить жалованье.

Мардыкин. Списка у меня нет, я его положил на стол. Под чернильницу... (Раскрыл рот.) А-а-а!

Вольф. Чорт! Но ведь он написан моей рукой. Там есть фамилии, которые никто не должен знать... Что угодно, только не пропадай этого списка... Иначе нам обидно грозит принудительное путешествие на делёкий север...

Мардыкин. Путешествие на север? Слушайте, я ни в чём не виноват... Меня бес попутал... Слаб человек... С младенческих лет хочу честной жизни...

Вольф (трясёт его). Опомнитесь... Быть может, вы его куда-нибудь засунули... (Шарит у него по карманам сюртука, вытаскивает, разворачивает чортика). Это ещё что?

Мардыкин. Это Антонина Павловна, на всякий случай приготовил...

(Входит Хамов.)

Хамов. Антонина Павловна пришли. Допустить?

Вольф. Слава богу. Наконец-то. (Взглядывает на часы.) Что она, очень расстроенная?

Хамов. Ничего-с, довольно горяча.

Мардыкин. Я бы ушёл, Карл Карлович. Вы как-нибудь уже сами её успокаивайте...

(Мардыкин идёт к себе. Вольф хватается его за полу сюртука.)

Вольф. Оставайтесь. Возьмите себя в руки. Вам придётся выразить сочувствие, пролить слезу. (Хамову) Где Николай Иванович?

Хамов. Пошли с барышней купаться...

Вольф. Проси Антонину Павловну. (Хамов уходит). Примите приличный вид.

Мардыкин. Сейчас приму.

Вольф. Пока ещё большой беды нет. Если список действительно пропал, я его

сегодня же найду. Расправьте бакенбарды.

Мардыкин. Сейчас расправлю.

(Вольф уходит. Мардыкин принимает начальнический вид. Входит Антонина Павловна.)

Антонина. С чего это порядки новые завели? К вам и не пробьёшься. Как львы слуги рычат и узнавать меня не желают...

Мардыкин. Чем могу служить?

Антонина. Александр Алексеевич, да ведь это я, Антонина Павловна, Тоня... Да чего, родной, вы, как статуя, стоите? Или живот болит?

Мардыкин. Короче, к делу.

Антонина. Благодарить приехала, сахар...

Мардыкин. Я не сахар.

Антонина. Вот тебе на. Александр Алексеевич, я ведь по всему городу развонила, что вы мне хотите предложение сделать. Ну ка, в глазки посмотрите...

Мардыкин. Во время приёмного часа, в казённом учреждении не глядят в глазки, сударыня...

Антонина. Ведь я вас, так, по-женски говоря, каждую ночь во сне вижу, в разных видах, так что вы будьте со мной попроще...

Мардыкин. К чему, сударыня, разговор клежите?

Антонина. Ну, ладно... Вы мужчина загадочный. Может, из-за этого я и волнуясь, как речка в бурю... С биржи сейчас по телефону звонили, акции-то мои за один день на полтора целковых поднялись. Вот радость-то... Правление железной дороги прислало телеграмму: поздравляют и дают новый заказ на три миллиончика... Чья-то рука помогает, чья-то рука, Александр Алексеевич... Да что вы, сахарный, как рот-то безобразно разеваете?...

Мардыкин (задыхаясь, разевает рот). Я... я... я...

Антонина. Кость, что ли, застряла? Рыбу ел? (Колотит его по спине).

Мардыкин. Выскочила... Боже мой, боже мой...

(Входит Вольф.)

Вольф. Список украден.

Мардыкин. Карл Карлович, её акции поднялись на сто пятьдесят пунктов...

Вольф. Вот как.

Антонина. Дело-то старое, верное, русское... А ведь что со мной чуть не сделали какие-то мошенники... Ушёл бы мой заказик в Германию, к Вольфгангу Вольфу. Нынче чуть свет прибегает Николай Иванович Шиллов: зовите, говорит, главного инженера, идёмте с ним в котельную. А главный инженер у меня

Людвиг Вольф... Его второй день на заводе нет. Кинулись мы с Николаем Ивановичем вдвоём в котельную, он пиджачёк сорвал, глаза такие пронзительные, хищные, и полез под котёл, и под другой, и кричит оттуда: «Нашёл провядку». Вот страх-то. Послали за рабочими, раскопали, вытащили из-под котлов вот такие жестянки с динамитом...

Мардыкин. Негодяи... А! Мерзавцы... А!

Антонина. Это дело я решила забыть, а то опять акции-то мои...

Мардыкин. Замять, замять. У вас светлая голова, Антонина Павловна...

Антонина. Ну вот, спасибо. А сердце, как печь, тёмное... Вот беда-то моя...

(Хамов вносит самовар.)

Мардыкин (внезапно). Сколько вам лет, мадам?

Антонина. За двадцать, Александр Алексеевич. Мы не по годам считаемся, по капиталам.

Мардыкин. Прошу к столу, чаю с вареньем...

Антонина. Через минуту прилечу...

Мардыкин. Куда же вы?

Антонина. Платье не по настроению... Вернусь, вернусь...

(Антонина уходит. Мардыкин всплеснул руками.)

Мардыкин. О, господи, соломинку мне протянул в такой час. (Вольфу) Это святая женщина. Она меня спасёт.

Вольф. Чорт вас не спасёт теперь.

(В балконной двери видны Вера и Николай.)

Вера. Кажется, самовар на столе.

Вольф. Идите... (Увлекает Мардыкина в глубину, за пьянино.) Я вам покажу нечистую силу... Тише... (Они прячутся за спинку пьянино.)

(Вера и Николай входят в столовую.)

Николай. Я боюсь, не наболтала ли Антонина Павловна здесь чего-нибудь лишнего...

Вера. Уверена, что наболтала, она влюблена в папу, да ещё как... Я удивляюсь папе, в его годы, с его наружностью, стать предметом страстной любви, — это такая удача в жизни. По-моему, папа конченный человек...

Мардыкин (за пьянино). Вот — девчонка!

Вольф. Тише...

(Вера и Николай садятся к столу.)

Вера. Вам чаю, кофе, молока или клубники?... Горячие пирожки...

Николай (будто не слыша, облокотился, не притрагивается к еде.) Вы сказали, что любовь — это удача в жизни... Вы странная, Вера.

Вера. Я странная? Вот тебе раз. Самая обыкновенная...

Николай. Вы себя не знаете. Вы таинственная.

Вера. Чего?

Николай. Я глядел, как вы бросались с вышки ласточкой, красивое тело описывало в воздухе плавную дугу и почти без всплеска исчезало под водой. В вас какая-то невысказанная грусть...

Вера (сидит, но изумления раскрыл рот). Николай... Да вы чего?

Николай. Вас хочется погладить, как обиженного ребенка, или взять на руки и понести далёко, далёко...

Вера. А! Поняла. Вы играете стилем номер первый, — сродством душ... Ешьтегию минуту, у вас даже нос синий от голода...

Николай. Ну, хорошо... Пройдёмся по пирожкам. (Начинает есть, Вера подкладывает ему на тарелку.)

Вера. Положите внутрь масла.

Николай. Угу...

Вера. Эти с мясом, а эти с капустой...

Николай. Угу...

Вера. Николай, вы, всё-таки, неважный актёр...

Николай. А это что там, вкусно пахнет?

Вера. Ватрушки.

Николай. Пройдёмся по ватрушкам... Зато я замечательный сыщик. У меня верхнее и нижнее чутьё...

Вера. Странно, почему папа не идёт завтракать.

Николай. Он и не придёт: дядюшка нашёл третье предупреждение, ему не до завтрака. На этот раз нечистая сила засунула записку под чернильницу...

(Вера смеётся.)

Мардыкин (Вольфу). Вы слышали?

Вольф. Тише.

Вера. Всё-таки, жалко папу, правда?

Николай. Как представителю нечистой силы мне жалеть не полагается, у нас за это отпиливают рога...

(Вера смеётся.)

Мардыкин. Рога отпиливают...

Вольф. Тише, говорю вам...

Николай (достаёт из кармана бумажку). А вот это... Шикарно! Список агентов, биржевых жучков, мелких журналистов, каких-то тёмных личностей с немецкими фамилиями... Чтобы его стащить, я с вечера спрятался у дядюшки в кабинете, под столом... Этот список — важнейшая улика... Но самая блестящая моя операция — это жестянки с динамитом в котельной, на заводе... Тут Вольф работал очень осторожно... Теперь ещё выцарапать документы от Бабёнышева, и тогда все нити связаны и уж Вольфу-то обеспечено восемь лет арестантских рог... Вера. Какой негодяй, этот Вольф!

Николай. Бандит девяносто шестой пробы, все они немцы таковы...

(Мардыкин за спинкой пьянино валится со стула.)

Вольф. Уходите же, чорт вас подери... (Вольф утаскивает Мардыкина в дверь налево.)

Николай. Что это такое?

Вера. Кошка, наверное...

Николай. Нет, это не кошка...

(Он встаёт, идёт к пьянино, поднимает с пола ножницы и бумагу.)

Николай. А это что такое?

Вера. Это папа приходил вырезать чертей.

Николай. Он всё слышал?

Вера. Нет... Когда он этим занимается, можно из пушки стрелять, он ничего не слышит...

Николай. А зачем ему именно сегодня понадобилось вырезать чертей?

Вера (подходит к шкафу). Читайте. что написано.

Николай. «Дела».

Вера. Дела. (Раскрывает шкаф.) Вот какие тут дела.

Николай. Чертики, с хвостами и рогами...

Вера. Папины грехи. Поменьше — маленькие, побольше — большие. А вот, глядите, какой большущий.

Николай. На нём что-то написано... (Читает). «Сей грех мой величайший, Пётр Мартынович Бабёнышев, многострадалец. Отмолить сей грех к первому декабрю». Как на вагонах для ремонта срок поставлен...

Вера. Папа страшно боится Петра Мартыновича, весь даже трясётся, когда его видит...

Николай. Что же дядюшка делает с чертиками? Коллекционирует?

Вера. Папа иногда начинает каяться, стонет, плачет, дёргает себя за бакенбарды, зажигает все лампадки. Потом открывает шкаф, выбирает чертика, по поводу которого он каялся, плюёт на него, рвёт на кусочки и в печку.

Николай. А вы тут есть?

Вера. Николай, папа меня очень любит. Вы же видите, какой он чудак...

Николай. Чудак-то чудак, а жестянки с динамитом...

Вера. Папу нужно спасти, вы мне обещали... Ведь только ради этого мы с вами играем эту глупую комедию... (потрогала пальцем глаза). Сейчас принесу носовой платочек...

(Вера убежала к себе, направо. Николай глядит ей вслед, потом ходит, ерошит волосы.)

Николай. Чорт знает, что такое... Так глупо, как никогда не бывало... (Остановился, щупает пульс). Сто сорок, я так

и знал... Пошляк. Идиот. Да. Верочка, вы холодны, как ундина, русалка, лягушка... Нет, только не лягушка... Боже, до чего хороша. (Пальцем описывает в воздухе кривую.) Ласточкой в воду и оттуда вся мокрая, розовая, сияющая... Чорт знает что такое! (Щупает пульс). Триста сорок. Этого же не бывает... А такие девушки бывают? Вот так катастрофа! Нет! (Топает ногой.) Ты приехал сюда за делом, и ты уедешь... Постой, постой... А если попробовать третий стиль? Нахальный, с морем по колено? Опасно?

(Вера возвращается.)

Вера. Николай, хотите яичницу с ветчиной?.. (Берёт колокольчик. Николай вынимает из её руки колокольчик и швыряет его.)

Николай. Никаких яичниц, дорогая кузина...

Вера (несколько удивлённо). Право, слушайте... Это будет полезнее, чем играть в любовь...

Николай (захохотал). Вы правы, к чертям собачьим всякую любовь. А вот портвейну я выпью. (Наливает.) Любовь вредна.

Вера (изумлённо). Почему?

Николай. Вреднейшая вещь... Сильный, деятельный, весёлый человек вдруг превращается в тряпку, в совершенную дрянь. Пульс триста сорок, почти полный паралич умственной деятельности, потеря аппетита, произвольные движения рук, рассеянность, на службу приходит на другой день, переходя улицу, попадает под трамвай, без видимой причины идиотски улыбается... Любовь — это трудно излечимое психическое заболевание...

Вера. Николай, не пейте больше портвейну.

Николай. Буду пить портвейн. Хочу по колено шагать в портвейне. Люблю пить.

Вера (горячо). Я не верю этому, Николай.

Николай. Люблю обижать женщин...

Вера (страстно). Неправда.

Николай. В детстве я мучил кошек, щенков... Вырывал у куриц хвосты...

Вера (упрямо). Нет, нет, нет, неправда...

Николай. Юбки, шляпки, хорошенькие глазки, вздёрнутые носики. Ха, ха... Пью и хохочу. Под ними скрыто бездушное чудовище. Я проклял женщин.

Вера. Николай... Вам хочется, чтобы я заревела?.. Пожалуйста... Вы добились... (Громко заплакала.)

Николай (кидается к ней). Верочка.. Милая, красивая, изумительная...

Вера. Оставьте меня...

Николай. О, чорт меня возьми! (Появляется Антонина, в пышном, пёстром платье.)

Антонина. Вот и я, пришла чай пить... А где сокол-то мой? Верочка, чего глазки в солёной воде плавают?

Вера. Голова болит, перекупалась.

Антонина. Перекупалась? И вы тоже, сударь, перекупались? Где же эта речка такая? Ах, сводить бы мне на неё Александра Алексеевича искупать таким же манером... Ах, и лютая зараза эта любовь... (Вынимает платок.) Цыплёночек мой, перестаньте плакать, обревусь... (Николаю). А ты чего стоишь, бесчувственный? Дева горячие слёзы льёт, а он к ней спиной повернулся... Да за каждую её слезу надо с вашего брата год жизни спрашивать... Все вы, мужики, на одну болванку обухом рублены...

(Появляется Мардыкин, мрачнее тучи.)

Кланяется Антонине.)

Мардыкин. Ещё раз, мадам... (Подходит к столу.) Завтракали? Пирожки ели? С чем? С лувером? Что? (Николаю) Мне с тобой нужно поговорить.

Николай. Пожалуйста.

Мардыкин. Я и без «пожалуйста» поговорю.

Антонина (Вере). Как ворон сердитый, сам-то. Пойдёмте в сад.

Вера (уходя, обернулась). Николай.

Николай. Да, Верочка...

Вера. Умоляю...

(Вера и Антонина уходят. Мардыкин и Николай шагают по столовой.)

Мардыкин. Писатель...

Николай. Дядюшка...

Мардыкин. Сыщик...

Николай. Дядюшка...

Мардыкин. Нечистая сила...

Николай. Дядюшка...

Мардыкин. Молчать, я тебе говорю... Пресеку... Запрещу... Я тебя приостановлю...

Николай. Дядюшка...

Мардыкин. Социалист... Анархист... Грязный журналист... Ты возбуждаешь одну часть населения против другой... Вообще, ты чорт знает что... Врываешься в дом... Похищаешь документы... Водишься с нечистой силой... Арестовать... изъять... без суда и следствия в Сибирь... (Топаёт ногами, трясёт бакенбардами.)

Николай. Говорите короче, что вам от меня нужно?

Мардыкин. Список моих агентов... Затем я тебя подвергаю домашнему аресту на две недели.

Николай. Списка не отдам. Под арест не сяду.

Мардыкин. Как?

Николай. Ваше дело безнадежно проиграно, дядюшка.

Мардыкин. Как?

Николай. У меня на руках девятка, у вас — жир... Скажите мне спасибо, что я ещё не написал прокурору и в газету...

(Пауза.)

Мардыкин. Сколько отступного?

Николай. Ни одной копейки. На вас я делаю газетную карьеру.

Мардыкин. Так. Понимаю. (Пауза). Воспоминания детства... родственные связи... Не признаёшь?

Николай. Дядюшка, давайте начистоту... Вы попались, вам теперь сама нечистая сила не поможет... Но я хочу верить, что вы по природе честный человек...

Мардыкин. Да, ты прав, отчасти...

Николай. Добрый, нелепый, очень глупый человек...

Мардыкин (грозя пальцем). Но, но, но...

Николай. В больших чинах, отец очаровательной дочери... Для чего вам понадобилось путаться с немцами? Жадность одолела? Дядюшка, дядюшка, поймите же, эта шайка бандитов в случае удачи выкинет вам с презрением собачий кусок...

Мардыкин (кашлянул). Ты так уверен?

Николай. А, если дело провалится, все эти Вольфы ловко вывернутся и вас одного выдадут с головой... Скажите, Вольф не давал вам подписывать телеграммы в Эссен некоему Вольфгангу Вольфу?

Мардыкин. Не помню.

Николай. Слава богу, что вы не подписали, а то ой, ой, ой!

Мардыкин. Подписал...

Николай. Давайте...

Мардыкин. Она у Карла Карловича в красном бумажнике...

Николай. Давайте сюда Карла Карловича.

(Быстро входит Вольф, держа за спиной руку.)

Вольф. Я здесь.

Николай. Дядюшка, прикажите ему вернуть телеграмму.

Вольф. Здесь я приказываю. (Направляет на Николая револьвер.) Потрудитесь вернуть украденный вами список наших агентов...

Николай. Э, бросьте эти штуки...

(Кидается к нему, хватая за руку.)

Мардыкин. Убийство! Перестать! Все арестовать!

Вольф. Сюда, ко мне... (Врываются два сторожа и Хамов.) Взять его...

(Сторожа кидаются к Николаю и Вольфу. Борьба. Все пятеро исчезают за дверью.)

Мардыкин (стоит перед захлопнувшейся дверью, за которой слышится возня). Прекратить... Остановить... Я запрещаю в моём доме... Я приказываю... Карл Карлович...

(Появляется Вольф.)

Вольф. Вот список...
Мардыкин. Что вы сделали с Николаем?

Вольф. Связали. Немедленно пишите полицмейстеру, — арестовать Шилова по подозрению в подготовке взрыва паровых котлов на заводе Антонины Павловны...

Мардыкин. Карл Карлович, у меня пальцы не шевелятся, не могу писать...

Вольф. Мальчишка вывихнул мне руку... Он поплатится... (Сует Мардыкину блок-нот и карандаш). Пишите... Сегодня ночью я уезжаю... Завтра буду говорить от вашего имени с правлением железной дороги, чтобы они аннулировали трёх-миллионный заказ Антонине Павловне и

передали заказ Вольфгангу Вольфу... Это даст почти такой же эффект...

(Входит Хамов.)

Хамов. Убёг...

Вольф. Кто?

Хамов. Николай Иванович...

Вольф. Как так «убёг»...?

Хамов. Связал я его, посадил около окошка, сам глаз не свожу... Шут его знает, как он умудрился, — верёвки-то рванёт, меня головой в брюхо, а сам в окошко, в сад... Я за ним, да разве его догонишь, нечистую силу...

Вольф. Ах, пьяная рожа! (Поднимает кулаки.)

★

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Там же. Зажжены лампы. Хамов убирает со стола. Леонтий стоит у левой двери.

Хамов. Сволочь какая. Ну, изругай, ну внуши... Интересно ему до рожи добраться... Злой ведь какой, немец свирепый, лжгеранин... Скарედный мужчина... Жалованье получу и до свиданья.

Леонтий. Куда ты пойдёшь? Здесь ты избаловался на лёгкой пище.

Хамов. Меня давно зовут в одну пивную половым.

Леонтий. Сопьёшься там, лучше претерпи.

Хамов. Я привык к щепетильному обращению. До генерала служил я у князя Чертогонова, холостяка. Вот это был барин. Таскались мы с ним кругом света, покуда не растрясли все денежки. Широко пожили. Ах! Помню в Калькутте, в одном весёлом заведении нас били матросы, батюшки! Без памяти обоих отнесли на пароход. В Сан-Франциско тоже били в порту, а отчего? Задиристый был князь-то мой, требовал, чтобы его по-русски понимали. Слушай, раз на острове Мадагаскаре увязался он в кабаке за женщиной, а ейный муж был охотник за львами, слово за слово, он и давай нас утюжить...

Леонтий. Будет тебе язык трепать, Хамов. Ты лучше скажи, чем это у нас кончится?

Хамов. А что?

Леонтий. А то, что Пётр Мартынович Бабёнышев другой час круг дома ходит, руки потирает. Теперь не миновать беды.

Хамов. А по мне хоть весь дом завались к черту.

Леонтий. Тьфу.

Хамов. Какой это барин? Скуп да глуп. Никакой власти, только бакенбардами трясёт.

Леонтий. Да, власти нет.

Хамов. Немец здесь хозяин. А я ему не слуга. (Ухмыльнулся.) Николая-то Иванoviча я нарочно выпустил, вот те крест...

Леонтий. За это и получил. Что ж, каждый человек должен пострадать за правду... А знаешь ли ты, — Пётр Мартынович вчера у помощника почтмейстера за двести целковых купил несправленное письмо Карла Карловича...

Хамов. За двести целковых?

Леонтий. Ему, говорит, цены нет. Теперь, говорит, Карлу Карловичу капут. Всеми, говорит, вашему дому окончательный и бесповоротный капут... И сам руки потирает...

Хамов. Интересно...

(Входит Мардыкин.)

Мардыкин, Хамов, перцовки...

Хамов. Какой прикажете, которая в зелёном штофе, горячительной — желудочной..?

Мардыкин. Да.

Хамов. Очень замечательно... (уходит).

Мардыкин (Леонтию). В участке был?

Леонтий. Был.

Мардыкин. Не нашли?

Леонтий. Поймать-то поймали, только не Николай Ивановича. Пристав водил меня опознавать, — не он, какой-то щуплый, чержоватый, сердитый... «Какое, кричит, имеее право хватать меня на вокзале, с чемоданом, я зубной врач...» В это время ещё троих привели, один действительно жулик, видный такой из себя, а другие двое тоже зубные врачи; обижаются: мы, говорит, едем на курорт, вы нас беззаконно хватаете...

Мардыкин. Странно, очень странно.

Вольф. Идёт Вера Александровна. Не терплю женских слёз. Уламывать её будете вы.

(Входит Вера.)

Вера (с вызовом). Я пришла.

Мардыкин. Подойди ко мне, дитя моё.

Вера. Оказывается, Николай приказано арестовать? Что это значит?

Мардыкин. Сядь. Не горячись. Поговорим тииниixonько... Твой шелопап давным-давно удрал из города. И даже, такой скандал, вместо него перехватили половину здешних зубных врачей...

Вера. Я хочу знать, где Николай?

Вольф. Забудьте об этом человеке, Вера Александровна, — он исчез из вашей жизни навсегда. Огнине ваша жизнь должна течь в рамках солидных и упорядоченных...

Вера. Я с вами не разговариваю, Вольф; самое лучшее — если вы пойдёте в свою комнату...

Мардыкин. Не кипятись, носик будет красный. Дочка, ведь я старичок, мне покой нужен. Тебе сейчас трудно понять все обстоятельства. Поверь отцу. Я в крайне затруднительном положении... Ты только не вскакивай, не взвизгивай...

Вера. Ничего не понимаю.

Мардыкин. Да, влюблён он, видишь, даже сски у него вспотели... Карл Карлович делает тебе формальное предложение.

Вольф. Прошу вашей руки, Вера Александровна.

Вера. Я это уже слышала. Этот человек знает мой ответ.

Мардыкин. В том-то и дело, дочка, тебе придётся согласиться...

Вера. Папа!.. Ты с ума сошёл.

Мардыкин (Вольфу). Попробуйте теперь сами уломать девчонку...

Вера (зло засмеялась). Это даже интересно.

Вольф. К сожалению, в моём распоряжении не больше минуты. Дорогая невеста, если бы вы были воспитаны в Германии, подобный 'неслыханный, чудовищный разговор был бы невозможен. Он бы не состоялся. Ни один немец не потерпит от женщины подобного унижения своего достоинства. К сожалению, мы в России. Подчиняюсь. Я полон надежды, что со временем вы станете достаточно серьёзны и поймёте своё место в браке.

Вера. Что это такое, папа? Он никогда раньше так не смел кривляться передо мной...

Мардыкин. Да, любит он...

Вольф. Любовь тут не играет никакой роли. Ваш отец это прекрасно понимает. Но, всё же, я на вас жемюсь.

Вера. Вот вам... (показывает ему язык).

Мардыкин. Спрячь язык, ты генеральская дочь...

Вольф. Чтобы акт брака произошёл без унижения моей чести, вроде неприличного показывания языка и, вообще, без русских истерик, в последний раз обращаюсь к вашему благоразумию... Итак: я умен, я энергичен, я весь создан для нападения, борьбы и удачи. Я буду богат. Мы переедем в Германию, где у меня будут: доходный дом в Берлине, вилла в Тироле, маленький уютный охотничий замок в Шварцвальде, речная яхта и многое другое. С вас этого достаточно?

Вера. Вполне (идёт к себе).

Мардыкин. Вера...

Вера. Да.

Мардыкин. Ничего, дочка моя, не поделаешь, я дал ему согласие, и завещание подписал...

Вольф (показывая завещание). Вера Александровна, здесь всё оформлено юридически. Остаётся только подчиниться и согласиться...

Вера. Вы плохо знаете русских женщин (вырвала у него из рук завещание).

Вольф (схватывая её за руки). Эти скверные шутки со мной надо забыть раз и навсегда...

Вера. Пустите, мне больно.

Вольф. Я это знаю.

Мардыкин. Оставьте её, чорт вас возьми, я в вас запущу графином...

Вольф (пряча завещание в бумажник). Это маленькая наука будущей супруге... Итак, до завтра. Вернусь победителем. Хамов! Неси чемодан...

(Вольф уходит. Вера глядит на отца, Мардыкин наливает рюмочку.)

Мардыкин. О, господи, господи, какой у нас шум...

Вера. Отец, что ты со мной делаешь?

Мардыкин. Дочка, ты меня пожалей. Тебя всякий пожалеет. Ты такая милостивая... Дай-ка я тебя поцелую...

Вера. Не трогай меня...

Мардыкин. Хочешь полрюмочки жёлудочной для бодрости? Её Хамов на адских стручках настаивает, отличный напиток, необыкновенно трезвит... Ну, чего нос повесила?..

Вера. Ты совсем пьян...

Мардыкин. Я не пьян, я хитёр... Скоро сама увидишь... Немец думает, что меня провёл, обману-то я его... Хи, хи... А всё-таки, он опасный человек. Он чорт. У него на спине рыжая шерсть. А в кармане — красный бумажник... Эх, дочка моя... Виноват я перед тобой... Запугался я, попался в капкан, старая лиса... Вера Александровна, прости ты меня. Трудно тебе с таким отцом, знаю... Помоги мне... Такой проклятый клубок тяжёлых обстоятельств, вот, вот, кажется, поймал конец ниточки, и опять упустил... Трудно

мне, старому, в кандалах в Сибирь идти... А он меня может доканать... Слушай, да ты сядь поближе... Может быть и так, а может и эдак... Если — так, значит, я взял, а если эдак — тебе придётся выйти замуж за него. Не гляди на меня. Изругай лучше, потяни за бакенбарды... Глядишь с упрёком, совсем, как твоя покойная мать... Выйдешь за него, а потом бросишь... Ты в Швейцарию тогда уезжай. Я к тебе туда приеду. Будем на салазках кататься с Монблана вниз... Вера, спаси меня... Ты зубы стисни, примиришься, а?

Вера. Ты отвратительный, безобразный человек... (Ушла в свою комнату.)

Мардыкин. Вера... Дочь... (Толкается в её дверь.) Заперлась... Вера. Ты у меня от рук отбилась. Плачет... Плачет дочка моя... плачет... (Отходит.) Хамов!

(Входит Хамов.)

Хамов. Что прикажете, ваше превосходительство?

Мардыкин. Квасу.

Хамов. С хреном?

Мардыкин. Болван, какой же квас без хрена..?

Хамов. Очень замечательно... (уходит.)

Мардыкин. (Замечает ножницы и бумагу, берёт их). Вот оно что. Для кого пришлась... Эх, Вера. Вернушка, дочка моя несчастенькая... (Садится, надевает очки, начинает вырезать чертика). Ручки... Копытца... Пузичко... Хвост с кисточкой... Рога... рога побольше... Грех мой, самый величайший... (напевает). Велики грехи мои, страшны, преужасны... Велико и смирение моё... Аки мёд, аки елей смирение моё...

(Появляется Николай. Останавливается за его спиной. Тень от Николая видна на стене. Мардыкин в ужасе глядит на тень, опускает ножницы.)

Николай. Этот что же, аршина на полтора будет?

Мардыкин (в ужасе оборачивается). Ой, ой, ой...

Николай. Это я, дядюшка. Как видите, не в участке...

Мардыкин. Зачем ты здесь?

Николай. За вашей душой пришёл.

Мардыкин. Святой, святой, святой... (Его начинает бить дрожь.)

Николай. Ах вы, старый грешник... Да как вас земля терпит?

Мардыкин. Ох, не знаю...

Николай. Когда вы перестанете мошенничать? Не успеешь от вас отвернуться, опять напакостили...

Мардыкин. Хочу перестать, каюсь...

Николай. Зачем завещание подписали?

Мардыкин. Хи, хи, хи... Увидишь, тут я немду свернул штопор...

Николай. Перестаньте гнусно хихикать... А что вы с Антониной Павловной сделали?.. Ей известно, куда поехал Вольф...

Мардыкин. Рассказал?

Николай. Всё рассказал. Антонина Павловна сказала: погоди ж ты, Мардыкин у меня теперь сам к чертям в шкаф ползет.

Мардыкин. Как сам в шкаф, к чертям?.. О чём ты говоришь? Да ты ли это? Боже мой, боже мой, мутится моя голова...

Николай (незаметно берёт колокольчик и отламывает у него язычок). Ещё не так помутится... А вы слышали, как я зубными врачами прикидывался?

Мардыкин. Чур, чур, сгинь, пропади...

Николай. Могу изо рта огонь выпустить, а из ушей серу. Хотите?

Мардыкин. Не надо..!

Николай. Я вам и говорил: меня бойтесь, а не Вольфа. Теперь, дядюшка, приготовьтесь. Соберите всё присутствие духа...

(Входит Хамов с квасом.)

Хамов. Квас с хреном... Замечательно...

Мардыкин (бормочет). Вот оно, вот оно... Со всех сторон обступила, проклятая... (жадно пьёт квас).

Николай (отворяет левую дверь). Пожалуйста, войдите...

(Входит Бабёнышев.)

Бабёнышев. Здравствуйте. Ваше превосходительство, Александр Алексеевич, господин Мардыкин...

Мардыкин (в ужасе). Я вас не звал...

Бабёнышев. Убогих никто не зовёт, убогие сами ходят...

Мардыкин. Я вас не хочу...

Бабёнышев. А я-то до вас большой охотник, день не видал, будто и не поел.

Мардыкин. Я вас боюсь... Уходите прочь...

Бабёнышев. Медведь-то на липовой ноге, — скрип, скрип, на моей, говорит, шкуре сидишь, моё мясо варишь, мою шерсть прядёшь... Старуху-то он задавил...

Мардыкин. Да что это?.. Сон?.. Кошмар?.. Нечистая сила?..

Бабёнышев. Отдай мои денежки...

Мардыкин. Нет у меня их...

Бабёнышев. Я вот нарочно помру скоро, чтобы тебя хуже мучить, по ночам буду приходить, могильной землёй в глаза порошок, покоя не дам...

Мардыкин (хватает сломанный колокольчик). Не звонит, не звонит...

Николай. Это ещё не всё, будет страшнее. Сядьте, у вас имеется один только выигрыш... Зато верный... Выкладывайте денежки Петру Мартыновичу...

Бабёнышев (показывая письма). Вот они, вот они твои записочки, Иуда... «Глубокоуважаемый и любезнейший друг,

Пётр Мартынович, будьте во мне всегда уверенны... Клянусь спасением души, на торгах каустическая сода останется за вами... Ежевечерне молю бога помочь вам в вашем мыловаренном деле... Воздерживайтесь от покушки каустической соды, бог мне открыл, что цена на соду упадёт вдвое...» Ты писал, грешник?

Мардыкин. Не томи, не мучай... Сколько спрашиваешь? По-божески...

Бабёнышев (держит одно письмо отдельно). За эти за все... (Николаю). Ох, не продешевить бы.

Николай. Цена прежняя...

Бабёнышев. Ладно, пускай пьёт мою кровь... А вот этому и цены нет... пятачками да копеечками сам за него двести целковых отсчитал... Цена ему десять тысяч...

Мардыкин. Откуда же у меня такие деньги, странно... Живу на жалованье... Взрослая дочь, туалеты, балы... Общая дороговизна...

Николай. Дядюшка, не торгуйтесь... Все эти письма можете сжечь... Я беру только одно, неотправленное письмо Вольфа. И у вас начинается чистая жизнь...

Мардыкин. Коля, ты ангел, протянувший мне руку в такой трудный час... Хорошо, рубликов сто я, пожалуй, дам за всё это...

Бабёнышев. Ах ты, скареда...

Николай (топнув ногой). Мне надоела эта канитель. Идём, Пётр Мартынович... Мы найдём покупателя...

Бабёнышев. Николай Иванович, я даром отдам-с, чтобы его погубить...

Николай. Я телеграфирую в Петербург, в нашу газету...

Мардыкин (срывается им вслед). Коля, Пётр Мартынович. Уступите... Давайте поторгуйтесь... Ну, хоть до завтра-то подождите... Карл Карлович приедет, много денег привезёт... Пожалейте старика... Каюсь, каюсь...

(Врывается Антонина.)

Антонина. Наслушалась Дёсыта... Пустите меня к нему... (Мардыкину) Демон!

Мардыкин. Мадам... Душенька...

Антонина. Я тебе, сатана, больше не душенька... У меня через тебя вся кровь в жилах скисла...

Мардыкин. Есмь величайший преступник...

Антонина. Карл Карлович приедет, много денег привезёт. Да чьи деньги он привезёт? Мои... Да ты что бакенбарды-то передо мной развесил? Чистый барбос. В будку тебя собачью, на цепь.

Мардыкин. Принимаю брань...

Антонина. Глажу на него, сердце лопается. Я к нему, как женщина в осеннем возрасте, со всем жаром, а он — столб каменный...

Мардыкин (со внезапной решимостью). Антонина Павловна, я не столб, я червь. И даже прошу: раздавите меня с отвращением. Была, ах, была ничтожная надежда, что вы поймёте и пожалеее затравленного человека, грешного старика... Нет, не достоин вашей жалости... Прочь надежду. Давите, давите меня.

Антонина. Батюшки, до чего жалобно говорит...

Мардыкин. Карл Карлович ввергнул меня в бездну преступлений... Дочь прокляла меня... Вы, кого я боготворил, назвали меня барбосом... Я нищ, я в ничтожестве... И господь помутил мой разум...

Антонина. Ну, кабы не меня он обворовал, всё бы, кажется, простила...

Мардыкин (открывает шкаф, вынимает бичёвочку). Пётр Мартынович держит в руках последний шанс на спасение, и я не могу его взять... Я уйду. Прощайте, Антонина Павловна, я вас любил. (Влезает на стул и привязывает верёвочку к гвоздю.)

Антонина (Николаю). Что мне с этим несчастным делать?

Николай. Положение тяжёлое. Бабёнышев запрашивает большие деньги. А письма надо купить во что бы то ни стало...

Антонина. Большие деньги? Что ты? Где же их взять-то? Ах, народ какой стал хищный...

Бабёнышев (глядя на Мардыкина). Крепче, крепче привязывайте, ваше превосходительство, оборвётся, колени зашибёте...

Антонина. Ай! Давиться собрался. (Кидается к нему.) Слезь со стула... Отдай верёвку.

Мардыкин. Не удерживайте меня в этой жизни, дайте мне привязать верёвочку...

Бабёнышев. Помучайся, помучайся, как других мучал...

Антонина. Глупый... Заброшенный... Несчастненький... Говори скорей, что тебе нужно?... Всё сделаю.

Мардыкин. Небольшой мраморный памятник на мою могилу, в виде каменной урны и больше ничего...

Антонина. ...Уууууууу... (коротко заревела, высморкалась и решительно). Пётр Мартынович, идём в кабинет, поговорим... Лёнюшка, поди, показывай, сколько у тебя денег наличными...

Бабёнышев. Антонина Павловна, я копеечки не скину...

Антонина. Ну, у меня с тобой будет другой разговор, резкий...

Мардыкин. Всё, всё берите... Вот ключ от несгораемого шкафа... Хочу быть наг и нищ...

Антонина. Ты ножками-то бодрее переступай, не приbedняйся.

(Антонина, Мардыкин и Бабёнышев уходят.)

Николай (садится, хлопает себя по коленкам и хохочет). Ловко. Верёвочку привязал. Ах, старый притворщик. (Перестал смеяться.) Да.. Где же Верочка? (Встаёт, зовёт негромко.) Вера.. (Выходит через балконную дверь, в сад.)

Вера (появляется из двери направо. Она в пальто, в платке, с чемоданчиком. Леонтий.. (подходит к левой двери, притворяет её). Леонтий.. Тише, тише иди, на цыпочках.. (Появляется Леонтий.) В прихожей никого нет?

Леонтий. Все в кабинете-с.

Вера. Николая Ивановича арестовали? Леонтий. Кажись арестовали, сейчас горюдовой был, велел итти в участок опознавать..

Вера. Леонтий, у вас есть хоть немножко денег? Я отдам очень нескоро..

Леонтий. Есть-с.. Сейчас принесу-с..

Вера. Уезжаю.. Навсегда.. Пусть меня папа и Карл Карлович не ищут.. Сначала поеду в Крым, до зимы буду жить на берегу моря, питаться раковинами и помидорами. А потом — в Петербург.. Буду сниматься в кинематографе.. Вы одобряете такой план, Леонтий?

Леонтий. Да уж лучше в кинематографе сниматься, Вера Александровна, чем душу-то здесь погубить.. Сейчас принесу вам денежки.. (Уходит.)

Вера (Подходит к буфету, высыпает конфеты из вазочки в носовой платок.) Нет, это тоже воровство.. Не хочу ничего.. (Высыпает конфеты из платка в вазочку.)

Николай (появляется в балконной двери). Верочка!

Вера (роняет чемодан). Николай! (Бежит к нему, обнимает, целует). Какое счастье. Вас не преследуют?

Николай. Нет.

Вера. Бежим вместе?

Николай. Куда бежим? Пойдите, пойдите, теперь я.. (обнимает и целует её). Верочка.. Какое счастье..

Вера (освобождаясь). Бежим в Крым. Будем скрываться на берегу, в скалах..

Николай. Вдвоём?

Вера. Ну, конечно. Вы едите сырые раковины?

Николай. Обожаю. Пойдите, пойдите, а ведь соблазнительная штука вдвоём на берегу моря.. Вы ловко придумали, кузина..

Вера. Сначала я решила итти в монастырь..

Николай. Верочка..

Вера. Нет, нет, с монастырём я перешла.. Хотя всё равно, никогда ни за одного мужчину не выйду замуж.. Ни один мужчина не подойдёт ко мне ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Вы другое дело. Вы не мужчина..

Николай. Неправда!

Вера. Утром, когда вы прочли мне такую жестокую лекцию о любви, я огорчилась, обиделась, потом раздумалась и поняла: вы глубоко правы. Любовь — это вреднейшая вещь..

Николай. Верочка, дело в том, что..

Вера. Я вас люблю.. То-есть, не люблю.. Ну, я вас обожаю за честность и прямоту.. У вас есть с собой немного денег и купальный костюм?

Николай. Да.

Вера. Больше вам ничего не нужно.. (Слышны шаги.) Дождались.. Сюда идут.. Идёмте, идёмте скорее..

(Входит Бабёнышев.)

Бабёнышев. Покорнейше вас благодарю, Николай Иванович. Много вами довольны.. Его превосходительство просят вас в кабинет.. (Поднимает верёвочку.) Верёвочка.. И верёвочка в хозяйстве пригодится.. А этой верёвочке цены нет.. От удавленника.. Хи, хи.. (уходит).

Вера. Николай, папа вас зовёт в кабинет? Я ничего не понимаю..

Николай. Вы мне слова не даёте сказать.. Кроме того, при виде вас я обалдел.. Дело в том, что..

(Входит Мардыкин.)

Мардыкин. Воды, воды.. Стакан воды.. Коля, Вера.. Понимаете, Антонине Павловне вода понадобилась.. Закатила глаза, и так вот ртом делает.. Говорит, что от счастья.. Прямо голова у меня кругом..



ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Там же. Солнечное утро. Хамов убирает комнату. За окнами играет шарманка. За стеной отчаянный топот ног по лестнице.

Хамов. Ишь ты, как жеребёнок, топчет по лестнице.

Николай (вбегает). Который час? Без четверти десять. Проспал. Где Верочка?

Хамов. Барышня, обыкновенно, купаться пошли, скоро вернутся.

Николай. Чего же ты меня не разбудил? Ведь я тебя умоляла разбудить, меня пораньше.

Хамов. Да я вас пять раз будил, вы только головой мотали.

Николай. Одеядо надо было стащить.

Хамов. Да я стаскивал и водой брызгал.

Николай. Надо было на ноги на холодный пол ставить.

Хамов. Ставил, вы опять валялись.

Николай. Всё понятно... (отходит к окошку). Симптомы безошибочные... (Берётся за пульс). А ну его к чорту... (в окошко). Слушайте, шарманщик, перестаньте играть ваши вальсы (кидает деньги). Нате... Убирайтесь, говорю, отсюда, здесь тяжело больной... (Хамову). Слушай, ты был когда-нибудь женат?

Хамов. Меня князь Чертогонов испортил в кругосветном путешествии, Николай Иванович, для законного брака не гожусь. Ах, помню, в Порт-Саиде сделали мы симпатию с одной жгучей брюнеткой, ну и били ж нас около шлюзов...

Николай. Чтобы ты сказал, например, если бы я решил жениться?..

Хамов. Смотри на ком, Николай Иванович. На пожилой женщине с капиталом, вроде Антонины Павловны, тогда это солидно...

Николай. А на очаровательной девушке, безо всякого капитала, влюбившись до потери сознания?..

Хамов. Глупейший поступок, этого добра много-с, как в поле кузнециков...

Николай. Ну, ты ничего не понимаешь... Так, я пошёл Верочке навстречу...

(Входит Леонтий.)

Леонтий. Николай Иванович, вам три телеграммы...

Николай. Почему три?

Леонтий. Так принесли...

Николай (распечатывает, читает). «Вся пресса в Германии открыла кампанию о преимуществах германской стали. Петербургские немцы раздувают дело. Срочно шлите обещанный сенсационный материал. Редакция». Ай, ай, ай... «Петербургский листок в передовой требует передачи заказа на рельсы фирме Вольфганг Вольф, Эссен. Необходим парализующий материал. Редакция...» Боже мой, ну и свинья же я в самом деле... «Выезжайте Петербург немедленно. Редакция». Пролетел Крым... Пролетели дикие скалы и сырые раковины... (Хамову). Если Верочка спросит, скажи, что я побежал на телеграф (Леонтию). Купите мне билет на курьерский, купе люкс (ищет по карманам деньги). Хотя... Лучше в третьем классе, плацкарты тоже не нужно. (Уходит.)

(За окном колокольный звон.)

Леонтий. Городской голова ехал к обедне, позвонил на парадном, спрашивал про здоровье его превосходительства, велел кланяться... (Уходит.)

Хамов. Почуяли в городе, где жареным запахло.

(Входит, напевая, Мардыкин в халате и феске.)

Мардыкин. Бом дили, бом дили, бом дили, бом... Почему, собственно, сегодня звонят во все колокола?

Хамов. Воскресенье, ваше превосходительство...

Мардыкин. А. Да, да.. То-то я проснулся и чувствую как будто праздник... А ты бы приоделся, братец. Жилет надень пёстрый и зелёный фартук... А к обеду новую ливрею. Незначай, да и гости пожалуют...

Хамов. Слушаюсь, ваше превосходительство.

Мардыкин. Ну, а как ты, вообще?

Хамов. Как будто всё слава богу...

Мардыкин. И у меня, братец, всё слава богу. За эти дни на желудке как-то было тяжело... А сегодня просто рай.

Хамов. Это от перцово-желудочной, ваше превосходительство, её сила.

Мардыкин. Нет, причина глубже... Я вот хочу эту комнату новыми обоями обклеить. Как-то видел выставлены в магазине пёстренькие, очень радуют глаз: изображены китайцы с зонтиками и горбатые мостики, ручеёк, мостик и китаец, и так по всей стене... Весь дом переклею. И Карла Карловича выгоню в три шеи...

Хамов. Это стоит, ваше превосходительство.

Мардыкин. Вот и ты говоришь, что стоит... А у тебя, братец, даже щека опухла. На тебе полтинничек за вчерашнее увечье... Ну, иди, иди... (Хамов уходит. Мардыкин подходит к клетке с канарейкой.) Ай, ай, ай, весь день вчера кенара не кормил... Ух ты, птичища, зверюга... Небось, голодный? Голодный, брат, а всё поёшь? Бом дили, бом дили, бом дили... Не так у меня, брат, запоёшь... Сейчас тебе конопляного семени насыплю... Набивай себе зоб... (Выглянул в окошко.) А! Пётр Мартынович, куда направляетесь? К обедне... Опоздали, нехорошо. нехорошо. Я тоже как-то заспался сегодня. Послушай, эй, городской, чего так низко ласточки летают, не будет ли сегодня дождя? Не будет... Ну, ладно, иди, иди своей дорогой... (Останавливается перед зеркалом, расправляет бакенбарды.) Ну что ж, мордан, как мордан...

(Входит Леонтий с корзиной.)

Леонтий. Вот эта корзина побольше той будет...

Мардыкин. Где ты такую хорошую корзину нашёл?

Леонтий. Обыкновенно купил на базаре. Пожалуйте ключ от шкафа.

Мардыкин. Э, нет, я сам... (подходит к шкафу). А как ты думаешь, влезет всё в корзину?

Леонтий. Думать надо, влезет.

Мардыкин. Их много. Вдруг да не влезет?

Леонтий. А я в фартук напихаю.

Мардыкин. А вдруг шкаф не откроется?

Леонтий. Всегда открывался, должен и теперь открыться.

Мардыкин. А что, Леонтий.. мы откроем, а шкаф пустой. Кто-нибудь их оттуда украл?

Леонтий. Кому такая дрянь нужна?

Мардыкин. Вот поди ж ты, дрянь, дрянь, а жалко расставаться. Ведь это всё выстраданное. Думаешь, легко мне было этих чертей вырезать? Сколько скрежета зубного, сколько биений себя в грудь, сколько угрызений в ночные часы. Ах! Ключ не всовывается.

Леонтий. А вы смелес...

Мардыкин (раскрывает шкаф и вынимает фигурки). Ну, этого с лёгким сердцем в корзину... Прощайте, Пётр Мартынович. А на этом что обозначено? «Обманута горемычная вдова. Двести пятьдесят рублей...» Ай, ай, ай... Помнишь, ко мне ходила старушка насчёт наследства. Наобещал, деньги выманил будто бы для адвоката... Обманул, обманул старушку. Слушай, а может, она уже умерла?

Леонтий. Зачем же, наверное, жива...

Мардыкин. Этого в корзинку и этого... Давай и этих всех. А тут что написано? «Леонтию семьдесят пять рублей». Не вспомнишь ли?..

Леонтий. Как не вспомнить, когда это я сам и есть. На прошлое рождество вы в карты проигрались, отдавать-то свои было жалко, у меня и взяли до завтра под честное слово, вот фигурка и получилась...

Мардыкин. Бом, дили бом, дили бом, дили... Какое свинство. Отдам, отдам, за мной не пропадёт... Знаешь, давай уж лучше не читать... Вали всё в корзинку... Уминая хорошенько... Батюшки, ещё охапка. А вон—ещё в углу... Ну, мыслимо ли одному человеку столько грехов наделать?

(Входит Хамов.)

Хамов. Антонина Павловна...

Мардыкин. Роскошно. Бом дили, бом дили, бом дили... (Идёт к двери в сад). Леонтий, унеси... Сожги всё в печке. (Уходит).

Хамов. Сам от грехов опоражнивается.

Леонтий. Хоть и за то спасибо.

Хамов. Повару их снеси, пускай на чертах котлеты жарит...

Леонтий. Я их не сожгу. Я их в сундук спрячу. Под лёгкую руку буду ему подсовывать по одной или по две фигурки для расплаты...

Хамов. Там моих немало, где деся-

точка, где пятёрочка, поищи хорошенько...

(Хамов и Леонтий уносят корзину. Из сада появляются Антонина и Мардыкин.)

Мардыкин. Ещё раз прошу прощенья, что я в халате.

Антонина. Ну, ну, ну... Я же понимаю, что вы нарочно встречаете меня в халате, а не в сюртуке... В халате вы много интереснее...

Мардыкин. И как-то вольнее себя чувствуете...

Антонина. В каком смысле вольнее? Уж не хотите ли вы со мной повольничать?

Мардыкин. Помилуйте, разве я позволяю себе...

Антонина. Отчего же, некоторые вольности бывают увлекательны... В некоторых поступках мужчина должен быть даже нахалом...

Мардыкин. Вы меня вгоняете в жар и в холод, Антонина Павловна...

Антонина. Как это приятно слышать... (Подводит его к зеркалу.) Вы знаете, какая у меня температура крови? Нормально, сорок...

Мардыкин. Но это — опасно...

Антонина. Смотри для кого...

Мардыкин. Гм... Понимаю...

Антонина. Вам нравится эта парочка?

Мардыкин. Гм... Роскошно...

Антонина (вскрикивает). Ай!

Мардыкин. Дорогая... Что с вами?

Антонина. Сердечная спазма... Ай!

Мардыкин. Бегу за врачом.

Антонина. Не нужно врача... Скорее берите меня на руки... (Мардыкин подхватывает её.) Несите на диван... Крепче сжимайте, уроните... (Мардыкин кладёт её на диван.) Растегните лиф... Неужели вам сроду не приходилось растёгивать женские платья? Это так просто... Говорите мне слова...

Мардыкин. Какие?

Антонина. Существенные... Пронзительные... Головокружительные... Ай! Кажется, умираю... Слова, слова...

Мардыкин. Антонина Павловна...

Антонина. Да...

Мардыкин. Я беден, но я чист душой...

Антонина. Знаю...

Мардыкин. Что я могу предложить женщине? Моё имя, мой сан и самого себя...

Антонина. Этого достаточно... Наконец-то... Весь теперь мой... (Из сада голоса Николая и Веры.) Ай! Сюда идут... (Вскакивает.) Идите договаривать в кабинет.

(Антонина увлекает Мардыкина в кабинет. Из сада появляются Николай и Вера.)

Николай. Нет, вы скажете...

Вера. Нет, не скажу...

Николай. Нет, скажете... Вы надели купальный костюм и шапочку для нырянья... Взобрались на вышку...

Вера. Николай, я бросилась в воду, чтобы...

Николай. Ласточкой, описывая плавную дугу...

Вера. Перестаньте... Я нарочно нырнула страшно глубоко, я решила больше никогда не выплывать на поверхность...

Николай. Вот тебе раз.

Вера. У меня нехватило решимости... Раскрыла глаза в зелёной воде, увидела водоросли и выплыла.

Николай. Правильно...

Вера. Нет, неправильно.

Николай. Нет, правильно...

Вера. Перестаньте. Нам нужно было бежать вчера. А теперь поздно... Сейчас должен вернуться Вольф.

Николай. Я его жду с нетерпением...

Вера. Вы легкомысленный человек, это меня ужасно огорчает. Самое отрицательное, что может быть в мужчине, — это легкомыслие.

Николай (торопливо). Вы меня убедили, я раскаиваюсь.

Вера. Вольф немедленно заставит папу выполнить всё, что сказано в завещании.

Николай. А что там сказано?

Вера. Я делаюсь папиной наследницей в тот самый день, когда выхожу замуж за Вольфа... Вот что там сказано...

Николай. Понимаю. Тяжёлый случай. Значит, дорогая Верочка, плайте на папино наследство. Чорт с ним, с этим домом, со шкафом, с чертами и двумя клячами на конюшне. Вам ничего не нужно, кроме купального костюма летом и кое-чего тёплого зимой... Ну, зубная щётка, какие-нибудь там шпильки для волос... Кстати, вы самая красивая девушка на земном шаре...

Вера (с отчаянием). Видите, как можно на вас положить... Вы отлично знаете, что я ещё несовершеннолетняя. Папа может распорядиться мной до первого октября. Это мой день рождения. Вот почему я и хотела до первого октября скрываться в скалах на берегу моря, где бы нас с вами не нашёл даже Вольф... Теперь ничто уже не может меня спасти...

Николай (сосредоточенно достаёт мелочь, встряхивает на руке, прячет). Вы, конечно, хорошо ходите пешком... По тридцать пять вёрст в день, через неделю будем вне опасности... Возьмём с собой сахару, это питательно. На местах помидоры, по копейке штука. (Опять достаёт, встряхивает мелочь.) Доберёмся до моря, будут раковины, — питательно. Будем жарить крабов на камнях, — питательно... Верочка, до первого октября продержимся...

(Входит Леонтий.)

Леонтий. Николай Иванович, билет третьего класса достал, боковое место у окна... (Подает.)

Николай. Благодарствуйте, сдачу возьмите себе...

Леонтий. Спасибо (уходит).

Николай. Легкомыслие — самая отвратительная черта в мужском характере, вы правы... Итак, Верочка, в одиннадцать вечера я уезжаю в Петербург... Ужасно.

Вера. Николай. Вы уезжаете?

Николай (вытаскивает из карманов штанов скомканные телеграммы). Вот. Вот. Вот. Меня вызывает редактор... Это не человек, это чорт фиолетовый, прокуренный табачищем. У него в жилах анилиновые чернила вместо крови... Отвратительный, небритый, пучеглазый хрипун... Я должен ехать... Хорошо... До одиннадцати часов я должен устроить вашу свадьбу. Я её устрою, Вера, чтобы вы мне слепо верили, я вас целую...

Вера (отстраняясь). Нет, Николай, мы больше не играем.

Николай. Вера. Что я должен сделать необыкновенное, чтобы вы, наконец, поняли: я тоже больше не играю. Я не сплю третью ночь... То-есть, я сплю очень крепко, но это сплошные сны о вас... Вы снитесь ледяная, непроницаемая, бесчувственная ундина, русалка... Я вас убеждаю, убеждаю, убеждаю... А в ваших дивных глазах нет ответа, даже нет искорки. Как в холодном небе... О, чорт меня возьми. Неужели девушке необходимо два с половиной месяца есть сырые ракушки, крабов и помидоры, чтобы полюбить человека, который готов... Ну, словом, совершенно готов...

(За окном опять заиграла шарманка.)

Вера. Я не могу понять, когда вы шутите, а когда не шутите...

Николай (бросаясь к окошку). Опять этот шарманщик. Эй, дядька, убирайся отсюда...

Вера. Не гоните его... Он играет мой любимый вальс...

Николай. Какой дивный вальс... Какой чудный шарманщик...

(Входят Мардыкин и Антонина.)

Антонина. Нет, вы сами скажите, будет солиднее.

Мардыкин. Лучше вы объявите, Антонина Павловна, у меня голос что-то оглох...

Антонина. А выйдет так, будто я вас на себе женила.

Мардыкин. Ничуть так не выйдет, все знают мою решительность... А, впрочем, шадя вашу застенчивость, скажу я. Гм... Вера, Николай... Должен вам сообщить, именно сейчас, до завтрака, что мы...

Николай. Спасибо, дядюшка, нам завтракать не хочется.

Вера. Мы уже позавтракали...

Мардыкин. Чего это с ними. А?

Антонина. То же, что с нами, моя собаченька.

Мардыкин. Одним словом, Вера, Николай, можете нас поздравить, мы с Антониной Павловной решили сочетаться законным браком.

Антонина. Ну вот, от сердца камень.

Вера (рассеянно). Очень хорошо, папочка...

Николай. Да, да... Ужасно рад...

Антонина. Да ну их... Сесть бы... Что-то ноги подгибаются...

Мардыкин. А у меня, наоборот, необыкновенный прилив сил.

Антонина. А я с утра одурела. Платье надела задом на перёд и ни в одну дверь не попадаю...

Мардыкин. Роскошная женщина...

Антонина. Слышите музыку на бульваре?

Мардыкин. Ишь, подлец, как громко в трубу трубит. Люблю марши...

Антонина. Я послала музыкантам ящик пива, чтобы играли весь день без остановки...

Вера. Папа... Мы должны с тобой серьёзно поговорить...

Николай. Да. Дядюшка, поговорим серьёзно.

Мардыкин. Ага... Ну что ж... Пожалуйста... Прошу...

(В прихожей сильный шум, голоса. Входит Хамов, держась за щеку.)

Хамов. Карл Карлович прибыли...

(Отталкивая его, — вбегает Вольф.)

Вольф. Рано успокоились, господа... Рано начали благоденствовать... Слишком скоро забыли про Вольфа... Он существует, он здесь... (Николаю) Эй вы, грязный журналист, отойдите от моей невесты...

Николай. Ах так! (сбрасывает пиджак, кидается на Вольфа и валит его с ног.)

Антонина. Какой мускулистый, хищный.

Мардыкин. Здоровенный парень...

Вольф (встаёт). Прекрасно... Тем хуже для вас, Шилов... Господа, вы были свидетелями?

Мардыкин. В особенности, Антонина Павловна, я люблю марш «На сопках Манчжурии», там барабан, трам пам пам.

Вольф. Прекрасно... Тем хуже будет для вас, Мардыкин...

Николай. Разговаривайте вежливо, или ещё хотите?

Вера. Николай, сию минуту наденьте пиджак.

Николай. Нет, я только так, вообще, для начала разговора. (Отходит от Вольфа, надевает пиджак.)

Вольф. Не понимаю, на что вы рассчитываете, Мардыкин... Я вас щадить не намерен... Вы дурак. Вы предатель.

Мардыкин. А я не расположен сегодня ругаться... Зайдите как-нибудь в другое время...

Вольф (кладёт на стол красный бумажник). Вот... Вам известны все последствия вашего непослушания мне... Извольте слушать... Я буду краток... Правление железной дороги после разговоров со мной твёрдо решило передать заказ в Германию, Вольфгангу Вольфу...

Антонина. Врёт, пёс желтоглазый. Я утром телеграмму получила... (Достаёт из сумки.) «Просим не верить газетным уткам. Заказ вам подтверждаем. Правление».

Вольф. Покажите.

Антонина. Это копия, подлинник я в суд отправила...

Мардыкин. И я утречком тоже телеграммку получил... (Достаёт из халата.) «Переданные нам по телеграфу разъяснения вашего превосходительства относительно провокационных действий вашего бывшего секретаря Карла Вольфа найдены нами основательными. Благодарим. Правление».

Вольф. Бывшего секретаря. Бросьте эти штуки, Мардыкин. Иначе вам придётся сегодня же вырезать самого большого чорта...

Мардыкин. Можете кричать на меня сколько вам угодно... (Ложится на диван.) Ни в какой грех грех меня не втянете. Больше не гре-шу...

Вольф. Закон на моей стороне. (Вынимает из бумажника заветание). На законном основании я требую, чтобы всё сказанное в этом заветании было выполнено, пунктуально, до мелочей...

Вера. Папа... Николай...

Николай. Я его сейчас убью...

Вера. Не смейте...

Мардыкин. Пааазвольте, пааазвольте... А зачем мне нужно выполнять заветание, когда оно не действительное...

Вольф. Ложь. Вы его подписали...

Мардыкин. Подписал, подписал, сознаюсь... Фамилия-то моя какая? Мардыкин? Точно... А я, должно быть под действием желудочной или так от живости ума подписался не Мардыкин, а Маманькин... Вот и ищите Маманькина, с него и требуйте дочь и капитал.

Вольф (торопливо читает подпись, хрипло). Да... Это вы ловко...

Мардыкин. И под телеграммой Генриху Вольфу тоже подписано Маманькин.

Вольф. Да, это очень ловко...

Мардыкин. Предусмотрительно...

Вольф. Итак, ваше превосходительство, я свободен от своих обязанностей... Слушаюсь... Я воспользуюсь моей свободой... (Поворачивается к столу, чтобы взять бумажник. Николай прикрывает бумажник рукой, в другой руке у него письмо Вольфа.) Уберите руку... Отдайте мой бумажник... Я буду стрелять...

Николай. Это ваша подпись?

Вольф. Откуда у вас мое письмо? Это противозаконно. Это воровство.

Антонина. Какое там воровство, багюшка, когда я за него десять тысяч рубликов отмуслила чистоганом...

Николай (Вольфу). Я удивляюсь одному, как вы, опытный негодяй, совершили такую оплошность, хоть бы заказным отправил письмо... Денег, что ли, пжскалели на лишнюю марку? (Всем.) Письмо адресовано в Берлин, Фрицу Вольфу, его старшему брату...

Вольф. Отдайте письмо, я умоляю...

Николай. Умолять будете на суде... (Читает.) «Мой любимый братец Фриц... Итак, я скоро буду богат. Я женюсь на дочери генерала и беру за ней кругленький капиталчик. Она смазливая девчонка, хотя глупа и невоспитанна, как все русские. От её отца я надеюсь быстро отделаться, упрятав его в тюрьму, чего он вполне заслуживает...»

Мардыкин (Николаю). Ну, чего ты рассусоливаешь, читай короче...

Николай: «Я издали вижу, любимый Фриц, твоё недовольное лицо: у Карла Вольфа жена — русская... Что поделаешь? Мы должны до поры до времени мириться с этим народцем. Зато приятно наблюдать, как шаг за шагом германское национальное знамя покрывает Россию: уже

2 октября 1942 г.

половина торговых предприятий и солидная часть русской промышленности в наших руках. Я тебе писал относительно рельсопрокатного завода вдовы Антонины Шитиковой. Я хорошо обделал это дельце. Главным инженером я посадил брата Генриха. С его и моей помощью акции Шитиковой ровно двадцатого июня взлетят на воздух вместе с паровыми котлами. Ты узнаешь об этом из газет и тогда смело реализуй все свои деньги — жонки и купи эти акции. Да, Фриц, бог любит Германию и бог сделает всех нас богатыми и счастливыми...»

Вольф. Ваше превосходительство, пощадите... Отрекаюсь от всех моих заблуждений... Я же русопят... Ежели потребуете, с восторгом перемену неблагозвучную фамилию Вольф на чисто русскую... Дайте мне возможность послужить России...

Мардыкин. Хамов!

(Хамов тотчас появляется в дверях.)

Хамов. Прикажете ему руки крутить, ваше превосходительство?

Мардыкин. Выброси его и подмети за ним... Да скажи Леонтию, чтобы сходил к прокурору да попросил его зайти к нам с Антониной Павловной...

Хамов. Слушаюсь... (Выталкивает Вольфа.)

Мардыкин (Антонине). Дорогая, предлагаю вам для освежения чувств выйти в сад.

Антонина. Всех их, проклятых, метлой, метлой, как нечистую силу...

(Мардыкин и Антонина уходят в сад.)

Николай. Верочка. Можно вас поцеловать?..

Вера. Да, да. Можно. Необходимо...

ПИСЬМО

НИКОЛАЙ БРАУН



Ты была моим дыханьем,
Светом, утренним лучом,
Жаркой страсти полыханьем,
Тихой ивой над ручьем.
Ты меня дорогой счастья
Рядом, за руку вела,
Ты была моею властью,
Пленницей моей была.
Ибо войны слепая сила
Мирный день грозой сожгла,
Наши руки разлучила,
Наши судьбы развела.

Я прошёл дорог немало,
День за днём я жил войной,
Гибель грудь мою искала,
Смерть летала надо мной.
Ты не раз меня спасала
Тем, что в сердце ты была,
Ты мне голос подавала,
К воле, к мужеству звала.
Ты, как свет, вошла мне в душу,
Без тебя же — всё равно,
Как без воздуха, мне душно,
Как без света, мне темно!

ЗАТЕМНЕНИЕ В ГРЭТЛИ

Повесть о военном времени и для военного времени

Перевод М. Е. Абкиной

ДЖОН Б. ПРИСТАИ



1

Раньше, чем мы с вами отправимся в Грэтли, сообщу о себе некоторые сведения. Меня зовут Гэмфри Нейлэнд. Мне сорок три года, — так что я успел еще получить легкое ранение в прошлую войну. Родился я в Англии, но называю себя канадцем, так как родители увезли меня в Канаду, когда мне было десять лет. Там я учился в начальной школе, а после войны — у Мак-Гилла. Окончив институт, работал в качестве гражданского инженера в различных местах между Виннипегом и Ванкувером, а потом — с 1930 года почти до 1940 года — для крупной фирмы Силли и Уорбек в Перу и Чили. Ростом я в пять футов одиннадцать дюймов, ширококост, вешу без малого семьдесят пять килограммов, темно-волос, бледноват и склонен к угрюмости. У меня, несомненно, есть причины быть угрюмым. Одна из них — та, что в 1932 году я женился в Сант-Яго (в Чили) на прелестной девушке по имени Маракита, а в 1936-м, бешено разогнав однажды автомобиль, между Талька и Линаресом, разбил его вдребезги, и моя жена и маленький сын погибли, а я очутился в больнице, жалея, зачем не погиб вместе с ними. Вот этим, да еще тем, что произошло с моими друзьями Розенталями, и тем, что происходит сейчас вообще во всем мире, объясняется мое недовольство жизнью. Давно прошли те времена, когда Гэмфри Нейлэнд был «душой общества». И те, кому непременно нужны Голубые птицы над белыми утесами Дувра, пусть лучше обратятся к кому-нибудь другому.

Теперь расскажу в нескольких словах, как случилось, что я работаю в контрразведке. У Силли и Уорбека работал вместе со мной и в Перу, и в Чили еврей из Германии, Пауль Розенталь. Он и его молоденькая милая жена, венка Митци, были моими самыми близ-

кими друзьями. Их обоих убили наци. Я добился того, что этих негодяев арестовали, — всех, кроме одного, который был главным зачинщиком. Он бежал в Канаду, и я отправился за ним следом. Но в Канаде я потерял его из виду, а тут началась война, и я сразу же уехал в Англию хлопотать о патенте на чин офицера и о назначении меня в инженерные войска. Слоняясь без дела по Лондону, в ожидании, когда мое заявление пройдет все нужные инстанции, я случайно встретил того человека, за которым следил в Чили и Канаде. Здесь в Лондоне он выдавал себя за голландца. Я сообщил о нем куда следует, меня вызвали к старому Оствику, в Отдел контршпионажа, — и я, неожиданно для себя, оказался на время втянутым в работу этого Отдела. Военное министерство все еще отказывалось дать мне патент (теперь я знаю, что об этом постаралась контрразведка), и я согласился взять на себя несколько заданий по розыску шпионов — главным образом, за границей. А зимой 1940 года я вернулся в Англию уже постоянным сотрудником Отдела и был загружен работой.

Приходилось все время разъезжать между Лондоном, Ливерпулем и Глазго. И если вы воображаете, что я проводил там вечера в роскошно обставленных квартирах, пленяя девушек типа Марлен Дитрих или Хеди Ламарр, так поверьте, что вы жестоко ошибаетесь.

По правде говоря, мне не очень-то нравилось мое новое занятие, и я часто находил его скучным (впрочем, теперь я вижу, что в армии скучал бы иногда ещё больше). Но я не мог забыть Пауля и Митци Розенталя и гиммлеровские методы, применение которых мне пришлось видеть собственными глазами в разных местах.

Я ненавидел наци, как чуму, и эта ненависть поддерживала меня в долгие периоды напряженной и неприятной ра-

боты. К тому же я не имел сейчас ни малейшей возможности заниматься своим делом гражданского инженера, разумным и культурным трудом в разумном и культурном мире.

Однако предписание отправиться в Грэтли было мне особенно неприятно. Во-первых, я только-что упустил случай ехать на Тихоокеанское побережье, а мне очень хотелось попасть туда опять. Я начинал замечать, что у меня развивается клаустрофобия, результат жизни на этом острове, постоянных скучных разъездов в битком набитых поездах, одних и тех же разговоров, которые приходилось слушать всюду, и душившего меня мрака «затемненных» городов. Я жаждал привычного простора и света. Но в нашем Отделе стало теперь правилом посылать людей на работу в те места, где они никогда раньше не бывали. Я должен был ехать в Грэтли именно потому, что не знал Грэтли и в Грэтли не знали меня.

Предполагалось, что при таких условиях легче выдать себя за кого угодно, не прибегая слишком часто ко лжи, и что для дела полезнее непредубежденный ум и глаз нового человека.

О Грэтли мне было известно только то, что это промышленный город в северной части центральных графств и до войны в нем было около сорока тысяч жителей, что оттуда к немцам просачиваются важные сведения и, следовательно, там имеются нацистские агенты и обычные представители пятой колонны. В таком месте, как Грэтли, успешно работающая шпионская организация была очень опасна, так как здесь находится Электрическая компания Чартерса, а у самого въезда в город выстроены громадный авиационный завод Белтон-Смига, выпускающий в настоящее время новые конструкции самолетов «Циклон». Кроме того, неподалеку от завода стоят несколько эскадрилий тяжелых бомбардировщиков. Человек, умеющий распорядиться собранными им сведениями, может быть весьма и весьма полезен державам оси, если он приедет в Грэтли и будет хорошо смотреть и слушать.

Мне было известно, что и у военно-разведывательного управления, и у Особого отдела имелись в Грэтли сотрудники, которые заняты были нашими обычными делами. Но Отделу, в котором работал я, стало известно, что Грэтли или его окрестности являются сейчас одним из штабов нацистских агентов, чем-то вроде небольшого шпионского центра.

Меня, конечно, ознакомили со всеми доказательствами, и они казались достаточно убедительными, но толку от этого было мало. В сущности, всё сводилось к тому, что где-то имеется стог сена, а

в нём иголки, — и нужно их отыскать. Так я и сказал старику Оствику перед отъездом из Лондона.

— Это верно. Но знаете, что я вам скажу, Нейланд: вы, хотя и далеко не гений, — Оствик ухмыльнулся, показав свои жёлтые зубы, — но человек напористый и удачливый. В нашем деле очень много значит удача, а вам до сих пор везло.

— Если бы мне действительно везло, я бы сейчас был на пути к тихоокеанскому побережью, а не отправлялся в какой-то вонючий Грэтли, — возразил я.

Оствик дал мне рекомендательное письмо к директору завода Чартерса. Письмо было написано, как надо, и, само собой разумеется, в нем ни словом не упоминалось о контрразведке. Не затрагивало оно и вопроса о том, что делать, собственно, гражданскому инженеру на большом электрическом заводе. Но письмо могло помочь мне выиграть время: мне велено было представить его вскоре по приезде в Грэтли и, если директор склонен будет принять меня на службу (что было мало вероятно), потребовать несуразно высокий оклад и поставить такие условия, чтобы мне долго пришлось ждать, пока правление примет какое-нибудь решение.

Это было в январе 1942 года — и вы помните, какая тогда стояла погода, и какие вести приходили с фронта, и какова была жизнь вообще. Итак, вы легко можете себе представить, что, когда я ввалился в вагон поезда, шедшего из Сент-Пенкреса в Грэтли, настроение у меня было кислое, как уксус. Я ехал в первом классе, и скоро все остальные пять мест в моём купе оказались занятыми. Напротив меня, в самом дальнем углу, расположилась красивая дама с длинной стройной шеей, в дорожных меховых сапожках и перчатках. У неё было с собой такое количество шерстяных одеял, как будто она отправлялась на Лабрадор. Рядом с нею сидел розовощекий пожилой джентльмен, который, наверное, состоял в нескольких местах членом правления и со спокойной совестью помогал тормозить оборонную работу.

Третье место на той же стороне занимал командир авиаотряда, погружённый в чтение шестипенсового «боевика». Против него сидел армейский офицер с усами, которые у него, как у многих наших воинов, казались накладными. (Может быть, эти отрачиваемые по приказу лихие усы — дурной признак? Боюсь, что так.) Офицер усердно изучал вечернюю газету. Между ним и мною сидел смуглый толстяк, очевидно, выставивший напоказ все свои бриллианты и благоухавший так, как будто он только-что вышел из парикмахерской. Он мог быть

членом какого-нибудь иностранного правительствa или британским кинорежиссером. В вагоне царил леденящий холод, и все мы по очереди топали ногами и терли себе руки, чтобы согреться. Наконец, наш поезд двинулся в холодный сумрак.

Прошёл час или около того, и за это время никто не вымолвил ни слова. Шторы были опущены, и в тусклом свете верхних лампочек все лица казались болезненными и таинственными. Дама сидела с закрытыми глазами, но как будто не спала. Я тоже закрыл глаза, но уснуть не мог. Краснощёкий пожилой пассажир затеял разговор с остальными тремя. Хотя его никто не просил об этом, он стал повторять им всё, что говорили военные обозреватели и дикторы радиокompании. Во всех его рассуждениях было так мало смысла, что лучше бы он рассказал им сказку о трёх медведях. Американский флот готовится сделать что-то необыкновенное. И прочее в таком же духе. Оба военных вежливо слушали. Мой сосед, стриженный ассирийский царь, явно был настроен скептически, но у него, очевидно, хватило ума сообразить, что ему, приезжему, иностранцу, не следует опровергать всех этих басен. Слушал и я, как слушаю всегда всё, что говорится вокруг. Ведь не знаешь, где и когда удастся выудить что-нибудь полезное для дела, а на этот раз, видит бог, мне особенно необходимо было собрать все сведения, какие только можно, раньше чем взяться за это дело в Грэтли. К тому же, из разговора скоро выяснилось, что наш краснощёкий спутник имеет какое-то отношение к Электрической компании Чартерса, хотя он об этом особенно не распространялся. Чем занимается мой сосед-иностранец, так и осталось неизвестным. Наверное, его роскошные чемоданы были набиты фальшивыми ордерами на сукно и накладными на несколько сот тысяч яиц. Но слишком явно бросалось в глаза то, что он иностранец, и поэтому чутье мне подсказывало, что для меня он не представляет никакого интереса. Всякая сложная двойная игра окончилась бы для него неудачно уже просто потому, что наша полиция в тонкостях не разбирается и живо упряталась бы под замок всякого перемудрившего нацистского агента, который слишком подчеркнуто стал бы изображать из себя мрачного иностранца.

Однако пора было и мне вмешаться в разговор. Я всегда считаю нужным под-сказать людям, что им следует обо мне думать. Таким образом, ещё до прибытия на место помогаешь себе создать ту роль, в которой ты намерен выступить.

Вставляя время от времени замечания в общий разговор, я сообщил всем, что

недавно приехал из Канады, а сейчас еду для переговоров о работе на одном большом предприятии в Грэтли. Всё это я изложил с некоторой важностью и таинственностью, как у нас любит говорить сейчас большинство людей. Я задал также несколько вопросов относительно Грэтли: есть ли в городе приличная гостиница, легко ли будет попозже снять себе домик, и прочее в таком же роде. Мне отвечали краснощёкий пассажир и офицер, который даже оторвался от газеты, чтобы сообщить мне некоторые сведения о своём родном городе. Лётчик предпочёл опять углубиться в свою книжонку, — и я его понимаю.

Вдруг я заметил, что у сидевшей напротив дамы глаза уже открыты. Она держалась очень прямо, вытянув, как птица, длинную шею, и смотрела на меня в упор. Это продолжалось минуты две, потом она заговорила с краснощёким старцем об общих чакмах, — главным образом, как я понял, о местных тузах, но время от времени она всё ещё поглядывала на меня с каким-то замешательством.

К концу второго часа оба пожилых пассажира стали клевать носом, а молодые офицеры углубились в чтение. Меня тоже начинала одолевать дремота, как вдруг дама с длинной шеей широко раскрыла глаза, улыбнулась и, наклонясь вперёд, сказала тихо:

— Вы, кажется, говорили, что недавно приехали из Канады?

— Да, — отвечал я. — А что?

Очевидно, мне предстояло выслушать всякие подробности о её двух чудесных детях, эвакуированных в Канаду. Может быть, она даже спросит, не встречал ли я их.

— Дело в том, — сказала она ещё тише, — что я случайно видела вас с полгода тому назад во французской ресторане Центральной гостиницы в Глазго. Вы обедали с человеком, который мне немного знаком.

На это можно было ответить по-разному, но мне следовало придумать наиболее безопасный ответ, и придумать поскорее. Я всё же сначала удостоверился, что никто не прислушивается к нашему разговору.

Женщина сидела, наклонясь вперёд, и улыбалась, глядя мне прямо в глаза, с выражением притворного простодушия, которое я с удовольствием стёр бы с её лица пощёчиной.

— Вы уверены, что не ошиблись?

— Совершенно уверена.

И добавила с оттенком ехидства, который мне очень не понравился:

— Я прекрасно запоминаю лица.

Я пытался припомнить, с кем именно она могла меня видеть в Глазго, хотя

вряд ли это был человек известный. Тем временем я уже успел овладеть собой.

— Я говорил, что недавно вернулся в Англию из Канады. Но я не сказал, когда уехал в Канаду. Вы, ведь, знаете, что из Глазго ещё до сих пор отходят пароходы.

— Разумеется. Вы, должно быть, тогда и собирались отплыть из Глазго?

— Совершенно верно. — Теперь мне было безразлично, кто был тот человек, с которым она меня видела в Глазго.

Она придвинулась на дюйм или два ближе, напоминая мне теперь уже не птицу, а скорее надутенную кошку с шелковистой шерсткой, — и сказала, понизив голос:

— Но дело-то в том, что я встретила вас после этого ещё раз... — почему-то я всегда невольно замечаю лица —... в Лондоне. Вы обедали в «Мирабельль»... Да, этому будет месяца три, не больше. Значит, вы не могли тогда быть в Канаде, не так ли?

Я покачал головой.

— Относительно Глазго вы были правы, но на этот раз, извините, ошиблись.

Но она, конечно, не ошиблась и прекрасно поняла, что я это знаю. Всё вышло у меня очень неудачно. Впрочем, я утешал себя мыслью, что это не имеет никакого значения.

Изогнув длинную шею, женщина откинулась назад, попрежнему глядя на меня с насмешливым любопытством. Я отвечал безмятежным взглядом. Минуту-другую мы оба молчали. Потом она спросила:

— Надолго вы в Грэтли?

Я сказал, что и сам ещё не знаю, что это зависит от того, примут меня на службу или нет. И постарался, чтобы мой ответ звучал правдиво — да, в сущности, это и была правда.

Она кивнула головой, потом достала визитную карточку и протянула мне.

— Вы извините меня за назойливость. Но это так странно и так на меня непохоже — приметить вас в Глазго и потом спутать с кем-то другим в Лондоне! Ни разу в жизни со мной таких вещей не бывало. Так что, если вы когда-нибудь найдёте этому объяснение, может быть, вы мне позвоните и заедете выпить чашку чаю или рюмку вина? Я живу неподалеку от Грэтли, совсем близко от Белтон-Смитовского завода.

Тем и кончился наш разговор. Она закрыла глаза, всё с той же тенью иронической усмешки на губах, а я, не взглянув на карточку, сунул её в жилетный карман и плотнее укутался в своё тяжёлое пальто. Я говорил себе, что плохо начал работу в Грэтли. Премахи свои я приписывал тому, что мне не по душе это назначение в Грэтли, что я выдохся

и к тому же угнетён дурными вестями с фронта. Войти в роль заранее, ещё до прибытия на место, — идея правильная сама по себе. Но, ведь, у этой жительницы Грэтли, которая явно не глупа, знает всех в городе и, наверное, двенадцать часов в сутки занимается болтовней, уже составилось, вероятно, мнение обо мне, как о неумелом агуне, и, что гораздо хуже, — как о теловске, которого окружает какая-то тайна. Слушал ли кто-нибудь из пассажиров наш разговор с нею? Оба военных всё ещё были поглощены чтением. Краснощёкий легонько посвистывал носом. Но, оглянувшись на смуглого иностранца, моего соседа слева, я заметил, как в этот самый миг он прикрыл тяжёлым жёлтым веком свой, словно плававший в масле, правый глаз. Значит, он подслушивал! Это, может быть, и не имело никакого значения, но от этого неудачное начало не стало удачнее. Я подумал, что, если так будет продолжаться, то к концу недели я, пожалуй, буду дефилировать по главной улице Грэтли, нацепив фальшивую бороду и плакат, возвещающий, что я послан контрразведкой. Ай да Нейланд! Нечего сказать, хороша работа!

Я сделал вид, что засыпаю, и, примерно, через полчаса заметил, как многозначительно переглянулись несколько раз дама с длинной шеей и мой сосед слева, жирный иностранец. Его лица я, конечно, видеть не мог, так как всё ещё притворялся спящим, но выражение её лица убедило меня, что эти двое хорошо знакомы друг с другом, что они, вероятно, по приезде где-нибудь встретятся, но не хотят, чтобы другие об этом знали. И между ними была, конечно, не любовная связь, — не так она на него смотрела, — а скорее всего какие-то деловые отношения. «Чёрная кижка? Да, больше похоже на это, чем на что-либо по моей части», — подумал я, но всё же решил, что на первой же неделе по приезде в Грэтли воспользуюсь приглашением этой дамы.

Наш поезд с грохотом подкатил к Грэтли. Вокзал здесь, насколько мне удалось разглядеть, маленький и жалкий, как во многих небольших заводских городах Англии. Я с трудом нашёл дорожку к выходу, так как вокруг была тьма кромешная. Ненавижу затемнение! Это — одна из ошибок нынешней войны. Какая-то в этом боязливость, растерянность, что-то от мюнхенских настроений. Будь моя воля, я бы рискнул ждать до того момента, когда бомбардировщики уже над головой, — только бы не выносить ежевечернюю тоску затемнённых улиц и глухих стен. В затемнении есть что-то унижительное. Не следовало допускать, чтобы эти выродки с черными душами затемнили полмира. Это с нашей стороны как бы некоторая уступка, как

бы признание их могущества. Я так и слышу хихиканье этих бесноватых от радости, что мы бродим ощупью во тьме, как они того желали. Мы создаём в окружающем нас мире мрак подстать мраку их гнусных душ. Говорю вам, — я ненавижу затемнение. А такой жуткой темноты, как в Грэтли, я нигде ещё не видал. Вокзал был словно весь укутан одеялами цвета индиго. Выйдя из него, вы проваливались куда-то в невидимую бездну.

Три автомобиля (в один из них, как мне показалось, села дама с длинной шеей) отъехали, грохоча, — должно быть, они переезжали мост, — и стало тихо. Такси тоже не было. Я ещё из Лондона заказал на день-два номер в гостинице «Ягненок и Шест» на Маркет-стрит, и сейчас мне предстояло её разыскивать в этом непроходимом мраке. Я вернулся обратно в зал и поймав носильщика, который, объясняя мне, куда идти, всё указывал куда-то вдаль, как будто мы с ним в июльский полдень любовались Неаполитанским заливом. Стараясь запомнить его указания, я поплёлся пешком в город, таща свой тяжёлый саквож. Земля была покрыта снегом, но даже он казался чёрным. Воздух был сырой и холодный, чувствовалось, что скоро опять пойдёт снег. Я дважды сбивался с пути, плутая по каким-то глухим переулкам, но в конце-концов встретил полимена, и он указал мне Маркет-стрит.

Мы не всегда отдаём себе ясный отчёт в том, что такое нынешняя война. В сущности, мы большей частью увиливаем от великой и страшной правды о ней и попросту стараемся как-то приноровиться к связанным с нею неудобствам и лишениям. Но бывают минуты усталости и уныния, когда эта правда вдруг обрушивается на нас всей своей тяжестью, и мы похожи на человека, который, проснувшись, вдруг увидел себя на дне моря. Одну из таких тяжких минут я пережил этой ночью в Грэтли по дороге в гостиницу. Я вдруг понял, что такое война, — и правда о ней придавила меня, как обрушившаяся башня. Кто-то во мне — не Гемфри Нейланд, дрожащий за свою шкуру, и не один из тех, кто опасается за свои владения, — содрогнулся и взвыл, увидев перед собой зияющую чёрную пропасть, куда скользили мужчины, женщины, дома, целые города. То было видение спущенного с цепи торжествующего зла, воцарившегося на земле ада.. Где-то, в тайниках вселенной, никогда и не снившихся нам, кто-то дёргал за верёвочку, — и мы плясали, а затем скользили в пропасть, а с нами проваливалось все. И начали это не проклятые наци — я ненавижу этих бандитов, но вовсе не склонен представлять их во сто раз сильнее, чем они

есть. Они толкают нас в пропасть, в темный кипящий поток, текущий прямо в ад, — но создать эту пропасть они не могли. Создали её мы все вообще — или, может быть, это вырвались на волю гигантские силы тьмы? Той ночью в Грэтли я вдруг увидел эту пропасть и почувствовал себя на краю её. Не я один — весь город был на краю её. А в нём каких-то несколько человек, — может быть, и тот человек, с которым я столкнулся на углу, — изо всех сил старались столкнуть всех нас вниз. Здесь, за чёрной завесой «затемнения», где-то укрывалось зло. Но где? — Мне предстояло узнать это.

2.

В гостинице «Ягненок и Шест» были расквартированы армейские офицеры и летчики — и больше как будто никто. Тем не менее она была переполнена, и женщина за конторкой сказала мне, что я могу занять номер только на два-три дня. Увидев эту комнату, которая умудрялась быть одновременно и холодной, и душевной, я подумал, что и двух дней с меня совершенно достаточно. Потом надо будет подыскать себе кое-нибудь человеческое жильё.

Я еще поспел к концу обеда, состряпанного, по всей видимости, целиком из клейстера: мучной суп, вареная рыба в мучном соусе с овощами, и мучной пуддинг. Не думайте, что я жалеюсь на рацион военного времени: держу пари, что в гостинице «Ягненок и Шест» и в мирное время кормили немногим лучше. Виной этому был ее владелец, майор Брембер, который бросил службу в Пенангской полиции, повидимому, не для того, чтобы содержать гостиницу, а для того, чтобы гостиница содержала его. Я видел и майора, и его супругу, — оба чопорные, пучеглазые, они восседали, как сайбы, в столовой с таким видом, словно они у себя в поместье, тогда как им следовало бы стоять на кухне, и, засучив рукава, стряпать настоящий обед. Однако не буду распространяться о майорах Бремберах нашей страны. Я не люблю их и желал бы, чтобы они не изображали собою содержателей гостиниц.

После обеда я зашел в бар при гостинице, который открывался только с восьми часов, так как спиртного было мало. Сейчас там царил большое оживление. Виски не было, посетители пили портвейн, джин и пиво. Летчики и армейские офицеры со своими дамами сидели за столиками, большей частью группами по четыре человека. Несколько пожилых, скромно державшихся горожан задумчиво прихлебывали свое

пиво, а в углу, у самой стойки, отдельно от других, расположилась компания, в которой я сразу признал тесный кружок завсегдатаев. Я немедленно перекочевал со своим пивом поближе к этой группе и стал наблюдать за ними. Тут были два офицера — один из них, краснолицый капитан, уже сильно подвыпил, — и пожилой, невзрачный мужчина в штатском, который говорил жеманным визгливым голосом и хихикал, как девушка. Повидимому, это он угощал всю компанию. Из двух женщин одна была полная бесцветная особа, казавшаяся чем-то обеспокоенной, другая — помоложе, одета наряднее и очень хороша собой. У нее был длинноватый нахальный носик и пухлые губы, которые даже тогда, когда она не говорила и не смеялась, были жадно раскрыты, словно готовые к новому взрыву смеха. Всмотревшись в нее, я ощутил уверенность в том, что уже видел ее где-то раньше и в совершенно иной обстановке, — но не мог припомнить, где. Это мучило меня, и я все время пялил на нее глаза. Девушка это заметила, отвернулась и снова чему-то засмеялась, но я успел уловить в ее дерзком взгляде мимолетное выражение тревоги.

Краснолицый капитан тоже заметил мое настойчивое внимание, и оно ему не понравилось.

Вначале разговор компании вертелся вокруг какого-то званого обеда, на котором был кто-то из них, — кажется, та самая веселая и хорошенькая девушка, что меня заинтересовала. Обед этот происходил, повидимому, в каком-то загородном ресторане, который, насколько я расслышал, назывался «Трефовая дама». Сыпались обычные шутки насчет общих знакомых: тот напился, эти не сумели скрыть своей любовной связи. Упоминалась и какая-то миссис Джесмонд, о ней говорили, что она, «наверное, купается в деньгах», «очень шикарна», и называли ее загадочной женщиной. Я тут же мысленно «взял на заметку» миссис Джесмонд. Разговор, чем далее, тем более превращался в пустую болтовню с неизменным скабресным привкусом, типичную для таких компаний, веселящихся в барах гостиниц. Единственным остроумным собеседником здесь был пожилой фат, у которого, как я заметил, щеки были нарумянены. Заметил я также, что под его паясничанием крылась определенная цель: он все время пытался высмеивать оборонную работу страны. Он ясно давал понять, что в его глазах наши усилия бороться с наци просто забавны, хотя излюбленным его эпитетом для этих усилий было выражение «трогательно». У него, видимо, было много денег, судя по тому, как он швырял ими. И он был не дурак, этот

мистер Периго, как его называли остальные. Я уже начинал думать, что мне сразу повезло и что я напал на верный след.. Но где же я встречал раньше эту девушку?

— Эй, вы! — сказал краснолицый капитан, неожиданно перегнувшись через мой стол. — Нечего слушать, мы вам не радио!

— Знаю, что вы не радио, — уверил я его, мгновенно почувствовав антипатию к этому субъекту с налитыми кровью свиными глазками.

— Ну, ну, Фрэнк! — сказала полная дама предостерегающим тоном. Она мигнула второму офицеру. Видимо, это был ее муж.

— Вы и так уже смутили эту лэди тем, что все время таращите на нее глаза, — продолжал капитан.

— Совсе нет, Фрэнк, — вступилась девушка. И, повернувшись ко мне, прибавила: — Не обращайтесь на него внимания.

— А я говорю — да! Не мешайте мне выяснять это дело, Шейла.

— Что вы хотите выяснять? — спросил я, и тон мой, вероятно, выдавал го презрение, которое я чувствовал к нему. — Я живу в этой гостинице и, если вам не нравится то, что я сижу здесь, можете отправляться в другое место.

— А с какой стати, чорт возьми? — Он стукнул кулаком по столу, расплескав часть моего пива. У меня чесались руки выплеснуть то, что оставалось в стакане, в его идиотскую физиономию.

В начале этой сцены тот странный человек, которого называли мистер Периго, был занят: он заказывал буфетчику какую-то сложную комбинацию напитков, для всех. Сейчас он увидел, что происходит, улыбнулся мне, обнажив ряд зубов, как будто сделанных из самого лучшего фарфора, а Фрэнка похлопал по плечу.

— Ну, ну, Фрэнк, ведите себя смирно иначе не получите больше ни капли! Не обращайтесь на него внимания, дорогой сэр. Он угомонится, когда выпьет еще стаканчик.

Очередь была за мной. На улыбку мистера Периго я ответил улыбкой и заверил его, что ничуть не обижен. Он настоял, чтобы я пересел к ним, и, так как угощал на этот раз он, остальные не могли протестовать. Только милейший Фрэнк попрежнему смотрел на меня сердито. Это перемещение было мне весьма на руку, и вот я очутился у стойки, подле девушки с нахальным носиком. Глаза у нее были ярко-синие, и один чуточку темнее другого. Эта особенность еще больше убедила меня в том, что я где-то видел её раньше. Звали её Шейла Кэстсайд, и она была

женой майора, сегодня утром уехавшего по служебным делам.

— Что вы делаете в Грэтли? — спросила она у меня. Она держала себя все так же развязно, но в обращенном на меня взгляде мне почудилась какая-то неловкость.

Я повторил ей то, что рассказывал другим.

— Завтра пойду к директору завода Чартерса, — сказал я в заключение.

— А кто у них там директором? Как же это я не знаю? — воскликнула Шейла.

Зато мистер Периго знал.

— У Чартерса? Ну, как же, дорогая, это мистер Хичем, — помните, такой всегда озабоченный человечек. И то сказать, — как тут не быть озабоченным? Он никак не может добиться ответа от министерства снабжения. У бедняги на заводском дворе ржавеют запасы всяких секретных изделий, а в министерстве все никак не могут решить, нужны ли будут эти изделия, или нет. Как трогательно, не правда ли?

И маленький урод ухмыльнулся нам, показывая фарфоровые зубы, с таким видом, как будто речь шла о плохо организованном состязании в бридж, а не о борьбе за жизнь каждого из нас.

— Перри, вы чудовище! — воскликнула Шейла. — И я наднях слышала, как полковник Тарлингтон говорил Лайонелю, что, по его мнению, вы принадлежите к пятой колонне.

— Шейла! — ахнула полная дама. — Как это можно! — Она весь вечер открывала рот только для таких увещаний.

Мистер Периго вдруг стал серьезен.

— Ну, против этого я протестую! Да, да, дорогая, не шутя говорю: я категорически протестую.

— Правильно, — вставил второй офицер. Фрэнк в этот момент был где-то в другом конце бара.

— Только потому, что я пытаюсь сохранить юмор, — продолжал мистер Периго жалобно, — и не щеголяю все время своим патриотизмом... Нет, это уж слишком! И я скажу это в лицо полковнику Тарлингтону. Не всякий же может держать себя так, как будто он родной брат аллегорической Британии. Даже и внешне не все могут походить на Тарлингтона, — ведь, он точь-в-точь национальный флаг: белый, синий и красный.

Эта острота ужасно насмешила Шейлу. Она, видимо, уже немного опьянеда, да и вообще была из тех женщин, которым нужна постоянно атмосфера шумного веселья. Или я ошибался?... И где я ее видел раньше?

Я заказал вино для всех. Потом осведомился, кто такой Тарлингтон.

— Один из местных заправил, — сказала Шейла небрежно. Она уже утравила всякий интерес к этому разговору.

— Он член правления Электрической компании Чартерса, — пояснил мистер Периго, знавший, повидимому, всех и вся. — И, кроме того, важная шишка в местной организации консерваторов. Он из тех, кто никогда не упускает случая сказать другим: «Все на фронт!» или что-нибудь в этом роде. И, кажется, он копыеносец или знаменосец в отряде местной обороны. Но сами посудите, — называть меня представителем пятой колонны только потому, что я люблю иной раз пошутить!

— А я полагал, что у вас тут уже перестали говорить о пятой колонне, — сказал я.

— Да и в самом деле перестали, — отозвался второй офицер (я уже успел заметить, что он осёл). — Их давно переловили и всех посадили под замок.

— Ну, нет, я бы этого не сказала, — покачала головой Шейла с глубокомысленной миной, какую всегда делает ветреница, пожелавшая вдруг говорить серьезно. — Десятки их шныряют повсюду.

— Откуда вы знаете, Шейла?

— Не все ли равно, откуда? Знаю — и все.

Подняв брови, я посмотрел на мистера Периго, и он тотчас мигнул мне в ответ. Глаза у него были очень светлые и странно выделялись на этом безжизненном накрашенном лице. Волосы над ушами были седые, а на макушке — фальшивая накладка безупречно каштанового цвета.

— Смотрите-ка, вот и Дерек с Китти! — закричала Шейла и, вскочив, побежала им навстречу.

Я смотрел ей вслед, все еще мучимый тем же неотвязным вопросом.

— Обворожительная женщина, — сказал мистер Периго с фарфорово-деревянной усмешкой, противоречившей его словам. — Мы все очень любим Шейлу. — Не правда ли, миссис Форест? Она такая веселая, жизнерадостная! Один мой знакомый, командированный сюда на службу и скучающий здесь, как в ссылке, говорил мне недавно, что бывают дни, когда только возможность любоваться чудесными ногами Шейлы удерживает его от самоубийства.

Миссис Форест немедленно призвала его к порядку.

— А ведь ей много пришлось пережить до того, как она вышла за Лайонеля Кэстлсайда, — сказал напыщенным тоном майор Форест. — Она очень рано вышла замуж, бедняжка, и первый муж ее скорострительно скончался в Индии. Она никак не может забыть о нем.

— Да, — подхватила миссис Форест, скрывая к сентиментальности после нескольких стаканов джина с лимонным соком. — Я часто замечала, как глаза ее вдруг наполняются слезами, и она говорила мне, что не может забыть эти последние тяжкие дни в Индии. Впрочем, теперь она очень счастлива.

— И она хорошо сделала, что вышла за майора Кэстлсайда, — сказал мистер Периго очень серьезно. — Он человек состоятельный, ну и притом племянник старого сэра Фрэнсиса Кэстлсайда. Вы, конечно, слышали — это относилось ко мне — о глостерских Кэстлсайдах?

Я возразил, что ничего о них не слышал, что слава о глостерских Кэстлсайдах не докатилась до наших прерий. Чета Форестов ледяным молчанием реагировала на этот взрыв колониального юмора, но мистер Периго, как мне показалось, незаметно подмигнул мне.

— Я где-то встречал ее раньше, — добавил я, глядя издали на Шейлу.

— Так вот почему вы так упорно ее рассматривали? — спросил мистер Периго мягко.

— Да. Это, конечно, неважно, — но вы знаете, иной раз такой пустяк не дает покоя...

Оказалось, что миссис Форест целыми днями мучилась, если ей не удавалось припомнить, где и когда она видела какого-нибудь человека. Она сослалась на мужа, который подтвердил, что видел, как она мучилась этим иногда в течение нескольких дней. (Внушительное, должно быть, было зрелище!) Затем миссис Форест объявила, что им пора домой. (Кажется, была очередь ее мужа угощать компанию.) И они ушли.

Мне было любопытно, как мистер Периго будет держать себя, оставшись со мною наедине. Как я и ожидал, он сразу стал серьезен.

— Вот что, мистер Нейлэнд, — начал он. — Я уловил в ваших глазах вопрос, что я здесь делаю. Вы человек умный, да, да, я это сразу увидел, — и поэтому могли заметить, что и я тоже умный человек... Верно я говорю?

— Да, я это заметил.

— И вы недоумеваете, зачем я, умный человек, валяю дурака в компании людей совершенно другого сорта. По правде вам сказать, мистер Нейлэнд, — мне необходимы маленькие развлечения, пускай даже глупые, пустые, чтобы уйти на время от этой ужасной войны. У меня в Лондоне была небольшая картинная галерея, но немцы ее разбомбили вдребезги, и я уехал сюда, потому что один мой старый приятель уступил мне на время свой коттедж. Это совсем близко от города.. Место, конечно, убогое, но что поделаешь? Иной раз удается продать картину, или заработаю на

продаже старинной мебели, — но, конечно, моя жизнь разрушена. — Он вздохнул. Обычно люди всегда вздыхают только в книгах, а в жизни очень редко. Но мистер Периго вздохнул.

— Так что время от времени я захожу сюда или в «Трефовую даму» (где гораздо веселее, и кормят лучше, и вино не чета этому), затем, чтобы час-другой поболтать о пустяках. Ужасное место это Грэтли! Вряд ли найдется другой такой поганый городишко. Вы здесь в первый раз?

— Да, и ничего еще не видел. Но думаю, что мне здесь будет неплохо.

— Что ж, конечно, — работа инженера и все такое... Но для меня, человека, который всегда стремился жить среди всего прекрасного, — это смерть... как и ужасная нынешняя война... Скажите откровенно, мистер Нейлэнд, как вы думаете, есть у нас хоть малейшая надежда выиграть ее?

Я сделал большие глаза.

— Малейшая надежда? Вы меня удивляете, мистер Периго! Мы не можем не выиграть ее. Учтите все наши ресурсы и количество войска — Англия, Америка, Россия, Китай...

— Да, знаю, все это говорят. Но иногда мне думается... правда, я в этих делах ничего не понимаю... Но думаю, что не следует забывать вот чего: всякие ресурсы ничего не стоят, пока они не превращены в военное снаряжение, и даже тогда немногого стоят, если их не используют должным образом. Державы оси, видимо, умеют использовать свою военную машину, не так ли? И они хорошие организаторы. А мы, кажется, утратили эту способность.

— Ничего, у нас тоже дело все больше и больше налаживается.

— Разве? Рад это слышать. Но... — мистер Периго понизил голос. — Вы знаете, я и здесь, и в «Трефовой даме» встречаюсь со многими летчиками, армейскими офицерами, с людьми, работающими в военной промышленности, — и столько от них приходится слышать возмутительных анекдотов о тупости и бездеятельности, и бюрократизме, что, право, я порой прихожу в полное уныние... Ну, вот, теперь, только потому, что я был с вами откровенен, и вы тоже скажете, что я состою в пятой колонне!

— Нет, мистер Периго, не скажу, — уверил я его с наигранной сердечностью, которая должна была внушить ему мысль, что у меня кожа толщиной с фут. — Не оправдывайтесь, пожалуйста. Я думаю, у всех нас бывают такие минуты уныния.

— Вот теперь вы заговорили, как настоящий американец, — сказал он, рассмеявшись. От него ничего не усколь-

зало, и его нелегко было одурачить, этого маленького человечка.

— Не хотите ли как-нибудь пообедать со мной? Тогда мы сможем поговорить обо всем по-настоящему.

— Спасибо, с удовольствием, мистер Периго. Кстате сказать, от сегодняшнего обеда я далеко не в восторге.

— Да, в «Трефовой даме» обеды много лучше. Мы будем обедать там. Завтра или послезавтра, если вам удобно... А вот и Шейла вернулась к нам и, кажется, с самыми злостными намерениями.

Шейла непременно хотела в свою очередь угостить нас, но мистер Периго сказал, что ему необходимо повидать одного знакомого, и ушел, простясь с нами многократными кивками и улыбками.

Когда кто-нибудь, после пустой болтовни в своём кружке, остаётся наедине с мало знакомым человеком, он почти всегда испытывает потребность говорить серьезно. Но, разумеется, в этих случаях люди более осторожны, чем когда болтают в большой компании. Теперь наступила очередь Шейлы.

— Наши все считают его попросту старым дураком, а на самом деле он совсем не глуп.

— Да, он не дурак.

Она посмотрела на меня в упор. Я не мог решить, пьяна она или нет. При ее обычной манере держать себя это трудно было определить.

— Я так и думала, что вы это замечаете, — сказала она медленно. — А большинство моих знакомых такие глупые! И, боже мой, какие скучные! А вы скучный человек?

— Да.

Ее горячие пальцы легли на мою руку.

— Неправда. Если бы это было так, вы бы не сказали этого про себя. Как-раз все нестерпимо нудные люди всображают, что с ними безумно весело. Почему вы все время так пристально на меня смотрите?

— Хочу припомнить, где я вас видел раньше.

— Я так и думала.. То-есть, я хочу сказать — так именно смотрят в этих случаях. Ну, хорошо, давайте вместе сообразим... Я жила несколько лет в Индии. Там умер мой первый муж... скоропостижно.

— Когда же это случилось?

— Перед самой войной. В Мизоре. Но мне не хочется говорить об этом. Вы когда-нибудь были в Индии?

— Нет, никогда.

Мы помолчали.

— Ну? — спросила она затем с внезапным раздражением.

— Что ну? — Я многозначительно посмотрел на нее.

— Чего вы на меня так уставились? В чем дело? — продолжала она, все повышая голос.

— Что тут у вас такое? — Фрэнк вернулся к нашему столу, настроенный все так же воинственно.

Шейла весьма выразительно пожалала плечами и отвернулась от нас. Это явно укрепило решимость Фрэнка, которого, повидимому, не смущало то обстоятельство, что он был лет на десять моложе меня. Впрочем, я и сам тогда об этом не думал.

— Выйдем отсюда, — сказал Фрэнк, побагровев.

Я видел, что милейшая Шейла наблюдает за нами в зеркало, висевшее над прилавком. Ее неодинаковые глаза ярко блестели. Для нее это было развлечением, игрой. Я подумал: «Хорошо было бы, разделавшись с Фрэнком, вернуться сюда и так ее отшлепать, чтобы она с неделю не могла выходить из дому».

— Пожалуйста, — ответил я Фрэнку. — Ступайте вперед.

Мы через заднюю дверь вышли во двор, где приезжающие оставляли свои автомобили. Там было довольно светло.

— Теперь слушайте, — сказал я сурово. — Покуражились и будет. К тому же вы пьяны.

— Вы в моем присутствии оскорбили даму, — объявил он. — Да и вообще я не терплю канадцев — или кто вы там...

Я устал от этого долгого дня и скис, как забытое хозяйкой молоко. И когда Фрэнк кинулся на меня, я увернулся от удара, зашел сбоку — и задал ему как следует. При таком освещении трудно было попасть в подбородок, но мне это удалось, и Фрэнк полетел на землю. За спиной у меня кто-то ахнул. Это была прелестная Шейла.

— Я довольна, — сказала она. — Мне давно хотелось, чтобы кто-нибудь его хорошенько проучил.

— Напишите это своим друзьям в Индии, — бросил я, и, отстранив ее, прошел к двери — и прямо наверх, в свою спальню.

Здесь я надел халат и ночные туфли, разжог трубку и попробовал собрать мысли. Потом вспомнил о визитной карточке, врученной мне любопытной дамой в поезде, и вынул ее из кармана. На ней стояло: «Миссис Г. Д. Джесмонд», а напечатанный адрес был зачеркнут и вместо него сверху приписано: «В «Трефовой даме». Это было то самое место, где любила бывать молодежь и мистер Периго. И там же обитала миссис Джесмонд, по отыцам — богатая, «шикарная» и несколько загадочная женщина, о которой мне уже было известно, что она много путешествовала и зорко приме-

чала все. Ну, а как насчет мистера Пе-риго? Его рассказ о себе — пустая тра-та времени. Я ему не поверил. Он такой же эвакуированный торговец картинами и эстет, развлекающийся тем, что непре-рывно угощает вином других, как я чемпион-канатоходец. Я пока узнал не-много и еще не осмотрел Грэтли, но уже то небольшое, что мне стало известно, показывало, что контрразведка недаром послала меня сюда. Раньше, чем лечь, я выкурил целых три трубки.

3.

К Хичему, директору Электрической компании Чартерса, мне назначено было явиться только после полудня, и я все утро бродил по городу. На улицах таял грязный снег, а серое небо оседало над землей под тяжестью такого же сна-га. Но утро было достаточно хорошее для прогулки. Город ничем не поразил меня и при дневном свете. Таких горо-дов много в Англии. Они как будто по-строены для того, чтобы люди, которые даже не снисходят до проживания в них, здесь ковали деньги. С одной стороны виднелась смутная громада завода Чар-терса, занимавшего территорию около тридцати акров, с железнодорожными ветками и каналом. А кругом завода тянулись длинные грязные улицы с ря-дами кирпичных домиков. С другой сто-роны города шли улицы пошире, со сле-дами трогательных попыток озеленения, и в беспорядке теснились игрушечные бунгао. Центральную часть города со-ставляли две улицы — Маркет-стрит и Хай-стрит — и площадь, где они пере-секались. Такие города, если хотите знать мое мнение, выдают истинную сущность всей этой циничной игры в промышленность. Строили их кое-как, по-дешевке, для того, чтобы люди, кото-рые никогда сюда и не заглядывают, могли наживать здесь деньги и обзаво-диться поместьями, яхтами, покупать леса и болота для охоты, уезжать на зи-му в Канны и Монте-Карло. Во всякой другой стране люди просто не стали бы жить в подобных городах, где так мало обычных преимуществ городской жизни. Ну, а англичане со всем мирятся. На-деясь, они будут терпеть это только до того дня, когда мир услышит послед-ний вопль Гитлера, — а тогда они снесут все эти проклятые города и камнями их побьют всех алчных, старых мошенни-ков, которые немедленно после войны начнут кричать, что они обнищали. Я иду туда, куда меня посылает Отдел, и счастлив всякий раз, когда изловлю нацистского агента или кого-нибудь, кто продает родину немцам, — ибо не при-ходится объяснять, какого рода жизнь нам готовят Гитлер и Гиммлер. Но из

этого еще вовсе не следует, что я не имею своего собственного мнения и что я стану слушать тех простаков, которые являются в такие места, как Грэтли, и призывают народ воевать и трудиться в поте лица во имя сохранения «нашего традиционного уклада жизни».

Я провел большую часть утра на буль-варе и на соседних с ним улицах, где находились магазины. Я уже давно сде-лал открытие, что полезно наблюдать за выходящими и входящими в магазины людьми — это наводит на разные мыс-ли. Любая лавка может с успехом играть роль почты, а дело шпиона на девять десятых состоит не в добывании сведе-ний, а в передаче их, часто по целой цепи таких импровизированных почтовых ящиков. Здесь, пожалуй, будет не лиш-ним пояснить, что нашему Отделу не-давно удалось засесть в одной из круп-ных шпионских штаб-квартир, после того как попался джентльмен, заведывав-ший ею, и теперь нацистские агенты и их подручные, ничего не зная о провале, продолжали передавать по линии сведе-ния, а мы принимали их на другом кон-це линии. Разумеется, иногда и мы сами отправляли сообщения и, когда они до-ходили по назначению, мы таким обра-зом приблизительно выясняли, какими путями они передаются. Такая отправка и последующая проверка информации была делом сложным и трудным, но зато давала более полезные результаты, чем многие другие методы. Я уже раньше много раз проделывал такие вещи и, по-видимому, в Грэтли мне предстояло опять заняться этим. Пока же я прогули-вался взад и вперед мимо магазинов.

Я думал о том, что бедных людей не только надули, подсунув им вместо на-стоящего города такой Грэтли, на них еще, кроме того, наживались, продавая им иллюзии и наркотики. В витринах аптек красовались рекламы, сулившие чудесное исцеление. В бакалейных лавках прода-вались коробки патентованных отрубей и опилок, долженствовавших придать ва-шим волосам цвет чистого золота и на-градить вас мускулами атлета. Здесь имелись лавки табачные и винные, — но товар в них был весь распродан. Би-блиотеки пестрели обложками двухпенсо-вых книжек, романов о девах южных мо-рей и продавщицах, на которых женятся герцоги, — чистейший опиум без вред-ных последствий и стоимостью всего только по фарthingу за час.

В Грэтли имелись и два кинотеатра, где за шиллинг показывали, как весело быть молодым, красивым и богатым и шутливо пререкается со своей женой (или мужем) в Лонг-Айленд или Санта-Катарина. Несмотря на холод и ранний час, жительницы Грэтли уже облелили афиши и шли на приманку.

На боковой улице я заметил маленький театр-варьете «Ипподром», где дважды в вечер любителям предлагалась «Большая программа-гала под названием «Спасибо моим партнёрам», состоявшая из следующих номеров: «Наш популярный комик Лэс Джимбл», «Певица радиоконпании Марджори Гросвенор», «Леснард и Лерри — в обычном репертуаре» и «Сенсационный номер, гвоздь двух континентов — мамзель Фифин». В витринах с фотоснимками, висевших у входа в театр (видимо, очень маленький), «Мамзель Фифин» занимала больше всего места и щедро показывала себя в различных акробатических позах. Это была молодая особа могучего телосложения, широколицая, скуластая, должно быть, нитомница французского бродячего цирка. Она приглашала всех «вести счёт моим трюкам», и я решил принять ее приглашение на этой же неделе. Я люблю такие маленькие труппы, артисты которых работают в поте лица и, как мне кажется, всегда лучше ладят со своей неприхотливой публикой, чем их более знаменитые собратья по профессии в Лондоне и других больших городах. К тому же за время моей работы в разведке мне несколько раз предлагали последить за какой-нибудь из этих сомнительных бродячих трупп эстрадных актеров.

Идя обратно к площади, я обратил внимание на лавку, которой раньше не заметил. Она была новее и наряднее других и стояла несколько на отлете. На вывеске крупными ярко-жёлтыми буквами по яблочно-зелёному фону было выведено: «Магазин подарков миссис Пру», а витрины по обе стороны входной двери заполнены букетиками искусственных цветов, вырезанных из мягкой кожи и сукна, изделиями художественной керамики, безделушками из бронзы, затейливыми календарями и тому подобными вещами. Лавки этого типа для меня были не новостью, но я не ожидал, что встречу в Грэтли такую чистенькую и нарядную. Сквозь стекло я увидела в лавке шкаф с книгами. Здесь, очевидно, была и небольшая библиотечка, где можно под залог брать книги на дом. Под этим предлогом я мог войти и осмотреть лавку.

Девушка в жёлтом рабочем халатике и с насморком, — что не особенно вязалось одно с другим, — помогала какой-то старой даме выбирать деревянные игрушки. Я с видом скупающего фланера прошёл в дальний конец, к шкапу, и обнаружил в нём недурной выбор всяких новых книг. Даже при такой работе, как наша, человеку по временам хочется почитать, — и я скоро высмотрел две книги, которые давно собирался прочесть. Однако я не снял их с полки, а сделал

вид, что ничего пока не могу выбрать. Поступил я так потому, что меня заинтересовала высокая женщина в зелёном халате, только-что вошедшая в лавку через маленькую боковую дверь. Я решил, что это и есть миссис Пру, так как она держала себя хозяйкой. Минуты через две, выручив продавщицу в жёлтом халате, видимо, не слишком опытную, Пру подошла ко мне.

— Чем могу служить?

Я смотрел на неё с любопытством. С первого взгляда она мне показалась совсем молодой женщиной, на редкость высокой, статной и красивой, но теперь я видел, что она, пожалуй, приблизительно моих лет. Это была блондинка с волосами золотистого цвета, производившая такое впечатление, будто она долгое время хранилась в законсервированном виде. Выражение «хорошо сохранилась», примененное к ней, приобретало буквальный смысл. Так выглядела бы юная красавица времен первой мировой войны, замороженная в свое время и сейчас извлеченная из холодильника. Волосы ее двумя тяжелыми золотыми косами окружали голову, закрывая уши. Ее полной белой шеи годы не коснулись. Глаза были голубые, очень светлого оттенка, холодные, настороженные. Вблизи можно было заметить на ее лице множество мелких морщинок, как будто эта женщина, вынесенная из холодильника, начала быстро оттаивать, принимая вид, соответствующий её настоящему возрасту. Голос её был ровен и звучен.

Я сказал, что хочу взять для чтения парочку книг, и осведомился об условиях. Она ответила. Потом спросила, долго ли я пробуду в Грэтли.

— Сам не знаю, — сказал я, охотно входя в свою роль. — Я из Канады, по профессии инженер и вот как-раз сегодня собираюсь предложить свои услуги Электрической компании Чартерса.

— А если получите работу, останетесь здесь?

— Да. Но я в этом сильно сомневаюсь, — сказал я, с улыбкой глядя на неё. — Так что, если позволите, я не буду брать абонемента. Но, разумеется, оставлю залог за книги.

Она кивнула головой и спросила, где я поселился. Отвечая, я смотрел на её довольно большие белые руки, в то время как она выписывала квитанцию. Потом протянул ей две выбранные мною книги, и она записала их названия в тетрадь. Я назвал и свою фамилию.

— Кстати, позвольте спросить: вы миссис Пру?

— Нет, — ответила она с лёгкой усмешкой. — Потому что никакой Пру не существует.

— Но если бы существовала, так это были бы вы?

— Да, я владелица лавки, если вы это имеете в виду.

— Недавно открыли, да?

— Да. Я живу здесь около четырех месяцев. И пока торговля идет очень недурно. Даже здешние люди ценят красивые вещи. Я приехала сюда, считая, что это безнадежная затея, но лавка мне досталась просто за бесценок и привести её в порядок стоило недорого. Пока дела идут отлично. Но доставать наш товар становится всё труднее и труднее.

— Из-за войны, разумеется.

— Да, из-за войны.

Я посмотрел на неё в упор и понизил голос.

— Между нами говоря, осточертела мне эта проклятая война. Я в ней не вижу смысла.

— Тем не менее вы приехали из Канады сюда, чтобы участвовать в ней? — Голос её звучал почти укоризненно.

— Я приехал из Канады потому, что там сейчас нет работы для людей моей профессии: я гражданский инженер. Вот я и решил посмотреть, нельзя ли здесь в Англии подработать на этой войне. Таковы факты, мисс... Э...

— Экстон. Мисс Экстон, только не Пру, уж извините.

— Нет, вы меня извините, мисс Экстон. — Я ухмыльнулся, потом изобразил лёгкую нерешительность благовоспитанного джентльмена. — Я понимаю, что это слишком большая бесцеремонность с моей стороны... Но время военное... и, в конце-концов, я канадец и...

— И что же, мистер Нейлэнд?

— Видите ли, мисс Экстон, я подумал, что, может быть, вы пожалеете меня... у меня здесь ни единой знакомой души... Так, не согласитесь ли вы как-нибудь вечером отобедать со мной?.. Не могу похвалить обеды в «Ягнёнке и шесте», но, говорят, здесь есть другое место, очень близко от города, какой-то ресторан «Трефовая дама», где и вино, и обеды недурны.

— Слышала, — отозвалась она нехотя.

— Так что же вы думаете о моём предложении?

На этот раз она улыбнулась с неожиданной и удивившей меня приветливостью.

— С удовольствием принимаю его. И, пожалуйста, не извиняйтесь. Я тоже здесь ещё почти чужая... Но сегодня и завтра я занята.

— Значит, отложим это на несколько дней, — сказал я весело. — Я опять загляну сюда, и мы поговоримся. А, может быть, у вас есть телефон?

Оказалось, что телефон есть, и я записал его номер. Она, видимо, жила тут же над лавкой. Мы обменялись еще несколькими незначительными фразами, и я вышел.

Двумя домами дальше была табачная лавка, и я вошёл туда под предлогом купить пачку папирос, хотя я заведомо знал, что в лавке папирос не найдётся, да и не нужны они были мне. Но лавочники, у которых нет того, что нужно покупателю, обычно рады поболтать с ним, хотя бы затем, чтобы он не обиделся.

— Да, просто беда, — сказал лавочник после того, как я несколькими репликами заставил его разговориться. — Бывают дни, когда я подумываю о том, чтобы совсем закрыть лавку. Я и жене это говорил.

— А между тем у вас, вероятно, не такие уж большие накладные расходы. Помещение, наверное, обходится довольно дешево.

— Дешево! — ахнул торговец. — Господи, да, ведь, мы платим страшные деньги за аренду, — да, страшные. А как только вас выпотрошили, — так и гство, лавку у вас в миг отбирают — и что хотите, то и делайте!

— Значит, открыть лавку в Грэтли невыгодно?

— Совсем невыгодно, верьте слову. Так что, если вы за этим приехали сюда, мой вам совет — лучше поищите в другом месте.

Он говорил не резко, только убедительно. И мы расстались друзьями.

Возможно, конечно, что мисс Экстон была одна из тех бестолковых, неопытных и легковерных женщин, которым «страшная» арендная плата кажется находкой. Такого рода женщины часто открывают именно такие магазины «художественной» дребедени. Но мисс Экстон тем и заинтересовала меня, что она явно была не такая женщина. А между тем она держалась за свою лавку!

Наш Отдел, как всегда заботливый, послал еще новое, очень хорошее рекомендательное письмо к Хичему, директору завода Чартерса, и я в тот же день после совсем недолгого ожидания был принят Хичемом. Я вручил ему и второе письмо, которое принес с собой. В обоих письмах, разумеется, ни словом не упоминалось о моей связи с Отделом. Но, независимо от этого, указывались фактические данные: мое настоящее имя, возраст, специальность, стаж в Канаде и Южной Америке и все прочее. Самая мудрая политика (а добрая половина пойманных нами шпионов этого не понимала) состоит в том, чтобы никогда не нагромождать ненужной лжи и пускать в ход правду во всех случаях, когда это возможно. Итак, я с легким сердцем наблюдал, как Хичем читает рекомендательные письма. Он действительно оказался таким, каким его описывал Периго: озабоченный маленький человек. Я держал себя гораздо непринужденнее, чем этот бедняга. У него было серое, истомленное

лицо человека, который работает до поздней ночи и никогда не бывает на воздухе.

— Знаете, о чем я сейчас думал, мистер Хичем? — спросил я только затем, чтобы облегчить ему начало разговора.

— Нет. Скажите.

— Я думал о том, что при нынешней суматохе на заводах вам, руководителям, очень тяжело приходится. Вы работаете как негры...

— Некоторые из нас работают по четырнадцати часов в сутки, мистер Нейланд, — сказал он с жаром. — Никогда я раньше не бывал в такой переделке, верьте мне. И дьявольски обидно, что как раз те, кто придает такое важное значение нашей продукции, сами торгуют и сокращают выпуск ее. Если бы я начал вам рассказывать... — И он в порыве отчаяния поерошил горсточку волос, которую война еще оставила ему на макушке.

Как я и рассчитывал, лед был сломан.

— Так вот, мистер Нейланд, — начал он, снова пробежав глазами письмо, — не скажу, чтобы нам не пригодились здесь один-два дельных человека, опытных в организации труда. Будь у вас хотя бы небольшой опыт инженера-электротехника, я мог бы вам твердо обещать, что мы найдем для вас место. Но такого опыта у вас нет.

— Нет. Что верно, то верно.

— Лично я считаю, что чисто технический опыт сейчас не так важен, как умение организовать работу в широком масштабе, руководить ею и все такое, — продолжал Хичем. — А это вы, повидому, умеете. Но согласится ли со мною правление, — это еще вопрос.

Я только того и ждал.

— Это не к спеху, мистер Хичем, и я никак не хотел бы вас затруднять. Я прошу только, чтобы вы доложили правлению, кто я такой и какая у меня квалификация, и замолвили за меня словечко. А я пока поболтаюсь в Грэтли.

Я видел, что мой ответ облегчил его и очень расположил в мою пользу. Воспользовавшись этим, я попросил у него письмо к директору Белтон-Смитовского авиационного завода, пояснив, что, раз я уже здесь, поблизости, я хотел бы узнать, не найдется ли хоть у них работы по моей специальности. Он сразу согласился и тут же продиктовал такое письмо своей секретарше. Это лишний раз подтвердило то, о чем я неоднократно говорил у нас в Отделе: любому человеку, говорящему по-английски, если только он не будет выставлять напоказ Железный Крест, достаточно иметь «липовое» рекомендательное письмо, чтобы получить возможность спо-

койно и свободно высмотреть у нас все, что ему нужно.

— Я обычно в это время обхожу цеха, — промолвил Хичем, кончив диктовать письмо директору авиазавода. — Не хотите ли посмотреть, как мы работаем?

Он очень гордился своим заводом и часа полтора водил меня из цеха в цех, объясняя, что здесь делают, и распространяясь насчет некоторых испытываемых ими затруднений. Здесь все были поглощены работой. Странно, постоянно приходится читать про такие военные заводы, где у половины людей только и дела, что строить модели самолетов да организовывать футбольные матчи, а между тем мне до сих пор ни разу не приходилось видеть такой завод. Если эти люди притворяются только для того, чтобы обмануть начальника, так начальнику следовало бы знать, что его обманывают, иначе он не годится в руководители. Ходя по заводу, я все время был на-чеку, предполагая, что здесь может оказаться кто-нибудь от военной разведки или Особого отдела. Ведь это мог быть кто-нибудь, с кем я раньше встречался или работал вместе в нашем Отделе, — тогда он меня узнает. Однако ничего этого не случилось.

К концу нашей долгой прогулки по заводу я уже испытывал невольную грусть при мысли, что занимаюсь случайным эфемерным делом конструктора, а не почтенным и разумным трудом на производстве. Мне всегда нравилось руководить честными рабочими, создавать коллектив, крепко спаянный общей работой. А ничего этого не было в моей нынешней деятельности. Каждый из нас почти всегда действовал в одиночку, слоняясь повсюду, разноухивая, выслеживая, выслушивая людское вранье. Конечно, и эта работа нужна, и в ней есть нечто увлекательное. Но в тот день я этого не ощущал. Как я уже вам говорил, мне была не по душе моя миссия в Грэтли.

Хичем поручил кому-то скопировать мои письма, так что, когда мы кончили обход цехов, мы направились через двор к заводской конторе. Но Хичема догнал один из мастеров, которому надо было поговорить с ним, и я пошел дальше один. Неподалеку от входа в контору я остановился, поджидая директора. Полицейский сержант, разговаривавший с кем-то у ворот, подошел теперь ко мне. Это был молодой парень, вероятно, недавно произведенный в сержанты, и довольно назойливый. У него был выступающий подбородок, который в литературе иллюстрированных журналов всегда символизирует сильный характер, ум, стойкость, а в действительной жиз-

ни, по моим наблюдениям, является признаком безнадежной тупости и больше ничего.

— Одну минуту! — произнес сержант с таким видом, как будто я не стоял совершенно неподвижно, а пытался бежать от него. — Я хотел бы взглянуть на ваш пропуск.

— У меня его нет, — ответил я довольно благодушно.

— Не полагается ходить по территории завода без пропуска, — сказал он.

Против этого спорить было трудно. Но я объяснил ему, что приходил по делу к директору и сейчас еще нахожусь, так сказать, в его обществе, — поджигаю его здесь.

— В чем дело, сержант?

Спрашивавший только-что вышел из конторы. Это был крепкий, холеный мужчина лет шестидесяти, с лицом похожим на хороший кусок филе, кустистыми бровями и аккуратно подстриженными седыми усами. Он напомнил мне наших генералов прошлой войны. Он был в штатском, но чувствовалось, что он только-что сбросил военный мундир и в любую минуту готов снова оказаться в нем. И говорил он, конечно, отрывистым и повелительным тоном.

Сержант поспешно отдал честь, и я почувствовал, что эти двое принадлежат к одной и той же породе людей.

— Я только спрашивал у него пропуск, сэр, — пояснил сержант.

— Правильно! — рявкнул вновь пришедший. — Я уже говорил надзирателю, чтобы он поставил кого-нибудь для контроля. Вообще я в последнее время замечаю здесь чорт знает какую расхлябанность!

— Так точно, сэр! — Оба сурово установились на меня. Таким субъектам необходимо иметь подчиненных. Какой смысл культивировать эту манеру обращения, если некем командовать и некого муштровать.

— Я уже объяснял, что пришел к мистеру Хичему. Мы с ним только-что вместе обходили завод. Да вот и он. Он вам подтвердит.

— Ладно. Сержант, идите на свой пост.

Сержант снова отдал честь и, чувствуя, что я каким-то образом навлек на него внезапную немилость начальства, кинул мне на прощанье долгий и недобрый взгляд.

Подошел Хичем и познакомил нас. Оказалось, что этот бравый мужчина — полковник Тарлингтон, о котором вчера при мне говорили в баре. Я не удивился.

— Слушайте, Хичем, — начал полковник, ограничившись формальным приветствием. — Я вижу, Стопфорд попал в столовую комиссию.

— Да, кажется, — ответил Хичем рассеянно.

— Но вы сами понимаете, что это недопустимо. Этот малый всегда был у нас в списке опасных. Он коммунист.

— Знаю, — отозвался Хичем, лицо которого выражало теперь еще большую озабоченность. — Но членов столовой комиссии выбирают сами рабочие, и, раз они хотят Стопфорда, я ничего не могу поделать.

— Разумеется, можете, — сердито возразил полковник. — Самая легкая вещь в мире. Завтра я буду говорить об этом на заседании правления. Вам известна моя точка зрения. Мы готовим все виды секретной продукции, а на нашем заводе выбирают коммунистов то в одну комиссию, то в другую, то в третью, а по городу рыщут разные беженцы из Германии. — Бог знает, чем все это кончится. Предупреждаю вас, я приму самые строгие меры. И здесь на заводе, и в городе... Самые строгие меры...

Он сухо кивнул нам обоим и удалился.

— Я уже слышал о нем, — сказал я Хичему, когда мы поднимались по лестнице в контору.

— О ком? О Тарлингтоне?

— Да. Что он собою представляет?

— Как вам сказать, — начал Хичем, словно извиняясь. — Он тут вертит всей округой. Он, собственно, землевладелец, но он и член нашего правления, и местный мировой судья, и все, что хотите. Человек безусловно энергичный, умеет произнести хорошую речь в Неделю военного флота и все такое. Но он перебарщивает. Вот теперь новая блажь: немецкие беженцы. Вбил себе в голову, что все они шпионы и члены пятой колонны, и заставил нас выгнать с завода одного очень способного химика-металлурга, австрийца. Мы никак не могли его урезонить.

— «Оплот родины», — ввернул я.

— Вот, вот. — И спохватившись, должно быть, что зашел слишком далеко, он заговорил опять отрывистым деловым тоном. — Возьмите ваши письма, мистер Нейланд, а копии я передам правлению. Записку к Робсону на Смитовский завод я вам дал? Отлично. Но не поступайте туда, не дав мне знать сначала. Нам и здесь нужны люди.

Сержант попрежнему торчал у ворот, когда я выходил, и, несмотря на то, что он видел меня в обществе своего начальства, я, должно быть, все еще казался ему подозрительным, и он жалел, что нет повода отвести меня в участок. Я приветливо улыбнулся ему и дружески помахал рукой, — а затем пожалел об этом. В нашей работе мы прибегаем к услугам местной полиции только в тех случаях, когда это совершенно неизбежно, и не было никакого смысла

выходить из роли только затем, чтобы рассеять подозрения сержанта. Но в ту минуту мне этого хотелось, и я сделал уступку самому себе.

Я выпил чаю в гостиной «Ягненка и шеста» и видел майора Бромбера, разгуливавшего в пуловере канареечного цвета и в оранжевых спортивных шароварах до колен. Я держал пари сам с собой, что он и полковник Тарлингтон нашли бы общий язык, но прекрасно понимал, что Тарлингтон гораздо более крупная фигура. (Мне доставляло удовольствие называть их про себя без чинов. Меня всегда раздражали штатские, которые упорно продолжают называть себя майорами и полковниками.) В гостиной несколько человек пили чай и тихо разговаривали, но не было никого из тех, кого я уже видел раньше. Покуривая трубку, я довольно лениво обдумывал то небольшое, что успел узнать сегодня, но пока у меня не сложилось единого цельного узора, и наблюдения мои не вязались с теми жалкими обрывками сведений, попросту намеками, которые сообщили мне в Отделе. Я начинал думать, что даже и эти сведения о шпионаже в Грэтли были неверны.

Я все еще разбирался в разрозненных клочках этой загадки-головоломки, когда в гостиной громкоговоритель раздался очередными сообщениями с фронта. Диктор пытался нас уверить, будто серьезные осложнения, повидимому, начавшиеся на Дальнем Востоке, каким-то образом уравновешиваются тем, что мы сбили парочку немецких истребителей или обстреляли из пулеметов несколько их грузовиков в Ливии. Уже десять минут длилась эта вздорная болтовня, а передача все еще была в полном разгаре, и нам грозило выступление с добрыми советами какого-нибудь второстепенного представителя власти. Поэтому я решил смыться из гостиной. Бар открывался значительно позже, так что не имело смысла оставаться здесь и ждать.

На улицах царил такой же мрак, как вчера вечером, и я уже начал проклипать себя за то, что ушел из гостиной, но вдруг вспомнил о маленьком театре-варьете в переулке неподалеку. Ощупью добрался я туда и узнал, что первый сеанс только-что начался. За два шиллинга мне дали место в партере, рассчитанное, должно быть, на муравья, а не на взрослого мужчину, так как ноги девать было некуда. Театр представлял собою квадратную коробочку с одним верхним ярусом. Крошечный оркестр, в котором преобладали молодые и толстые женщины, то громыхал, то визжал. Шесть герлс с волосами, выкрашенными у всех одинаково в модный белокурый цвет, изображали то,

что с натяжкой можно было бы назвать любительским эскизом эксцентрического танца. Чувствовалось, что кто-то наскоро объяснил им, что делает обычно кордебалет в обозрениях, и они изо всех сил старались подражать этому. Комик Гэс Джимбл, «любимец публики», оказался пожилым низеньким человечком с хриплым голосом. Он трудился, как негр, то выскакивая на сцену; то убегая, непрерывно меняя шутовские головные уборы и бутафорские костюмы, и обильно сдабривал свои монологи репликами отнесенительно Грэтли и скабрзностями, заставлявшими женщин на балконе визжать от смеха. Гэса нельзя было упрекнуть ни в чем, разве только в том, что он не смешит. Но он все-таки понравился мне больше, чем Леонард и Лерри, мрачная пара комиков, которая выступала словно в каком-то меланхолическом бреду, и певица радиокompании, soprano, весьма суровая на вид и необычайно элегантная, на которой нацеплено было добрых полтора пуда разных бус и браслетов. Дама эта внушала робость, когда была серьезна, и попросту приводила в ужас, когда становилась кроткой и стыдливой. Шесть белокурых дев все время возвращались на сцену, и их улыбки все более застывали на их лицах, а ляжки все более покрывались пятнами. Мамзель Фифин, эта сенсация двух материков, могучая широколицая молодая особа, чьи портреты занимали так много места в витринах у входа, ни разу не появлялась до самого антракта: ее приберегали для второго отделения, которое она должна была «вызвать».

Когда в зале вспыхнул свет, я увидел справа от себя, на два ряда впереди, целую компанию, в которой было и несколько человек уже мне знакомых. Ближе всех сидели мистер Периго и втиснутая между двумя молодыми офицерами моя приятельница со вчерашнего вечера, Шейла Кэстсайд, а подалее, в том же ряду, — красивая дама, которая разговаривала со мной в вагоне, миссис Джесмонд. Увидев ее, я вспомнил о смуглом иностранце, который делал вид, что незнаком с этой женщиной, а потом, думая, что я сплю, переглядывался с нею. Куда он девался? Только-что я успел это подумать и обвести глазами зал, как увидел его у стены подле первого выхода, в нескольких шагах от миссис Джесмонд. Я нагнув шляпу на глаза, поднял воротник пальто и принялся наблюдать. Я видел, как вся эта группа встала, вероятно, для того, чтобы пойти в буфет, и миссис Джесмонд была впереди всех. Дойдя до нашего общего приятеля, иностранца, она на миг задержалась, и я был уверен, что они быстро и тихо обменялись дву-

мя-тремь словами. Потом она вышла из зала, а за нею остальные.

Полминуты спустя, проходя мимо смуглого джентльмена, я бегло глянул на него и успел заметить в его влажных и печальных глазах огонек, показывавший, что он меня узнал. Но он не поздоровался и уже в следующую секунду снова впал в задумчивость. «Наверное, старинный поклонник мамзель Фифин, стехи двух материков», — подумал я.

Буфет помещался внизу, в довольно большой комнате, и народу там было не особенно много. Меня немедленно узнал и громогласно окликнул мистер Периго, на этот раз не заказывавший никому вина. Мне показалось, что угощает всех миссис Джесмонд. Мистер Периго восторженно приветствовал меня. Всякий бы подумал, что мы с ним — старые друзья.

— Ага, дорогой мой, вот мы и встретились опять, — сказал он, поглаживая меня по плечу. — Мне только-что рассказывали, что вам пришлось вчера после моего ухода применить сильно действующее средство, чтобы успокоить нашего друга Фрэнка... Нет, нет, я вас не осуждаю, ничуть не осуждаю... Ну-с, разрешите предложить вам стаканчик чего-нибудь, а затем я представлю вас миссис Джесмонд. Обворожительная женщина! Не знаю, что бы мы делали здесь без нее... Чем же вас угостить? Попробую добыть для вас немного виски.

Он суетливо засеменил к стойке, а я остался на том месте, где мы с ним встретились. Но через минуту меня увидела Шейла и направила свой бесстыжий нос в мою сторону. Она была в таком же возбуждении, как вчера вечером, и так как сегодня она никак не могла быть пьяна, то я решил, что это, очевидно, ее обычное состояние, когда вокруг много людей, шум и яркий свет.

— Послушайте, — промолвила она очень серьезно, — если вы думаете, что я прощу вам вчерашнее, не требуя от вас извинения, так вы ошибаетесь. Теперь решайте.

— Ладно, — сказал я.

— Ну, что же? Продолжайте...

Но я не продолжал. Я принялся набивать трубку, как будто Шейлы здесь не было.

— Я не отрицаю, что Фрэнк вел себя гадко, и я отчасти довольна тем, что произошло. На него иногда находит, — хотя он уже целую вечность не скандалил. Теперь он клянется, что при первой же встрече избежит вас до полу-смерти. Но вы не беспокойтесь, я случайно узнала, что он будет занят на дежурстве несколько вечеров под ряд.

— Спасибо. Я и не беспокоился.

— Ну, извинитесь же!

— Извиниться? В чем?

Она дотронулась до моей руки.

— Вы по-свински обошлись со мной. Вы отлично это знаете. — Она говорила так серьезно, как будто мы с ней были долгое время близки и я вдруг поступил с нею дурно. Она не сознавала, почему перешла на этот тон, мне же казалось, что я это знаю.

Но мистер Периго уже прокладывал себе дорогу к нам, неся стакан виски и сияя фарфоровой улыбкой.

— Вот, получайте, дорогой мой. Они боятся, что больше у них нет ни капли. Что тут у вас с Шейлой? Опять пристаает к нему, Шейла? Вы славная девочка, но иногда бываете ужасно надоедливы.

— О!.. — Шейла едва удержалась от того, чтобы выпалить что-то, — вероятно, очень грубое и весьма неприличное для дамы. Мистер Периго бросил мне быстрый многозначительный взгляд.

— Теперь вам надо познакомиться с миссис Джесмонд. Сегодня мы все — ее гости.

— Я собственно уже знаком с нею, — сказал я.

— Так я и знала! — воскликнула Шейла. — Все загадочные мужчины и загадочные женщины — одна компания.

Тем не менее, когда я направился к мистером Периго к стойке, Шейла шла вплотную сзади и все время щипала меня за локоть. Жена военного, окруженная десятком других военных, с которыми она, видимо, была в самых приятельских отношениях, Шейла должна была быть удовлетворена, и может быть, и была. Но от нее все же исходили какие-то волнующие призывы. Я благодарил бога, что она не принадлежит к типу женщин, к которым меня влечет.

— Ну, скажите на милость, как это нелепо вышло! — воскликнула миссис Джесмонд после того, как я поздоровался и был представлен ее молодым кавалерам, летчику и армейцу.

— Надеюсь, вы собирались позвонить мне, как я вас просила, да?

Я сказал (и не соврал), что собирался позвонить завтра. Потом спросил, понравилось ли ей представление.

— Мерзость, не правда ли? — воскликнула она, улыбаясь своим двум кавалерам. — Я никогда не бывала в этом ужасном театрике, но мистер Периго настаивал, чтобы мы пошли сюда, и вот эти мальчики его поддержали. Они говорят, что здесь выступает какая-то совершенно замечательная акробатка.

— Сногшибательна! — изрекла авиация.

— Я слышал о мамзель Фифин, — сказал мистер Периго с напускной серьезностью, — и как будто даже видел ее

в Медрано, в Париже. Вы, наверное, ведете счет ее трюкам?

— Интересное зрелище, — сказала армия.

— Значит, придется опять втискиваться в эти жуткие кресла, — вздохнула миссис Джесмонд, сияя улыбкой на все стороны. — Мистер Нейланд, я сегодня праздную — я не совсем знаю, что именно, — и все эти милые люди приглашены мною обедать в «Трефовой даме». Не хотите ли к нам присоединиться?

Я поблагодарил, и все мы вернулись в зал. Теперь я сидел в их ряду, зажатый между Шейлой и мистером Периго. Толстый чужестранец попрежнему стоял у стены, но и бровью не повел в сторону миссис Джесмонд. Я поймал себя на том, что думаю о миссис Джесмонд, вместо того, чтобы любоваться бурным галопом шести белокурых герлс. В вагоне я не имел возможности хорошо рассмотреть её, заметил только, что у неё длинная шея, что она богато одета и очень красива. Теперь я видел, что она уже не молода, во всяком случае не моложе меня. У неё была хорошая фигура, лицо круглое, розовое, как персик, и красивые глаза, глаза женщины пожившей и опытной. Как многие женщины, успешно воюющие со своим возрастом, она производила впечатление не совсем «настоящей». Казалось стоит сильно встряхнуть её, — и она рассыплется в прах. Что касается меня, так я не захотел бы и пальцем её коснуться, — но было в ней что-то тревожащее и даже влекущее. Она напоминала экзотический плод, который слишком долго пробыл в дороге и, вероятно, уже внутри совершенно сгнил, но всё ещё издает сладкий, чуть затхлый аромат.

— Берегитесь! — шепнула мне Шейла так близко, что её дыхание защеколало мне ухо. — Она опасная женщина. Не знаю, чем, но она опасна!

Я наклонил голову и сделал вид, что заинтересован Леонардом и Лерри, которые наводили ещё более жестокую скуку, чем раньше. Я был доволен тем, что Шейла заговорила о миссис Джесмонд, и ничего бы не имел против продолжения этого разговора. Но я знал, что у мистера Периго тонкий слух и он не упустит ни одного слова.

Он качал головой по поводу Леонарда и Лерри. «Трогательно!» Я не сказал ему, что один из них напоминает его. Но сильный толчок локтем со стороны Шейлы свидетельствовал о том, что и ей тоже это пришло в голову.

«Любимец публики» Гэс опять принялся за дело, еще более рьяно, чем прежде, к полному восторгу зрителей, в том числе и наших офицеров, и Шейлы, которая хохотала до истерики над его дешёвыми остротами. Она смеялась в тех

самых местах его монолога, которые смешили фабричных девчонок на балконе. Это было очень характерно. От меня не укрылось, что один раз мистер Периго обернулся и поглядел на Шейлу внимательным, изучающим взглядом, холодным, как лёд. Миссис Джесмонд я не мог видеть как следует, так как она сидела на три места дальше, но я ни разу не слышал её голоса, и у меня сложилось впечатление, что ей скучно. А я не скучал.

И уже во всяком случае не скучал я с той минуты, как поднялся занавес и мамзель Фифин начала свои упражнения на кольцах и на трапеции. Сильная, как молодая кобыла, она была в то же время удивительно гибка и могла извиваться самым необычным образом. Как объявлено было в афише, она предлагала зрителям считать, сколько раз она проделает каждый свой фантастический трюк, — и слышно было, как все в зале бормочут «раз, два, три, четыре, пять» и так далее. Насчитали семь одних фигур, одиннадцать других, девять третьих, пятнадцать четвертых, — и Фифин всякий раз сама объявляла итог. Говорила она мало, но я почему-то решил, что она эльзаска. Её номер, с которым она, очевидно, выступала много лет, представлял собой смесь акробатики с клоунадой, и она имела громадный успех.

— Посмотрите-ка на мистера Периго! — шепнула мне Шейла. — Теперь ясно, каковы его вкусы!

Он услышал и тотчас повернулся к нам, по обыкновению широко ослабившись, так что его щеки собрались в складки. Но улыбка эта меня не обманула: я уже видел только-что совсем другого мистера Периго. Не прошло и двух минут после появления на сцене акробатки, как он словно застыл в напряжённой позе, сосредоточив всё внимание на Фифин. Не поворачивая головы, я следил за ним уголком глаза и видел, что он, шурясь, смотрит пристально и неподвижно на извивавшуюся в воздухе белую фигуру. Я слышал, как он считал, очень старательно и серьёзно, — можно было подумать, что он импрессиарио Фифин.

— Вы очарованы, сознайтесь! — крикнула ему Шейла, когда мамзель Фифин, довольно равнодушно, принимала восторженные аплодисменты публики.

Но мистер Периго уже опять вошёл в обычную роль.

— Ну, конечно, очарован, дорогая, — ответил он во весь свой пронзительный голос. — Глядя на неё, чувствуешь себя милым, хрупким крошкой. Обожаю таких женщин! Что за руки! Какие ляжки! И потом — знаете что — я всё время развлекался, держа пари сам с собой насчет того, сколько она сделает петель, и выиграл у себя тридцать два шиллинга

шесть пенсов. Недурно, а? Вы меня понимаете? — это относилось уже ко мне.

— Понимаю, — откликнулся я. Но я, конечно, не всё ещё понимал тогда, хотя кое-что мне было уже ясно.

В это время вся труппа, выведенная на сцену Гэсом, возвещала нам, — без особенно бурного оптимизма, — что «Англия пребудет во веки». А миссис Джесмонд с компанией уже собирались уходить.

На улице, в этом мешке сажи, мы с трудом разыскали два автомобиля, и в один сели Шейла, мистер Периго и я, а вместо шофера — молодой офицер. Пока машина, громыхая и кряхтя, тащилась во мраке и слякоти, мистер Периго был до странности замкнут и молчалив, мне тоже разговаривать не хотелось, и только Шейла с офицером непрерывно трещала о всякой ерунде. Я был в дурном настроении, как всегда после такого абсолютно бессмысленного времяпровождения, но, вероятно, ещё и оттого, что мне хотелось есть и пить. О последнем я сказал своим спутникам.

— Не беспокойтесь, миленький, — кричала мне через плечо Шейла, — будет чудный обед и выпивка, увидите! Не знаю, как миссис Джесмонд умудрится всё это доставать, но достает.

Мы, наконец, куда-то приехали, но я не мог разглядеть, куда. Когда наша машина остановилась, я услышал звуки танцевальной музыки.

— Вспомним, — промолвил вдруг тихо мистер Периго, — что от Арктики до Черного моря тысячи людей сейчас мерзнут и погибают. В Греции и Нольше миллионы умирают с голоду. На Дальнем Востоке людей, среди которых, быть может, находятся и наши друзья, режут, истязают...

— Ох, перестаньте, ради Бога! — воскликнула Шейла.

— Ладно, не буду, дорогая, — хихикнул мистер Периго, выходя из автомобиля. — Я говорил не с вами, а с нашим другом Нейлэндом, потому что он, я вижу, человек разумный. И, как разумный человек, уже начинает задавать себе вопрос, для чего мы продолжаем это яростное самоуничтожение.

— Для того, чтобы победить Гитлера, — сказал офицер, видимо, славный малый.

— Несомненно, — подхватил мистер Периго с каким-то злобным удовольствием, — но можем ли мы победить Гитлера?

— Послушайте... — начал офицер, которому это очень не понравилось.

— Ах, да прекратите вы этот спор и давайте хоть раз повеселимся как следует, — взмолилась Шейла. У Шейлы всегда был такой тон, как будто она

только-что сменилась с двенадцатичасового дежурства в операционной, тогда как на самом деле она, наверное, с утра до вечера ничего не делала, только пудрила нос да звонила по телефону знакомым. Но надо сказать, что это с ее стороны была только поза. Она избрала ту линию поведения, которой, как она думала, от нее все ожидали. Я это понял, и она видела, что я это понимаю.

В «Трефовой даме», повидимому, было в обычае итти прямо в бар, где подавались коктейли, — не потому только, что хотелось пить, а потому, что в баре хозяйничал Джо. За десять минут, прошедших со времени нашего приезда сюда, я выслушал столько похвал Джо, что счел его местной знаменитостью. Это был предприимчивый малый, импортированный сюда драгоценный продукт Лондона, где он смешивал коктейли у Борани. Джо давал всем почувствовать, что с его стороны было большой милостью снизойти до Грэтли. Должен отдать ему справедливость: Джо был мастер составлять коктейли и умел доставать все нужное для них. Он мне приготовил два таких сухих мартини, каких я уже много месяцев не пробовал. Это был приветливый, бойкий парень, очень опрятный и даже щеголеватый в своей белой куртке. Он был услужлив, расторопен и с довольно сильным американским акцентом рассказывал занятные анекдоты. Он чем-то напоминал моряка. Мне нравилось наблюдать, как он работает.

Обедало нас восемь человек в столовой, служившей одновременно и танцевальным залом, и оставленной с гораздо большим вкусом, чем этого можно было ожидать от провинциального загородного ресторана. Шейла оказалась права: миссис Джесмонд угостила нас на славу. Обед был так же хорош, как и коктейли. Нам подавали омаров, жареных уток, суфле из сыра, первосортное красное вино, ликеры и коньяк. Я сидел между миссис Джесмонд (посадившей с другой стороны своего летчика) и Шейлой, вторым соседом которой был армеец. Затем тут был, конечно, мистер Периго. Он ел и пил с явным наслаждением и болтал с двумя довольно бесцветными дамами, которыми пополнилась наша компания. Я не мог понять, почему миссис Джесмонд так со мной любезна: ведь я, несомненно, мужчина не в ее вкусе, да и всякий мог видеть, что она усиленно обхаживает летчика, которого, кстати сказать, это немного смущало.

Меня ожидал сюрприз. В зале я увидел мою новую знакомую из магазина подарков, мисс Экстон, танцовавшую с дородным командиром авиаотряда. Она была очень эффектна. Я вспомнил, что, приглашая ее обедать, я упомянул о

«Трефовой даме», она тогда ответила, что слышала об этом ресторане, но не заикнулась о том, что будет здесь сегодня вечером. Правда, она тогда могла еще не знать этого.

Шейла заметила, что я смотрю на мисс Экстон. От Шейлы ничто не могло укрыться.

— Это, кажется, хозяйка того ужасного «художественного» магазина? — сказала она.

— Да? А я пытался угадать, кто она. — Она самая, — продолжала Шейла, прищурившись. — И, поверьте, она гораздо старше, чем кажется издали. Не нравится она мне.

Я рассмеялся.

— Чем же?

— Во-первых, она чванная. Во-вторых, — лгунья.

Что мисс Экстон — лгунья, я знал, а вопросом об ее чванстве ничуть не интересовался. В Англии половина населения обвиняет другую половину в чванстве, и в общем это справедливо.

— И это все? — спросил я, стараясь не выказывать любопытства.

— Нет. — Шейла подумала с минуту. — В ней есть что-то недоброе. Обратите внимание на выражение ее глаз, если окажетесь близко.

Она повернулась и заглянула мне в лицо.

— Я не дура, поверьте. Не буду отрицать, что веду себя иной раз глупо, но я не дура. Я в жизни многое видела, — я знаю ее лучше, чем большинство этих людей.

— Да, мне это известно, — сказал я и тоже посмотрел Шейле прямо в глаза.

Этой репликой я словно стер с ее лица наигранную веселую дерзость. Шейла побледнела и, допив свое вино, сказала:

— Пойдемте танцевать.

Мне танцевать не хотелось, но во время танцев поговорить с нею было удобнее, чем за столом.

— Итак? — начал я, когда мы заскользили по паркету.

— Вы хотите меня выдать? — прошептала она, пошевелив пальцами, зажатыми в моей руке.

Я сделал удивленное лицо, хотя ничуть не был удивлен.

— А что я могу выдать?

— Многое. И вы отлично это знаете. Я еще вчера вечером догадалась, что вы знаете. Мне тоже ваше лицо знакомо, но не могу припомнить, где я вас видела. Меня это мучило всю ночь.

— Не понимаю, какое это имеет значение? — сказал я. — И, если бы даже я и хотел вас «выдать», как вы выразились, я не знал бы, что именно можно о вас выдать и кому. Так что оставим этот разговор, хорошо?

Она иекоса поемотрела на меня и кив-

нула головой, уже снова улыбаясь, как прежде. Музыка умолкла, но вокруг захлопали, и оркестр снова заиграл. Мы с Шейлой всё танцовали.

— Вот не думал, что в английских заводских городах имеются такие рестораны, — заметил я.

— Да их нигде и нет, — ответила она быстро. — Это только нам в Грэтли так повезло. И бог знает, долго ли он сможет продержаться.

— А кто владелец?

— Как, вы разве его еще не видели? Да вот он стоит — вон тот мужчина небольшого роста... Да, да, это и есть хозяин «Трефовой дамы» мистер Сеттль. Этого никак нельзя подумать, правда?

— Нет. Я мог бы смотреть на него тысячу лет и не догадаться!

Танцую, мы приблизились к тому, на кого указала Шейла, и я захотел проверить, не ошибся ли я.

— Вы имеете в виду вот этого человека, так?

— Да. Это мистер Сеттль, — повторила Шейла. Он увидел ее и с улыбкой поклонился. Но затем увидел меня и перестал улыбаться. Его фамилия была не Сеттль, и я готов был держать пари на весь остаток моего годового заработка, что он, может быть, управляющий этого предприятия, но ни в коем случае не его владелец. Я знал его в Глазго — в период, когда миссис Джесмонд встречала меня там. Тогда его звали Фенкрест, и он был так беден, что не мог бы заплатить даже за вилки и ложки для такого ресторана, не говоря уже обо всем остальном. Он не знал, что я работаю в Отделе, не знал даже, вероятно, о существовании Отдела. Но в Глазго он встречал меня в обществе одного полицейского чиновника, а, может быть, и двух, трех, и наверное, думал, что я имею какое-то отношение к полиции. Во всяком случае улыбка на его лице испарилась, а через секунды две и сам он испарился из зала. Да, не говоря уже о здешних жареных утках и винах, «Трефовая дама», видимо, была прелюбопытным местечком.

— У вас такой довольный вид! — сказала Шейла.

— Я доволен, что попал сюда. Очень мило со стороны миссис Джесмонд, что она меня пригласила.

— Она любит время от времени устраивать «праздники», как она выражается, а в промежутках мы с нею подолгу не видимся. Впрочем, говоря «мы», я имею в виду всех, кроме летчиков и армейцев, за которыми она охотится. Кто их знает, когда и как они с нею видятся.

— Некрасиво, Шейла, говорить такие вещи о даме, у которой мы в гостях, — заметил я. — Однако я вижу, все наши вышли из-за стола. Чем бы теперь заняться?

— Сходить опять к Джо и попросить у него две хороших порции виски с содовой, — сказала Шейла. По дороге в бар она объяснила мне, что Джо — находка для «Трефовой дамы», что он развлекает публику, что он здесь самый полезный человек и его любит вся их компания. Одним словом, Джо — прелесть.

— Думаю, что и я его полюблю, — заметил я, мысленно спрашивая себя, куда девались миссис Джесмонд и мистер Периго. В баре их тоже не оказалось. Должно быть, здесь есть где-то гостиная.

Джо рассказывал толпившимся у стойки молодым людям анекдот о начальнике ПВО и вдове. Анекдот имел успех. Когда он был досказан и я получил заказанное виски, я с большим удовлетворением заметил, что двое военных усердно занимают Шейлу. Я передал ей ее порцию, торопливо выпил свою и вышел, в сущности, не решив еще, что сейчас предпринять.

В коридоре за столовой я увидел дверь с надписью: «Посторонним не входить». Я поспешно распахнул ее, крикнул: «Ах, простите!» и захлопнул снова. Я думал, что найду там Фенкреста, потому что похоже было на то, что здесь кабинет управляющего, но Фенкреста в комнате не было. Зато тут был другой — и кто же? Тот самый толстый смуглый иностранец, которого я уже видел сегодня вечером в театре.

В конце коридора налево был вход в большую, крикливо убранную гостиную, где люди сидели за столиками, пили, слушали радио. Я постоял у двери ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы убедиться, что мистер Периго, обе скучные дамы и офицер благополучно здесь обретаются. Против двери, направо от коридора, я увидел лестницу, узкую и плохо освещенную. Но мне и этого освещения было достаточно, чтобы разглядеть, что человек, так осторожно и бесшумно спускавшийся по ней, был Фенкрест, ныне Сеттль. На этот раз ему не удалось от меня ускользнуть.

— Алло! — сказал я, ухмыляясь.

— А, здравствуйте! Мистер Нейлэнд, если не ошибаюсь?

— Совершенно верно. А как вас теперь называть прикажете?

— Пойдемте ко мне в кабинет, — сказал он торопливо. — Выпьем.

Он привел меня в ту самую комнату, куда я заглянул несколько минут тому назад, но иностранца там больше не было. И я приметил, что этот кабинет имеет вторую дверь в глубине.

— Видите ли, мистер Нейлэнд — начал Фенкрест довольно неуверенно, — я... у меня вышли неприятности с же-

ной как-раз в то время, когда мы с вами встретились в первый раз, в.. Постоите, где же это было?

— Это было в Глазго, и у вас вышли неприятности не с женой, а с полицией, — подсказал я.

«Неприятности», о которых говорил Фенкрест, вышли у него после аферы, имевшей какое-то отношение к министерству торговли, — дело шло, кажется, о лицензии на экспорт — и меня все это касалось лишь постольку, поскольку Фенкрест мог быть связан с людьми, которыми интересуется наш Отдел. Но Фенкрест и сам был скользкий человечешко и внушал мне антипатию. Это был один из тех субъектов, которые всегда способны на что-нибудь нечестное, — и не потому, что они жулики по природе, а просто потому, что они любят легкую наживу и беззаботную жизнь и не любят много работать. Таких людей тысячи, и чем скорее их вытаскают из их укрытий — контор и кабинетов — и заставят рубить деревья или чинить дороги, тем будет лучше для всех остальных.

— Это было простое недоразумение, — сказал он торопливо. — Как я уже говорил вам, у меня были нелады с женой и поэтому, когда мне предложили здесь место, я переменял фамилию в надежде, что теперь жена меня не разыщет. Вот и все. Выпьете чего-нибудь, мистер Нейлэнд?

— Нет, благодарю. Почему вас здесь считают владельцем «Трефовой дамы»?

— А откуда вы знаете, что я не владелец?

— Вы бы еще спросили, откуда я знаю, что вы не чемпион тяжелого веса в королевском флоте.

— Это другое дело. Для этого вам стоит только взглянуть на меня.

— Вот это самое я и делаю. — И я действительно с полминуты смотрел на него в упор. Ему было явно не по себе от моего взгляда, и он ерзал на стуле, хватаясь то за свой стакан, то за портсигар.

— Скажите, кто же хозяин этого заведения?

Он опасливо огляделся по сторонам. Вильнул плечами. Потер лысину на макушке. Он был очень смущен, а я — в восторге от его смущения.

— Ну, кто же все-таки?

— Не думаю, чтобы вы имели право спрашивать это. И мне неудобно ответить на ваш вопрос.

— Вам очень удобно ответить, Фенкрест. Я задаю его вторично, а имею я на это право или нет, — дело не ваше. Говорите же!

Он сдался.

— Владелица — миссис Джесмонд, — пробормотал он. — Но об этом никто

здесь не должен знать, так что вы меня не подводите. Вы сегодня обедали с нею, да?

— Да. И обед был превосходный. Кто она такая?

— Право, мистер Нейлэнд, мне и самому о ней очень немного известно, — ответил он, на этот раз искренно. — Она, кажется, вдова и жила на широкую ногу. Последние годы жила на Ривьере, уехала оттуда перед самым падением Франции. У нее, должно быть, в Англии громадное состояние. Она купила эту гостиницу просто из прихоти и содержит ее для развлечения. Некоторые из нашего штата — например, повар и Джо — ее старые знакомые, она приняла их на службу, желая им помочь.

— Джо она, наверное, знавала, когда он работал у Борани?

— Да. А после того, как Борани разбомбили, Джо остался без дела и совсем расклеился. Он захотел уехать из Лондона, и она привезла его сюда.

Во всей этой истории одно только было неладно: не совпадали даты. Мне случайно было известно, что ресторан Борани разбомбили в октябре 1940 года. Выходило, что Джо целый год употребил на то, чтобы «расклеиться», раньше чем приехать в Грэтли.

— Да, для вас большая удача то, что вам удалось заполучить Джо. Он, кажется, настоящая приманка для публики... А что, «Трефовая дама», наверное, — золотое дно?

— Дело у нас идет хорошо, — подтвердил он, — но главным образом потому, что у нас имелись большие запасы консервов, вин и ликеров.

— Как-нибудь на-днях вы мне непременно укажите, Фенкрест, где можно купить несколько банок таких омаров, как нам подавали сегодня.

— Простите, одну минуту, — извинился он, так как в дверь постучали. Его вызвал по делу один из официантов. Он спокойно, без колебаний оставил меня одного в своем кабинете, из чего я немедленно заключил, что здесь нет ничего достойного внимания. Поэтому, как только Фенкрест вышел, я обследовал вторую дверь, через которую, должно быть, ушел толстый иностранец. Она оказалась незапертой и выходила прямо на узкую и темную лесенку. Я закрыл за собой дверь и, освещая путь электрическим фонариком, тихонько поднялся вверх. Здесь лесенка упиралась в другую дверь, тоже незапертую, а за ней оказалась небольшая площадка, — видимо, передняя чьей-то отдельной квартиры. Но, даже приложив ухо к двери, я не мог расслышать ни одного слова, не мог узнать голоса, доносившиеся изнутри.

В маленькой прихожей было совсем темно, и только из-под дальней двери,

выходившей в главный коридор, пробивался узкий луч света. Оттуда до меня вдруг донесся легкий шум, и затем я увидел вертикальную полоску света, которая быстро расширилась: кто-то очень тихо и осторожно открывал дверь. Я отступил назад, плотно прижался к стене в таком месте, куда не падал свет из коридора и откуда я мог увидеть того, кто открывал дверь.

Это был мистер Периго. Только-что успел я узнать его, как он прощмыгнув в прихожую и бесшумно закрыл за собой дверь. Сделано это было очень ловко и быстро. Если он выучился подобным штукам в то время, когда промышлял предметами искусства, так он, должно быть, обделывал тогда любопытные делишки.

Итак, мы стояли оба в этом темном и тесном пространстве. Я затаил дыхание. Я понимал, что он занят тем, чем был занят я полминуты назад: он пытался подслушать разговор в комнате. Следовательно, он стоял вплотную у той двери, и нас разделяла вся ширина прихожей. Но такое положение не могло длиться долго.

Вдруг, совершенно для нас неожиданно, дверь широко распахнулась, и в маленькую прихожую хлынул поток света. В этом свете стоял мистер Периго (который с быстротой молнии отскочил от замочной скважины и выпрямился), а за его спиной — я, так что всякий мог подумать, что мы с ним только-что пришли вместе. На пороге появился смуглый иностранец с кожаным чемоданчиком в руке, а за ним стояла миссис Джесмонд, и сразу видно было, что она здесь у себя дома. Миленькое положение!

Кому-нибудь надо было заговорить — и поскорее.

— Извините, миссис Джесмонд, — начал я через плечо мистера Периго, — мистер Сеттль сказал нам, что вы здесь наверху. Но, разумеется, если вы заняты, то...

— Мы с Нейлэндом только-что совещались, не лучше ли нам уйти, — подхватил мистер Периго самым естественным тоном.

— Нет, разумеется, нет, — возразила с улыбкой миссис Джесмонд. — Входите же! И вы тоже, мистер Тимон, вы непременно должны еще немножко побыть с нами. Некуда вам спешить... Он всегда так занят... — добавила она, обращаясь к нам. Все это говорилось, чтобы дать мистеру Тимону прити в себя, так как он был явно испуган и сильно растерян нашим неожиданным появлением. Сделав над собой большое усилие, он пробормотал что-то нечленораздельное, попробовал улыбнуться и вошел обратно в гостиную, а мы за ним.

Описывая свою первую встречу в поезде с этим человеком, я говорил, что он слишком явно похож на иностранца, чтобы быть шпионом и чтобы представлять для меня какой-либо интерес. Я не слежу за людьми, у которых словно на лбу написано: чужеземец. Но в поезде он не сказал ни одного слова. И сейчас, слушая его, я испытывал крайнее изумление: этот мистер Тимон говорил с сильным ланкаширским акцентом!

— Мне нельзя долго задерживаться, потому что я еду сегодня ночным поездом обратно в Манчестер.

— А, вы живете в Манчестере, мистер Тимон? — заметил мистер Периго.

— Да, с самого детства, — ответил тот просто. — Я знаю, Манчестер очень многим не нравится, — ну, а для меня он достаточно хорош.

Даже сейчас, глядя на него, можно было подумать, что его подобрали где-то между Салониками и Басрой и спустили к нам на парашюте. В жизни не видал человека менее похожего на ланкаширца! А между тем, говорить так может лишь человек, проживший большую часть жизни в Ланкашире.

Миссис Джесмонд хлопотала у стола, угощая нас вином, а мистера Тимона какой-то минеральной водой, так как он с гордостью объявил нам, что всю жизнь был трезвенником. «Капли в рот никогда не брал, и отец мой тоже», — уверял он, все время уголком глаза присматривая за своим чемоданчиком, набитым, вероятно, засаленными банкнотами и билетами.

Истинная миссис Джесмонд была так же необычайна, как мистер Тимон или как дивный обед, которым нас угощали внизу. Она ничуть не походила на «апартаменты», которые встречаешь обычно в таких местах, как «Трефовая дама». Мебель была хороша, а картины еще лучше. Если бы мистер Периго действительно был знатоком живописи, он бы кинулся обнюхивать эти стены, как щейка, почувшая запах сырой говядины. Я выпил свое вино и, представив мистеру Периго занимать болтовою миссис Джесмонд (мистер Тимон же дал вид, что заинтересован их разговором, но явно жаждал уйти), обошел комнату, рассматривая картины. Я люблю живопись, хоть я и не знаток. Видимо, миссис Джесмонд во Франции не теряла даром времени и денег. Она сумела приобрести превосходные картины. Здесь висела одна из лучших когда-либо виденных мною работ Утрильо, изображавшая уличную сценку; «Плодовый сад» Бюффара — словно видение потерянного рая; два-три рисунка Дерена и розовый Пикассо, который, наверное, один стоил больше, чем вся обстановка в «Трефовой даме». Были, разумеется, еще другие

картины, но я успел только бросить на них беглый взгляд.

— Замечательные у вас тут есть вещи, — сказал я миссис Джесмонд.

— Вы заметили? — немедленно подхватил мистер Периго. — Я целыми часами смотрел на них — по особому разрешению, конечно, — вот миссис Джесмонд может подтвердить.

Миссис Джесмонд подтвердила, и мистер Периго кивнул мне с улыбкой, как будто прочитав мои мысли.

Мистер Тимон, схватившись за чемоданчик, объявил, что ему пора идти, и миссис Джесмонд вышла проводить его в коридор.

— Как удачно, что мы пришли сюда оба разом, — зашептал мне мистер Периго, — правда? А я ведь искал вас.

— Я беседовал с мистером Сеттлем.

— Вот как! Мне всегда казалось, что очень уж бесцветный человек этот мистер Сеттль. Трудно себе представить, что подобный человек способен организовать такое предприятие и руководить им. Правда?

— Да я этому просто не поверил, — ответил я, усмехнувшись.

— И я тоже. Совершенно невероятно. А вот такая женщина, как миссис Джесмонд, — продолжал мистер Периго восторженно, — могла бы блестяще вести это дело, — ради прихоти, понимаете?

— Возможно. Я ведь ее знаю не так хорошо, как вы.

— Я ее очень мало знаю, — шопотом возразил мистер Периго с подчеркнутым конфиденциальным видом. — Я собственно ни с кем из них близко не знаком. Я оказался здесь вне своего круга. Впрочем, не совсем так, — прибавил он поспешно. — В обществе миссис Джесмонд я как бы в своей стихии. Вы в этом сами можете убедиться, — стоит только взглянуть на эту чудесную комнату. Так что иной раз в ее присутствии мне удается забыть об ужасной войне, — и я ей за это очень благодарен. Оттого-то я и стоял так долго в прихожей у двери, не решаясь ее обеспокоить. Я знал, видите ли, что у нее — наш друг, Тимон Манчестерский (право, ему бы следовало называться Тимоном Афинским), и что они, вероятно, обсуждают вместе какое-нибудь дельце.

— А какие у них дела? — спросил я. Он с улыбкой покачал головой.

— Понятия не имею... Вы любите работы Руа? Если любите, — так имейте в виду, что вон там, в верхнем ряду есть одна его очень хорошая картина.

Миссис Джесмонд вернулась и мило улыбалась нам. Как было не восхищаться этой женщиной? Она уже, конечно, успела выяснить (если не знала раньше), что мистер Сеттль и не думал

нас посылать наверх и что мы просто-напросто вломились к ней. Но она и виду не подала, что ей это известно.

— Я только-что говорил мистеру Нейланду о вашем Руа, — сказал ей мистер Периго.

— Он говорил, кроме того, что в вашем обществе забывает об этой ужасной войне, — вставил я, любуясь ее стройной шеей и бархатистыми, как персик, щеками.

— Присаживайтесь и давайте уютно поболтаем, — промолвила она, бесшумно опускаясь в кресло с высокой спинкой. Все ее движения были изящны и легки и заставляли иной раз думать, что она в молодости побывала в балетной школе.

— Мистер Периго недоволен войной. А вы, мистер Нейланд?

Я разыграл выразительную пантомиму.

— Что ж, вряд ли кто ею доволен, то правде говоря, — неопределенно про бурчал я.

— Мистер Нейланд имеет престранную манеру иной раз притворяться гораздо менее умным человеком, чем он есть на самом деле, — мягко заметил мистер Периго.

Но я стойко не выходил из роли, хотя мне самому она была неприятна. И сказал.

— Мне думается так: я канадец, приехал сюда устраиваться на службу и, покуда немного не осмотрюсь, лучше мне помакивать.

— Ах да, кстати о службе, — отозвалась миссис Джесмонд. — Я слышала, что вы сегодня ездили на завод Чартерса?

Я выпучил глаза.

— Да как вы узнали? — это вышло у меня хорошо, в духе моей первой пантомимы.

— Дорогой мой, миссис Джесмонд знает обо всем, что происходит в Грэт-ли, — заметил мистер Периго.

— Ну, не обо всем, — возразила она со смехом, — но я замечала всегда, что если я чего не знаю, так оно известно мистеру Периго. Впрочем, это так понятно: обоим нам делать нечего, только слушать слетни. Сами знаете, мистер Периго, мы с вами не очень-то заняты работой на оборону, не так ли?

— Думаю, что вы все-таки больше, чем я, — ответил он, не сморгнув, — ну, хотя бы здесь в «Трефовой даме». Ведь вы так усердно развлекаете наших славных юных воинов. Я же только слоняюсь без дела. Но это все равно: я не верю в так называемые «усилия» страны.

— Перестаньте, не смущайте вы мистера Нейланда.

— Ничего, ваяйте, — сказал я. — У меня своя собственная точка зрения.

— Ну, разумеется, — сказал мистер Периго. — И я очень хотел бы узнать ее.

— Нет, сперва вы... Да и вообще... раз я хочу здесь устроиться, мне надо болтать поменьше...

— Здесь вы можете говорить что угодно, — сказала миссис Джесмонд. — Правда, мистер Периго?

— Правда, но он-то, конечно, этого еще не знает, — ответил тот. — Ну, а я вообще не скрываю своих мнений, — за исключением, конечно, тех случаев, когда нахожусь в обществе таких заядлых патриотов, как полковник Тарлингтон. Не отрицаю, что точка зрения у меня несколько эгоистическая, но я всегда откровенно сознавался, что я не более как эгоист. Я знаю, какая жизнь меня может удовлетворить и знаю, что на такую жизнь больше рассчитывать нельзя, если мы будем продолжать войну. Даже если, предположим, нам удастся победить Гитлера, — а пока не это что-то не похоже, — мы добьемся этого только ценой полного истощения всех наших сил. А результатом будет то, что, даже в случае так называемой победы, полмира окажется под властью Америки, а другая половина — под властью Советского Союза. А для меня это — безнадежная перспектива. Поэтому я... — это строго между нами, мистер Нейланд! — я не вижу смысла затягивании войны и считаю, что лучше притти к разумному соглашению с немцами, — необязательно с самим Гитлером, можно и с германским генеральным штабом.

— Я была такого же мнения даже еще до вступления в войну России, — сказала миссис Джесмонд уже серьезно, без улыбки. — А сейчас я просто убеждена в этом.

— Убеждены? В чем? — спросил я.

— В том, что глупо с нашей стороны продолжать войну — главным образом из-за большевиков. Ничего мы не выиграем, а потерять можем еще очень много.

Я посмотрел на нее и затем, пока она за мои рассеянно блуждала по ее гостиной, я представил себе, как в первую зиму войны, когда она никак не могла разыграться по-настоящему, в комнатах, подобных этой, в Париже собиралось должно быть, множество женщин вроде миссис Джесмонд, красивых, умных, культурных, утонченных, нежно-благодарящих холеных гадин.

Следя за нею уголком глаза, я заметил, что она и мистер Периго обменялись быстрым взглядом. Необходимо было поддерживать разговор.

— Да, да, — промямлил я, всем своим видом показывая, что опять разыгрываю ту же роль, — я понимаю, что вы оба имели в виду, но я привык думать ина-

че. И потом... поскольку в это дело вмешалась Америка...

— Америка, насколько я знаю, имеет обширный план развития военной промышленности. Но в большей своей части это еще пока только план.

— Ну, при ее ресурсах... — начал я.

Он не дал мне договорить. Личина не-принужденности и вкрадчивой любезности разом слетела с него.

— У нас без конца мелют разную чепуху о ресурсах, — как будто самолеты растут на деревьях, а танки можно выкапывать на огородах, как картошку. Чтобы эти ресурсы превратить в военное снаряжение, нужно не только время: для этого требуется большая организованность, энергия, волевое усилие всего народа. А имеется ли в демократических государствах такая организованность, энергия и коллективная воля? Если да, то до сих пор во всяком случае они мало обнаруживались.

Я посмотрел на миссис Джесмонд. Она мне улыбнулась. Потом взглянула на часы, как будто бы украдкой, а на самом деле стараясь, чтобы я это заметил, — и я понял намек. Вероятно, наступал час, когда кто-нибудь из молодых людей, оставшихся внизу, должен притти к ней сюда.

— Ну, мне пора. Большое спасибо, миссис Джесмонд, — сказал я, продолжая играть роль неотесанного простака. — Я чудесно провел время и, если получу работу и останусь здесь, то вы уж мне позвольте заглянуть к вам сюда вторично в самом ближайшем времени.

— Ну, конечно, непременно, — отозвалась она и крепко, выразительно пожала мне руку. Как соблазнительны были эти бархатистые и розовые, как персик, щеки! Она, может быть, и чужую кровь себе переливала, доставая ее на Черном рынке.

Мистер Периго ушел со мною вместе.

— Боюсь, что наболтал лишнего, — сказал он тихо, когда мы шли по коридору. — Миссис Джесмонд, ее комната, ее картины — все это меня волнует, и я начинаю говорить больше, чем следует. Но, разумеется, я, знаю, что я среди друзей. Если бы вы вздумали ходить по Грэтли и повторять другим некоторые мои замечания, вы бы могли наделать мне больших неприятностей. Но я уверен, что вы на это не способны.

— Мне это и в голову не придет. Я люблю высказывать свои мнения и никогда не мешаю другим делать то же, — сказал я.

(Еще, каким идиотом я должен был казаться им!)

Мистер Периго стиснул мне руку. Мы в это время уже спускались вниз по главной лестнице.

— Именно такое впечатление о вас я

вынес уже в первую нашу встречу, дорогой мой. Вот почему я сказал тогда, что надеюсь скоро опять увидиться с вами. Вы домой?

— Да, у меня сегодня был утомительный день, а завтра нужно ехать на Белтон-Смитовский завод... У меня очень хорошее рекомендательное письмо к директору... Так что, пожалуй, пойду домой выпастись. Как мне попасть обратно в город? Не хотелось бы никого просить подвести.

Он сказал, что сейчас как-раз отходит ночной автобус, и я еще успею добежать до остановки на углу. Он был прав. Я вскочил в автобус уже на ходу. И у меня было о чем подумать, пока я ехал домой.

4.

На следующий день я побывал на заводе Белтон-Смита, — и прескверный это был бы день, если бы в конце его не произошла одна встреча. Во-первых, на заводе меня не очень-то обласкали. Директора Робсона, к которому Хичем дал мне письмо, я не застал, и после бесконечного ожидания меня передали с рук на руки какому-то тощему молодому человеку по фамилии Пирсон. Я не представлял для него никакого интереса — и осуждать его за это нельзя. Но он мог бы хоть чуточку постараться скрыть это полное отсутствие интереса. Зевнув несколько раз, он пояснил, что последние ночи слишком мало спал, так как готовил к открытию новый ангар. Он показал мне этот ангар через окно. Громадное здание заводской конторы находилось всего в нескольких стах метрах от ангаров, которые были грандиозных размеров и, повидимому, занимали участок длиной с полмили. До сих пор мне никто не может объяснить, почему мы, выстроив по всей стране такие гигантские авиационные заводы, никогда не имеем достаточного количества самолетов.

Этот малый, Пирсон, — в промежутках между зевками — яснее ясного дал мне понять, что у меня нет ни малейших шансов поступить на их завод. Он даже, кажется, находил, что со стороны Хичема было просто бесчестно некоторым образом обнадеежить меня, давая мне письмо к Робсону.

Пирсон мне не понравился. Он был из тех англичан, которые и миной своей, и тоном внушают вам, что нынешняя война — нечто исключительное, частное, для избранного круга лиц, — нечто вроде королевского сезона в Аскоте или павильона для членов Палаты лордов. Не будь у меня веских причин для того, чтобы осмотреть завод, я не стал бы заискивать перед подобным субъектом. Но, видно, таков уж мой удел, что приходится завоевывать расположение лю-

дей, которые мне не нравятся. Нужно было попытаться и на этот раз.

— Вы не возражаете против того, чтобы я осмотрел завод?

— Я лично ничего бы не имел против, — ответил Пирсон. — Но у нас теперь насчет этого очень строго... Масса засекреченной продукции, сами понимаете...

— Понимаю.

Эти люди с их «засекреченностью» ужасно раздражают меня. Это дурацкое выражение всегда только привлекает внимание вместо того, чтобы отвлекать его. Не раз бывало, что из всего чужого разговора я слышал ясно только это идиотское слово. Однако я не стал делиться с Пирсоном своими мыслями по этому поводу и постарался, чтобы он на лице моем не прочел их.

— Впрочем, если вам интересно, — сказал Пирсон, — я могу позволить вам заглянуть на минутку в наш главный ангар, — только для того, чтобы вы имели представление о масштабах нашей работы. Если вы не передумали, я найду вам проводника.

Я от души поблагодарил его — и не потому, что мне хотелось «заглянуть» в его ангар, а потому, что я жаждал увидеть этого проводника. Если мое предположение было верно, то на этого проводника стоило взглянуть. Я сказал Пирсону, что ни в коем случае не передумаю.

Проводник был хорош: в комбинезоне, пропахшем лаком, которым кроют самолеты, с очками в железной оправе, сдвинутыми на кончик носа, с растрепанными усами. Лет ему было на вид за пятьдесят, и он казался очень утомленным. Видно было, что человек рад бы отдохнуть от постоянной тяжелой работы. Такие фигуры можно встретить на любой строительной верфи. Говорил он с раздражающим акцентом лондонских окраин.

— Вы приезжий, не правда ли, сэр? — осведомился он, когда мы вышли из конторы.

— Да, — ответил я осторожно. — Я только-что приехал из Лондона, но я, собственно, канадец. Меня направили в Электрическую компанию Чартерса для переговоров насчет места. Ну, а пока их правление раздумывает, я решил съездить сюда и посмотреть, не найдется ли для меня здесь какого-нибудь дела.

— Так, так! — сказал он, не глядя на меня и не умеряя своей рыси. — Мне всегда хотелось побывать в Канаде. И в Южной Америке тоже. Это была моя мечта.

— В Южной Америке я работал несколько лет, — сказал я, — в Чили и

Перу. Чудесная страна для тех, кто молод и здоров.

— А я уже не молод и далеко не здоров: старый насос в последнее время работает неважно. Да, с сердцем у меня неладно...

Мы шли через обширный двор между зданием конторы и громадными замаскированными ангарами. За дорогой, справа, виднелся аэродром, где подвигались испытанию новые сверхмощные «циклоны». Я слышал гудение их больших пропеллеров. Неожиданно выглянуло солнце, сильный ветер смел с неба тучи. Стоял один из тех зимних дней, когда все вокруг кажется частью очень четкого цветного рисунка. Проводник остановился и дотронулся до моего плеча. В этот момент мы были одни, далеко от всех и от всего.

— Большое сердце или не большое, — сказал он, доставая пачку папирос, — а покурить все же надо. Без этого не могу.

Угостив и меня папиросой, он вынул зажигалку. Мне стоило только взглянуть на нее, чтобы понять, что вот теперь действительно начинается работа в Грэтли.

— Не горит, — сказал он, не поднимая глаз. — Нет ли у вас огонька?

Я достал и свою зажигалку специального назначения, и мы оба закурили.

— Я бы отдал вам свою, — сказала я осторожно, — но это — подарок старого приятеля.

— Спасибо, не беспокойтесь. Я завтра же приведу свою в порядок.

Удовлетворенные, мы переглянулись и кивнули друг другу. Он сразу преобразился. Утомленное выражение осталось, так как он был не моложе, чем казался, но исчезло всякое сходство с лондонским «кокни». Да, подходящего человека командировал сюда наш Отдел!

— Я приехал на завод специально для того, чтобы встретиться с вами, — сказал я ему.

— Это разумно. Лучшего способа не придумаешь. Меня приставляют, конечно, ко всякому новому человеку, но на этот раз я догадался, что это вы. Вот почему я прежде всего заговорил о Канаде и Южной Америке: мне сообщили из Лондона некоторые сведения о вас. Давайте, пойдём дальше, но медленно. Может быть, за нами наблюдают.

— Здесь нам поговорить вряд ли удастся. Как вы думаете?

— Нет, на это и надеяться нечего. А потолковать нам необходимо как можно скорее. Слушайте, Нейланд, у меня есть комната на Раглан-стрит, в доме номер пятнадцать. Это второй поворот налево от Милл-Лэйн, а Милл-Лэйн — направо от Верхней Маркет-стрит. Запомнили? Отлично. Комната моя в первом этаже, но не забудьте, что у нас в Англии пер-

вым считается тот этаж, который в Америке называется вторым. И зовут меня здесь Олни, а фамилия квартирной хозяйки Уилкинсон. Найдете? Хорошо, значит, приходите сегодня вечером в половине десятого. Раньше нельзя, потому что мы здесь кончаем работу в семь, а мне еще нужно кое-что проверить до того, как дать вам сведения, которые я успел собрать.

Он остановился, чтобы бросить окурок и затоптать его. Я сделал то же со своим. Это послужило нам предлогом для того, чтобы поговорить еще с минуту.

— Так у вас уже есть в руках какая-то нить? — спросил я.

— Да. Я не терял времени даром, хотя это было нелегко, поскольку я здесь, на заводе, занят целый день. А у вас?

— Есть две-три догадки, но еще рано делать из них какие-либо выводы. Вечером поговорим... Значит, в половине десятого.

— Да. А теперь мы с вами заглянем в ангар, и я буду обращаться с вами, как с несколько сомнительным типом. Пирсону скажу, что у меня есть кое-какие подозрения на ваш счет. Это будет полезно для дела, потому что такие новости быстро распространяются в Грэтли. Вот увидите.

Четверть часа спустя меня выпустили через главные ворота. Я старался не показывать, как я доволен. Вот это называется с пользой провести время! Славный старик Олни понравился мне и видом своим, и разговором. И я чувствовал, что, хотя уже наметил себе несколько пунктов, которые требовали выяснения, разумнее будет не предпринимать ничего самостоятельно, пока я не услышу от Олни того, что он хочет мне сообщить.

Почти всю первую половину вечера я просидел у себя в номере, пытаюсь взвесить и должным образом расценить все те обрывки и клочки сведений, которые я за это время успел добыть в Грэтли. Я видел, что некоторые из них ничего не стоят, пока я не сопоставлю их с наблюдениями человека, который живет здесь уже некоторое время. Вы не можете себе представить, с каким нетерпением ожидал я свидания с Олни. Мне не только нужны были указания, — я предвкушал удовольствие быть час-другой самим собой, не иметь надобности притворяться, поговорить свободно и откровенно о нашем деле. Время тогда было тяжелое, и, как я уже вам говорил, на душе у меня было скверно, и мне нужен был настоящий товарищ, а таким для меня мог быть только человек, знающий истинную причину моего пребывания в Грэтли. Все разговоры, какие были у меня до сих пор в Грэтли, как вы уже, надеюсь, и сами заметили, напоминали ужение рыбы, и в них было столь-

ко же дружеского, сколько его имеется в крючках, на которые насаживается приманка. Итак, когда я в четверть десятого вышел из гостиницы, чтобы встретиться с Олни, я был в самом лучшем расположении духа.

Затемнение показалось мне еще невыносимее обычного. Я брел ощупью, как в подземелье. Верхнюю Маркет-стрит я разыскал довольно легко, но затем начались мои мученья. Как водится, и первый, и второй прохожий, которых я догнал и чуть не свалил с ног, на мой вопрос, где находится Милл-Лэйн, ответили, что они «не здешние». На один миг мне представилось, что по улицам этого затемненного города бродят одни только «не здешние». Может быть, в Грэтли не осталось никого, кроме не здешних? Наконец, полисмен показал мне (почти ткнув меня в него носом) узкий проход к Милл-Лэйн. После этого я прошел мимо Раглан-стрит, приняв вход в гараж или что-то в этом роде, за поворот влево, — и пришлось возвращаться обратно. Но, в конце-концов, я нашел-таки Раглан-стрит и, опоздав минут на десять, позвонил у двери номера пятнадцатого, который оказался небольшим домиком с террасой.

Дверь открыла женщина, похожая на серую мышь, и лицо у нее было испуганное, пока я не объяснил ей, что пришел по делу к ее жильцу мистеру Олни.

— Комната мистера Олни во втором этаже, вверх по лестнице и направо, — сказала она робко. — Но он еще не возвращается.

Мы стояли в тесной прихожей с тем душным запахом шерсти, который я замечал во многих маленьких домах в Англии, — как будто в них хранятся залежи старых одеял. Из первой комнаты слышно было радио — выкрики какой-то пары шумливых актеров.

— Я думаю, вам можно пройти наверх и подождать, — продолжала хозяйка. — Он мне прислал записку, что к нему придет один человек, — это на тот случай, если он немножко запоздает.

— Он знал, что я приду.

— Да, видимо, знал. А вот про даму ничего не написал.

— Какую даму?

— Ну, как же... — она понизила голос. — Его там дожидается еще какая-то дама. Доктор.. как ее.. фамилии-то я не запомнила.

Это было неприятно, — конечно, если только женщина наверху не окажется товарищем по работе. Олни не сказал ни слова о том, что при нашем свидании будет присутствовать какая-то женщина. А я предпочел бы, чтобы вообще не было никакой женщины.

— Ладно, все равно, — сказал я. — Пойду наверх дожидаться его.

Внезапное появление имеет иногда свои преимущества. Я поднялся по лестнице быстро и бесшумно и сразу, без стука, вывалился в комнату Олни. Поэтому я успел заметить, как сидевшая тут женщина торопливо сунула в карман бумажку, которую раньше держала в руках. Движение было инстинктивное, но факт оставался фактом. И видно было, что она в большом смятении.

— Простите, если я вас испугал. Но я опоздал на свидание, которое назначил мне здесь мистер Олни, и...

— Его нет дома, — сказала она, тяжело дыша, желая выиграть время. — Я... я его жду.

Это была женщина лет тридцати пяти с тонким и несколько суровым лицом, с яркими зеленовато-карими глазами. В этих умных глазах я прочел тревогу и какую-то неуверенность. Видимо, ее ужасно злило то, что ее застали здесь.

— Пожалуй, сниму пальто, — сказал я. — Здесь тепло.

В комнате и в самом деле было тепло, потому что в камине горел жаркий огонь. И вообще эта комната, видимо, с успехом заменяла Олни гостиную. Она была довольно велика и уютна, несмотря на убогую потрепанную мебель. Помню, я подумал, что мне нужно будет найти себе комнату в таком же роде.

Женщина посмотрела на свои часы и сдвинула брови.

— Мне, собственно, нужно было только на одну минуту повидать его, — начала она.

— Не беспокойтесь. Я могу подождать, пока вы с ним поговорите.

— Вы, кажется, сказали, что он прощил вас притти раньше?

— Да, в половине десятого. Не хотите ли папиросу?

— Нет, спасибо. Я не курю.

Тем и кончилась наша вежливая предварительная беседа. Я закурил и, лениво блуждая глазами по комнате, время от времени украдкой поглядывал на соседку. Доктор «как ее», — сказала о ней хозяйка. Да, и, видимо, сильно чем-то встревоженный и издерганный доктор. И первым движением этого доктора была попытка избавиться от бумажки, которую она держала в руках.

— Между прочим, разрешите представиться, — сказал я самым непринужденным тоном. — Моя фамилия Нейланд. Я канадец, только-что приехал в ваш город. Хлопчучо о службе. Инженер. Мистера Олни я встретил сегодня на авиазаводе.

— Вот как! — Она улыбнулась, лицо у нее сразу стало другое. — Возраст? Женат или холост? Ваши любимые развлечения?

— Анкета? Прекрасно, не возражаю. Возраст — сорок три. Вдов. Любимые

развлечения — ужение рыбы на муху, исторические романы и путешествия, кино и не слишком серьезная музыка. Вот вам исчерпывающие сведения.

Опять ее лицо осветила улыбка — и очень приятная. Но ненадолго. В следующую минуту она уже насупилась, как будто желая прекратить разговор. Но я смотрел на нее и выжидающе ухмылялся. Не для того же я ей сообщил все о себе (и ведь истинную правду, если не считать маленькой лжи насчет места на заводе), чтобы сидеть здесь, так ничего и не узнав о ней.

— Я имею врачебную практику в Грэтли, — сказала она важно. И затем прибавила с оттенком невольного восторга: — Я — доктор Бауэрнштерн.

И все. Больше не было милых шуток насчет семейного положения и любимых развлечений. Доктор Бауэрнштерн. И при этом ни малейшего следа иностранного акцента! Может быть, она была не англичанка, очень возможно, что шотландка, но, судя по произношению, ни в коем случае не немка. Я читал и слышал о немцах с безупречным английским произношением, а встречать таких до сих пор не приходилось. Они принадлежат к той же фантастической категории людей, что и гениальные сверхшпионы, действующие в десятки обличьях, и герои преступного мира, стоящие во главе широко разветвленных организаций.

— Пожалуй, мне не стоит дольше ждать, — промолвила доктор Бауэрнштерн, не глядя на меня. Она сидела на краешке глубокого старого кресла, в то время как я развалился в таком же, по другую сторону камина. Я делал все для того, чтобы она стала чуточку доверчивее, но ничего у меня не вышло.

— Не хотите ли что-нибудь передать через меня? Я его дождусь.

— Дело в том, что... — она нерешительно помолчала, все глядя куда-то в сторону. Потом посмотрела на меня в упор блестящими испуганными глазами: так часто смотрят люди, которые собираются поднести вам вопиющую ложь.

— Мистер Олни — мой пациент, и я прописала ему вчера лекарство, а потом подумала, что... — да, я в этом теперь уверена, — что оно не вполне подходящее... во всяком случае его можно заметить лучшим. Ну, я и зашла к нему... по дороге домой... чтобы сказать об этом... Вот и все.

— Понимаю. — Я рискнул взять быка за рога. — Так этот неудачный рецепт вы и спрятали в карман, когда я вошел?

В лице ее и так было мало румянца, а тут оно побелело, как бумага. Но ненадолго. Через минуту она уже притворилась оскорбленной и рассерженной. К этой уловке любят прибегать все жен-

щины, независимо от того, получили они дорогостоящее медицинское образование или нет. Она, разумеется, встала и начала застегивать пальто, я тоже встал, благоразумно пряча усмешку.

— Когда вы так стремительно вбежали сюда, — сказала она, и голос ее звучал словно на неизмеримом расстоянии от меня, — я читала письмо, и, естественно, вы меня испугали..

— Знаю, я уже извинился. Кроме того, мне не следовало спрашивать о том, что меня совершенно не касается. Боюсь, что я невежа и слишком любопытен.

— Да, — подтвердила она, собираясь уходить. — Я заметила, что вы очень любопытны.. Нет, не потому что вы задали этот вопрос. Вас выдают глаза. Они у вас очень беспокойные, очень пытливые и очень печальные. Вы несчастливы — и поделом. Прощайте.

И раньше, чем я успел что-нибудь сказать или обдумать следующий шаг, она была уже в коридоре. Застигнутая врасплох, эта доктор Бауэрнштерн напомнила затравленного зайца, но, когда она владела собой, она всякого могла оставить в дураках. Я утешал себя тем, что узнаю все о ней от Олни, ибо, был он ее пациентом или нет (а он по многим причинам мог предпочесть ее другим врачам), он во всяком случае должен знать что-нибудь о ней. Я же успел только притти к выводу, что эта женщина живет в каком-то постоянном мучительном напряжении, что она умна и что она мне антипатична.

Но где же застрял Олни? Было уже десять часов. Мне не сиделось на месте, и я стал ходить из угла в угол. Комната была так же «типична», как наружность и поведение Олни, когда я встретил его сегодня на заводе. Здесь не было ни единой книги, ни единого листа бумаги, которые могли бы навести на мысль, что в комнате живет не заводской мастер. Я лишний раз увидел, какой умница этот Олни, и мне еще сильнее захотелось поговорить с ним по-настоящему.

Приблизительно в четверть одиннадцатого я услышал внизу звонок и затем голоса. Кто-то пришел. Я осторожно выглянул и увидел полицейского сержанта. В следующую секунду я его узнал. Это был тот самый мул с выступающим подбородком, которого я видел сегодня на заводе Чартерса и который почувствовал ко мне такое нерасположение. Он поднимался по лестнице.

Мне оставалось менее двух секунд на то, чтобы принять какое-нибудь решение. Если я останусь здесь, то избежать встречи мне не удастся. Надо было или встретиться с ним лицом к лицу, или поскорее убираться отсюда. Если он увидит меня здесь, то либо это возбудит в нем такие подозрения, что полиция на-

чет следить за мной с утра до вечера, либо мне придется открыть ему, кто я и что делаю в Грэтли, а этого мне не хотелось. Конечно, может быть, рано или поздно мне придется свести знакомство с местной полицией, но чем меньше эти назойливые остолопы будут знать обо мне, тем лучше для моего дела, а значит, для дела обороны и для объединенных наций. Итак, выход был один — улизнуть. Я вскочил на окно, затемненное длинными и тяжелыми занавесями, нырнул в щель между ними, пролив луч света на затемненный мир, поднял нижнюю раму и, уцепившись за подоконник, повис в воздухе, а затем, вытянувшись, разжал руки и упал. Будь внизу камни, я, вероятно, попал бы в больницу и пролежал два-три месяца в гипсе, но я пошел на риск, рассчитывая, что внизу немощный задний двор или садик. И оказался прав, но все же тяжело и гулко шлепнулся на землю. Я упал в какой-то сад, где снег лежал еще большими кучами, и это помешало мне разбиться.

Приземлившись таким образом, я услышал, как наверху в комнате (из которой все еще лучился свет) орет сержант. Услышал я и другой голос, — вероятно, какого-нибудь дежурного ПВО. Этот доносился как будто с улицы, налево от меня. Я как можно скорее поднялся с земли, легко нашел калитку, благодаря лучу света, падавшему из окна, и, завернув за угол, пошел по переулку направо. Кто-то засвистел в полицейский свисток — должно быть, сержант гнался за мной, — а затем я услышал быстрые шаги: кто-то шел по переулку мне навстречу. Было очень скользко, и я понимал, что далеко не уйду, раз полиция гонится за мной по пятам. Поэтому я шмыгнул в первые же открытые ворота в переулке, пробежал по проложенной в снегу дорожке, и, найдя черный ход незапертым, забрался внутрь какого-то помещения, которое принял в темноте за маленькую кухню.

Я не знал, что происходит на улице, но чувствовал, что опасно сейчас выходить, нужно переждать здесь. Самое разумное было либо оставаться в этом чужом доме как можно дольше, либо попробовать незаметно прокрасться к парадному ходу. Тут только я вспомнил, что мое пальто и шляпа остались в комнате Олни и что у меня очень мало шансов получить их обратно, — разве что в полицейском участке. Правда, ни пальто, ни шляпа не могли служить против меня уликой, в них не было ничего приметного, не было даже клейма мастерской: проработав почти два года в Отделе, я кое-чему научился. Но все же мне было досадно, я клял себя за то, что не догадался захватить их.

К счастью, мой электрический фонарик был так мал, что я носил его не в паль-

то, а во внутреннем кармане пиджака. И теперь он пригодился мне для того, чтобы выбраться из этой кухни грязной норы, где воняло кошками и квашеной капустой. Я вдруг сообразил, что этот дом — совершенно такой же, как тот, где жил Олни, и здесь должна быть такая же маленькая прихожая. Проскользнув в нее, я услышал голоса за дверью, первой от входа. Я стал подслушивать и через минуту узнал один из голосов. В этой комнате находился не кто иной, как «любимец публики, наш талантливый комик» мистер Гэс Джимбл. Вероятно, он подкреплялся и отдыхал после тяжелой работы.

Я постучал и вошел. Да, это был Гэс, еще со следами грима на испитом лице, но уже, ввиду позднего часа, без воротничка и галстука.

За столом, кроме Гэса, сидели: тучная матрона, молодой человек — нето Леонард, нето Лерри: — и одна из шести герлс. Они только-что кончили ужинать и теперь курили и наливали себе пива. В комнате было очень тепло, а запах стоял такой, словно здесь непрерывно ели, пили и курили в течение последних двадцати часов.

— Мистер Джимбл? — произнес я, поспешно закрыв за собой дверь.

— Да, это я, — отозвался Гэс, не очень удивившись. Мне повезло: я попал к людям, — вероятно, единственным в Грэтли, — которых не смутит появление в их доме чужого человека в такой час.

— Простите, что я врываюсь к вам так поздно, — начал я.

— Ничего, ничего, дружище, — сказал Гэс весело. Быть может, ему было приятно увидеть новое лицо как-раз сейчас, когда он после выступления размяк и стал словоохотлив.

— Знакомьтесь. Это миссис Джимбл. А это моя дочь и муж ее, Лерри Дуглас. Оба работают со мной в труппе. Были на нашем представлении?

— Как же, вчера вечером, — ответил я со всем энтузиазмом, на какой был способен. — Был, и это доставило мне громадное удовольствие. Отчасти потому я и пришел. Моя фамилия Робинзон, я был в гостях у знакомых, на этой улице, и от них узнал, что вы живете здесь рядом. А так как мне нужно кое о чем спросить вас, я и пришел. Стучал, стучал, но мне не открывали. Ну, я немного озяб, стоя на улице, а тут как-раз услышал ваши голоса — и вошел. Надеюсь, вы меня извините.

Все это я изложил, обращаясь к миссис Джимбл, очень вежливо, так что она была явно польщена.

— Конечно, конечно, — сказала она. — Очень приятно познакомиться, мистер

Робинзон. — И она с достоинством посмотрела на дочь, как бы говоря: «Вот это я называю вежливостью! Наконец-то со мной обходятся должным образом».

— А я только-что хотел сказать, что вы, видно, очень озябли, мой милый, — заметил Гэс, вставая и отодвигая свой стул. — Давай-ка, мать, передвинем стол. Лерри, Дот, помогите!

— Наша квартирная хозяйка, — сказала миссис Джимбл, когда мы разместились поудобнее, — ложится очень рано, и, кроме того, она глуха, — вот отчего она на ваш стук не отперла. Она ничего не слышит, даже когда я говорю с нею.

— Отлично слышит, когда захочет, — возразила Дот, которая, видимо, была в дурном настроении. — Верьте им!

— Ну, вот, так-то лучше, — воскликнул Гэс, когда мы все собрались у камина. — Стаканчик пива, мистер Робинзон? Конечно, выпейте. Налей-ка ему, Лерри. Нам сегодня подвезло с пивом, мистер Робинзон. В последнее время бывали дни, когда нельзя было достать ни капли — во всяком случае нам, простым смертным. Поверите ли, просто пересыхало в глотке... Да, так вы говорите, вам понравилась программа?

— Очень. И всей публике очень понравилась.

— Ну, конечно — сказал Гэс. — Ко мне всегда хорошо относились в Грэтли, не могу пожаловаться, не могу пожаловаться. Вы, конечно, догадываетесь, что я имею долю в нашем предприятии. В «Ипподроме» сейчас идет одна из наших второстепенных программ... Не скажу, чтобы она была сенсационной, — добавил он осторожно, — потому что это было бы преувеличением. Да, выдавать ее за сенсационную было бы несправедливо по отношению к Грэтли. Но, во всяком случае, программа не из плохих. И должен вам сказать, мистер Робинзон, предприятие у нас может быть, и не большое (я и не говорю, что оно большое), но вы бы удивились, если бы, знали, какие суммы мы расходует на артистов. Возьмем к примеру нашу певицу Марджори Гросвенор...

— И не стоит она таких денег! — перебила его жена весьма решительно. — Ничуть не стоит. Я это говорила с самого начала. Правда, Дот?

— Правда, ма. И с тех пор вы это твердили нам каждый вечер, — сказала Дот.

— Ваше здоровье, мистер Джимбл! — воскликнул я, поднимая свой стакан.

— И ваше, дружище... Ну-с, так вы говорили, что у вас какое-то дело кс мне?

— Да, в сущности, ничего особенного, — сказал я извиняющимся тоном. — Вчера в театре меня заинтересовала одна из ваших артисток, — и я решил заглянуть сюда и порасспросить вас о ней. Видите ли, у моего приятеля, канадского француза, была сестра, замечательная гимнастка, и мне известно, что несколько лет тому назад она приехала в Англию, чтобы выступать в театре водевилей или где-то в этом роде. А вчера, когда я смотрел на вашу мамзель Фифин, мне пришло в голову, что, может быть, она и есть сестра моего друга.

— Вот оно что! Подумайте, какое странное совпадение: ведь, мы только что перед тем, как вы вошли, говорили о ней.

— Ничего в этом странного нет, потому что мы постоянно говорим о ней, — возразила Дот.

— Да замолчи ты или ступай спать! — буркнул ее муж, Лерри.

— Что тако-е? — сразу вскипела Дот.

— Ну, ну, будет вам! — прикрикнул на супругов Гэс, умиряя их суровым взглядом и обнаружив больше родительского авторитета, чем я предполагал в нем. — Дайте нам спокойно поговорить. А кому не угодно, тот может пойти наверх и там на свободе выкричаться. Так-то!

Он отвернулся от них и лукаво подмигнул мне. Гэс нравился мне в жизни гораздо больше, чем на сцене.

— А как звали сестру вашего приятеля?

— Элен Мальвуа, — ответил я без запинки, во-время вспомнив имя одной славной старой девы, которую встречал в Квебеке много лет тому назад.

— Нет, тогда это не она, — сказал Гэс с какой-то официальной, торжественной серьезностью, видимо, наслаждаясь своей ролью. — Мне случайно известно, что настоящее имя Фифин — Сусанна Шиндер. — Он произнес это имя, старательно отделяя слоги. — И она родом из Страсбурга, я точно знаю.

— Значит, это не та, — сказал я. — А между тем, ваша акробатка похожа немного на моего канадского приятеля. К стати, трюки ее хороши.

— Безусловно, интересный номер. — подтвердил Гэс, а остальные трое обменялись весьма многозначительными взглядами. — Талантливо и подано мастерски. Но... очень странная особа... очень странная.

— Странная? Да она форменная психопатка! — воскликнула Дот. — Она до смерти испугала двух наших хористок, когда они в Сэндерленде случайно зашли как-то раз в ее уборную.

— Я это давно говорила, — вмешалась миссис Джимбл, у которой, видимо,

был довольно однообразный репертуар. — Говорила, Гэс, или нет? Я с самого начала предсказывала, что от нее будут одни неприятности, потому что она дурная женщина. Я имею в виду не пьянство и не мужчин...

— Ну, насчет мужчин я не так уверен, как вы, — заметил Лерри. — Впрочем, если она и любит мужчин, так у нее странные вкусы, судя по тем мужчинам, которые приходили к ней.

— Не мужчин она любит, — возразила Дот решительно. — Спросите-ка у Розы и Филлис, они вам кое-что расскажут...

— Хватит! — остановил ее Гэс. — Мистер Робинзон может, бог знает, что подумать о нашей труппе! Нет, Фифин просто особа с большими странностями. А, когда я говорю «со странностями», так я имею в виду именно это и больше ничего: за те сорок лет, что я разъезжаю с труппой, я перевидал немало всяких людей. Во-первых, Фифин ни с кем не дружна. Вы можете работать с нею в одной труппе месяц, не обменявшись и десятью словами, — она заговорит с вами только в том случае, если ей покажется, что с ее кольцами или подпорками что-нибудь неладно.

— Может быть, это оттого, что она не очень хорошо говорит по-английски, — предположил я.

— Ох, уж эти мне иностранки! — воскликнула миссис Джимбл с бурным взрывом возмущения, — не стала бы я принимать их в труппу! Нет, не стала бы. Грязнухи!

— Одну минуту! — остановил ее Лерри. — Фифин нельзя назвать грязнухой.

— Если не тело, так душа у нее грязная, — возразила миссис Джимбл безапелляционным тоном.

— Ты сама не знаешь, что городишь, мать, — благодушно заметил Гэс, шлепнув ее по могучей ляжке. — Теперь помолчи и дай мне сказать. Английский язык у Фифин хромает, это верно, но я знаю людей, которые говорят по-английски гораздо хуже, да это им не мешает трещать так, что от них голова разбалывается. Нет, просто она недоброжелательна. Она не хочет стать в труппе своим человеком. Да и работой, кажется, не так уж интересуется. Вы понимаете, мистер Робинзон, я особенно не могу жаловаться, потому что она всегда имеет большой успех — вы сами видели вчера. Но, поверьте, она могла бы иметь гораздо больший, если бы захотела.

— Как так? — спросил я и, смею вас уверить, спросил не просто из вежливости.

— Вы видели ее номер. Она заставляет зрителей считать фигуры, —

что ж, это хороший прием, так же, как заставлять публику петь хором. Но, стоя каждый вечер за кулисами и слушая, как в зале считают, я вот что заметил: она могла бы делать всякий раз гораздо больше фигур, но почему-то в иные вечера какой-нибудь трюк на трапеции проделает только четыре-пять раз, тогда как я точно знаю, что она легко могла бы проделать его пятнадцать-двадцать раз, потому что в другой вечер она тот же самый трюк повторяет пятнадцать, восемнадцать, двадцать раз. А, если так, — почему не делать этого каждый вечер? Понимаете, мистер Робинзон, что я хочу сказать?

Я ответил с полной серьезностью, что понимаю.

Тут нас удивила Дот.

— А я знаю, почему она каждый вечер меняет число трюков, — начала она.

— Совсе не каждый вечер, — перебил ее Лерри. — Иногда счет бывает одинаковый несколько вечеров под ряд. Я знаю, потому что считал сам.

— Наверное, затем, чтобы глядеть на ее жирные ноги, — сказала Дот, злобно посмотрев на него. — Она меняет число из суеверия. Она сама говорила как-то мне и Филлис. И я знаю, что она страшно суеверна. Она сидит в своей уборной и гадает себе на картах. А нам ни за что гадать не хочет. Вообще, она, по-моему, психопатка, и довольно говорить о ней!

— Вот еще новости! — воскликнула миссис Джимбл, строго посмотрев на дочь. — Тебе не интересно, а другим, может быть, интересно!

— Какого сорта мужчины ходят к ней? — спросил я.

— Я заметил только двух-трех, — сказал Гэс. — Так, обыкновенные люди. Немолодые, насколько мне помнится.

— Ничего в них нет особенного. Те из них, кого я припоминаю, — снова вмешался Лерри, который на сцене показался мне прескверным комиком, зато сейчас производил впечатление очень наблюдательного молодого человека, — совсем не были похожи на мужчин, которые гонятся за такими женщинами, — знаете, так называемых поклонников. Я встречал ее раза два в трактирах и кафе с какими-то типами, и они толковали о чем-то, но за руки не держались, не любезничали...

— Не все имеют твои привычки, — заметила Дот. Она, видимо, была из тех жен, которые считают своим долгом при посторонних каждые пять минут одергивать мужа.

— Ты отлично знаешь, что я хотел сказать, — сердито возразил Лерри. — Я просто объясняю, что они вели себя не как любовники. Похоже на то, что

они приходили туда по делу, а какие у них дела — один Бог знает.

Миссис Джимбл вдруг начала зевать во весь рот. Я допил свое пиво.

— Ну, очень вам благодарен. Все это очень интересно. И еще раз спасибо за вчерашнее представление, мистер Джимбл. — Я пожал всем руки.

— Я вас провожу, — сказал Лерри. И, когда мы вышли в прихожую, он закрыл за собой дверь и спросил тихо:

— Вы сыщик, не правда ли?

— Господи помилуй! Конечно, нет, с чего вы взяли?

— Ладно, я и не рассчитывал, что вы мне скажете правду. Но я догадался, что вы не зря расспрашивали про Фифин. И на вашем месте я бы постарался разузнать о ней побольше. Если смогу вам чем-нибудь помочь, дайте мне знать. В прошлом году меня освободили от военной службы, и я взял да и женился на Дот. Вот и попал в трупку. Дело это мне не больно нравится, и я знаю, что ни черта не стою. Но не думайте, что я дурак.

— Вижу, что вы не дурак, — заверил я его. Когда он не кривлялся на эстраде в паре с ужасным Леонардом, он производил приятное впечатление. Мне стало жаль его.

— Кроме того, — добавил он, уже открывая одной рукой дверь на улицу, — вы у меня в долгу, так как я вас не выдал тем, — он указал на комнату, откуда мы вышли. — Вы сказали, что вошли в эту дверь, но я пришел домой последним и отлично помню, что запер ее и заложил на засов, и никто больше ее не открывал. Так что я знал, что вы вошли не этим путем.

— Ладно, Лерри. Не стану спорить с вами. Но я был бы вам очень признателен, если бы вы хранили это про себя. И, может быть, мы с вами еще увидимся до вашего отъезда из Грэтли.

— Осталось только три вечера, — сказал Лерри. — Но вы можете прийти ко мне в любое время. Уборная, где я гримируюсь (я не называю ее своей, потому, что она на троих), рядом с уборной Фифин, а Фифин выступает каждый вечер в двух сеансах. Понятно?

Я окунулся в ночь, которая сейчас показалась мне особенно холодной, потому что я был без пальто. На улицах было темно, как всегда, и я вернулся в гостиницу никем не замеченный. Меня огорчало то, что я не увиделся с Олни, и мучило какое-то предчувствие, что дела принимают скверный оборот. Но вечер не был потерян: этой Фифин стоило заняться. И доктором Бауэрнштерн тоже. С какой целью она делает такие поздние визиты своим не большим пациентам, почему казалась такой угнетенной и встревоженной?

Я словно видел перед собой эти блестящие испуганные глаза. У докторов такого выражения глаз быть не должно. Докуривая последнюю трубку в своей комнате наверху, я говорил себе, что слышком много женщин затесалось в это дело. Вот уже целых пять, за которыми придется последить! Совершенно необходимо как можно скорее поговорить с Олни.

5.

Следующий день начался дурно. Утро было сырое, валил мокрый снег. Заголовки газет чернели дурными новостями, как траурные рамки извещений о смерти. Когда я вышел после завтрака в вестибюль, женщина за конторкой предупредила меня, что срок истек и мой номер нужен для «одного из наших постоянных жильцов». Я ответил ей, что комнату освобожу, хотя пока не нашел другой, но что те немногие гостиницы, которые еще у нас существуют, следовало бы предоставлять для приезжающих, а не для «постоянных жильцов». Она отправила меня к майору Бремберу, я и ему повторил то же самое. Он в лаконичной форме сообщил мне, что это — его дело, а не мое. Я с этим не согласился, но ушел, понимая, что этому человеку, всецело занятому своей ролью знатного землевладельца (это на главной-то улице промышленного города), для развлечения на досуге содержащего гостиницу, бесполезно объяснять, чего требует от нас война. В газетах начинали уже бить тревогу, спрашивая, что же у нас неладно. Так вот, одна из наших бед — это idiotские «благородные традиции» разных майоров Бремберов, которые висят на нашей шее грузным гниющим трупом альбатроса. Все они обманывают самих себя, делая вид, будто сейчас все еще 1904 год, а потом удивляются, когда из этого ничего хорошего не выходит. Они не желают ни возвратиться к жизни, ни честно умереть. Да, в это утро я был в очень мрачном настроении.

Около десяти часов я позвонил по телефону на Белтон-Смитовский завод и попросил позвать Олни, сказав, что я его близкий друг и что он мне очень нужен. Не хотелось мне это делать, но это было все-таки лучше, чем так скоро пытаться опять проникнуть на завод или вызывать Олни за ворота. Я долго ждал у телефона, потом дежурная сказала мне, что Олни до сих пор нет и он, видно, опять заболел, как несколько дней тому назад. Заключив из этого, что я сейчас застаю Олни дома, я решил не терять даром драгоценного времени.

Итак, не рискуя идти пешком без шляпы и пальто, я вызвал такси и,

когда мы подъехали к дому № 15 на Раглан-стрит, сказал шоферу, чтобы он подождал меня.

Миссис Уилкинсон, к счастью, оказалась дома. Увидев меня, она пришла в еще большее смутение, чем вчера.

— Я хочу поступать только правильно, — сказала она робко, когда я вошел вслед за нею в переднюю.

— Я в этом не сомневаюсь, — ответил я вполне искренно, потому что видел, что она именно такая честная труженица. Эти робкие, замученные маленькие женщины не берут от жизни ничего того, что стоит брать от нее, и тем не менее говорят истинную правду, утверждая, что хотят «поступать правильно».

— Но что вы хотите этим сказать, миссис Уилкинсон?

Она еще с минуту нерешительно смотрела на меня. Потом промолвила:

— Вам следует пойти наверх, в его комнату.

Я подумал: «наверное, Олни предупредил ее, что я приду вторично». И, хотя меня поразило ее непонятное смущение, я, ни о чем больше не спрашивая, пошел наверх.

В комнате Олни, заполнив всю ее собой, сидел массивный рыжеватый мужчина, выражением лица напоминавший мне буйвола, жующего жвачку. А на столе, на самом видном месте лежали мои пальто и шляпа.

— О! — воскликнул я, растерявшись от неожиданности. — Где же Олни?

— А на что он вам? — спросил он хмуро.

— Нужен. Вчера вечером мы должны были с ним встретиться, но он не пришел.

— А вы приходили? Сюда, а?

В его говоре был сильно замечен местный акцент, и оттого он казался грубым.

— Приходил. Мы с Олни виделись днем на заводе и он попросил меня прийти сюда в половине десятого.

Великан кивнул головой.

— Вот это прямой ответ. Пальто и шляпа ваши?

— Мои.

— Я так и знал, что не его. Слишком велики. Так это вы выскочили отсюда в окно вчера вечером?

— Я.

— Глупая выходка! Зачем это вам понадобилось?

— Затем, что мне не нравится ваш сержант и я не хотел объяснять ему, зачем я здесь.

— Мой сержант?

— Да, — сказал я с усмешкой. — Если вы не имеете отношения к местной полиции, значит, моя наблюдательность мне на этот раз изменила.

— Та-ак, — протянул он. Все в нем было как-то тяжело, но он не про-

изводил впечатления тупицы. Он мне понравился, хотя я предпочел бы не видеть его здесь.

— Да, важна наблюдательность, как вы это называете, в полном порядке. Я полицейский инспектор Хэмп. А вы кто такой?

— Меня зовут Гэмфри Нейлэнд.

— Американец?

— Канадец. Кстати, меня внизу ждет такси и, если мы остаемся здесь, я, пожалуй, отпущу его.

— Нет, мистер Нейлэнд, лучше мы попросим шофера отвезти нас ко мне в управление, — сказал инспектор, медленно поднимаясь. В нем, должно быть, было пудов шесть весу и при этом не так много жира.

— Можете надеть пальто и шляпу.

Дорогой в такси он не сказал ни одного слова, — и я тоже, так как я еще не решил, насколько мне следует быть с ним откровенным. Наш Отдел всегда предоставляет нам действовать по своему усмотрению, и, как я уже объяснял, обычно нам рано или поздно приходится все же прибегать к услугам местной полиции. Но, когда только начинаешь работу, лучше, чтобы полиция о тебе ничего не знала.

— Такси нанимали вы, — сказал Хэмп, ухмыляясь, когда мы подъехали к главному управлению полиции.

— Конечно, — ответил я и расплатился с шофером.

Инспектору Хэмпу следовало бы предоставить более просторное помещение, чем этот его кабинет: когда он расположился за своим письменным столом, в комнате уже не осталось свободного пространства. Мне пришлось довольствоваться маленьким стулом с жестким сиденьем, втиснутым между столом и окном. На столе, на бюро, лежала записка, и Хэмп потратил минуты две на то, чтобы взглянуть в ее содержание, после чего уставился на меня щелочками умных глаз, теребя свои желто-серые усы. И я окончательно уверился в том, о чем догадывался уже и раньше: инспектор Хэмп был не из тех, кого можно обмануть баснями.

— Ну-с, мистер Нейлэнд, — начал он. — Я хотел бы узнать от вас некоторые подробности. Давно ли вы в Грэтли и что здесь делаете?

Я ответил, что ищу работы и уже побывал и в Электрической компании Чартерса, и на Белтон-Смитовском заводе. Назвал людей, к которым обращался и тут, и там.

— Так, — заметил он. — А с Олни вы были знакомы раньше?

— Нет, вчера днем я встретился с ним впервые, и он пригласил меня к себе. Я, вель, уже объяснял вам.

— Совершенно верно. Но что побудило его пригласить вас к себе?

— Нам нужно было потолковать об одном частном деле.

— Гм... И важное было дело?

— Да, очень важное. И мне необходимо как можно скорее увидеться с Олни. Поэтому я и ходил к нему на квартиру сегодня утром. Я звонил на завод и мне сказали, что его там нет и что он, вероятно, заболел.

— Нет, он не заболел, — сказал инспектор с расстановкой. — Он умер. Вчера вечером в темноте попал под автомобиль и убит на месте.

— Я знал с той ночи, когда приехал сюда, что из-за вашего чертовского затемнения может случиться что-нибудь ужасное! — воскликнул я. — Вот и случилось. Бедный Олни! Он мне очень нравился, этот человек. Он был мастер своего дела. И я так ждал разговора с ним! А, будь оно все проклято!

Я смотрел рассеянно в затуманенное дождем окно, вспоминая. Ведь, я все это время где-то в глубине души чувствовал, что с Олни случилось несчастье и наш разговор никогда не состоится.

— Вы, упомянули, что он был мастер своего дела — сказал, помолчав, инспектор. — А какое же у него было дело? —

Я сделал удивленное лицо.

— Какое дело? Но ведь вы же знаете, он был мастером на Белтон-Смитовском заводе.

— Если он был только мастером, значит, погиб он из-за несчастного случая в темноте, — произнес инспектор, — и на этот раз удивление мое было не притворно.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы, очевидно, что-то знаете, — и мне тоже кое-что известно. Если вы мне сообщите то, что знаете, то и я, может быть, скажу вам то, что мне известно... Да, даже наверное скажу.

— Ну, хорошо. Мне известно, что Олни — или может быть, его настоящая фамилия не Олни — был сотрудником Особого отдела и работал здесь по приглашению Белтон-Смитовского завода. Я поехал туда вчера в надежде наладить с ним связь. И мне это удалось.

— Да, — сказал инспектор, — то, что я от вас узнал, только подтверждает вот это донесение, — он указал на записку. — Теперь скажите, мистер Нейлэнд, какое вы имеете ко всему этому отношение?

Я взял со стола блок-нот и написал на нем две цифры: номер телефона в Лондоне и другой — ну, просто номер.

— Если вы позвоните по этому телефону и назовете вот этот, второй, номер, вам сразу дадут обо мне нужные справки.

— Я сейчас так и сделаю, — сказал инспектор и снял трубку. — Что, ловлей шпионов занимаетесь?

— Да. Назовем это контршпионажем. Как-то лучше звучит. И не уверяйте меня, что в Грэтли не может быть никакого шпионажа, потому что нам удалось узнать, что он тут есть.

— Я вовсе не собирался вас ни в чем уверять, — зарычал Хэмп. — А хотел я сказать и скажу вот что: не пойму, почему вы все делаете из этого такую тайну и не хотите работать совместно с полицией.

— Иногда работаем, — ответил я, — но, ведь, в конце-концов, нельзя знать... и среди полиции могут оказаться какие-нибудь энергичные члены пятой колонны.

— Что такое?! — сразу ошетинился Хэмп и сжал свои громадные кулаки. — Позвольте вам заметить, мистер Нейлэнд, что в нашей стране полиция...

— Замечательная. Знаю. Я такого же мнения о ней, как и вы. Но мне пришлось раза два сталкиваться с полицейскими чиновниками, которые представляли собой неплохую имитацию фашистов. Он усмехнулся.

— Встречал я и таких, парень, — сказал он шопотом.

В эту минуту его соединили с Лондоном, а я занялся набиванием и раскуриванием трубки.

— Ну, что ж, инспектор, — сказал я, когда телефонный разговор был окончен, — я вам сообщил то, что знаю. Теперь очередь за вами.

— Нам дважды повезло при расследовании этого дела, — не торопясь, начал свой рассказ Хэмп. — Сначала мы думали — обыкновенный несчастный случай, каких уже немало было в Грэтли с тех пор, как на нас свалилось это затемнение. Но я случайно заметил, что на пальце у Олни налип комочек глины, а глины-то нет нигде вокруг того места, где мы нашли его. Ну, и сегодня рано утром у меня мелькнула догадка, где именно его пальце могло испачкаться глиной. Я сходил туда, взяв с собой двух моих полисменов, мы осмотрели местность и нашли записную книжку. Я так полагаю, что, когда его сшибли, он прежде, чем потерял сознание, успел каким-то образом бросить подальше от себя эту книжечку. Потом его втащили в машину, которая его переехала, отвезли и сбросили там, где мы его нашли вчера вечером, в без четверти десять, — в конце Верхней Маркет-стрит. Одним словом, это не похоже на обыкновенный несчастный случай.

— Я убежден, что это не простой случай, — сказал я решительно. — Его убили, убрали во-время для того, чтобы помешать ему сообщить мне то, что он открыл. Он говорил мне днем, что попал

на след... Да, а записная книжка у вас?

— Здесь. Но в ней как будто нет ничего интересного.

— А что вы нашли у него в карманах?

— Вот тут список, — сказал инспектор, вынув его из ящика. — Все обычные вещи. Мелочь. В бумажнике пять фунтов десять шиллингов, удостоверение личности и все прочее. Перо. Карандаш. Ножик. Папиросы. Коробка спичек...

— И зажигалка, да? — спросил я поспешно.

Инспектор удивился:

— Нет, зажигалки никакой не было.

— Надо сейчас же ехать обратно к нему на квартиру! — крикнул я, вскочив со стула. — Пока мы здесь с вами сидим и толкуем, там кто-нибудь, может быть, уже обкуривает комнату.

— Ему пришлось бы сперва справиться с пятипудовым констэблем, — хихикнул инспектор, — потому что в комнате в эту минуту сидит такой. Он сменил меня, когда мы с вами уезжали. Знаю, знаю, что вы его не заметили, но что же из этого? Вы, наверное, не все замечаете. А почему это вы спросили насчет зажигалки?

— Всякий, кому предстоит работать с нами, сотруdnиками Отдела, получает особой формы зажигалку, и мы по ней узнаем друг друга. Конечно, при этом говорят еще условные фразы.

— Пароли, условные знаки! — фыркнул инспектор. — Честное слово, вы мне напоминаете школьников, придумавших себе игру.

— А кого напоминал Олни, когда вы его нашли? Это тоже похоже на игру школьников?

— Сдаюсь, — сказал Хэмп сухо. — Что ж, я только простой полицейский. В тонкостях «художественной работы» ничего не смыслю.

Я вынул изо рта трубку и ткнул ею Хемпа в грудь.

— Инспектор, вы меня вынудили открыть карты, потому что мне нужно было узнать все об Олни. Я не хочу работать вместе с полицией — слишком много людей. Но я был бы рад с нынешнего дня работать с вами.

— Я тоже буду очень рад, мистер Нейлэнд! — Он широко улыбнулся.

— Отлично. Но раньше, чем мы начнем, вам надо уяснить себе две-три вещи. То, что мы делаем, может быть, и похоже на игру, но, поверьте мне, это не игра. Нацистские агенты убили моего лучшего друга и его жену. Вот почему я так легко дал втянуть себя в работу контрразведки. Я уверен, что бедного Олни убил тоже агент нацистов, убил здесь, в городе, под самым

носом у вас. Игра! Верьте мне, такая «игра» не хуже танков и самолетов помогла нацистам утвердиться в Норвегии, в Голландии, в Бельгии, во Франции.

— Пожалуй, вы и правы, мистер Нейланд, — сказал Хэмп, как всегда медленно и раздумчиво. — Да, пожалуй, вы правы, но ведь я простой полицейский и только... Правда, я — не дурак. Но я ничего не понимаю во всем этом шпионаже и действиях пятой колонны.

— Вы не должны забывать, что нынешняя война очень сложна, — сказал я. — А официальная точка зрения здесь в Англии — например, то, что они подносят публике на митингах в неделю Военного Флота, — не слишком умна. У нас постоянно стараются внушить людям, что это война — последняя, но действительность не укладывается в эту схему. Нельзя трактовать эту войну, как обыкновенную, как столкновение различных флагов, как суету с пением национальных гимнов, демонстрацией патриотизма и все такое. Нам приходится сажать под замок некоторых англичан, которые хотят, чтобы победил Гитлер. С другой стороны, у нас здесь есть немцы, которые, не жалея сил, помогают нам против него. Верно я говорю?

— Верно, — согласился он, глядя на меня прищуренными глазами. — Я заспел, мистер Нейланд. Но имейте в виду, что я непременно хочу слушать дальше. Так вот, я должен вам сказать что я обычно в это время пью чай. Не выпьете ли вы чашечку?

Я сказал, что выпью, и он высунул голову за дверь и проревел, чтобы принесли две чашки чаю.

— Я вот как смотрю на эту войну, — продолжал я. — Пускай на каждой стороне воюют миллионы и миллионы, которые поддерживают того, кого поддерживает их страна и правительство, — но, в сущности, настоящая война идет между теми, кто верит в народ и любит его, и теми, кто верит только в идеи фашизма. Иосиф Сталин в течение многих лет делает все, чтобы создать народу, который в него верит, наилучшую жизнь. Уинстон Черчилль...

— Только не говорите ничего против Уинстона, — перебил меня Хэмп. — Я в него верю.

— Я и не собирался говорить ничего худого. Уинстон Черчилль, может быть, и воображает иногда, что он живет в восемнадцатом веке, может быть, у него целый ряд ложных идей относительно этой войны, но он, мне кажется, все же борется и трудится во имя того, чтобы простому народу жилось легче, между тем как некоторые его друзья этого не хотят. А в том, что Рузвельт стоит за

простой народ, никто не сомневается. То же можно сказать и о всех, кто идет за этими тремя.

— Я с вами совершенно согласен, — сказал инспектор, встав и шагнул к двери, чтобы взять у констебля принесенный им чай.

— Теперь выпейте чашку чая и продолжайте. Я хочу услышать о людях другого лагеря, о фашистах.

Чай был крепкий и слишком сладкий и не очень пришелся мне по вкусу, но я делал вид, что наслаждаюсь им так же, как инспектор.

— Я много думал об этой гнусной породе, я изучал их, потому что ведь, в сущности, это входит в мои обязанности. Конечно, нам попадают немцы, работающие на Гитлера только потому, что они воображают, будто Гитлер — это Германия. Но еще опаснее те, кто, даже не будучи немцами, тем не менее помогают Гитлеру. Иногда они делают это просто ради денег, — хотя платят им, надо вам сказать, не так много. Есть и такие, которых при помощи шантажа заставили служить нацистам. Это — старый излюбленный способ Гестапо. По-настоящему опасны и трудны те, кто продает нас, потому что веруют в идеи фашистов. В иных случаях, — как это было во Франции, — они думают, что только нацисты могут помочь им сохранить власть или богатство или то и другое. Кроме того, некоторым за содействие обещаны выгодные посты, если нацисты победят. Да, да, мы с вами, наверно, не раз сидели рядом с людьми, раздумывавшими о том, что они сделают с нами, когда будут «гаулейтерами». Есть такие — и, мне думается, что это можно сказать и о самом Гитлере, и о большинстве его банды, — которые одержимы идеей «отмщения». Все это — безнадежно вывихнутые люди, которые только и ждут, когда можно будет пнуть в лицо сапогом всякого, кто когда-либо смеялся над ними. И всем им ненавистна идея демократии, и все они презирают простых порядочных людей. Вот таких людей нам нужно остерегаться. И не забывайте, что в то время, как вы их ловите, они, может быть, поют во весь голос «Rule Britannia» и обмотали себя английскими национальными флагами.

— И такие имеются у нас в Грэтли?

— Нам известно, что немцы получают из Грэтли ценную информацию. Мы знаем, — да и вы тоже, — что в Грэтли нередко бывали случаи саботажа. И возможно, что Грэтли — один из провинциальных центров их разведки и шпионажа. Я знаю, что Оливиер что-то успел открыть. И прошлой ночью его убили.

Инспектор кивнул головой, шумно донес чай и поднялся.

— Я этим делом займусь сам, — ска-

зал он свирепо. — Следствие пойдет своим чередом и, конечно, ничего не даст. — Он вынул из кармана дешевенькую записную книжку и показал мне. — Вот его книжка. Да, я знаю, вы хотите ее получить. Но она нужна и мне, я на сегодня оставляю ее у себя. А теперь нам надо побывать опять в его комнате, вы сами это сказали. Пойдемте.

В коридоре мы натолкнулись на того самого сержанта с характерным подбородком, и я готов поклясться, что подбородок дрогнул, когда его обладатель увидел меня с Хэмпом.

— Сержант! — сказал инспектор резко.

— Слушаю, сэр.

— Это мистер Нейланд. Он — мой друг. А это — сержант Бойд.

Мы посмотрели друг на друга, кивнули головами. Больше как будто ничего не осталось. Я прошел вперед, а инспектор задержался, отдавая какие-то распоряжения сержанту. Мокрый снег сменился холодным морозящим дождем. Глядя на неприветную улицу, я вспомнил вдруг, что надо переезжать из гостиницы, а значит, искать какое-нибудь жилье. В «Трефовой даме» я бы, вероятно, мог получить комнату, нажав на Фенкреста или миссис Джесмонд, и, пожалуй, имело бы смысл обосноваться в таком месте. Но, с другой стороны, это было за городом, и не такое жилье мне было нужно.

— Вы не возражаете против того, чтобы я снял комнату Олни? — спросил я у инспектора, когда мы шли под дождем, меся уличную грязь. — Нет? Так замолвите за меня словечко хозяйке, миссис Уилкинсон. Бедняжка хочет делать «только то, что правильно», но не вполне уверена, что и я человек «правильный».

— Она — славная старуха, — сказал Хэмп, — и вам у них будет не хуже, чем во всяком другом месте, тем более, что город переполнен. Кроме того, сюда я смогу заходить к вам, не рискуя, что об этом будет знать слишком много людей.

— Я об этом тоже подумал. И вот еще что: если это вас не затруднит, я бы хотел, чтобы вы кое-что для меня разузнали, я сберегу, таким образом, массу времени.

— О, нет, разумеется, не затруднит, — сказал он с подчеркнутой иронией. — Вот только беда, что половину моих людей взяли в армию, а город битком набит всяким народом, население за время войны увеличилось вдвое, и с каждой почтой прибывают десятки специальных бланков с надписью «Срочно» и «Экстренно» и чорт его знает что еще, и все это нужно расшифровать и заполнить... Одним словом, при таких условиях мне только доставит удовольствие

поднять на ноги вторую половину моего штата для того, чтобы...

— Довольно, довольно, я вас понял! — перебил я с раздражением. — Забудьте мою просьбу и можете считать, что я прибыл сюда для поправки здоровья и что здесь, попросту, отечественный курорт. Но вам бы все же не мешало помнить, что в то время, как сюда шлют бланки, отсюда кто-то шлет секретные сведения нацистам, и что в некоторых авторитетных кругах репутация Грэтли начинает сильно подмокать. Но я могу обойтись без посторонней помощи. Я и раньше делал эти вещи сам.

— Вы как будто сегодня немного не в духе? — заметил Хэмп самым любезным тоном.

— Я не в духе уже много дней, недель, месяцев, пожалуй, даже лет. Не обращайтесь на это внимания. Я прошу вас помнить только одно: что у меня имеются важные вопросы, что на выяснение их мне придется потратить дни, тогда как вы могли бы ответить на них в пять минут. В конце-концов вы обязаны знать, что делается в этом городе.

— Знаю столько же, сколько первый встречный обыватель. — Он дружелюбно ударил меня по плечу. — И постарайтесь ответить на все, о чем бы вы ни спросили, так что не расстраивайтесь.

Мы опять пришли на Раглан-стрит. У меня вдруг мелькнула мысль, что миссис Уилкинсон, вероятно, еще не знает о смерти жильца. Я спросил об этом инспектора и он ответил, что ей сообщили эту весть вчера поздно вечером, а сегодня утром вызвали для опознания трупа. В кармане у Олни был найден коноверт с его адресом, — и таким образом узнали, где он жил.

Я не слышал, что сказал инспектор миссис Уилкинсон. Через несколько минут я зашел к ней сам и мы договорились относительно комнаты. Что-то кошмарное чудилось мне в том, что я так быстро воспользовался комнатой человека, со смерти которого не прошло и четырнадцати часов. Да и маленькой миссис Уилкинсон наша беседа напомнила о трагедии, с которой она так близко соприкоснулась (впрочем, она думала, что это просто несчастный случай), и она даже поплакала немножко. Тем временем инспектор обыскивал комнату наверху.

Я пошел туда и мы с ним вместе произвели самый тщательный осмотр. Зажигалки в комнате не оказалось. Я и не рассчитывал найти ее здесь, так как даже те из нас, кто не пользуется этой вещью, как зажигалкой, всегда носят ее с собой.

— Я ничуть не удивлен, — сказал я Хэмпю. — Десять очков против одного,

что она была при нем, и столько же за то, что кто-то в городе сейчас владеет этой зажигалкой. Вы на всякий случай хорошенько рассмотрите мою. Такая точно была у Олни.

Инспектор внимательно рассмотрел ее и затем сказал, что теперь узнает зажигалку Олни где бы и когда бы ее ни увидел.

— А если увижу такую у кого-нибудь, — добавил он, — так у нас с этим парнем будет серьезный разговор. Теперь о записной книжке. Вы хотите посмотреть ее. Что, если я зайду сюда сегодня часов в девять или около того и принесу ее вам? Есть, угорились. В ближайшие дни у меня будет масса хлопот, главным образом по делу Олни, но, если вы запишете мне на бумажке имена тех, кем вы интересуетесь в Грэтлэ, я постараюсь дать вам о них все сведения, какие у нас имеются.

— Отлично. — И я нацарапал с полдюжины фамилий на внутренней стороне старого конверта. Хэмп пробежал их глазами, кивнул и, не сказав ни слова, двинулся из комнаты. Я слышал, как он внизу говорил миссис Уилкинсон, что он уже отдал констэблэ распоряжение собрать и унести вещи Олни. Действительно, констэблэ вернулся и начал укладывать все, даже не дожидаясь моего ухода.

Когда инспектор ушел и больше не с кем было делиться мыслями или спорить, мне стало как-то не по себе. Весть о смерти Олни, сообщенная мне в разгаре словесного поединка с инспектором в его кабинете, в тот момент как-то не затронула меня глубоко. Тогда это была просто волнующая новость, но сейчас я осознал ее по-настоящему. Я вспомнил этого славного человека, то, как он смотрел на меня поверх своих бутафорских очков в железной оправе, искорки юмора и ума, заметные даже во время нашего короткого разговора. Потом я представил себе картину его смерти, — как его сшибли в грязь, как потом сваливали в машину и из машины на мостовую, словно мешок картофеля. Мною овладела печаль, а вслед за ней — ярость. Я не тратил времени на размышления о том, не ждет ли и меня подобная участь, потому что это была бы пустая трата времени, и вообще мне было наплевать, умру ли я так, или этак. Но теперь я окончательно решил отдать все силы своей новой работе и быть как можно более стойким. До этого дня я, собственно, тоже терял не так много времени в Грэтлэ, — нет, каждый предпринятый шаг давал что-нибудь. Но оттого, может быть, что я был в мрачном настроении и не имел охоты бороться за это дело в Грэтлэ, мозг мой рабо-

тал уже, и я был склонен итти по линии наименьшего сопротивления.

Я пошел в гостиницу, уложил вещи, позавтракал, расплатился и, без всякого сожаления покинув владения майора Брембера, нанял кэб и поехал обратно на Раглан-стрит. На этот раз я застал дома и мистера Уилкинсона, который работал на железной дороге и сильно походил на унылого старого спанбеля. Он утверждал, что мы можем выиграть войну, если перебросим всю нашу армию в Польшу, и жалел, что сам он слишком стар, чтобы отправиться с нею туда. Я отвечал, что есть целый ряд людей, которых я бы охотно в любой день отправил в Польшу, но большинство из них тоже не очень молоды.

Утренний дождик и слякоть сменились настоящим зимним туманом, но все же я вышел из дому, чтобы разузнать, где живет доктор Бауэрнштерн. Я уже спрашивал об этом миссис Уилкинсон, но она никогда раньше не встречала этой женщины и только смутно слышала о ней. Я нашел адрес в телефонной книжке, зайдя в ближайшее почтовое отделение: «Доктор Маргарет Бауэрнштерн, Шервуд-Авеню, 87». Это было приблизительно на расстоянии мили от Раглан-стрит, в конце одного из тех больших кварталов жилых домов, которые так хороши на бумаге и производят такое угнетающее впечатление в действительности. Шервуд-Авеню состояла из дач — полусобняков, окруженных несколькими хилыми молодыми деревцами и кучами грязного снега. Дневной свет уже начинал меркнуть, когда я очутился перед домом № 87. Пожилая прислуга-иностранка, повидимому, австриячка, открыла на звонок и сурово объявила, что доктор Бауэрнштерн в эти часы принимает только пациентов.

— Тем лучше. Я болен. Проводите меня, пожалуйста, в кабинет врача.

Никаких других пациентов не было видно. Практика у доктора Бауэрнштерн была, повидимому, не блестящая, — по крайней мере, на Шервуд-Авеню. А кабинет был маленький и чистенький.

В первую минуту доктор Бауэрнштерн не узнала меня. Она показала мне совсем иной, чем в комнате Олни. Во-первых, она была в белом хааате, и теперь я видел ее волосы, темно-каштановые, гладко причесанные. Во-вторых, в ней чувствовалась уверенность в себе и деловитость, естественные для врача, принимающего больного. Должен сказать, она мне очень понравилась. Но лицо у нее было изможденное, и резкий свет ламп немилосердно подчеркивал это.

Узнав меня, она немедленно рассердилась. Затем сделала вид, будто мы встречаемся впервые.

— Здравствуйте. На что вы жалуетесь? Я подумал: «Что ж, раз так, почему мне не сказать правду?»

— Ни на что особенно, — сказал я с торжественной серьезностью судьи. — Не стану уверять, что я чувствую себя тяжело больным. Но у меня постоянно какое-то угнетенное состояние, я плохо сплю, ем без всякого аппетита.

— Покажите язык.

Я показал — и даже с удовольствием.

— Думаю, что вы слишком много курите и делаете мало физических упражнений. А у зубного врача вы давно не были?

— Очень давно. — Я покачал головой. — Идите ли, я очень занят. Но насчет ваших зубов вы не беспокойтесь. Пропишите мне только что-нибудь такое, чтобы оно меня встряхнуло немножко, а тем помогло притти в равновесие. Понимаете?

Входной двери (которая была не более как в двух метрах от кабинета) кто-то громко позвонил. Я слышал, как старая служанка отперла, и слышал с улицы чей-то густой бас. Через минуту старуха постучала в дверь кабинета и что-то испуганно затараторила по-немецки. Доктор поспешно вышла, а я, воспользовавшись ее отсутствием, выглянул в узкое окно. На улице у двери стоял полицмен. Не знаю, зачем он приходил, но его быстро сплавил.

Этот перерыв оказался гибельным для маленькой комедии, которую мы разыгрывали. Когда она вернулась, лицо у нее было совершенно такое, как вчера вечером, в горящих глазах читалась тревога, тайный ужас. Она закрыла за собой дверь, но не отошла от нее.

— Как это глупо! — сказала она сердито. — Что вам нужно? Зачем вы пришли сюда?

— Пришел сказать вам кое-что, — ответил я серьезно. — Старуха заявила мне, что вы принимаете только больных, вот я и выдал себя за больного.

— Вы думали, я не увижу, что вы ничем не больны?

Она намекала, вероятно, на недоверие публики к женщинам-врачам. Повидимому, она принадлежала к несносному типу обидчивых женщин-профессионалок, по малейшему поводу сразу встающих на дыбы.

— Ни вы и никакой другой врач не могли бы ничего определить по таким симптомам. И откуда вы знаете, доктор Бауэрнштерн, что я не страдаю какой-нибудь ужасной болезнью?

Она чуть-чуть усмехнулась.

— Вы пришли мне что-то сказать?

— Да. И спросить у вас кое о чем. И то, и другое очень важно. Но послушайте,

нельзя ли нам поговорить где-нибудь в другом месте? Здесь у вас мрачновато.

— А вы ведь, кажется, хвастали тем, что вы — человек мрачный.

Я выпучил глаза. Что это, сознательная линия поведения — эти неожиданные замечания, которыми она словно дает понять, что давно меня раскусила?

— Хорошо, — продолжала она, — будем разговаривать не здесь. По четвергам я пью вечерний чай рано, потому что мне к пяти нужно быть в детской больнице.

Она повела меня через переднюю, но по дороге остановилась, чтобы распорядиться относительно чая. От меня не укрылись беспокойные и предостерегающие взгляды старой служанки. Обе женщины просто до неприличия не умели ничего скрыть.

Гостиная оказалась очень уютной, не совсем в английском вкусе, но от этого она ничуть не проигрывала. Хозяйка сняла, наконец, халат. Темно-красное платье очень шло к ней, несмотря на то, что оно как будто еще резче оттеняло ее высокие скулы и впадины под ними. Чрезмерная суровость лица и болезненная хрупкость не мешали ей быть красивой. Я понимал, что вижу ее в невыгодный для нее момент. Она не знала, как держать себя со мной, и это ее сердило и мешало быть естественной, а мне для моих целей нужно было поддерживать в ней беспокойство и раздражение. И если вы захотите утратить меня в жестокой игре на нервах усталой женщины, вспомните, что делали немецкие солдаты с множеством женщин, гораздо более измученных, чем эта.

— Я хотел поговорить с вами относительно вашего пациента Олни, — начал я, глядя на нее в упор.

— А что с ним?

— Он умер.

Прикидываясь удивленными, люди всегда поднимают брови, таращат глаза, открывают рот и так далее, но, если вы будете внимательно наблюдать за ними, им не удастся вас провести. Однако эта женщина и не пыталась прибегнуть к таким уловкам. Напротив, искренно удивленная, глубоко потрясенная, она пыталась это скрыть. Была ли это обдуманная игра, ловкий маневр? Но, чтобы успешно вести такую игру, женщина должна быть гениальной актрисой, а доктор Бауэрнштерн, по моим наблюдениям, была очень плохой актрисой. Так что я теперь почти уверился в том, что она не знала о смерти Олни. А я для того и пришел сюда, чтобы это проверить.

Я в нескольких словах рассказал ей, что случилось с Олни, не упоминая о том, что он, видимо, был втащен в машину, переехавшую его, и затем вы-

брошен в другом месте. Ее не следовало посвящать в версию об убийстве.

— Теперь другое, — продолжал я. — Я уже вас предупреждал, что хочу задать вам один вопрос. Что, у Оли было больное сердце?

— Да, — отвечала она. — Вы хотите знать, мог ли по этой причине несчастный случай оказаться для него роковым скорее, чем для всякого другого? На это я вам определенно отвечу: да. Ужасно жаль его. Он мне нравился.

— Я в этом не сомневаюсь... А интересно знать, кому еще было известно о том, что у Оли болезнь сердца?

— Он мог рассказать об этом множеству людей. Некоторые больные, да и здоровые, любят поговорить о своих болезнях.

— Знаю. Они часами надоедали мне такими разговорами. А вы не знаете, Оли не обращался к какому-нибудь другому врачу?

— Понятия не имею, — сказала она холодно. — И не знаю, какое вы имеете право так настойчиво меня допрашивать.

Я усмехнулся.

— Ровно никакого, доктор Бауэрнштерн.

Подали чай. Я ясно видел, что служанка предпочла бы угостить меня синильной кислотой. Удивительно непосредственное существо была эта женщина! Ни за что не доверил бы ей никакой тайны.

Чай был на столе, — и хозяйке волею неволей пришлось переменить тон, несмотря на неприязнь, которую я вызывал в ней.

Разливая чай, она сказала:

— Когда меня называют «доктор Бауэрнштерн», у меня такое чувство, словно я самозванка и всех обманываю.

— Да разве это не настоящая ваша фамилия?

— Я ношу фамилию покойного мужа, — пояснила она. — Видите ли, я была замужем за знаменитым венским врачом Бауэрнштерном. Вы, может быть, о нем и не слышали, но он был в самом деле очень известный специалист по детским болезням. Он умер два года тому назад, и мне до сих пор как-то неловко, когда меня называют «доктор Бауэрнштерн», — словно это с моей стороны маскировка под человека, который знал в десять раз больше, чем я.

— Да, это понятно. Но отчего вы не практикуете под вашей собственной фамилией, как очень многие замужние женщины-врачи?

Она посмотрела на меня с гордым вызовом.

— Я не хочу, чтобы люди думали, будто я стыжусь немецкой фамилии. Я гор-

дилась тем, что ношу ее. Муж мой был великий человек.

— А что, он был эмигрант?

— Да, конечно. Когда нацисты водворились в Австрии, он потерял все, кроме своей высокой репутации. Ее они не могли у него отнять, как ни старались.

Все это сказано было, разумеется, с глубокой горечью, — но я уже не слышал, как люди со злобой говорили о нацистах, а потом оказывалось, что их этому научили в Берлине, когда они проходили там специальный курс повышения. Эта линия поведения не требовала особой хитрости.

Я оглядел комнату. Но хозяйка была не из тех, кто выставляет фотографии близких людей в своей гостиной.

У двери позвонили. Никто из нас не обратил внимания на этот звонок.

— И вы тоже некоторое время жили в Вене?

Мы часто в книгах читаем, что у кого-то «просветлело лицо», — так вот в эту минуту, глядя на доктора Бауэрнштерна, я впервые понял, что это значит. В ней словно кто-то включил свет.

— Да, я два года провела в Вене, работала у мужа в госпитале, — то-есть, в то время он еще не был моим мужем. Я тоже хотела стать детским врачом.

— А почему же не стали? — спросил я напрямик, но не очень грубо, так как был искренно заинтересован разговором.

— А почему вы, например, не стали... ну, кем-нибудь другим, не тем, кто вы сейчас? — отпарировала она немедленно. И должен признаться, я на миг был огорошен. Отчего в самом деле я не ишу себе большой, разумной, честной работы в какой-нибудь залитой солнцем стране, а сижу здесь и прикидываю в уме, скоро ли смогу поймать в ловушку одного из этих людей? К черту!..

Я видел, что она читает эти мысли на моем лице. Но, вместо того, чтобы обрадоваться, как игрок, выигравший очко в игре, в которой ему все время не везло, она стала приветливее, выражение ее глаз, всего лица заметно смягчилось. Да, с этой женщиной надо все время быть на-чеку!

В гостиную вдруг с самым невозмутимым видом вошел мистер Периго.

— Здравствуйте. Вы обещали напоить меня чаем, если я когда-нибудь окажусь в вашем районе, — начал он, как всегда аффектированно, протягивая хозяйке обе руки. — Да, да, мы с мистером Нейлэндом уже знакомы. Не так ли, мистер Нейлэнд?

— Да, мы повсюду сталкиваемся, — отозвался я довольно сухо.

Хозяйка опять занялась чайником, и я только сейчас заметил, что на столе было приготовлено несколько лишних

чашек, как будто в такой час можно было рассчитывать на гостей!

Доктор Бауэрнштерн, словно угадав мои мысли, сказала небрежно:

— Четверг и воскресенье — единственные дни, когда я имею возможность в нормальные часы видаться со знакомыми.

— Да, разумеется, — сказал мистер Периго, который явно был в прекрасном настроении. — Сейчас все так безумно заняты — все, кроме меня. А я бегая на свободе, как беззаботный кролик, и притворяюсь занятым, тогда как на самом деле ровно ничего не делаю. Да и что делать такому человеку, как я? Пробовал беседовать с военными, но заметил, что они меня не выносят. И никто не хочет поручить мне смотреть за машиной или бить молотом по железу, или... что еще там делают на этих дурацких заводах? Вот я и хожу без дела и, конечно, обнищал совсем. Ну, а ваши как дела, дорогой мой? Заняли уже высокий ответственный пост на каком-нибудь из наших двух заводов?

— Пока ни с места. Впрочем, правление просто еще не успело рассмотреть мое заявление.

— Да, наверное. Но, по-моему, они должны были ухватиться за вас. Мистер Нейлэнд проделал такой путь — приехал из самой Канады помогать нам. И вы сами можете видеть, он как-раз такой человек, какой им нужен, — положительный, добросовестный, а эти господа даже его оставляют слоняться без дела. Позор!

Он взглядом давал нам понять, что все это — тонкая насмешка.

У нас толкуют о губительности паники, малодушного уныния, — но то, что делал Периго, высмеивая все дело обороны, отрицая его важное значение, было безмерно опаснее. Он оказывал Гитлеру большую услугу, чем даже наши воскресные ораторы.

— А сегодняшние сообщения — разве это не стыд и срам? — спрашивал он с безмятежной веселостью.

— В самом деле? — без всякого интереса подала реплику хозяйка и едва заметно пожалала плечами.

— Дорогая, не станете же вы меня уверять, что вам это безразлично!

Хозяйка слегка усмехнулась.

— Однако съешьте же что-нибудь, пожалуйста!

— Спасибо, не хочется, — улыбнулся мистер Периго. — Но, если разрешите, выкурю папиросу. Да, ведь, у меня где-то была зажигалка, отличная новенькая зажигалка.

Говоря это, он покосился на меня глазом, из которого смотрела тысяча-летняя нечестивая мудрость. Я ждал появления зажигалки, но так и не дождался.

— И куда я ее сунул, ума не приложу, — удивлялся мистер Периго, разводя руками. — Нет, доктор Бауэрнштерн, не беспокойтесь, пожалуйста. Наверное, у мистера Нейлэнда есть зажигалка.

— Могу вам дать спичку, — сказал я, и заметил, что хозяйка смотрит на нас с легким недоумением, как бы угадывая, что за этими фразами что-то кроется.

Оставаться здесь дольше не стоило: каждому из них порознь я мог бы сказать многое, а обоим вместе мне как будто и нечего было сказать.

Мистер Периго не выразил желания уйти со мной одновременно, хотя ему должно было быть известно, что хозяйке пора ехать в госпиталь. Из этого я заключил, что ему нужно сказать ей что-то важное. Доктор Бауэрнштерн проводила меня в прихожую (чего я никак не ожидал), и мы минутку постояли у двери.

— Не знаете вы, чем, собственно, занимается мистер Периго? — спросила она.

— Не знаю. Он сам про себя говорит, что просто ходит повсюду и болтает.

— Это-то и я слышала. Но мне что-то не верится. А вам?

— Мне кажется, всему тому, что говорит о себе Периго, поверить трудно. — сказал я с расстановкой. — Да и некоторые вещи, которые вы говорили о себе, также мало правдоподобны.

— Что именно? — Она казалась не столько рассерженной, сколько удивленной.

— Не могу ещё пока определить, — сказал я и сказал истинную правду. — Спасибо за чай. Я очень приятно провёл время.

Я помчался домой, на Раглан-стрит, предупредил миссис Уилкинсон, что сегодня вечером мне никакого ужина не надо и что я вернусь самое позднее к девяти, затем снова вышел, захватив с собой две книги из библиотечки «Магазина подарков». Я собственно успел прочитать только одну, но решил обменять обе, чтобы иметь приличный предлог опять побывать в лавке. В момент моего прихода молодая продавщица с насморком как-раз кончала затемнять окна, а мисс Экстон сама обслуживала покупательницу. Я прошёл прямо к шкафу в глубине и сделал вид, что выбираю себе книги. Покупательница скоро ушла, а за ней и продавщица, которой мисс Экстон посоветовала идти скорее домой и сразу лечь в постель. Но тут вошла новая покупательница, какая-то суетливая дама, и минут десять, а то и больше, выбирала букетик искусственных цветов.

Стоило посмотреть, как мисс Экстон обслуживала эту покупательницу! Голосом своим она владела в совершенстве,

он звучал неизменно вежливо и доброжелательно. Но я перехватил взгляд, брошенный ею на бестолковую женщину, — взгляд весьма красноречивый. Если бы покупательница его заметила, она бы пулей вылетела из магазина. Взгляд этот, казалось, исходил из каких-то скрытых глубин холодной злобы и просто убивал.

Меня всё больше интересовала и притягивала эта статная белокурая красавица, как будто только-что вынутая из холодильника. Если не считать второстепенных внешних признаков, — зелёного рабочего халата, обрамляющих голову кос, тона и манер, — она ничем не походила на женщину, для которой лавка — подходящее занятие. Она только играла роль такой женщины, играла её неумело, но, очевидно, достаточно хорошо, чтобы обмануть Грэтли. Видеть её в этой роли было всё равно. Что видеть многосильный автомобиль лучшей марки выползающим с грузом овощей с заднего двора зеленой лавки.

Как только надоедливая покупательница вышла, мисс Экстон с улыбкой подошла ко мне. Я было совершенно забыл о книгах и сейчас схватил первые, попавшиеся мне под руку.

— Вы в самом деле хотите взять эти? — спросила она всё с той же улыбкой.

— Что ж... они, я думаю, подойдут, — сказал я торопливо.

— А вы взгляните на них повнимательнее, — скомандовала она. Я взглянул — и книги действительно оказались совсем для меня неподходящие, если судить по заглавиям.

— Ладно, — сказал я. — Вы правы. Я бы не стал читать их даже на необитаемом острове. Видите ли, я простоял здесь слишком долго, и когда вы подошли, почувствовал, что надо поскорее выбрать. Это все вышло потому, что я думал совсем о другом.

— Я это заметила, — отозвалась она, отняв у меня книги и делая пометку о возвращении тех, которые я принес. — О чем же вы думали?

Я сказал себе мысленно: «Небольшая дерзость в этих случаях не мешает». И вслух:

— Я думал о вас.

Она подняла брови.

— Расскажите, что же именно.

— Не сейчас, — возразил я. — Я зашёл сюда напомнить вам, что вы обещали на этой неделе пообедать со мной. Что, если мы это устроим завтра вечером в «Трефовой даме»? На-днях нас там накормили чудесным обедом. Конечно, мне вряд ли удастся угостить вас так, как угощала нас миссис Джесмонд, но я сделаю всё, что могу. Кстати, я в тот вечер — позавчера — видел вас в «Трефовой даме».

— Да, помню. Пообедать с вами завтра я смогу, — благодарю вас! — Но не раньше половины девятого. Я обещала быть в семь часов на митинге. Это митинг патриотов, так-что я считаю своим долгом пойти, да к тому же все мы, магазин-владельцы, получили специальные приглашения. И посещение такого митинга может быть полезно и в деловом отношении, — добавила она и показала мне приглашение. Я прочёл, что на митинге выступят местный член парламента мэр города и полковник Тарлингтон.

— Хорошо. А что, если я пойду с вами и, как только всё кончится, мы оттуда прямо махнём в «Трефовую даму»?

— Гениальная идея! — воскликнула она. Помню, я ещё подумал, что никогда не слышал от женщины этого выражения. Они почему-то его не употребляют. Но я уже и до того пришёл к заключению, что передо мной — не обыкновенная женщина.

— Ну, что, выбрали себе книги? — спросила она через минуту-другую.

— Нет ещё, к сожалению. А что, вам хочется, чтобы я поскорее ушел?

Она рассмеялась.

— Нет, не в этом дело. — И, помолчав, прибавила почти шопотом: — Мне хочется закрыть поскорее проклятую лавку. Сегодня день был такой скучный и тянулся нестерпимо. Вы, кажется, никуда не торопитесь...

— Признаюсь, нет.

— В таком случае мы сделаем вот что: я поскорее запру лавку, чтобы ещё какая-нибудь из этих несносных женщин не вздумала притти сюда, и мы окончим наш разговор наверху и заодно выпьем чего-нибудь. Вы мне расскажете, что обо мне думаете.

— Великолепно, — сказал я с искренним энтузиазмом. Её предложение было мне очень на руку. Я с любопытством ожидал, что она будет делать. А она заперла дверь, заложила её на засов, указала мне на освещенную лестницу в глубине, выключила свет в лавке и пошла за мной. Ни одна хозяйка, если она серьезно относится к делу, не оставила бы своей лавки в таком виде. Обычно она убирает, приводит всё в порядок, помешкает тут, посмотрит там, подсчитает в уме дневную выручку, может быть, проверит кассу, и тогда только простится с лавкой. А такое торопливое бегство из лавки совершенно не вязалось с тем, что я слышал от мисс Экстон во время нашего первого разговора, — то был целый небольшой монолог на тему об её миссии снабжать жителей Грэтли прелестными безделушками, украшающими жизнь. Правда, у нее, может быть, сегодня был особенно трудный день, и этим

объяснялось её нетерпение, но я склонен был объяснять его иначе: сегодня она либо бессознательно, либо намеренно сняла маску. Очевидно, во мне было что-то такое (я вовсе не приписывал этого своим прекрасным глазам), что склонило её к такому поведению. Но мне важно было выяснить, бессознательно или сознательно она это сделала.

Маленькая гостиная наверху была интересна тем, что в ней не было ничего интимного и характерного. Она была похожа на номер в гостинице. У неё не было хозяйки. Ни намёка на вкусы какой-нибудь Прудехе, хозяйки «Магазина подарков». Но не оказывалась здесь ни в чем и индивидуальность женщины иного сорта. А между тем мисс Экстон обладала яркой индивидуальностью, хотя сразу её нелегко было определить. И она обставила эту комнату и жила здесь уже четыре месяца, а комната не имела никакого лица. Нет, это было не случайно!

Мисс Экстон сказала что-то невнятное, и затем я услышал, как она отпирает угловой шкафчик. Я обернулся как-раз вовремя, чтобы увидеть такую солидную батарею бутылок, какой не видывал уже давно. Повидимому, у хозяйки был очень хороший поставщик вина.

— Если бы ещё оказалось, что у вас есть канадская водка, это было бы настоящее чудо, — сказал я, выдерживая роль неотесанного болвана с дикого Запада.

— Она у меня имеется, — ответила хозяйка довольно сухо.

— Вот это здорово! — сказал я, немного переигрывая. — Я уже почти забыл, какой у неё вкус. Надеюсь, вы не пожалеете для меня рюмочки?

Она налила мне полстопки водки, а себе приготовила изрядную порцию джина с лимонным соком. Затем выключила верхний свет, оставив только в углу небольшую лампу под абажуром. Мы стояли у камина со стаканами в руках и весело разговаривали. В один миг обстановка приняла самый интимный характер. Мы чокнулись и при этом соприкоснулись не только наши стаканы, но и руки. Затем выпили, улыбаясь друг другу. Она поставила стакан на столик и я то же. Мы всё стояли лицом к лицу.

Но знаю, как и почему, но я почувствовал вдруг, что если я поцелую эту женщину, она не рассердится, и что мне следует это сделать. Я обнял её самым непринужденным и хладнокровным образом и поцеловал в губы. Не забудьте, что это была не молодая девушка (хотя издала она и казалась такой), а зрелая женщина. Она ответила поцелуем — и любопытный это был поцелуй: крепкий.

почти восторженный, говоривший об опытности, но какой-то отвлечённый, безличный.

Затем, не комментируя этого маленького эпизода, мы сели за стол.

Как я и ожидал, она помнила о том, что я хлопочу о месте у Чартерса, и осведомилась о результате. Я рассказал, что у меня нет опыта инженера-электрика и это может мне помешать, но Хичем обещал доложить обо мне правлению.

— Я сегодня встретил случайно одного из директоров, — продолжал я, — и не заметил в нем особого расположения ко мне.

— А кого именно?

— Полковника Тарлингтона. Вы его знаете?

— Немножко. Здравоваемся при встрече. Я от кого-то слышала, что он пользуется в городе громадным влиянием, ну и решила на всякий случай мило улыбнуться ему при встрече. Но он не в моем вкусе.

Я рассказал ей, что Хичем водил меня по всему заводу и, как будто, между прочим, упомянул, что меня поразили новые тяжелые противотанковые орудия, которые недавно начали там изготавливать. И, для наглядности, указал калибр этих орудий (но калибр не подлинный, а мною выдуманый).

— Послушайте, мисс Экстон, — добавил я, — мне не следовало болтать об этом. Так что пусть это останется между нами.

И при этом я подумал: «А сколько ослов за рюмкой вина в этот самый час говорят эту самую фразу?»

— Ну, разумеется, — сказала мисс Экстон очень серьезно. — Я умею держать язык за зубами.

— Я в этом ничуть не сомневаюсь, — ответил я, глядя на неё с подчеркнутым восхищением.

— Ещё стаканчик? — предложила она с улыбкой.

Мне показалось, что она хочет меня спровадить и, желая ей угодить, я отказался от второго стакана и встал. Она тотчас поднялась тоже. Я снова напомнил ей о завтрашней обеде, а она мне — о моем обещании пойти с нею на митинг.

— Вам придется выйти по черному ходу, — сказала она затем. — Это у нас несколько сложно, так-что я лучше провожу вас.

Она не включила свет и стала сходить с лестницы, освещая дорогу электрическим фонариком, а я шёл вслед за нею. Сойдя вниз, мы прошли через какой-то чуланчик за лавкой. Отодвинув засов, она помедлила с минуту раньше, чем открыла дверь. Фонарик не светил больше, и мы стояли рядом в темноте. На

этот раз она первая придвинулась и поцеловала меня, как будто в невольном порыве. Это вышло у нее очень хорошо. Но во мне шевельнулось сомнение.

Впрочем, я не стал тратить времени на размышления, потому что вспомнил вдруг, что театр «Ипподром» — здесь близко, за углом. Поплавав в темноте, пройдя несколько лишних переулков, я нашел все-таки и его, и вход за кулисы. Здесь я спросил Лерри, мне сказали, что он сейчас на сцене, но скоро придет переодеваться для финального номера, — и провел меня к нему в уборную. Так называлась вонючая тесная каморка, где одевалось трое. Она напоминала чулан при лавке скупщика старого платья. Эта уборная была предпоследняя в конце тускло-освещенного коридора, а последней, как я знал, была уборная Фифин. Я знал, кроме того, что, если только весь мой расчет не окажется неверным, Фифин скоро должна уйти на сцену.

Я стоял в дверях комнаты Лерри, надеясь, что увижу, как пройдет Фифин. Мне слышно было то, что происходило на сцене, но звуки доходили словно очень издалека. Коридор был пуст, плохо освещен, казался заброшенным. Помню, я испытывал непонятную грусть и чувство опустошенности, стоя здесь один, как привидение.

Потом вышла Фифин, кутаясь в крикливо-пеструю, заношенную шаль. Она заперла свою дверь. Я, не двинувшись с места, смотрел на нее, широко и глупо ухмыляясь, а она, презрительно игнорируя меня, проплыла мимо, обдав меня резким животным запахом разгоряченного тела и волос. Она выглядела старше, чем со сцены, но удивительно здоровой и крепкой.

Лерри, должно быть, уже сообщили, что к нему кто-то пришел, и он примчался, как только ушла Фифин.

— Я сразу подумал, что это вы, — сказал он, запыхавшись, и странно было видеть серьезное выражение на этой идиотски-раскрашенной физиономии. — Мои товарищи оба придут сюда через минуту. Хотите попытаться проникнуть в её уборную?

— Да, если сумею открыть дверь. Раз ваши товарищи придут, так нам с вами лучше перейти туда, к её двери, а потом, пока вы будете переодеваться, вы уж как-нибудь последите за коридором и предупредите меня в случае чего.

Мы прошли по коридору к уборной Фифин, и я остановился на таком расстоянии от двери, чтобы, протянув руку за спину, можно было коснуться замочной скважины. Мне уж и раньше приходилось открывать чужие двери, и Отдел снабдил меня набором инструментов, быстро отпиравших любой замок. Стоя у

стены, лицом к Лерри, заслонявшему меня, и делая вид, что веду с ним серьезный конфиденциальный разговор, я начал ощупывать замок. Пожилой партнер Лерри и с ним второй актер появились в коридоре, с любопытством посмотрели на нас издали, но сразу вошли в свою уборную.

— Заслоняйте меня, пока я не войду внутрь, — шепнул я Лерри. — А потом идите переодевайтесь, но оставьте свою дверь открытой и прислушивайтесь.

Я повернулся лицом к двери и принялся за дело так энергично, что через полминуты был уже в комнате.

На туалетном столе перед зеркалом не было ничего, кроме банок с разной косметикой и колоды засаленных карт. Под столом я нашел скомканную бумажку, на которой карандашом был написан ряд цифр и, так как она была брошена под стол и, вероятно, о ней позабыли, я сунул её в карман. Потом я отыскал сумку Фифин, которая висела на стене под её меховым пальто. Сумка была большая и оказалась незапертой. Она была набита обычной дребеденью: зеркальце, ключи, мелкие деньги, какие-то квитанции, но, к моему разочарованию, ни единого письма. Большинство женщин неделями таскают полученные ими письма в сумке, а эта, видимо, не имела такой привычки. Я нашел в сумке ещё старое удостоверение, на обороте которого были нацарапаны с полдюжины цифр, — повидимому, номера телефонов. Я списал их, положил удостоверение на место, а сумку повесил опять на гвоздь. Если в уборной Фифин и было ещё что-либо достойное внимания, то я не заметил это. Заперев за собой дверь, я вышел обратно в коридор, за добрых пять минут до возвращения Фифин.

Лерри, ещё не совсем одетый, тоже вышел и пошёл за мной в другой конец коридора.

— Ну что, удачно? — спросил он шопотом.

Я покачал головой с видом человека, потерявшего даром время. Хотя Лерри оказал мне услугу, не следовало говорить ему всё.

Он был разочарован.

— Значит, она ни в чем не замешана?

— Возможно, что и нет. Видно, мы с вами перемудрили.

Он упрямо покачал головой, и мне стало жаль беднягу, стоявшего передо мной в своем жутком шутовском обличье. Он, должно быть, строил какие-то надежды на этой слезке за Фифин и, вероятно, уже видел себя сотрудником Особого отдела. Я обнял его рукой за плечи, на которых мешком висел старый фрак, ви-

давший лучшие времена, задолго до того, как попал к Лерри.

— Всё же я вам очень признателен, Лерри, — сказал я. — И постараюсь увидеться с вами ещё раз до вашего отъезда.

— Если бы вы подождали, пока кончится второй сеанс... — начал он, немного повеселев, но я прервал его.

— Никак не могу, Лерри. Но, если будет что-нибудь интересное, я дам вам знать.

— Обещаете, мистер Нейлэнд? — ожилился этот большой ребёнок.

— Обязательно! — И я опять похлопал по старому фраку.

— А теперь мне надо выбраться отсюда, пока не слишком много людей начали задавать вопросы. Скажите, где здесь поблизости можно найти какую-нибудь еду?

Мы вместе сошли вниз, и он по дороге объяснил мне, где находится на этой же улице маленькое кафе, которое открыто всю ночь. Слышно было, как в зале хлопают и вызывают Фифин, и я подумал: «Кто сегодня считает извывы её прекрасных мощных рук и ног?»

Маленькое кафе действительно оказалось открыто, и анемичная девица швырнула мне на стол тарелку с неаппетитной мешаниной из жареной рыбеи кожи и костей, водянистого картофельного пюре и капусты, потом принесла чашку тёплой бурды, напоминавшей жидкую грязь, — это здесь называли кофе. В углу зевали два солдата. За другим столиком худенькая немолодая женщина, похожая, как родная сестра, на мою хозяйку, миссис Уилкинсон, насыщалась с судорожной торопливостью, как будто считала верхом неприличия есть на людях. По радио передавали отрывки из какой-то пьесы о похитителях бриллиантов, разговор которых напоминал декламацию плохих актёров старой школы.

Есть места, где чувствуешь себя в каком-то мёртвом тупике, — и это кафе было именно таким местом.

Зато квартира на Раглан-стрит оказалась мне почти что родным домом, когда я вернулся туда к девяти часам, чтобы встретиться с инспектором. Миссис Уилкинсон убрала мою комнату, переставив всё, и развела в камине жаркий огонь. Я успел ещё выкурить трубку и обмозговать кое-что до прихода инспектора. Он пришёл и, к моему удовольствию, сразу же расположился, как у себя дома.

— Сожалею, что не могу угостить вас чем-нибудь спиртным, — сказал я. — Но вы сами понимаете, что мне его достать неоткуда.

— Конечно, понимаю, мистер Нейлэнд, — сказал он, разжигая трубку, ко-

торая казалась для него слишком маленькой. — Чашка чая для меня вполне устроит, если она у вас найдётся.

Я попросил миссис Уилкинсон принести нам чаю и уселся против инспектора. Я ещё ни разу со дня приезда в Грэтли не чувствовал себя так уютно, как сейчас, — отчасти потому, что этот великан был мне симпатичен, а главное — для меня было таким облегчением то, что можно, наконец, поговорить откровенно о своей работе и быть самим собой, а не разыгрывать перед другими какую-то роль. Не забываяте, что, несмотря на почти двухлетнюю работу сыщика, я всё ещё для себя оставался гражданским инженером. Для меня это занятие было как бы работой на оборону или военной службой. По этой или по другой причине, но в тот вечер на душе у меня было как-то легче.

— Я обещал вам его записную книжку, — сказал инспектор, извлекая её из кармана. — Так вот она. Вы, наверное, займетесь ею уж после того, как я уйду.

— Спасибо, так и сделаю. А у меня тоже найдётся для вас кое-что. — Я дал ему бумажку с номерами телефонов, списанными мною в уборной Фифин. — Здесь нет телефонной книжки, а кому-нибудь из ваших людей нетрудно будет выяснить, чьи это телефоны.

Он бегло просмогнул их.

— Об одном я вам уже сейчас могу дать справку, — указал он пальцем на один из номеров. — Вот этот, второй сверху, — это телефон «Трефовой дамы». Знаете эту гостиницу?

Я сказал, что знаю.

— Насчёт остальных телефонов узнаете утром, — продолжал он. — А любопытно, что вы интересуетесь как-раз этим номером, потому что «Трефовая дама», повидимому, играет какую-то роль в нашем деле. Для вас это новость?

— Нет, не новость. Продолжайте.

— Ладно. Так, во-первых, о том, что делал Олни в свой последний вечер. По окончании работы он попросил, чтобы его подвезли на машине до дома полковника Тарлингтона. Всё это точно выяснено. Ездил он туда не по вашему общему делу, а по делам завода. Полковник Тарлингтон (который очень любит слушать самого себя на собраниях) согласился выступить на заводе на будущей неделе по случаю Недели Военного Флота, прочитать доклад в столовой, — и Олни поручено было переговорить с ним.

— Мне странно, что Олни взял это на себя, — заметил я.

— Ничего тут странного нет. Олни был членом столовой комиссии, а сделать это нужно было кому-нибудь из комиссии. Я сам говорил с полковником и все про-

верил. Он мне сообщил, куда пошёл Олни от него: тот, уходя, сказал ему, что зайдёт в «Трефовую даму» выпить чего-нибудь и съесть сэндвич.

— И это тоже странно. «Трефовая дама» — не такое место, куда пойдёт заводской мастер за выпивкой и сэндвичем. А Олни произвёл на меня впечатление человека, который никогда не собьётся с роли, принятой им на себя. Впрочем, допустим, что он это сделал. А куда же он пошёл потом?

— Потом он уже никуда не ходил на собственных ногах, — ответил инспектор. — Потому что потом, если хотите знать мое мнение, его сшибли и убили не более как в трехстах ярдах от подъезда «Треповой дамы». Как вам известно, тело его найдено в двух милях отсюда. Но это ничего не значит: он не по своей воле попал туда.

Миссис Уилкинсон принесла чай, и мы ни о чем больше не говорили, пока она не ушла, поставив перед нами чашки. Затем инспектор составил нечто вроде расписания передвижений Олни в роковой вечер. Оно мне показалось правдоподобным.

— А в «Треповой даме» кто-нибудь видел его в этот час? — спросил я.

— Да, одна из официанток говорит, что видела, как он разговаривал с Джо. Это буфетчик в баре, где пьют коктейли; говорят, большой чудака.

— Знаю, видал его. Некоторые посетители, кажется, считают за честь, если Джо снизойдет до того, что сам сбивает для них коктейли. Я не из их числа. Перед буфетчиками не заискиваю.

— Да, есть люди, у которых денег больше, чем ума. Ну, так вот, я пораспросил этого Джо, и он не помнит Олни. Он мне заявил, что с ним каждый вечер разговаривают десятки людей, и он знает всех своих постоянных посетителей и всех наиболее известных людей в городе, но нельзя от него требовать, чтобы он помнил всех. А запомнила Олни та девушка, что подавала ему стакан пива и сэндвичи. Вот и всё, мистер Нейлэнд. Картина достаточно ясна. Олни езжает к полковнику Тарлингтону по заводскому делу. В этом ничего нет подозрительного. Он идёт в «Треповую даму» выпить и закусить. Оттуда направляется домой, чтобы встретиться с вами. Он дошёл до остановки автобуса на углу, потом решил пройти дальше, до следующей остановки. На дороге между обеими остановками, там, где мы нашли его записную книжку, на него налетела машина. Она ехала по краю дороги — помните, я говорил вам о глине в том месте, — и это самое подходящее место, чтобы наехать на человека, потому что, если кто и увидит, так подумает, что

это несчастный случай. Держу пари, что кто-то вышел из «Треповой дамы» одновременно с Олни, вскочил в автомобиль, поехал вслед за беднягой и покончил с ним.

— Или этот человек знал, куда идёт Олни, и дожидался его на дороге в автомобиле.

— Правильно, — согласился инспектор. — Теперь о времени. По словам официантки, он был в «Треповой даме» в половине девятого, а позже она, как ей кажется, не видала его. От остановки на углу отходит автобус в сорок минут девятого, но легко предположить, что на него Олни не попал. Следующий автобус проходит мимо того места, где он был убит, в самом начале десятого, и водитель не заметил на дороге ничего необычного. Все было спокойно, когда он проезжал. Так что, я думаю, можно считать, что Олни был убит не ранее трех четвертей девятого и не позже девяти. Теперь надо выяснить, что делали некоторые люди вчера вечером в этот час.

— Да, например, полковник Тарлингтон, — ввернул я. — Он знал, куда пошёл Олни.

— Да, но он судья, председатель десятка всяких обществ и организаций и не такого сорта человек, у которого можно спрашивать отчета, где он был и что делал.

— Может быть, и так, а все же я хотел бы знать это, — сказал я резко.

— Не кипятитесь, Нейлэнд. Полковник сказал мне сам, по собственному почину, что он делаю после визита Олни. Он хотел ехать в свой клуб — Клуб конституционалистов, но ему пришлось дожидаться важного делового разговора по телефону с Лондоном, а вызвали его только без четверти девять, и я, точности ради, на всякий случай, проверил это, — добавил инспектор, понизив голос, словно стыдясь себя самого. — Оказывается, что он имел с министром снабжения длинный разговор, который начался в четверть девятого и продолжался до девяти. — Инспектор усмехнулся. — Я проверял это специально ради вас, мой милый. Не стоило на это терять время, потому что никому и в голову не придет подозревать полковника Тарлингтона.

— Разумеется, — подтвердил я, и взглядом не моргнув. — А что вы сделали с тем списком фамилий, который я дал вам сегодня утром?

Его большая рука нырнула в карман пиджака.

— Я сделал все, что мог, мистер Нейлэнд, но узнал немного. Ну, слушайте: Во-первых, мисс Джемсмонд. Она живет за городом, в «Треповой даме», но не постоянно, потому что довольно много

разъезжает. Приехала она сюда из Южной Франции, как-раз тогда, когда французы начали собирать пожитки. Денег у нее куча. И кто-то из моих ребят говорил мне, что она большая охотница до молодых офицеров.

— Всё это я и без вас знал, — сказал я. — И даже больше. Мне, например, известно, что она владелица «Трефовой дамы».

Инспектор свистнул.

— А я полагал, что хозяин — Сеттль...

— Он только управляющий. И его настоящая фамилия не Сеттль, а Фенк-рест. Я сталкивался с ним раньше. Темная личность.

— А в чем тут дело по-вашему?

— Сам ещё не знаю, — честно признался я. — За всей этой компанией стоит последить. Миссис Джесмонд, несомненно, орудует на черной бирже — и не только для того, чтобы добывать вина и продукты для своего ресторана. Думаю, что она и сама спекулирует или во всяком случае вкладывает деньги в чужие спекуляции. Я видел у нее субъекта, который называет себя Тимоном из Манчестера, — это, несомненно, ее компаньин. Не мешает вам выяснить, кто он такой. — Я описал ему смуглого толстяка с манчестерским акцентом, и Хэмп записал всё в свою книжку.

— Не знаю, как далеко она зашла, — продолжал я. — Одно ясно — мы имеем дело не с честной гражданкой, а с особой, которая способна на все ради денег и роскоши, и легко может продать нацистам. Может быть, она завлекает молодых лётчиков только ради своего удовольствия, а возможно, что за этим кроется нечто гораздо более опасное.

— Что же вы хотите, чтобы я сделал с нею?

— Пока ничего. Предоставьте её мне. Теперь, — что вы узнали о миссис Кэстлсайд?

— Немногим больше, — сказал инспектор. — Это молодая жена майора Лайонеля Кэстлсайда, большого щеголя и светского человека. Он прислан сюда с полгода назад, командует зенитной батареей. Я слышал, что они женаты не так давно, но что она уже раньше была замужем за кем-то в Индии и овдовела...

— Да, помню, так она рассказывает. Но это неправда. И она знает, что я ей не верю. Я встречал ее раньше, и ей сейчас уже тоже кажется, что она меня видела где-то, — конечно, не на похоронах её первого мужа в Индии. Эта женщина кажется гауленькой, но у нее хватало ума и ловкости сочинить сказку и поймать Кэстлсайда. Теперь она страшно боится разоблачения. Вот таких-то и любит гестапо. Запугав их, оно использует власть

над ними для своих целей. Это его излюбленная тактика. Вот почему я поместил в свой список Шейлу Кэстлсайд. Муж ее офицер. Она шляется повсюду, главным образом по ресторанам, с другими офицерами. Её считают пустой и легкомысленной, а она совсем не глупа; следовательно, если она будет держать глаза и уши открытыми, она может узнать очень многое. И, если гестапо нажмет на нее, она способна передать им все, что узнает.

— Понятно, — сказал инспектор. В его маленьких глазках забегали искры. — И, кажется, эта молодая особа тратит большую часть своего времени и чужие деньги именно в «Трефовой даме», — не так ли?

— Так. Я, может быть, в самом ближайшем времени рискну поговорить с нею на чистоту. Да, кстати... — Я записал себе для памяти, что нужно позвонить с утра в Лондон и навести некоторые необходимые справки, в том числе и о Шейле Кэстлсайд.

— Следующий в списке, — начал опять инспектор, просматривавший свои заметки, — Периго. Я с ним уже беседовал раз по-дружески, несколько недель тому назад. Дело в том, что полковник Тарлингтон, человек горячий, сказал что-то о Периго нашему старшему надзирателю, а тот направил его ко мне. Полковник встретился где-то с этим Периго, и ему что-то сильно не понравилось — наружность Периго или разговор, не знаю. Вот нам и было предложено «проверить» этого человека. Премерзкая миссия, скажу я вам!.. Когда я его увидел, мне показалось... — добавил инспектор мрачно, — мне показалось, что он красит щеки!

— Вам не показалось, это так и есть, — сказал я со смехом. — Теперь вот что: Периго говорит, будто он в Лондоне занимался продажей картин, и его дом разбомбили, и тогда он, оставшись без дела, но имея немного денег, переехал в Грэтли, так как один его друг уступил ему свой коттедж за городом. Такова история, которую он рассказывает.

— Знаю, — почему-то рассердился инспектор. — И, ведь, все это — чистейшая правда, прах его возьми! Да, да, мы проверяли. И картинная галерея, и коттедж, — все правда. Что вы на это скажете?

— Ничего не скажу. Я этого ожидал. Периго слишком умен, чтобы подносить людям басни, которые так легко проверить. Всё это он мне рассказал при первой встрече, — он прямо-таки пристает ко всем с этой историей. Я тогда же понял, что она абсолютно правдива и под нее не подкопаться. Он говорил мне также, что приехал сюда развлечься. Если

как, то можете считать, что я приехал за тем же и что Грэтли — знаменитый курорт. Одним словом, я хочу сказать, что этот Периго — фальшивая монета. И умница. Он, например, догадался, что мамзель Фифин, акробатические трюки которой вы можете увидеть в нашем «Ипподроме» на этой неделе, не совсем та, за кого себя выдает. Видели вы Фифин?

— Завтра вечером, если всё будет благополучно, поведу туда жену, — с важностью промолвил инспектор. — Я-то предпочел бы кино, но жена любит цирковые представления. Так кто же такая эта Фифин?

— Могучая женщина, примерно, в нашем стиле, инспектор, и она проделывает на трапедии замечательные трюки и предлагает всем вести им счёт. Весь зал считает, это очень нравится публике. Это, кроме того, очень удобно ей и тем, кому она служит, так как в то время, как все смотрят на сцену и считают, она может передавать кому надо поручения цифровым кодом.

— Та-та-та! — воскликнул инспектор, — это что-то слишком уж для меня мудрено!

Я выколотил трубку о каминную решетку.

— Ещё чашку, инспектор? Отлично. Вы замечаете, как я стал терпелив и кроток? Я не буду опять рассказывать вам, чего добились немцы теми методами, которые вы называете «чересчур мудреными».

Инспектор посмотрел на меня поверх своей чашки.

— В этом вы правы. Не раз приходилось спрашивать себя, не сплю ли я, не снится ли мне всё это. Ладно, дружище. — Он наклонился вперед и хлопал меня по колену. — Забудьте это. И рассказывайте дальше.

— Списочек с номерами телефонов, который я дал вам, я взял (вернее, списал) сегодня у Фифин в уборной. А вот ещё бумажка с какими-то цифрами, её я подобрал там же, с пола. Она, очевидно, пользовалась ею на той неделе. Я не специалист по цифровому коду, и не намерен тратить время на расшифровку, а просто пошлю эту бумажку нашим экспертам. Подумайте, как всё ловко устроено! Вам ничего не нужно делать, только сидеть в зале и считать вместе с остальными зрителями — и вы, таким образом, принимаете сообщение. Группа всё время переезжает из одного промышленного района в другой, и все заинтересованные лица без затруднений могут прийти в театр на представление. У немцев есть методы гораздо более тонкие и точные, но и этот не плох. И могу вас

уверить, что наш приятель Периго знает, кому понадобилась эта затея с подчитыванием акробатических трюков. Я сидел на-днях в «Ипподроме» на представлении почти рядом с ним и сразу заметил, что он разгадал, в чем тут дело.

— Тогда давайте арестуем эту женщину! — воскликнул инспектор.

— Сделав это, мы только изъяли бы одно звено из цепи, — вот и всё. А двадцать других, более важных, уплыли бы у нас из рук. Нет, пока всё идёт как надо. Я не собирался утруждать вас проверкой Фифин. Предоставьте её мне. Я только хотел вам доказать, что знаю кое-что о Периго. Кто следующий?

— Да вот... Мисс Экстон, та, у которой лавка, — протянул он неохотно. — Понять не могу, почему вы её сюда вписали.

— Хотел знать, имеются ли у вас какие-нибудь сведения о ней, вот и всё, — ответил я, улыбнувшись. — Я как-раз вчера очень приятно провёл у неё время за стаканом вина. У неё удивительные по нашим временам запасы хороших вин. А заинтересовался я ею по двум причинам. Во-первых, потому, что при первой же нашей встрече она мне солгала. Во-вторых, потому, что она явно разыгрывает какую-то комедию. Вы не знаете, кто она?

— Племянница вице-адмирала сэра Джонсона Фрайнд-Тепли, — прочитал мне из своего блок-нота инспектор. — И, вообще, у неё большие связи. Последние несколько лет перед войной она жила за границей. Когда война началась, она ездила в Америку и пробыла там до прошлого лета, а, вернувшись, открыла в Грэтли магазин. Жена заходила туда раза два, покупала у неё разные мелочи для подарков, но она почему-то недолюбливает мисс Экстон. Говорит, что та слишком самоуверенна и вообще неприятная особа. Знаете, на женщин угодить трудно.

Я разжёл трубку.

— Нет, инспектор, я прекрасно понимаю, что имела в виду ваша жена. Завтра вечером мисс Экстон обедает со мной, и я постараюсь узнать о ней побольше, если есть что узнавать. Но она мне показалась вполне благонадёжной.

— Конечно, оно так и есть. Вы только теряете напрасно время, мистер Нейланд. То-есть, — он ухмыльнулся, — если вы тут стараетесь для дела, а не для себя.

Лицо его вдруг стало серьёзно, и он выразительно постучал пальцем по блок-ноту.

— Что касается последней фамилии в списке...

— Это вы о докторе Бауэрнштерн?

— Да. Эту фамилию я не хотел бы видеть здесь. Придётся мне выложить карты на стол, мистер Нейлэнд. Конечно, если вам угодно, я буду говорить с вами только как полицейский чиновник. Пожалуй, так будет лучше, потому что, если я буду откровенен, вы можете причинить мне большие неприятности... — Он нерешительно остановился.

— Послушайте, Хэмп, — сказал я, нарочно называя его просто по имени, без официального звания. — Одна из худших сторон работы, которой мне приходится заниматься (а я её не люблю и гораздо охотнее работал бы по своей специальности), та, что мне почти никогда не удаётся говорить с людьми искренно и я только выуживаю из них то, что мне надо. Я их ловаю, я притворяюсь и пробую узнать, не притворяются ли и они тоже. С вами это всё не нужно. Если я говорю вам не всё, что знаю...

— Не волнуйтесь, Нейлэнд, — перебил он, ухмыляясь, — я не такой толстокожий, как вы думаете. Я всё это понимаю...

— Если я говорю вам не все, так не потому, что я вам не доверяю, а просто — у человека бывают смутные догадки, подозрения, неясные ещё ему самому мысли, о которых до времени лучше не говорить. Если я поделюсь этим с вами, то вы можете отнестись к ним так, что испортите мне всё. Понимаете? Ну то-то! Я вам абсолютно доверяю и хочу, чтобы вы доверяли мне. Для меня это такое облегчение, такая радость, Хэмп, что есть человек, с которым я могу говорить прямо. Так что, ради бога, оставьте в покое свой чин и рассказывайте, что вы знаете, что думаете и чувствуете.

— Хорошо, — сказал инспектор с видимым облегчением. — Значит, насчёт доктора Бауэрнштерн. Я не удивился, увидев её фамилию в списке, — но огорчился. Огорчило меня это потому, что она мне симпатична, и я считаю, что с ней дурно поступили. Она хороший врач, по-моему, славная женщина, и я слышал, что она творила просто чудеса с ольными ребятишками в госпитале.

— И она была замужем за австрийцем, — перебил я, не желая слушать то, что я уже знал. — И считает его великим человеком, и не желает переменить фамилию, и ей живется не легко.

— Ага, вы, я вижу, уже кое-что о ней знаете. Должен сказать, вы быстро собираете сведения. Так вот, когда доктору Бауэрнштерну — я говорю о муже — пришлось у нас прописаться и потом выполнять всякие формальности, я его знал поближе. Помню, раз он высказал мне свое мнение о фашистах — и ни-

когда я не видел более печального и более озлобленного человека. А какой был врач! Просто чудеса делал. Он вылечил мою маленькую племянницу, а до него сестра побывала с нею, где хотите, у лучших специалистов Лондона, и все они говорили, что болезнь неизлечима. Но Бауэрнштерн скоро умер. Он был человек уже немолодой. По возрасту он годился в отцы своей жене. Мне думается, она вышла за него потому, что очень уж почитала его и как человека, и как врача.

— И я вынес такое же впечатление из того, что она говорила. Я с ней встретился впервые вчера вечером — и знаете где? Здесь, в комнате Олни. Она ждала его и сказала мне, что он её пациент. А сегодня я заходила к ней и был приглашен к чаю. Она мне немножко рассказала о себе и муже. Потом пришел Периго.

— Пе-ри-го? — Инспектор был неприятно удивлен.

— Да. Периго. Куда ни пойдешь, он тут как тут. Не думаю, чтоб они с доктором были старые знакомые, но во всяком случае они знакомы. Ну, так что же дальше?

Видно было, что инспектору не хочется говорить. Его что-то мучило.

— После его смерти, — начал он, — ей жилось несладко. Понимаете, фамилия у неё самая немецкая, и люди начали чесать языки, не потрудившись сперва узнать факты. Она женщина очень гордая (и я её за это не виню), — так что можете себе представить, как она приняла это. Да. Потом она нажила себе врагов ещё тем, что откровенно высказывалась насчёт наших местных порядков — ну, там насчёт состояния жилищ и прочего. И, конечно, это не улучшило отношения к ней. А в довершение всего, ещё случилась эта история с её деверем.

— Какая история? — Это было для меня настоящей новостью.

— У её мужа был брат моложе его, которому тоже пришлось бежать от нацистов. Этот малый, Отто Бауэрнштерн, металлург-химик и большой специалист своего дела. После всяких мытарств он поступил на службу на электротехнический завод Чартерса. Это было прошлым летом. Затем против него затеяли кампанию, требовали его увольнения. В числе тех, кто хотел его выгнать, был человек, о котором мы говорили сегодня, — полковник Тарлингтон.

— Да, этот тоже суется повсюду, — заметил я самым веселым и беспечным тоном.

— Как я уже вам говорил, полковник — человек почтенный и пользуется у нас здесь большим влиянием. Но, ме-

жду нами говоря, он уже слишком носит со своим патриотизмом. Как бы там ни было, а он заявил, что, принимая Отто на завод, администрация должна была посоветоваться с ним, как членом правления, и что он не потерпит, чтобы немец или австриец проводил на заводе каждый день и половину ночи. Другие его поддержали. Между прочим, — тут инспектор перешёл на конфиденциальный шопот, — и наш старший надзиратель, большой друг полковника. С месяц назад буря разразилась, и Отто Бауэрнштерну было предложено уйти с завода и немедленно выехать из нашего района. С завода он ушёл, но затем пропал неизвестно куда. Он уложил вещи, съехал с квартиры, сказав, что едет в Лондон, но ни в Лондоне и ни в каком другом месте он не прописался. Мы это знаем, потому что запрашивали о нем. Так до сих пор и неизвестно, что с ним случилось.

— А он жил не у своей невестки? — спросил я.

— Нет, но часто навещал её. Она очень возмущена тем, что с ним так поступили. Говорит, что он хотел только одного: помочь нам в борьбе с нацистами, а ему не дали спокойно работать и травят, как зверя. Да, она очень озлоблена.

— Отсюда — две возможности, — сказал я. — Первая: она могла настолько озлобиться, что какому-нибудь сладкоречивому нацистскому агенту нетрудно было убедить её помочь великой германской расе, к которой принадлежал её муж. Вторая возможность: вся эта история — просто оцковтиральство, и Бауэрнштерны никогда не были настоящими эмигрантами. Немцы посылали к нам немало своих агентов под видом беженцев — да, да, — и некоторые из них показывали незажившие рубцы от истязаний в концентрационном лагере. Все это они проделывают очень ловко и обдуманно.

— Есть ещё и третья возможность, Нейлэнд, — сказал инспектор, сурово посмотрев на меня, — то, что эта Бауэрнштерн именно такова, какой мы её считаем, что она — честная и хорошая женщина, которой сильно не повезло в жизни. Таково мое мнение, и я часто не мог смотреть ей в глаза от стыда за наших горожан. Она стоит сотни таких, как они.

Эта декларация, произнесенная с необычайной выразительностью, должна была бы встретиться с моей стороны некоторое презрение, но вместо этого я, — по какой-то, мне самому неясной причине, — испытывал смутное чувство неловкости, и как будто стыда за себя. Но чего мне было стыдиться? Немедленно вслед за тем я ужасно разозлился. Да, эта Бауэрнштерн всегда меня раздражала. То же

самое было и сейчас, хотя она и отсутствовала. Это сделал за нее ее заступник, инспектор.

— Ладно, — проворчал я. — Пускай она святая. Но она ведет себя не так, как женщина, которой нечего скрывать. Когда я увидел её здесь вчера вечером, она была испугана. А сегодня тоже была всё время настороже. Чем это объяснить?

— Тем, что её преследовали, — ответил он, не задумываясь.

Я покачал головой.

— Нет, тут не только это. А кстати, — вы действительно хотите разыскать и арестовать этого парня, Отто?

Он наклонился ко мне и сказал шопотом:

— Нет, не хочу. То-есть, не хочу в том случае, если он такой человек, как я думаю. А почему вы спросили это?

— Потому что мне, кажется, известно, где он находится. Я сильно подозреваю, что он спрятан в одной из комнат верхнего этажа в доме его невестки, вашей приятельницы.

— Вы в этом уверены?

— Нет, но я готов поставить ящик сигар против земляного ореха, что он там. Я прочел сегодня на лицах обеих женщин, — в особенности на лице этой старой служанки, — что они кого-то прячут в доме. А теперь мне ясно, кого.

Инспектор звучно шлепнул себя по коленям. Потом встал. Лицо его выражало крайнее неудовольствие.

— От души жалею, что вы сказали мне это.

— Погодите минутку! Не вздумайте пойти туда и арестовать его.

— Раз мне известно, где он, что же мне ещё остается делать? Его будут судить за уклонение от прописки.

— Я имею полномочие от Отдела (могу, если угодно, показать вам эту бумагу, но мне придется вынимать её из тюка), которое даёт мне право требовать всяческого содействия от полиции того района, где я работаю. Хотите видеть эту бумагу?

Он усмехнулся.

— Что ж, пожалуй, раз уж к слову пришлось. Я ведь до сих пор не работал ни с кем из ваших.

Я распорол шов в подкладке моего тюка и показал инспектору бумагу. Он был вполне удовлетворен. Бумага произвела впечатление.

— Что ж, все верно, — сказал он, снова хмурясь. — Значит, вы хотите, чтобы я оформил ордер на арест и отправил к Отто Бауэрнштерну?

— Нет. Я хочу и настаиваю на том, чтобы вы оставили Отто в покое. И беру всю ответственность на себя.

Выражение неудовольствия мигом слетело с лица инспектора.

— Вот это другое дело. И знаете, по моему, вы неправы. Я готов поручиться всем моим жалованьем, что доктор Бауэрштерн — честный человек. А я не плохо разбираюсь в людях.

— Не сомневаюсь в вашем умении разбираться в людях, инспектор, — сказал я. — Но мы живем в очень необычайное время, и человеческий ум избирает самые необычайные пути. Мир переживает самый сложный момент, а мы делаем ошибку, стараясь убедить себя, что все очень просто. Деньги, политика, честолюбие, частные точки зрения и предрассудки, злоба, тайные замыслы — все смешалось в этой войне. Она подносила мне столько неожиданных сюрпризов, что теперь я больше не позволяю себе ничему удивляться. И я ни за кого и ни за что не ручаюсь, пока у меня нет убедительных доказательств.

В то время, как я говорил это, Хэмп пристально смотрел на меня.

— Мне думается, вы были счастливее до того, как занялись своей нынешней работой, Нейланд, — сказал он вдруг.

— Я уже давно перестал быть счастливым, — ответил я неожиданно для себя самого. — Я получил свою долю счастья и лишился его и ни на что больше не надеюсь... Да, вот что, инспектор: разрешите завтра утром зайти к вам и воспользоваться вашим телефоном. Спасибо, что побывали у меня. А теперь я посмотрю записную книжку бедняги Олни.

Как только инспектор вышел, я принялся за записную книжку. Странно и грустно было разбирать эти каракули, — все, что осталось от человека. Сотрудники Особого отдела, к которым принадлежал и Олни, работают не так, как мы в Отделе контршпионажа. Они гораздо дольше живут в одном и том же месте, занимаясь каким-нибудь обычным трудом, — и поэтому вся система их слежки и техника её носят иной характер. Записная книжка Олни с первого взгляда могла показаться действительно книжкой любого мастера авиационного завода. В ней было множество записей, связанных с работой в цеху. Но я понимал, что в ней имеются какие-нибудь указания на то, чем были заняты его мысли, иначе он, собрав последние силы, не выбросил бы её перед смертью из кармана, чтобы она не попала в руки убийц. И, действительно, — последние несколько страничек содержали как бы его прощальный наказ мне и должны были заменить нашу несостоявшуюся беседу. Теперь дело было за мной.

На первой страничке было написано: «Трефовая дама» и стоял большой вопросительный знак. Ниже — сделанная кое-как диаграмма с таинственным X в цент-

ре кружка, изображавшего город, и от него — лучи во все стороны. Внизу примечание: «Один пункт связи в городе, а другой — вне его?» Была ещё заметка: «Как насчет окна?» В другом месте только два слова: «Вероятно, Америка». Дальше — ссылака на запись, сделанную месяца два назад. Запись эта, которую я с трудом нашел, состояла из одной фразы: «Оба они утверждают, что у него на левой щеке след глубокого шрама». На последней странице книжки стояло три слова, которые я долго не мог разобрать, потому что они были перечеркнуты жирной «птичкой», но, в конце-концов, я пришел к заключению, что это были слова: «Проверить насчёт шрама». На последних трех страничках, в разных местах, было ещё несколько отдельных слов, из них два-три — подчеркнуты. Особенно выделены были слова: «Цветы» и «Сладкое».

Это было всё. Я переписал заметки Олни и сопоставил их с теми скудными сведениями, какие сам успел добыть. Легко видеть, что это был не слишком богатый и многообещающий материал. И на фоне его резко выделялся один неумолимый факт, — что эти люди, которых мы выслеживаем, открыли, кто такой Олни, догадались, что ему слишком много о них известно, и нанесли удар раньше, чем он успел сделать дальнейшие шаги. (Меня очень тревожило ещё исчезновение его зажигалки.) Возможно, что следующий на очереди — я.

Раньше, чем лечь спать, я захотел проветрить комнату, полную табачного дыма. Я потушил свет, распахнул окно. И минут-другую смотрел — с не слишком веселыми мыслями — во мрак затемненных улиц.

6.

Придя на следующее утро в полицейское управление, я не застал инспектора, но он, уходя, распорядился, чтобы мне позволили вызвать Лондон по телефону. Мне нужно было навести несколько справок в Отделе о Фифин, о Бауэрштернах, и узнать кое-что, связанное с Канадской Тихо-океанской железной дорогой. Я знал, что всё это выяснят очень быстро, и поэтому остался ждать ответа. Таким образом, я почти всё утро провалялся в кабинете Хэмпа. Хэмп пришел в тот момент, когда я окончил разговор по телефону. Я вернул ему книжку Олни и осведомился, удалось ли ему выяснить что-нибудь насчёт списка телефонных номеров, найденного мною у Фифин.

— Я узнал всё, но вы будете разочарованы. Вот он, ваш список.

Мы стали вместе его просматривать.

— Вот, видите, это — телефон «Трефо-

вой дамы», как я уже вам вчера говорил. Первый сверху — телефон театра, тот, что у входа за кулисы. И ничего нет странного в том, что этот номер у неё записан, не так ли?

— Ровно ничего. Ну, а остальные четыре?

— Гм... А вот следующий меня немного удивил, — сказал инспектор, ткнув пальцем в одну из цифр. — Мне бы сразу следовало его вспомнить. Ведь, это телефон Электрической компании Чартерса. Чего ради какой-то акробатке мог понадобиться этот телефон? Непонятно!

— У них шесть тысяч рабочих и служащих, — сказал я равнодушно. — Она может объяснить, что один из них — её хороший знакомый. Дальше, пожалуйста!

— Вот это — телефон одного аптекаря, известного в городе, почтенного человека. Он говорит, что у него имеется театральный грим и всё, что нужно актерам, и, кроме того, он достает им аспирин и другие лекарства. Это для него вроде небольшого побочного заработка. Торгует он совершенно открыто и честно. Со следующим номером тоже всё в порядке, я выяснял. На квартире у этой акробатки нет телефона, а телефон, что тут у неё записан, — у соседей, через площадку. Они за плату всем разрешают им пользоваться. Это — обычное дело.

— Никогда не видал такого количества густышек! — сказал я с раздражением. — Ну, а последний? Галантерейная лавка или газетный киоск?

— Вы угадали. Лавка. Я знаю владельца, его фамилия Сильби. Он торгует газетами, папиросами, всякой всячиной. Это тоже телефон, так сказать, общего пользования за плату. И вот что, Нейланд: мне туда идти бесполезно, так как они меня знают — у Сильби в свое время были неприятности с полицией из-за разных темных делишек. Так лучше сходите вы сами. Вот адрес — Мьюли-стрит. Увидимся ещё сегодня?

— Вряд ли, — сказал я угрюмо. Я возлагал столько надежд на эту бумажку с номерами телефонов — и к чему все свелось? Впрочем, должен оговориться: тому факту, что среди них имеется телефон Электрической компании, я придавал больше значения, чем можно было заключить из моего ответа инспектору.

Хэмп объяснил мне, как найти лавку Сильби на Мьюли-стрит, между рыночной площадью и заводом Чартерса.

Это была дрянная улица, токувшая в густой чёрной грязи, и лавка Сильби была здесь вполне на месте. Таких лавчонок в Англии, должно быть, тысячи, и одному богу известно, кто их выдумал. Тут продавались газеты, программы скачек, бульварные романы в бумажных об-

ложках, открытки, на которых изображены были толстоногие и толстозадые женщины, астрологические изыскания по шести пенсов за книжку, сонники и уйма всякой другой дешевой дряни. В мирные времена здесь, наверное, бойко торговали папиросами и шоколадом. Что-то притаившееся, вороватое чудилось в этой тесной лавчонке, по которой давно скучала мусорная свалка. Я застал здесь слонявшуюся без дела пожилую чету, — очевидно, это были мистер и миссис Сильби. При взгляде на их бескровные лица с подслеповатыми глазами вспомнились те твари, что выползают из гниющих деревянных строений. У обоих рты были всегда полуоткрыты, оба беспрестанно шмыгали носом, издавая какие-то противные, хлопающие звуки.

— Да? — спросил мистер Сильби.

Я собирался было начать с успокоительной лжи и объяснить свой приход желанием сговориться насчёт пользования их телефоном, но вдруг решил, что не стоит ломать комедию и лучше действовать напрямик.

— Вы — мистер Сильби? Вот в чем дело. Я только-что видел номер вашего телефона у одной особы... — Я сделал паузу и увидел, что в его выцветших глазах мелькнул страх. Женщина подошла поближе, и мне показалось, что и она тоже испугана.

— А вы кто такой? — спросил он неуверенным, дрожащим голосом.

— Это вас не касается... — отрезал я свирепо. И вот тут-то, будь он честный человек, он непременно послал бы меня к черту. Но он, конечно, этого не сделал.

— Я желаю знать, как номер вашего телефона попал к...

Торопясь оправдаться, женщина, не дослушав, перебила меня:

— Видите ли, сэр, так как у нас есть телефон, а у многих нету, некоторые покупатели сговариваются с нами. Они наш номер сообщают своим знакомым и те передают через нас всё, что нужно, а за это мы получаем шесть пенсов. То же самое и с письмами. И людям удобно, и нам небольшой доход.

— Есть у вас список ваших абонентов? — спросил я резко.

— Как же, сэр! Можно показать, если угодно, сэр! Принеси джентльмену список, Арнольд.

Арнольд показал мне список и, конечно, я ничего из него не узнал. Сплошь все Смиты, Брауны и Робинзоны. Отдавая через прилавок этот список хозяину, я вдруг заметил у своей ноги на неподметенном полу среди мусора окурки папиросы. Он был много длиннее, толще и чище, чем мажнд было ожидать от окурка в таком месте. Я его подобрал и,

уже отойдя на несколько метров от лавки, остановился на улице, чтобы рассмотреть его. Как я и думал, это была американская папироса. Можно было даже прочесть сохранившийся конец слова, напечатанного мелким шрифтом: «илд». Честерфилд! Значит, у Сильби была какой-то покупатель, куривший честерфилдские папиросы. А я готов был поручиться, чем угодно, что никакой обычный покупатель с этой улицы не курит честерфилдских папирос, которых в Грэтли ни за какие деньги не достанешь. Ясно, что человек, бросивший в лавке Сильби этот окурок, приходил туда, чтобы справиться относительно вызова по телефону. Дойдя в своих размышлениях до этого вывода, я случайно сглянулся и увидел, что мистер Сильби, как гигантский трясущийся термит, стоит в дверях лавки, вперив в меня стеклянные глаза.

Миссис Уилкинсон оставила мне кое-что от их завтрака, и я съел все у себя наверху, глядя, как черный дождь поливает двор и садик. Мне предстояло послать в Отдел изрядно длинный отчет и, так как его нужно было зашифровать, то это отняло у меня большую часть дня. Отправив письмо в почтовом отделении на углу, я под дождем чуть не бегом вернулся домой, напился чаю и лег вздремнуть.

Легкие радостные сны то прилетали, то улетали снова.

Я видел себя в Чили, алмазным утром, и со мною была снова Маракита и наш мальчик, и Пауль, и Митци Розенталь. А в следующую минуту, очнувшись, я вспоминал, что я в Грэтли, на Раглан-стрит, лежу на диване, что за окном умирает хмурый январский день, а я постарел, очерствел, выдохся, из живого человека стал чем-то вроде тени. И я злился. Сны не должны быть так яркие и так мимолетны. Злила меня еще одна непонятная вещь — то, что я не переставал думать об этой Бауэрнштерн и, хотя не помнил ясно, да и не хотел помнить ее лица, — передо мной стояли зеленовато-карие глаза, горящие и печальные. Я твердил себе, что мне нет никакого дела до этой женщины, и что если я решил на час-другой выбросить из головы все дела, с какой стати утомлять себя мыслями о подозрительных личностях? Но все было напрасно.

Без десяти минут семь, — скорее по счастливой случайности, чем благодаря умелому лавированию, я добрался во время крошечной до той самой двери, за которой накануне вечером целовал мисс Экстон. Митинг был назначен в городском зале на бульваре, в каких-нибудь трех минутах ходьбы от лавки мисс

Экстон. Таким образом, мы с нею успели еще подняться в гостиную, и меня снова щедро угостили канадской водкой. У меня крепкая голова, я не скоро пьянею, но я так быстро проглотил свою порцию, что немедленно почувствовал действие алкоголя. Мисс Экстон — странно, я до сих пор не знал ее имени — была очень эффектна и более, чем всегда, походила на зелено-золотую, огненно-ледяную королеву. В ее обращении со мной ничто не напоминало о вчерашних поделухах, но в то же время ничто не давало повода думать, что она отрекается от них. Большинство женщин стали бы ко мне нежнее или, наоборот, холоднее, а эта держала себя совершенно так же, как вчера в начале нашего разговора.

Перед самым уходом я вдруг вспомнил, что не заказал для нас обеда в «Трефовой даме». Я позвонил Фенкресту, называя его «Мистер Сеттль», но произнося эту фамилию так, чтобы он понял, что для меня, он попрежнему Фенкрест, — и сказал ему прямо, что рассчитываю на хорошее обслуживание в его ресторане. Он выразил полную готовность сделать для меня все, что может. Вешая трубку, я подметил пылкий взгляд мисс Экстон, но она не сказала ничего, — а я сделал дерзко-самодовольную мину, разыгрывая тупого и похотливого самца, который готовится сорвать женщину.

Но, когда мы вышли, она сделала одно замечание:

— Слушая, как вы заказываете обед, можно было подумать, что никакой всыны нет.

Нужно было подать соответствующую реплику.

— Когда мужчина ведет красивую женщину обедать, ему нет никакого дела до войны.

Она легонько сжала мою руку у плеча, как бы благодаря за эту идиотскую фразу. Помню, я спросил себя мысленно, долго ли может продолжаться эта комедия. Ведь, чуть не каждое сказанное нами слово и каждый сделанный жест были просто оскорбительным отрицанием всякого чутья и ума в себе-седнике.

Зал походил на дешевый гроб громадных размеров. Он был украшен множеством флагов и уютно набит представителями различных групп населения: служащих, торговцев, жителей пригородов. (Для рабочих устраивались отдельные митинги в заводских столовых.) На председателем месте восседал мэр Грэтли и читал по бумажке свое вступительное слово, настолько медленное, что даже такие слова, как «который» и «где» приобретали какой-то загадочный и несколько зловещий смысл, как буд-

то здесь действовала черная магия. Объявив нам, что местный член парламента не нуждается в представлении, он немедленно вслед за тем представил нам этого члена парламента, самовлюбленного и червонного человечка, который держал себя, как обидчивый гость на свадьбе. Его метод состоял в том, что он выкрикивал пошлости таким сердитым голосом, как будто мы спорили с ним много часов и его терпение истощилось. Он, вероятно, занимал какую-нибудь очень скромную государственную должность, но старался внушить нам, что он и Черчилль разделили между собой всю связанную с войной работу. Он был не очень последователен. То он ругал нас за непонимание того, что это — наша война, война всего народа, то давал понять, что война, в сущности, дело не наше, а его и нескольких его вестминстерских знакомых. Он негодовал на то, что у нас слишком много критикуют, что слишком много людей «сидят себе и занимаются критикой», но наряду с этим возмущался нашей «самоуспокоенностью» и доказывал, что она и есть главная опасность. Он высказал мысль, что вряд ли хоть кто-нибудь из нас честно делает то, что нужно, но не сказал, что же нужно. В конце-концов оказалось, что он и Британская Империя воеют за свободу, что они и всегда защищали ее и сейчас не дадут ей погибнуть. За что мы наградили его взрывом аплодисментов.

Следующий оратор был высокий, мрачный мужчина, сэр Кто-то. Откуда-то. Этот разрешал вопросы очень просто. По его словам, вся беда была в том, что у нас на службе множество немцев, которым мы поручаем говорить по радио с Германией и обещать германскому народу то, другое, третье, тогда как следовало бы выгнать из Радио-Корпорации всех этих немцев-вещателей и всех их друзей, красных интеллигентов, и объявить Германии, что мы будем беспощадно уничтожать немцев для того, чтобы она поняла, что мы не намерены больше «терпеть всякие глупости». Это неизбежно приведет нас (он не сказал, какими путями) к скорой и полной победе. К концу этой замечательной речи, которая словно была написана для него Геббельсом, я уже спрашивал себя, к чему я трачу время, выслеживая нацистов, когда такие господа, как этот сэр Кто-то, стоят каждый дюжины гитлеровских агентов.

Наконец, выступил человек, речь которого я собственно и пришел послушать, — полковник Тарлингтон. Я не видел его ни разу после той встречи у конторы завода, но за это время мне пришлось неоднократно слышать о нем от разных людей. Как и в первую встречу, он напомнил мне генерала прошлой войны, сменившего мундир на штатское

платье. Чопорный, подтянутый, румяный. Говорил он очень хорошо, хотя, как всегда, отрывисто, и, видимо, привык ораторствовать с трибуны и знал свое дело отлично. Он захватил слушателей, чего явно не сумели сделать три предыдущих оратора. До сих пор я слушал рассеянно, мысли мои были наполовину заняты другим. Но полковника я стал слушать внимательно, стараясь не пропустить ничего.

Избрав позицию мнимой чистосердечности, — «я, мол, человек прямой, без всяких вывертов» — Тарлингтон объявил, что он — за настоящую оборонную работу, без слюнявой сентиментальности. Все, кто устраивает забавочки или кричит о своих драгоценных «правах», должны быть отправлены на фронт или, если они не угомонятся, расстреляны немедленно. Он намекнул, что лидеры лейбористов, пользуясь своим положением, шантажируют страну. Он сказал, что у нас болтают невероятную, фантастическую чепуху о после-военной реконструкции мира. Война еще нами не выиграна и, если даже мы ее выиграем, мы будем беднее, чем до нее, и все здравомыслящие люди должны уже сейчас делать все для того, чтобы укрепить позиции работодателей, частную инициативу и обеспечить необходимый контроль капитала над производством. Он просил нас не забывать, что коммунисты продолжают свою деятельность в нашей среде и широко используют тот сентиментальный бред, который слышишь сейчас повсюду о России.

В заключение мы узнали, что нашей стране более всего нужен сейчас тот непоколебимый дух старой Англии, благодаря которому наш флаг развевается во всех концах мира.

Сказано было, разумеется, еще очень многое, но общий смысл всего был именно таков. Я заметил, что несколько репортеров стенографируют речь полковника, и подумал, что, несомненно, некоторые наиболее провокационные фразы будут приведены не только в местной прессе. Во время этой речи раздались только два-три крика протеста из глубины зала, но их тотчас заглушили аплодисменты поклонников Тарлингтона в первых рядах. Впрочем, даже и эта публика не вся была довольна: я приметил вокруг себя несколько сосредоточенных и недоуменных лиц. Тарлингтон сделал свое дело хорошо.

— Ну, что вы скажете об этой речи? — спросила меня мисс Экстон, в то время как мэр предлагал вынести полковнику благодарность.

Я ответил ей самым непринужденным тоном:

— Скажу, что полковник Тарлингтон — в высшей степени ловкий человек.

Она обожгла меня сверкающим синим взглядом, но разговаривать было уже некогда. Когда мы пробрались к выходу, я заметил в толпе озабоченное лицо, которое тотчас узнал, а затем его обладатель, в свою очередь, узнал меня. Это был Хичем из Электрической компании. Он торопливо протолкался к нам, и, извинившись перед мисс Экстон, отвел меня в сторону.

— Я вам только-что отправил письмо, мистер Нейлэнд, — начал он. — Сегодня было заседание правления и, как я и обещал, я поставил вопрос о вас. Я сказал им совершенно откровенно, что у вас нет опыта в нашей работе, но указал на вашу квалификацию и на опыт в организации труда. Правление сначала возражало, но потом, совершенно неожиданно, один из директоров, который пользуется большим влиянием, вдруг предложил взять вас на испытание, так как мы очень нуждаемся в хороших рабочих. Так что, если вы не уедете из Грэтаи и зайдете ко мне, примерно, в середине будущей недели, я смогу вам кое-что предложить.

— Очень, очень вам благодарен, — сказал я, скрывая изумление. И невольно подумал, что, если бы мне действительно нужна была служба, никогда она не досталась бы мне так легко. — Кстати, не скажете ли вы, кто этот директор, заступавшийся за меня?

Хичем усмехнулся.

— Скажу, но смотрите, не выдавайте меня! Вы его только-что слушали. Это полковник Тарлингтон.

Очень довольный, я вернулся к мисс Экстон. Наконец-то дела мои двигаются вперед. Мне показалось, что она опять с любопытством посмотрела на меня. Но она не спросила, с кем я только-что разговаривал. Мы очутились теперь в давке у самого выхода. Кто-то около нас сказал, что дождь все еще льет.

— Ах, боже мой, какой я разиня! — воскликнул я — на этот раз совершенно искренно. — Я совсем забыл, что до «Трефовой дамы» две мили. Вряд ли удастся сейчас достать такси.

— Там совсем близко проходит автобус, — успокоила меня мисс Экстон. — И мы сейчас его застанем на остановке. Бежим скорее!

Мы побежали и, действительно, поспели на автобус. Всю дорогу пришлось стоять, и вокруг было слишком много мокрых пальто, но мисс Экстон это ничуть не смущало. Я считал, что она из породы требовательных людей, людей разборчивых от природы и довольно нетерпимых. Но она обладала способностью удивлять, и на этот раз удивила меня больше, чем когда-либо.

Как только она вышла из раздевалки в «Трефовой даме», я увлек её в бар,

где царил широколицый любезный Джо. Большинство посетителей в этот час уже обедало в столовой, и в баре сидело только несколько человек, всё незнакомых. Я заказал Джо две двойных порции коктейля Мартини.

— Вы, ведь, не любите, когда он сладкий? — спросила мисс Экстон.

— Нет. Джо, смотрите, чтобы был не сладкий.

— Постараюсь — ответил Джо, обнажая золотой зуб. — Но в такое время, когда всего нехватает, лучше пить Мартини сладким.

Это повторенное несколько раз слово «сладкий» смутно напомнило мне о чем-то, но я не сразу сообразил, о чем именно, и минуты две напряженно думал. Потом вспомнил. Среди отдельных слов записанных Олни на последних листках его записной книжки, было и слово «сладкое». Размышляя об этом, я заметил, что Джо предлагает мисс Экстон папиросу.

— Вы, кажется, любите честерфилдские, — говорил он. — А у меня еще сохранился небольшой запасец.

— А что, их очень трудно достать? — спросил я, отказавшись от предложенной и мне папиросы.

Джо прищурился.

— Когда я служил у Борани, я познакомился там с молодыми людьми из американского посольства и, пока у них были запасы, они и меня не забывали. У меня до сих пор сохранилось немножко...

— Чтобы самому курить и других угощать, а? — ввернула я небрежно.

— А как же! Только, поверьте, я далеко не каждого угощаю.

Итак, похоже было на то, что это Джо или кто-то из его знакомых приходил в лавку Сильби незадолго до меня. Вряд ли в таком месте, как Грэтаи, еще у кого-нибудь имелся запас американских папирос. Затем трудно было предположить, что кто-нибудь, случайно получив от Джо папиросу, унес бы ее отсюда и выкурил где-то на Мьюли-стрит, в лавке Сильби. Но, конечно, Джо или кто-либо из его товарищей мог ходить к Сильби и по делам, которые меня не интересуют.

Мы уже допивали свой Мартини, кстати сказать, очень крепкий, как вдруг мисс Экстон спросила:

— Кто этот человек, с которым вы разговаривали после митинга? Я его где-то встречала.

— Это Хичем с завода Чартерса. — Я воспользовался удобным моментом и продолжал: — Он сказал, что правление как будто намерено предложить мне работу.

Она с улыбкой посмотрела на меня.

— Это замечательно, правда?

— Еще бы! И, знаете, курьезно (только это между нами), что правление хотело мне отказать, так как я не специалист по электротехнике, но один из директоров вступился за меня. И знаете, кто?

— Догадываюсь, — отозвалась она спокойно, снова ошеломив меня неожиданностью своего поведения. Я ведь был уверен, что она притворится, будто ничего об этом не знает. — Полковник Гарлингтон?

— Но скажите ради бога, откуда вам это известно? — спросил я с невиннейшим видом, стараясь, чтобы на моем лице можно было прочесть не больше, чем на свежее-выбеленной стене.

Она попалась на удочку.

— Вчера вечером после вашего ухода я вспомнила то, что вы говорили насчет службы, и позвонила полковнику. Просила за вас.

— Ну и молодчина же вы! — сказал я, глядя на нее так, как будто мне хочется опять целовать ее. — Но я не знал, что вы с ним так близко знакомы. Помните, вы говорили, что почти не знаете его и что он не в вашем вкусе.

— Так оно и есть, — ответила она, и глазом не моргнув. — Но мы встречались несколько раз. Имела же я право сказать ему, что вы мне кажетесь человеком, который может им быть полезен. Полковник ничуть не рассердился за то, что я позвонила. Напротив, поблагодарил меня. И вам следовало бы сделать то же самое.

— Ну, конечно, я вам ужасно благодарен. — сказала я с вымученным энтузиазмом. — Надеюсь доказать это вам при первом удобном случае.

В «Трефовой даме» царило в этот вечер большое оживление. Столовая была переполнена, незанятым оставался только один столик, который Фенкрест приберег для меня. Я увидел миссис Джесмонд в обществе двух-трех офицеров и каких-то дам, а за другим столом, в компании военных. — Шейлу Кэстлсайд. Зато Периго на этот раз нигде не было видно. Обед нам подали очень хороший и для меня раздобыли бутылку великолепного Meursault, которую я честно разделил с мисс Экстон, повидимому, не боявшейся спиртного. За обедом мы говорили больше всего об Америке. Я знал от инспектора, что она туда ездила. Она рассказывала мне, как гостила у друзей в Калифорнии, пока не почувствовала, что ее долг — вернуться на родину и работать для фронта. Вернувшись, она попробовала заняться то тем, то другим, но ничего у нее не ладилось, так что она, в конце-концов, открыла магазин подарков. Вся эта история, разумеется, не выдерживала никакой критики, но еще не настало время сказать ей

об этом. Я видел, что она сегодня искренно наслаждается всем. Я часто потом пытался понять, почему она была так весела в тот вечер. Оркестр дребезжал, почти не умолкая, и мы во время обеда разок потанцовали. После некоторого нажима с моей стороны официант принес мне немного того бранди, которым нас угощала миссис Джесмонд два дня тому назад, но в это время к нашему столику подошел летчик, был мне представлен, отказался от бранди и пригласил мисс Экстон танцовать.

Не успели они отойти от стола, как ко мне разлетелась Шейла Кэстлсайд. Как всегда возбужденная, а может быть, и чуточку пьяная, она была все же очень привлекательна. Мне нравился этот длинноватый, бесстыжий нос и необычайные глаза — один немножко темнее другого.

— Где вы пропадали? — осведомилась она.

Я объяснил, что рыскал по городу по разным делам и почти все время был очень занят.

— Зачем вы притащили с собой эту ужасную особу? — сказала Шейла с гримасой. — Вы знаете, что я ее терпеть не могу. Я, ведь, вам говорила.

— Говорили. Но, в конце-концов, я вам не муж, Шейла. Так что не делайте мне сцен.

— Если бы вы знали то, что знаю я... — начала она, но вдруг осеклась.

— Что же?

— Нет, ничего. Напрасно я заговорила о ней. Раз она вам друг... — Шейла пожалала плечами.

Я заглянул ей в глаза.

— Шейла, мы с вами хотели поговорить, помните? Разговор будет серьезный.

Она казалась испуганной, но утвердительно кивнула головой.

— Я готова. Когда хотите.

С той минуты, как Шейла подошла ко мне, я решил, что разговор с ней не следует откладывать. А справки, наведенные мною сегодня утром через Отдел, дали мне в руки все, что нужно.

— Отлично. Но неудобно говорить здесь, на людях. Если можете, улизните от своей компании, а я оставлю мисс Экстон на полчаса с ее летчиком. Но найдется ли здесь какое-нибудь место, где мы можем поговорить без свидетелей? И не беспокойтесь — будет только разговор, больше ничего.

— Я знаю это, чорт вас возьми! — сказала она. — Может быть, наверху есть свободная гостиная. Попробуйте узнать, и я тоже попытаюсь.

— Значит...

— Кто первый найдет, пошлет другому записку... Что, эта тварь, Экстон, пила бранди из того стакана?

Нет, и не дотрагивалась до него. Хотите?

— Ваше здоровье! — Шейла залпом выпила стакан.

— Не заказывайте для нее другой порции. Она этого не стоит. Ну, я пошла.

Я видел, как она вернулась к своей компании, затем, посидев с ними минуты две, подошла к миссис Джесмонд, которая, отвернувшись от стола, выслушала ее. Должно быть, Шейла спрашивала у нее относительно гостиной. Мне пришел в голову другой план, — и, так как мисс Экстон все еще танцевала и, видимо, не собиралась пока бросать своего кавалера, я поспешно вышел из зала и отправился на поиски Фенкреста. В кабинете его не было, в гостиной при буфете тоже, так что я отказался от своего плана и вернулся в столовую как раз во-время, чтобы заказать вино для мисс Экстон и ее кавалера. Я извиняющимся тоном сказал мисс Экстон, что здесь обедают мои знакомые, с которыми я хотел бы перемолвиться несколькими словами и, кроме того, мне нужно заказать на междугородной станции телефонный разговор, так не хочет ли она потанцевать, пока я все это сделаю. Она секунду пристально смотрела на меня, словно спрашивая, что все это значит, но затем улыбнулась и сказала, что, конечно, с удовольствием потанцует еще, потому что ее летчик — великолепный партнер. Я подтвердил, что они — прекрасная пара.

Шейла отошла уже от миссис Джесмонд и, так как последняя несколько раз поглядывала в мою сторону и улыбалась мне, я счел необходимым подойти к ней. Я недолго выжидал удобного момента. Оркестр заиграл вальс, любимый танец мисс Экстон, и она умчалась с представителем воздушных сил.

Некоторые из компании миссис Джесмонд танцевали, и она заставила меня сесть подле нее на свободное место. Сегодня ее бархатные щеки еще больше напоминали персик и были еще соблазнительнее. Я испытывал сильное желание взять в руки эту стройную шею и что-то сделать с нею. Но что? Погладить или свернуть ее? Этого я и сам не знал.

Я спросил, не видела ли она Периго.

— Не видела с того вечера, когда он без всякого приглашения пришел в мою гостиную наверх, — отвечала она.

Я пустил пробный шар.

— Знаете, как это все вышло? Я пришел наверх, ища вас. И заблудился. Вдруг вижу: у закрытой двери стоит Периго и не войти собирается, а явно

подслушивает. Я поколебался было, потом двинулся прямо к двери, и в эту самую минуту ваш приятель из Манчестера открыл ее.

— Это все именно так и было, мистер Нейлэнд?

— Это так именно и было, миссис Джесмонд, — ответил я твердо. — Как вы думаете, чем занимается Периго?

— Не знаю. — Она широко раскрыла глаза и заговорила шопотом. — Я иной раз думаю, не шантажист ли он. А вы?

— Он говорит, что он бывший торговец картинами и приехал сюда, потому что один приятель сдал ему коттедж.

— Это слишком очевидная ерунда.

— Меня это заинтересовало, — продолжал я небрежно. — И я попросил знакомого, который знает всех и все, навести справки. Ответ очень любопытен. Оказывается, Периго действительно бывший торговец картинами.

Она раскрыла портсигар.

— Я удивлена, — сказала она медленно, постукивая папирсой о крышку, — хотя он знает толк в картинах. Между прочим, он врал тогда вечером, говоря, что проводил часы, любуясь моими картинами. Он всего-то их один раз и видел. Разумеется, он постоянно врет. И он себе на уме. Помните, как он говорил о войне в тот вечер? Это, несомненно, говорилось с определенной целью.

— Да, и у меня тоже сложилось такое впечатление, — сказал я уклончиво. — Он всегда так хитрит со мной. Видимо, ловит. Он догадывается, что я смотрю на вещи иначе, чем разные близорукие глаушцы.

Она в каком-то раздумье смотрела на меня, а я в это время заметил, что папирсы у нее незажжена. Но, когда я стал нашаривать в кармане спички, миссис Джесмонд покачала головой.

— Спасибо, не трудитесь. У меня есть хорошенькая новая зажигалка и мне хочется испробовать ее.

Она достала из сумочки маленькую, красную с черным зажигалку, точно такую, как та, что лежала у меня в кармане. Такой зажигалки не купишь нигде. И так, либо эта женщина из наших, либо у нее зажигалка Олни. Голове моей пришлось работать быстро. «Если миссис Джесмонд не наша, но знает назначение наших зажигалок, — размышлял я, — то, показав ей свою, я тем самым открою, кто я, и разрушу все, сделанное до сих пор». Риск был слишком велик, и я пошел на компромисс, сказав:

— У меня есть зажигалка вроде этой, — подарок одного старого приятеля.

Окончание следует

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ГЛАДКОВ

(К 60-летию со дня рождения)

Г. ФЕДОСЕЕВ



Федор Васильевич Гладков родился в 1883 году в селе Чернавке Саратовской губернии в крестьянской семье. До пяти лет рос в деревне. Крайняя бедность заставляла отца Гладкова уходить на заработки в Астрахань — на рыбные промыслы. Но эти заработки были настолько ничтожными, что отец и мать будущего популярного советского писателя вынуждены были «года по два отработывать долги хозяину». В конце-концов, отец и мать бросили родную деревню и уехали на Северный Кавказ. Там они работают батраками у богатых казаков, затем — рабочими на свечном заводе. Но и здесь Гладковы убедились, что выбраться из нужды невозможно, и вернулись в Чернавку.

Детские годы Федора Гладкова не были золотой порой его жизни. Уже с ранних лет он испытал тяжкий подневольный труд. Учился будущий писатель с большими перерывами, сначала в земской школе, затем в городском шестиклассном училище. Своим духовным развитием он обязан главным образом книгам, которые поглощал с жадностью.

По окончании педагогического класса в городском училище Федор Гладков уехал в Забайкалье, где работал народным учителем и сотрудником газеты «Забайкалье», в которой напечатал целую серию рассказов и очерков о «вольной команде», о поселенцах и т. п.

С 1904 года Федор Гладков познакомился с социал-демократической организацией, а через год, уже на Кавказе, в Ейске, начинает свою революционную деятельность и вступает в члены РСДРП(б). В том же году он сдает экстерном экзамен на звание учителя высшего начального училища. В Ейске Гладков руководит политическим кружком портовых рабочих, пишет прокламации, участвует в организации политических забастовок. Преследования полиции заставляют его скрываться в Забайкалье, где он продолжает вести революционную работу.

Затем арест — Иркутский централ и ссылка в Верхотурский уезд.

В ссылке Гладков много читает, стремясь всесторонне пополнить свои знания. Одно-

временно пишет очерки, рассказы, а затем свою первую крупную вещь «Изгой». В 1911 году он устанавливает связь с Горьким, которому отправляет своих «Изгоев!» на о. Капри. Горький одобрительно отзывается о рукописи молодого писателя.

В период Октябрьской революции Ф. Гладков весь целиком отдается революции. В Новороссийске он принимает активное участие в большевистской агитации и пропаганде среди рабочих, солдат и революционно настроенной молодежи. После восстановления советской власти в Новороссийске занимает ряд ответственных постов.

С 1922 года Ф. Гладков переезжает в Москву и все свое время отдает литературной работе.

Богатый жизненный опыт подсказал писателю ту суровую правдивость, мужество и смелость в изображении жизни, которые отличают его художественные произведения.

Федор Васильевич Гладков принадлежит к старшему поколению советских писателей. С его именем связаны первые успехи советской литературы.

Роман «Цемент» был одним из первых советских романов, вызвавших всеобщий интерес и внимание читателей. Автор романа поднял в своем произведении самые живучие вопросы того времени. Вполне понятно, что сложная совокупность поставленных писателем проблем не могла не вызвать самого различного к себе отношения. Наряду с восторженными похвалами уму и таланту писателя, его смелому и широкому изображению жизни со всеми ее противоречивыми, положительными и отрицательными явлениями, было немало и нападков на неясность решения поставленных в романе вопросов, на чрезмерное преувеличение стихийного и даже патологического в поведении действующих в романе лиц. Немало было нападков и на цветистую изоциренность его языка, на незаключенность и незавершенность интриги и вообще на недостаточную композиционную стройность романа.

Но как бы то ни было, критика в целом была согласна в том, что «Цемент» — одно

из самых крупных произведений советской литературы первых послеоктябрьских лет.

Произведения Гладкова проникнуты верой в победу революции и народа, любовью к нему. При всей силе разоблачения отрицательного Федор Гладков никогда не упускает из виду конечной цели революционной борьбы, и это дает ему право на мужественное и смелое обнажение темных сторон действительности.

В романе «Кровью сердца» словами рабочего, обращенными к писателю, Гладков так сформулировал основные принципы своего художественного метода:

«Разверзай перед людьми гнойники их жизни, бай их... открой перед ними невиданные картины, сильных людей и их героические свершения, — расскажи им пленительные легенды о людях. Не бойся преувеличений...»

А. М. Горький первый отметил основную особенность творчества Гладкова. По поводу романа «Цемент» он писал:

«На мой взгляд это — очень значительная, очень хорошая книга. В ней впервые за время революции крепко взята и ярко освещена наиболее значительная тема современности — труд. До Вас этой темы никто еще не коснулся с такой силой. И так умно. Вам — на мой взгляд, опять-таки весьма удалась и характеры. Глеб вырезан четко и, хотя он романтизирован, но это так и надо. Современность вполне законно требует, чтоб автор, художник, не закрывая глаз на явления отрицательные, подчеркивал и тем самым романтизировал положительные явления. Вы умеете делать это, с чем искренне поздравляю вас».

В «Цементе» впервые в нашей литературе изображена действительность восстановительного периода Октябрьской революции.

Мы говорим «действительность», чтобы указать на то, что роман занят не только темой восстановления завода или темой семьи; он значительно шире и глубже: автора интересует и процесс роста социалистического сознания рабочих масс, и отношения города с деревней, и проблема роли интеллигенции, и вопрос государственного аппарата и руководства массами и т. д., и т. п.

Все эти вопросы составляют сложное идейное содержание романа.

Федор Гладков прекрасно понял, что труд — центральная, основополагающая тема художественной советской литературы. Вот почему все его крупнейшие художественные произведения посвящены изображению труда и людей труда. Здесь, по мнению писателя, следует искать коренные ответы на все вопросы человеческой жизни.

Как и его учитель великий писатель Максим Горький, Гладков понимает, что труд — источник, основа всех материальных и духовных ценностей человечества.

Роман «Цемент» — это первая поэма о социалистическом труде в советской литературе. «Цемент» — это крепкая связь, — говорит

главный герой романа Глеб Чумалов. — Цемент — это мы, товарищи, рабочий класс».

Федор Гладков посвятил человеку труда последующие свои произведения, из которых особенно выделяется роман «Энергия».

По художественной манере и композиционному принципу «Энергия» напоминает «Цемент». Но задачи и объем «Энергии» шире и значительнее. Автор долго и внимательно наблюдал и изучал строительство Днепро-строя. Поэтому его роман так живо и правдиво рисует нам всю сложную систему организации строительства гиганта энергетики.

Перед взором читателя проходят со своим характерным обликом люди самых разнообразных положений, различной культуры, классовой принадлежности, возраста, профессии и т. д. Автор одинаково мастерски рисует и рабочий коллектив, и сезонников, и партийную организацию, и управление строительством, и комсомольские и профессиональные организации. Ибо все, что описывает и изображает автор, подчинено одному идейному принципу: «тут человек перевоспитывается, становится великой созидательной силой».

В процессе социалистического строительства люди изменяют свою собственную природу. Так показана старая техническая интеллигенция в лице Строгальского, Кряжича, Митрохина, так показаны рабочие и крестьяне, превратившиеся из равнодушных «сезонников» в энтузиастов стройки (Матвей, Никита). Но победоносное социалистическое строительство способствует и разоблачению тех, кому социализм стал поперек горла.

Как и в предшествующем романе, Гладков дает в «Энергии» яркие широкие картины социалистического труда.

За строительством «Днепро-строя» талантливый писатель увидел весь Советский Союз, окваченный пламенем социалистического творчества масс. И в этом сила творчества Гладкова.

Теперь, когда наша родина ведет жестокую борьбу с фашистскими звериными ордами, пришедшими на нашу землю, чтобы растоптать и уничтожить созданные с такой пламенной любовью наши фабрики, заводы, города, нашу культуру и их создателей, — теперь произведения Гладкова, запечатлевшие наш труд, зовут на беспощадную борьбу с врагами.

Пафос труда в наши дни великого испытания стал еще более могучей силой.

Об этом просто и проникновенно повествуют очерки и рассказы Гладкова о тружениках Урала — славных творцах боевого оружия Красной Армии. По устремленности и силе чувства Наталья Семеновна, дядя Митя, Соня и другие герои повести Гладкова «Мать», написанной на материале наших грозных и суровых дней, — прямые наследники героев «Цемент» и «Энергии». Они еще выше поднимают знамя своих предшественников, ибо они защищают свое отечество, свою родину от коварного и опасного врага.

„ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ“

В. ЩЕРБИНА



I

Летом 1941 года писатель Алексей Толстой закончил монументальный художественный труд — трилогию «Хождение по мукам». На протяжении двадцати лет писалось это произведение, которое автор считает основным в своем творчестве.

Название трилогии А. Н. Толстого взято из старинного сказания. Несправедливость и зло, говорится в сказании, распространились в мире. Через муки и тяжелые испытания проходит человечество к очищению. Так, в далекие времена люди размышляли о судьбе своей. В своеобразной религиозной форме тут выражен протест против неправды и меча о другой светлой жизни, когда жить будет легче и люди станут лучше. Сказание о хождении по мукам сложено в тяжелые времена истории русского народа. Его образы взяты из мира фантазии, но идея очищения человечества, мысль о том, что не бесплодны страдания, труд и борьба людей с общественной несправедливостью, имела большое историческое значение; мысль эта будила жизнеспособность, стойкость, веру, заставляла наших предков кровью отстаивать свое существование. И еще не менее важно, что в сказании проявлялось убеждение в общности судьбы народа, ответственности каждого за судьбы отечества.

Эпиграфом к первой части романа Толстого взяты слова: «О, русская земля!..» из «Слова о полку Игореве».

Богат испытаниями и победами был путь нашей страны последние тридцать лет. Тема о страдании и о выходе из него в светлую жизнь была в русской литературе особенно актуальной, когда речь шла о больших исторических событиях и сдвигах, изменяющих народную судьбу. Это понятно, так как серьезные повороты истории никогда не обходились без лишений, жертв, страданий, и литература неизбежно должна была сказать о них и о том, во имя чего были принесены жертвы.

Трехтомный роман А. Толстого представ-

ляет собой крупнейший художественный и исторический документ. Правдивое, проникновенное произведение это отражает и силу, и колебания, присущие различным слоям русского общества в предреволюционные годы и первое время после социалистической революции. Великое важное дело совершается тяжелым трудом: чем оно крупнее, тем сильнее противодействующие и внутренние, и внешние силы. Писатель Толстой показал те трудности, с которыми пришлось столкнуться при революционном переустройстве жизни огромной страны.

Россия! Она, ее судьба, ее история составляют душу трилогии «Хождение по мукам». О ней все время говорят герои Толстого и сам писатель — в обильных лирических отступлениях. Трудно назвать какое-либо другое произведение русской литературы, где бы так часто вставал образ России, родины. Великая страна, населенная великим народом. «Страстный, талантливый, мечтательный и прозаичный дьявольски народ» — говорит о русском народе один из главных героев романа. Поступь этого народа, его дыхание слышны в каждой главе, каждой странице произведения Толстого. «В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого». Эти слова предпосланы второй части трилогии. Переустройство и очищение русской земли через революцию, гражданскую войну, борьбу с иностранными захватчиками рисует Толстой. И название «Хождение по мукам», восходящее к старой поэтической легенде, приобретает новый, особо значительный смысл.

Все три части романа Толстого написаны с большим воодушевлением, проникнуты пафосом пылкости и неукротимого желания разобраться в действительности.

Вторая часть трилогии «Восемнадцатый год» начинается с глубокого размышления о том, что ждет Россию. Страна стала на новый путь. Изображается Петроград в конце 1917 года, когда старое было сметено, а новое для многих было неясным. Эта картина естественно ставит перед читателем вопрос: «Что же дальше?»

«Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор — обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к «совести и патриотизму» русского народа. Пестрые лоскуты бумаги, с присохшим на них клейстером, злоеще шурша, ползали вместе со смежными змеями поэмки.

Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площади и улиц. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». Бежали в неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы... Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где на витринах еще виднелся: там — кусочек сыру, там — засохший пирожок. Но это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули — на кучи решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой дулом вниз через плечо.

Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце семнадцатого года.

Страшно, непонятно, непостижимо. Все кончилось. Все было отменено. Улицу, выметенную поэмкой, перебежал человек в изодранной шляпе, с ведерком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они жилились белыми заплатками на вековые доколи домов. Чины, отличия, пенсия, офицерские погоны, буква ять, бог, собственность и самое право жить как хочется — отменялось. Отменено! Из-под шляпы свирепо поглядывал наклеящик афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям обитатели в валенках, в шубах, — заламывая пальцы, повторяли:

— Что же это? Что будет? Гибель России, конец всему... Смерть!..»

Возникает вопрос: не затеряется ли человек в грандиозном потоке исторических событий? Не будет ли он жалкой соломинкой в водовороте истории? Вопрос о судьбе человеческой индивидуальности в эпоху исторического революционного переворота остро волнует Толстого. Герои произведения Толстого, как и все другие люди, стремятся к счастью. Им нужно выяснить свой удел в этом новом складывающемся мире. Неужели все напрасно? Напрасны кровь, годы лишений, смерти и испытания? Каким будет новое счастье? Вопросы эти занимают героев Толстого, особенно в первых двух частях трилогии. Тема «Хождения по мукам» по-своему оказалась живой и для русских людей двадцатого века. Отсутствие мужественного и ясного понимания событий первое время приводит некоторых

героев Толстого в отчаяние. Характерно в этом смысле письмо Кати Смоковниковой к младшей сестре Даше.

«Все разрушено... Мы, как птицы в урагане, мечемся по России. Зачем? Если всей пролитой кровью, всеми страданиями, муками вернуть нам дом, чистенькую столовую, знакомых, играющих в преферанс, то мы снова будем счастливы? Прошлое погибло, погибла навсегда, Даша... Жизнь кончена, пусть придумают другие».

Такие же мысли и чувства теснятся в душе ее мужа, Вадима Рождина.

История уже давно нам дала ясный ответ на все эти вопросы и опровергла все сомнения. Однако в то время они для большого круга русских людей были неизбежными, так как переустройство жизни всего народа невозможно без больших раздумий, сомнений и жертв.

Кровью и трудом завоевал себе народ новую, дорогую для него жизнь. И мы, читая роман, видим, как его герои вместе со своей родиной, в конце концов, добиваются победы личного счастья, расцвета дарований и талантов. При чем в гонимые революции люди изменились к лучшему, «очистились», в «хождении по мукам» переделали сами себя. Преодолены не только голод, разруха, натиск контрреволюции и интервентов, но и духовные пережитки в сознании больших кругов общества.

Трилогия Толстого не одноцветна по настроению и выбору материала. Неправильно было бы представлять «Хождение по мукам» исключительно как собрание мрачных картин бедствий и горя. Не отступая от жизненной правды, писатель, хотя и не сразу, находит самое существенное в происходящем. Из внешнего хаоса разнообразных судеб героев, подхваченных грандиозными событиями, и из всей совокупности исторических явлений Толстой выделяет основное — творческий, исторически плодотворный характер происшедшего в истории России переворота. Он в центре внимания ставит силу, свершившую социалистическую революцию и одержавшую победу в гражданской войне, — народ. «Хождение по мукам» — не только огромная картина страданий человеческих, а в первую очередь художественное воплощение победы над злом. В первой книге трилогии — романе «Сестры» — этот мотив победы создания и радости звучит глухо. В дальнейших двух книгах — романах «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро» — он нарастает с каждой главой, становится основным и ведущим мотивом.

Знаменателен в этом смысле конец трилогии, где рисуется принятие плана ГОЭЛРО. Слушая доклад Кржижановского, Рождин говорит Кате:

«— Ты понимаешь, какой смысл приобретают все наши усилия, пролитая кровь, все безвестные и молчаливые муки. Мир будет нами перестраиваться для добра... Все в этом зале готово отдать за это жизнь... Это не вымысел, — они тебе покажут шрамы и си-

невзятые пятна от пуль... И это на моей родине, и это — Россия...»

После событий 1914—1919 годов, о которых пишет Толстой, прошло более двадцати лет. На первый взгляд кажется срок сравнительно небольшой. Однако в эти годы проведена созидательная работа, ранее бывшая не под силу столетиям. Изменилось лицо страны. Первая мировая война и гражданская война для многих людей стали достойным историей. Выросло новое поколение, встали новые вопросы. Естественно возникает вопрос: не стали ли проблемы и образы, волновавшие автора, достоянием, связанным только с прошлым? Не отодвинуты ли переживания, насыщающие трилогию «Хождение по мукам», новыми задачами, рожденными нашим сегодня? На этот вопрос каждый читатель произведения Толстого скажет — нет! Трилогия Толстого остается в высшей степени актуальной и волнующей и в наши дни.

Наша страна сейчас переживает грозные дни Великой отечественной войны. История поставила нас снова перед новым титчайшим испытанием. «Черная тень легла на нашу землю, — говорит Толстой в одной из своих публицистических статей последнего времени, — что жизнь, на что она мне, когда нет моей родины?.. По-немецки мне говорить? Подогнув дрожащие колени, стоять, откидывая со страха голову перед мордастым, свирепо лающим на берлинском диалекте гитлеровским охранником, грозящим добрать кулаком до моих зубов? Потерять навсегда надежду на славу и счастье родины моей? Забыть навсегда священные идеи человечности и справедливости — все, все прекрасное, высокое, очищающее жизнь, ради чего мы живем... Видеть, как Пушкин полетит в костер под циничскую ругань белообрисой немецкой сволочи и пьяный немецкий офицер будет мочиться на гранитный камень, с которого сорван и разбит бронзовый Петр, указавший России просторы беспредельного мира?»

Пафос этих строк перекликается с внутренним содержанием трилогии. Поиски родины героями «Хождения по мукам» закончились пламенным гимном великой Советской стране. Любовь к родине, гордость за ее свободный народ в наше время еще более обострились и укрепились. Народ наш первый в мире сумел сбросить ярмо угнетения. Он сейчас выполняет величайшую освободительную миссию во имя блага своего и блага всего мира. За нами по тернистому пути борьбы идут другие народы. Сбылось пророческое предсказание великого революционного русского публициста и критика В. Г. Белинского о будущей исторической миссии России мирового значения:

«Какую идею предназначено выражать России, — определять это тем труднее и даже невозможнее, что европейская история России началась только с Петра Великого, и что, поэтому, Россия есть страна будущего. Россия, в лице образованных людей своего общества, носит в душе своей непобедимое предчувствие великости своего назначения,

великости своего будущего. И не увлекаясь ни детскими фантазиями, ни ложным патриотизмом, можно сказать смело, что есть факты, пре-
вращающие это предчувствие в убеждение».

Мотивы гордости Россией и ее мировым предназначением сильны в романе Толстого. Они заставляют думать и волноваться, перекликаются с нашими мыслями и чувствами, рожденными Великой отечественной войной. Роман Толстого перекликается с нашим временем также и реалистическим изображением трудностей, которые нужно преодолевать народу. Трудности приходится сейчас переносить всем, и судьба героев трилогии учит не бояться их, а жить вместе со всем народом, стойко переносить все тяготы, не отходить от борьбы, так как личное счастье немислимо без счастья родины.

Книга Толстого неизбежно наводит на раздумье. Вспоминается, как много нужно было затратить русским людям крови и усилий, чтобы завоевать себе свободную жизнь. Трилогия помогает нам яснее видеть, как много уже сделано. Раздумье коснется и того, как героически советский народ в наши дни отстаивает свою жизнь. Возникает в сознании представление о духовном богатстве русского народа, о высоте его дум, стремлений и чувствований. Еще сильнее всколыхнется патристическая гордость за свою родину, и еще крепче закипит ненависть к врагам и готовность отстаивать свое отечество.

«Хождение по мукам» — произведение выдающееся, где каждый образ включает в себя или вызывает ряд самых разнообразных ощущений и переживаний. Здесь переплетаются, как в живой человеческой душе, радость и горе, раздумье и непреклонная решимость, простое личное переживание и сложнейшие общественные проблемы. Книжки такие встречаются не часто. Толстой — писатель, кровно дорожащий интересами своей страны. В трилогии он глубоко проникает в жизнь, достигая этого нераздельным сочетанием силы художественного таланта с горем, радостями и думами патриота русского.

Таково общее восприятие произведения Толстого в наши дни. Однако взгляды писателя не сразу определились. Трилогия «Хождение по мукам» — результат больших исканий, итог длительного творческого пути.

II

Литературная деятельность А. Толстого началась после 1905 года. Русская литература того времени была отмечена большим влиянием различных декадентских течений. Было в высшей степени модным неверие в добрую апологию смерти, зла, разрушения. Находились писатели, старавшиеся уйти в мир чистого искусства, повернуться спиной к жизни. Толстой, если не считать сборника ранних незрелых стихов, остался далеким от декадентства. Прекрасно владеющий стихией великолепного русского языка, Толстой сохранил реалистическую строгость речи русских

классиков. Здоровое, пытливое отношение к жизни предохранило его от модернистских выходов. Приблизительно с 1910 года кончается пора литературного подражания. Толстой создает наиболее крупные произведения, определяющие весь характер его дореволюционного творчества, — сборник рассказов «Под старыми липами», романы «Чудаки», «Хромой барин».

На первый взгляд в этих произведениях Толстого есть много общего со старыми поэтическими бытописаниями «дворянских гнезд». Действие происходит в помещичьих усадьбах, в тени ароматных липовых аллей, у традиционных, поросших тиной прудов. Навсегда запоминается превосходный русский пейзаж, на фоне которого происходит действие.

Но тургеневские времена давно прошли. Ушли в прошлое тонко чувствующие герои романов Тургенева. В помещичьих усадьбах выросли новые люди, коренным образом изменились сами усадьбы и жизнь в них. Толстой не стал грешить против истины. Действительность, нарисованная им, оказалась очень непривлекательной. Усадьбные произведения Толстого в высшей степени поэтичны, но это поэзия вырождения дворянства, правдивая и беспощадная. В усадьбах царит атмосфера материального и духовного оскудения. Кто обитатели дворянских гнезд? Это — тупой самодур в фуражке с красным околышем Мишука Нальмов («Мишука Нальмов»), похотливый трус и лгун Никулушка («Петушок»), уродливый Михайла Камышин («Сватовство»), жестокий Собакин («Архип»), смешные и жалкие чудаки Брягины. Реалист Толстой рисует жизнь помещиков мрачной и беспросветной. Нет высоких интересов и идеалов. Слово в тяжелом полусне влачат свое существование эти люди. В лучшем случае перед нами предстают безвольные и слабые душой мечтатели, вроде Аггея Коровина («Мечтатель»). Необычайно тесен мир и кругозор помещиков Толстого. Они не видят дальше околицы своей деревни. Представление о мире у них не выходит за пределы уезда.

Беспросветность существования персонажей дореволюционных произведений Толстого, кажется, должна была привести писателя к самым пессимистическим взглядам. Однако этого не случилось. Была какая-то точка опоры, помогшая писателю сохранить равновесие и в дальнейшем найти выход на простор из темного и душного мира, где жили персонажи его ранних произведений. Главное заключалось в том, что у Толстого господствовало здоровое восприятие жизни, не позволявшее ему оторваться от русской почвы, от настоящей русской действительности. Слишком крепко писатель был связан с этой действительностью, чтобы ограничиться пределом тесной помещичьей темы или уйти в крайности декадентства. Толстой не хотел остаться вместе с отживающим, не мог мириться с отсутствием человечности. Он ищет подлинной, здоровой жизни, счастья. Поиски эти были присущи не только Толстому, а отра-

жали стремление широких кругов русских людей. Толстому чуждо беспросветное существование, не озаренное большим и ярким чувством. И эти поиски яркой полнокровной жизни приводят Толстого к своеобразному положительному идеалу, художественно воплощенному в его ранних произведениях.

Положительный герой Толстого — здоровый человек. Человек этот не переносит одиночества. Жизнь его всегда озарена страстным желанием всеобъемлющей яркой любви. Любовь приносит ему успокоение и счастье. Любовь дает ему друга, насыщает жизнь содержанием, осмысливает, указывает цель существования.

Понятие любви у Толстого не сводится к ее узкому пониманию только как чувства, определяющего отношение мужчины и женщины. Она является символом дружбы и творчества, верности и стойкости, творчества и воли.

Стремление к любви присуще всем положительным персонажам Толстого. Она имеет различные оттенки, направленность, но тем не менее она присутствует и обуславливает у Толстого развитие всех характеров. О любви мечтают все его герои. И большей частью чувство это на мрачном фоне является единственно светлым, облагораживающим.

Особенно показателен для выяснения своеобразия художественного воззрения раннего Толстого роман «Хромой барин» (1911 год). Здесь сосредоточен комплекс явлений и вопросов, занимавших в то время А. Толстого. В центре романа — непреодолимая и благодетельная сила любви. Хромой барин — князь Краснопольский — провел беспутную и полную всяческих превращений жизнь. Ни богатство, ни успех в свете, ни военная карьера, ни страсть не приносят ему счастья. Удовлетворение ими оказывается призрачным. В результате все мысли и помыслы влекут его к человеку, отдавшему ему всю свою душу, свои лучшие чувства — к жене, ранее им оставленной. В Катерине Волковой есть много черт тургеневских русских девушек. Обаяние чистой и верной природы облагораживающе действует на князя Алексея Петровича.

«Алексей Петрович мог жить только так: если близ него находилась любящая женщина, с измученным сердцем, без воли, всегда готовая отдать всю себя за ласковое слово. Он должен был чувствовать постоянный нежный укор, милую тяжесть, грусть от того, что не в силах дать ей всего счастья, которое заслужила она. И в эту любовную меланхолию он погружался с головой, пил ее, как восхитительный, горький, дьявольский напиток».

Но не такая любовь, изломанная, болезненная, является идеалом Толстого. Подлинная ее сила воплощена в чувстве верности Кати Волковой. Конец романа «Хромой барин» символичен: князь, измученный и смиренный, на окровавленных коленях преодолевает долгий путь к ожидающей его жене, несущей ему счастье и прощение.

Можно упрекнуть тут Толстого в том, что он свел к маленькому личному счастью жизненный идеал. Но дело в том, что здесь по-своему, в особой форме проявляется неудовлетворенность писателя обывательским прозябанием, уважение к человеку, возмущение уродством и пошлостью, поиски подлинно высоких человеческих отношений. Один критик в статье, посвященной Толстому патриоту, недавно совершенно справедливо писал: «Оправдание жизни, ее полноту и смысл молодой Алексей Толстой видел в любви. «Хромой барин» — это книга об искуплении всех грехов и всех несовершенств человека любовью. Однако любовь слишком отвлеченное понятие для того, чтобы через нее осмыслить действительность и для того, чтобы придать творчеству писателя общенациональное значение. Прославление любви, как выражения полноты жизни, может привести к слишком узкой, эгоистической философии. Но тема любви может быть расширена настоящим художником, может вырасти в своем значении и органически соединиться со святым беспокойством о судьбе социального и национального коллектива. Алексей Толстой пошел по второму из этих возможных путей».

По-новому воззрение Толстого выражено в трилогии «Хождение по мукам». Толстой не отказался от своего убеждения в огромной силе любви. Он еще крепче связал своих основных героев трилогии сильным и хорошим чувством. Но опыт жизни обогатил писателя, поставил перед ним новые проблемы, расширил мир его героев, заставил по-иному решить вопрос о путях к человеческому счастью.

Прошли годы. Война 1914 года и революция сразу и бесповоротно разомкнули узкий круг, опраничивавший взгляд Толстого. Талант писателя уже исчерпал запас впечатлений волжского поместного быта. Силой образности Толстой оживлял новые образы старого мира, но тесные рамки старых впечатлений уже встали на пути таланта Толстого. Старая тема оказалась исчерпанной и привела писателя в тупик. Гражданская война повернула писателя лицом к крупнейшим историческим вопросам и событиям. Она явилась важнейшим этапом в творческом пути Толстого. Перед ним встало огромное количество новых вопросов, связанных с жизнью его родины — России. Толстой ясно увидел зависимость судьб миллионов людей от государства, политики. Государственные исторические и политические темы с тех пор прочно входят в круг художественного внимания писателя. В 1919 году в Париже Толстой приступает к работе над романом «Сестры», знаменующим начало нового периода творчества Толстого. И 29 ноября 1936 года глава советского правительства товарищ Молотов сказал на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов:

«Передо мной выступал известный писатель А. Н. Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой. А теперь? Один из лучших и один из самых популярных писате-

лей земли советской — товарищ Алексей Николаевич Толстой. (Аплодисменты.)

В этом виновата история. Но перемена произошла в хорошую сторону. С этим согласны все мы вместе с самим А. Н. Толстым».

Многое изменилось за это время в мировоззрении и творчестве писателя. И эти изменения полно отразились в трилогии «Хождение по мукам» — Толстой писал ее более двадцати лет. Биография трилогии очень сложна. Различные картины, входящие в это монументальное художественное полотно, писались автором не с неподвижной, застоявшейся точки зрения, а в тесной зависимости от движения жизни и взглядов писателя. История создания трилогии хорошо рассказана самим писателем в статье «Как создавалась трилогия «Хождение по мукам», напечатанной в газете «Литература и искусство».

«Первую книгу «Сестры» я начал писать в середине июля 1919 года и закончил ее осенью 1921 года. Я не думал, что она развернется в трилогию. Но по мере того, как я писал, развертывались события в России, и мне становилось ясно, что нельзя ставить точку на этой книге, что это начало большой эпопеи.

Для того, чтобы приступить ко второму тому — «Восемнадцатый год», нужно было очень многое увидеть, узнать, пережить. То, что называется «сбором материалов», неприменимо к этой предварительной работе, потому что помимо документов, книг, знакомств с участниками гражданской войны, посещения мест, где происходило действие романа, — Царицына, Сальских степей, Краснодара, Кубани, мне нужно было сделать основное, а именно: определить свое отношение к материалу. Иными словами, нужно было все заново пережить самому, продумать и прочувствовать. Начал я вторую книгу в 1927 году и кончил ее через полтора года. И лишь гораздо позже я понял, что в описании событий вкралась одна историческая ошибка. Печатные материалы, которыми я пользовался, умалчивали о борьбе за Царицын, настолько умалчивали, что при изучении истории 18-го года значение Царицына от меня ускользнуло. Только впоследствии, через несколько лет, я начал видеть и понимать основную и главную роль в борьбе 1918—19 гг., в борьбе революции с контрреволюцией — капитальную роль обороны Царицына.

Поэтому мне пришлось прибегнуть к особой форме — написать параллельно с «Восемнадцатым годом» повесть под названием «Хлеб», описывающую поход воровской армии и оборону Царицына Сталинским. В связи с этим работу над третьим томом «Хмурое утро» я начал лишь в 1939 году.

После «Восемнадцатого года» я, как известно, написал две части романа «Петр I». В 1939 году встала передо мной проблема: какую из этих двух неоконченных трилогий закончить — «Петра» или «Хождение по

мукам»? В это время уже с совершенной ясностью представлялось, что неизбежна мировая война. И так же ясно было, что после мировой войны я уже, разумеется, не смогу вернуться к эпохе гражданской войны — она отодвинется слишком далеко. Третью же часть романа «Петр I» возможно было бы написать и после мировой войны, что я сейчас и делаю: я приступаю к ней этим летом, чтобы закончить трилогию.

Окончание «Хождения по мукам» — роман «Хмурое утро» я начал в 1939 году и кончил его ровно 22 июня 1941 года».

Алексей Толстой прожил со своими героями много лет. За это время произошли изменения не только в судьбе героев, но и в судьбе автора, сумевшего своим талантом многое воспринять и передумать из опыта жизни. Большой и сложный путь автор прошел вместе со своими героями. Жизнь героев произведения Толстого сложно переплетается с эволюцией личного мировосприятия автора. Сам писатель, говоря о длительности срока своей работы над трилогией, особо подчеркнул, что он не жалеет об этом, «потому что за это время я сам, в своей жизни, в своем отношении к жизни, к действительности, к нашей борьбе стал относиться гораздо более зрело, гораздо более углубленно».

Своеобразие колоссального произведения Толстого привлекает к нему и вызывает особый интерес именно в наши дни, когда совершаются невиданные по размаху исторические события, активными участниками которых являемся мы сами. Многие пришлось всем нам пережить и перечувствовать за прошедшие два года войны, Родина, ее честь, ее свобода и независимость, как никогда, прочно стали в центре всех дум и дел. Она — смысл существования каждого из нас. И если брать крайние точки развития творческого пути Толстого, то от идеала ограниченного личного счастья в любви он приходит к апологии родины.

Тему трилогии «Хождение по мукам» Толстой определил так: «это потерянная и возвращенная родина. Дело в том, что ощущение родины на рубеже первой мировой войны и даже в первую мировую войну в среде интеллигенции было ослаблено. И только за эти 25 лет новой жизни, и в особенности в преддверии ко второй мировой войне, стало вырисовываться перед каждым человеком глубокое ощущение связи, неразрывной связи со своей родной землей. Мы пришли к ощущению родины через глубокие страдания, через борьбу. Никогда на протяжении, может быть, целого века не было такого глубокого и острого ощущения родины, как сейчас. Всего этого я не мог бы понять в 1927 году, когда писал «Восемнадцатый год».

«Хождение по мукам» — это хождение совести автора по страданиям, надеждам, восторгам, падениям, унынию, взлетам — ощущение целой огромной эпохи, начинающейся преддверием первой мировой войны и конча-

ющейся первым днем второй мировой войны».

Родина для Толстого и его героев не застывшая формула, а самое дорогое, выстраданное и добытое трудом. Это вывод, убеждение, чувство, врожденные и приобретенные всей совокупностью жизненных ситуаций, всем жизненным опытом.

Сила трилогии Толстого в том, что тема родины в ней не просто сформулирована и преподнесена читателю как нечто готовое. Тема родины утверждена здесь подлинно художественно: правдивым воспроизведением самой жизни.

III.

Война и революция вывели творчество А. Толстого в широкий мир. Перед писателем встали большие общественные проблемы, требующие расширения творческого пространства, далеко выходящие за пределы отдельной человеческой личности. Роман «Сестры» отличается широтой и многообразием действия, невиданным ранее у Толстого количеством героев. Действие романа в отличие от предшествующих произведений Толстого, ограничивавшихся пределами одного уезда, теперь происходит на всем пространстве России, потрясенной войной и революцией. В центре произведения поставлена семья крупного столичного адвоката Смоковникова, главным образом сестры Катя и Даша, а также их знакомые инженер Телегин и офицер Рощин. Эти основные персонажи сталкиваются с большим количеством других людей из самых разнообразных слоев общества. Они перебрасываются грозными событиями эпохи великого перелома в различные концы страны. С героями романа мы встречаемся вначале в Петербурге, затем на фронте, в плену и в конце романа в Москве после февральской революции.

Прежде поступки и характеристики героев произведений Толстого рисовались без связи с определенными историческими событиями, без широкой социальной среды. В «Сестрах», затрагивающих сложнейшие общественно-исторические проблемы, представлена вся Россия, в бурные и значительные годы.

Открывается роман мастерски нарисованной картиной предвоенного Петербурга, символизирующего всю российскую империю. Автор не ограничивается внешним изображением событий, а воссоздает внутреннюю духовную атмосферу перед империалистической войной 1914 года. Это — душная атмосфера обреченности, предчувствия катастрофы.

«В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрустала и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами,

светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные парки. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной еще роскоши столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.

В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно — роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был, как заразой, поражен дворец...

Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал гнилотным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», — и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить.

То было время, когда любовь, чувства, добрые и здоровые, считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздражающему внутренности.

Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго—предсмертного гимна, — он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвестники — новое и непонятное лезло изо всех щелей».

Толстой не писал историческую хронику. Да и во всем романе он не ставил перед собой такой цели. В первых же страницах книги «Сестры» даны образы большого социального обобщения. Обобщение это возникает не как следствие энциклопедического изложения исторических фактов. Оно рождается талантом художника, полнотой образов. Предчувствие гибели, признаки разложения проникают во все круги, связанные с самодержавием. Изломанность и непрочность предвоенного уклада показаны Толстым размашисто и сильно. Спекуляция, падение нравственности, отсутствие жизненных целей, пессимизм в философии, поэзии — все это симптомы смертельной болезни. Многие люди теряют чувство связи с ближними, с родиной. Поэт Бессонов в наиболее тонкой и отвлеченной форме высказал утомленность и понимание бездорожья, присущие большей части русской интеллигенции того времени: «Мне тридцать пять лет, но жизнь окончена. Меня

не обманывает больше любовь. Что может быть грустнее, когда увидишь вдруг, что рыцарский конь — деревянная лошадка? И вот еще много, много времени нужно тащиться по этой жизни, как труп... — Он обернулся, губа его приподнялась с усмешкой: — Видно и мне, вместе с вами, нужно подождать, когда затрубят иерихонские трубы. Хорошо, если бы на этом кладбище вдруг раздалось тра-та-та! И — зарево по всему небу...» Одни, как Бессонов, ожидали зарева разрушения, другие, более прозаичные, предавались разврату и мошенничествам. Казалось, все гибнет.

Многие писатели, даже такие крупные, как Леонид Андреев, не сумели заметить в это время в русской жизни ничего, кроме мрака и зла. Алексей Толстой не может примириться с беспросветным взглядом, что всему пришел конец. Его здоровая натура и кровная заинтересованность судьбой России заставляют искать для человека других путей. Во время написания романа «Сестры» у писателя еще не было целостного, законченного общественного мировоззрения. У него не имелось ясного представления о дальнейшем историческом пути России. Это пора мучительных размышлений и исканий. Настроения эти пронизывают весь роман «Сестры», создают его основной эмоциональный и мировоззренческий тон. Сам писатель говорил по этому поводу во время обсуждения трилогии «Жождение по мукам» в клубе Союза советских писателей:

«По поводу историзма романа. Действительно нельзя приниматься за книгу до тех пор, пока сам не удивишься, пока явления, которые ты хочешь описать, не станут удивительными, неожиданными. Это могут быть повседневные явления, и, когда они удивят вас, тогда можно начинать писать».

Первая книга написана. «Сестры», когда писались, были бесперспективными. Я тогда ничего еще не видел. А когда я кончил, начала мерещиться та даль, в которую я ушел физически. Написание «Сестер» было борьбой или преодолением импрессионистского восприятия истории. Это роман не исторический. Это есть ощущение эпохи личное. Но так как ощущение было у меня, как у сына этой эпохи, то я, в сущности, все-таки не чувствовал температуру этой эпохи, как сидящий в ванне человек не чувствует температуры воды. Тут была борьба со всеми навыками этого импрессионизма, этой школы символистов, с этими условностями. С одной стороны, тут и стиль Льва Николаевича, а с другой — Тургенева.

Это была трудная задача — найти самого себя и видеть эпоху, чтобы она удивила».

В романе «Сестры» история в точном понимании этого слова отсутствует. Однако автор уже мыслит и воспроизводит мир исторически. Роман весь наполнен предвосхищением, этикадаром настоящих художников, предвосхищением великих событий, уверенностью в том, что пути к человеческому счастью будут найдены.

Толстой не мог примириться с философией

безнадежности или низкой корыстной практикой: «Обидно и совестно, — говорит один из героев Толстого — Телегин, — подумайте — талантливый народ, богатая страна, какая видимость? Видимость: нагая писарская рожка. Вместо жизни — помешик и чернила...» Не мог писатель примириться с взглядом, что талантливый и сильный народ не найдет дороги. Толстой думает о путях к человеческому счастью. В первую очередь с этой точки зрения он всматривается в грандиозные события истории русской земли. Роман Толстого в этом плане написан в духе традиций русской классической литературы, основной проблемой которой всегда были поиски путей к счастью родины и людей, ее населяющих. Писатель ясно видел, что старое общество самодержавия и Сакельманов не может удовлетворить законным запросам общества. Все положительные герои романа с отвращением относятся к окружающей мерзости и пошлости. Для Толстого в отличие от большинства писателей его поколения характерно не скептическое неверие в людей, а напротив, горячая убежденность в возможности человеческого счастья.

Он пылливо ищет людей, воплощающих в себе коренные здоровые силы русского народа. Героями Толстого становятся простые русские люди: Телегин, Рошин, Катя, Даша. Именно они противопоставлены разложившейся, потерявшей связь с народом среде Куличковых, Бессоновых и им подобных. Толстой не ограничился изображением отрицательной стороны жизни предвоенной и предреволюционной России: нарисовав с большой силой опустошенность правящих классов и связанных с ними групп интеллигенции, он в образах Даши и Телегина создал типы интеллигентов, не мирящихся с неправдой, стремящихся к народу, ищущих полноты жизни. Так Толстой ответил на вопрос, неизбежно возникающий при чтении романа «Сестры»: неужели автор романа не видал в тогдашней России здоровых и честных людей, не зараженных растленной атмосферой гниения, подлинных патриотов? Следовало основными положительными героями простых честных русских людей, автор романа «Сестры» тем самым представил их как деятелей будущего возрождения России.

Трудно сказать сразу, кто из четырех основных героев романа привлекательней. Каждый из них обладает своей ярко очерченной индивидуальностью и своим путем идет к народу, к революции. Все они честны и искренни. Все же можно выделить Телегина, обладающего более типичными чертами. В людях, подобных Телегину, — надежда Толстого. Инженер Иван Ильич Телегин — деловой бесхитростный человек. Он безгранично любит свою родину. Вся жизнь его проходит в труде. Работе он отдается без насилия над собой: труд его увлекает, так как он обладает здоровой неиспорченной натурой. Телегин не чуждается рабочих, хотя вначале он не сразу разбирается в революционных событиях и поэтому не сразу находит общий язык с революционны-

ми вожаками на заводе. После призыва на военную службу он проявляет себя боевым, смелым и умным офицером. Наступает время выбора — с народом или против него. И Телегин идет с народом. Он становится командиром Красной Армии, честно и самоотверженно выполняет свой долг. Трудности его не страшат. Телегин не считает для себя возможным остаться в стороне от борьбы и вместе со всеми делит тяготы и опасности походной жизни. «Точно так же, в грязи и сырости, не раздеваясь по неделям, не снимая сапог, как другие, жил и Телегин».

Смелость Телегина не представляется какой-то особенной чертой его характера. Натура очень сдержанная, спокойная, он из чувства своего долга перед народом не дорожит жизнью. Такова прямая, благородная дорога жизни и поведения Телегина.

Жизненный путь других героев романа — Рошина, Даши и Кати — сложился несколько по-другому. Все они, как уже говорилось, люди привлекающие к себе целостностью характеров, широтой русской натуры, бескорыстием, честностью. Однако они вследствие своей отдаленности от народа хуже, нежели Телегин, разбирались в окружающем. То, что Телегин решает в течение сравнительно недолгого времени, для них является итогом длительных колебаний и печальных жизненных опытов. Телегин быстро находит свое место в строю солдат революции. Национальная гордость и боль за родину у других не сразу находят верное применение. Искания толкают их на необузданные и опрометчивые поступки. Рошин и Даша блуждают в белогвардейских организациях, пока не убеждаются, что там нет правды. Их блуждания направлены к поискам родины, народа, России. Величайшей их ошибкой была попытка найти Россию в стане белых. Ошибка эта породила много драматических коллизий, злоключений и переживаний. В конце трилогии все они — Телегин, Рошин, Даша и Катя — находят смысл жизни и родину в полном слиянии с борющимся народом: нельзя не увидеть символичности сцены в последней части трилогии, где все они после победы над контрреволюцией собираются тесной семьей в столице Советской страны — Москве в дни утверждения гигантского плана мирного социалистического строительства.

Судьбы героев трилогии различны. Но все они определяются в зависимости от основной силы, стоящей над всеми другими. Сила эта — народ. Народ — основной герой трилогии Толстого. В трилогии «Хождение по мукам» мы видим, что источником счастья или больших личных несчастий является правильность или неправильность отношения к народо-гражданское поведение. Автор сроднился со своими героями. Они ему в высшей степени близки. Да и нельзя к ним относиться иначе. Но он не обошел их ошибок и колебаний. Он не сделал их чересчур сложными. Иногда в сознании многих героев проявляется недомыслие, излишняя прямолинейность, однотонность их чувств и сознания. Для нас совершенно ясно, что две ведущих пары романа —

Телегин и Даша, Рошин и Катя — не самые передовые люди. Были у них поступки, достойные осуждения, особенно у последних трех. Но читатель чувствует к этим людям симпатию и старается прежде всего внимательнее продумать судьбы их. Характер такой читательской реакции объясняется тем, что духовный и внешний мир Толстой раскрывает с большой полнотой и откровенностью. Он изображает все прямые и боковые дороги, пути праведные и неправедные, ведущие к злу и к добру. Герои его обыкновенные, средние люди, подхваченные бурей событий. Главнейшая их черта — неутомимые и страстные поиски личного счастья. Под влиянием событий понимание этого счастья коренным образом меняется, обогащается, сливается с историческими стремлениями родины. Блуждания и ошибки их, не скрытые автором, несмотря на их серьезность, не вызывают отрицательного отношения потому, что в итоге и Рошин, и Даша одерживают большую нравственную победу силой своего искреннего и сильного патриотического чувства.

Нас пленяет и покориет нравственная чистота и стойкость русских людей Толстого, их преданность родине, помогая им пережить самые тяжелые испытания. Качества эти поддержали Рошина и Дашу, когда они готовы были окончательно упасть в пропасть контрреволюции и погибнуть. Сила обаяния книги Толстого во многом зависит от того, что от начала до конца она проникнута высокой поэзией нравственной чистоты и патриотизма. Книгу «Хождение по мукам» хочется перечитывать еще и еще. И с каждым разом открываешь в ней новое. Течение времени не отодвигает на задний план ее содержания, а, напротив, смысл книги все более расширяется, понимание становится более углубленным.

Женские образы Толстого обаятельны. Они являются носителями высокого нравственного начала. Сестры Катя и Даша имеют некоторые общие черты с героинями его ранних произведений, но решительно отличаются от них. Роднит Катю и Дашу с женой кромкого барина — Катей Волковой — преданность любимому человеку, стойкость и сила чувства. Для Кати Волковой счастье с любимым человеком составляет начало и конец ее желаний. Большого ей не нужно. Узкий круг впечатлений и людей, среди которых она живет, не может породить в ней других более широких запросов. В отличие от женских образов раннего Толстого, Катя и Даша томятся смутным и не осозанным до конца стремлением к большому делу. В чем состоит это новое, справедливое, они не понимают. И они мучительно и болезненно переживают свою неспособность к жизни, свое неумение найти место в общественной борьбе. Их чистое сознание не может примириться с нездоровой и растленной действительностью буржуазных салонов, мистикой, казенным бытом. Сила отталкивания от зла у них необычайно велика.

Наивные мечты Кати и Даши о личном счастье сбываются не скоро. На протяже-

нии многих лет личная жизнь их складывается неудачно. Не скоро они находят место в обществе, в его труде и борьбе. Неопределенность такого существования мучительна. Иногда кажется, что все рушилось, и тогда наступают минуты отчаяния, и опять воля к жизни во имя любви берет верх и заставляет Катю и Дашу — слабых и беззащитных — пробивать себе дорогу. Часто кажется, что они лишены воли, жалкими листьями, оторванными от дерева, — родины, дома, семьи, — уносимыми вихрем страшных и непонятных им событий. Однако искренность и стремление к правде побеждают всё, и они находят выход, на первый взгляд, из самых безнадежных положений.

Так Даша странным стечением обстоятельств попадает в круг контрреволюционного заговора. Что может быть тяжелее этого? Ей, потерявшей все надежды и дезориентированной в происходящем, поручают террористический акт. Кажется, нет выхода. Тем не менее, здоровые чувства и искания помогают ей понять ничтожество и пустоту людей, толкающих ее на преступное дело. Мало понять плохое. Для того, чтобы правильно идти в жизни, надо знать хорошее. Драгоценной чертой души героини Толстого является их страсть и отзывчивость ко всему хорошему и благо родному. Чуткость эта и спасла Дашу в самый критический момент ее существования. Даша услышала речь Ленина, и перед ней раскрылся новый, доселе ей совершенно неизвестный мир, о котором она до тех пор имела самое искривленное и неверное представление.

Впечатление от выступления Ильича направляет жизнь Даши по другому пути, вместе с народом. Честная русская женщина, она не могла поступить иначе. Она начала понимать правду.

Русским честным трудовым людям в романе противопоставлена человеческая накипь, смтенная с исторической арены освежающим ветром революции. Чрезвычайно интересно представлена богатая галерея контрреволюционеров, нарисованная Толстым. Писателю ясна их обреченность, и это понятно с самого начала романа. Но в этой галерее есть и другие лица. Показателен в этом отношении трагический образ поэта Бессонова. Полнейшее его безразличие к жизни и омертвелость взглядов противостоят беспокойным исканиям положительных персонажей. Человек искренний, обладатель большого мрачного таланта, он хорошо видит пошлость и падение окружающих его людей. Но у него нет надежды на лучшее и он сам впадает в пошлость. Свое пошрое поведение Бессонов невольно для себя прикрашивает мистической философией, пытающейся отвлечь людей от мерзкой действительности в заоблачный туман символически абстракций. Недаром мы впервые встречаемся с Бессоновым на заседании философского общества, на докладе реакционного мистика профессора Вельяминова. Как видно из книги, Бессонов в среде людей, посещающих эти философские вечера, пользуется большим весом.

Человек большого личного обаяния и красоты, он опасен, заражая ядом своего скептицизма и мистики малоустойчивые души. Силу его влияния, как мужчины и поэта, испытывают на себе и сестры. До своего трагического конца он проходит в их жизни зловещим видением. Если вначале Дашу неотразимо влекли к нему красота, талант и широкая известность, то в дальнейшем она испытывает к нему лишь жалость и отвращение.

Многие читатели и критики, в поисках прототипа Бессонова, останавливались на образе крупнейшего поэта-символиста Блока. Толстой не мало слышал упреков от людей, оскорбленных столь вольным тенденциозным воспроизведением облика крупнейшего русского поэта. Несомненно, что Бессонов имеет очень мало общего с Блоком, если не считать приданных ему писателем могучего таланта и величайшей популярности. Упреки в искажении облика Блока были сделаны и на обсуждении трилогии «Хождение по мукам» в клубе Союза советских писателей. В своем ответе критикам автор трилогии указал на ошибочность мнения о тождестве образов Бессонова и Блока. Создавая образ Бессонова, Толстой ставил перед собой иную задачу:

«Я хочу сказать об одном персонаже,— говорит он,— о Бессонове. Я принимаю упрек Шкловского целиком, что если это только намек на то, что есть Блок, то это, конечно, большое преступление, но дело в том, что я ни в каком случае не хотел писать Блока. Я — человек этого общества символистов. Уверен, что немногим из вас понять символистов. Блок был один, а обезьян Блока было много очень. Именно обезьян Блока, и то отрицательное, что было в Блоке, а в нем было отрицательное, это стало поведением целого круга известных символистов, и это было гораздо глубже, чем поведение известного кружка писателей. В этом отражалась целая эпоха.

И вот я-то хотел изобразить именно обезьяну Блока и вышел Бессонов. Я согласен, что это наиболее бледный персонаж».

У нас нет никаких оснований сомневаться в правдивости этих слов. Действительно, образ Бессонова далек от подлинного облика Блока. Единственно, что можно поставить в упрек автору,—это то что он не соразмерил красок и придал слишком много веса, влияния этому собирательному портрету обезьян Блока. Как видно из романа, Бессонов обладает большим весом и огромным талантом. Обезьянам Блока подобные свойства, как известно, не были присущи. Автор здесь слишком размахнулся своей кистью.

VI

Три части трилогии «Хождение по мукам» написаны в разное время. В них изображены самые разнообразные исторические явления революционной эпохи. Но все они скреплены единой прочной сюжетной основой: судьбой основных героев — Телегина, Даши, Рощина, Кати. Эти две пары проходят через весь ро-

ман. Все события в романе прямо или косвенно связаны с судьбой главных персонажей. Через них прослеживается основное идейное содержание трилогии, состоящее в поисках и обретении родины. Толстой не отказывается в «Хождении по мукам» от своего взгляда на великое значение в человеческой жизни благороднейших чувств дружбы и любви. Но недаром мы видим в трилогии, кроме ее объективного содержания, нечто автобиографическое — своеобразное повествование автора о самом себе, о своем пути понимания жизни. Вполне закономерно поэтому старая идея писателя о личном счастье обогатилась и приобрела большую широту и новое звучание.

Начинается трилогия со старой мечты о личном чувстве верности и любви, как самом неизблемом и прочном, по сравнению с изменчивым течением времени. Таков лейтмотив первой части трилогии. В третьей части, «Хмурым утром», герои романа приходят к высокой и всеохватывающей идее служения родине. Тема, намеченная в начале романа, постепенно расширяется и перерастает свои границы.

Телегин и Даша сразу же привлекают нас чистотой отношений и высокими личными качествами. Но они индивидуалистичны в своих мечтах о счастье в любви. Весь смысл их существования в личных отношениях. Все окружающее они воспринимают, как непрочное и непостоянное. Они еще не в силах ясно разобраться в революции, войне. История им кажется слишком капризной, непонятной и чуждой силой. И главные усилия Телегина и Даши, а также Рощина и Кати направлены к поискам и сохранению своего личного счастья. Все привычное кругом рушилось беспощадной неведомой силой и казалось, что человек одинок и беспомощен. Единственно устойчивым, вечным, дающим силу и цель жизни, представлялась в то время героям Толстого близость дорогого любимого существа. К такому выводу приходят Телегин и Рощин. Об этом Толстой говорит каждой страницей романа «Сестры». Об этом главным образом думают и говорят герои романа.

«Иван Ильич останавливался, глядел в эту мрачную темноту и снова шел, думая, как часто он думал теперь все об одном и том же: о Даше, о себе, о той минуте в вагоне, когда он, словно огнем, был охвачен счастьем.

Кругом все было неясно, смутно, противоречиво, враждебно этому счастью. Каждый раз приходилось делать усилие, чтобы спокойно сказать: я жив, счастлив, моя жизнь будет светла и прекрасна. Тогда, у окна, среди искр летящего вагона, сказать это было легко, — сейчас нужно было огромное усилие, чтобы отделить себя от тех полустыньших фигур в очередях, от воющего смертной тоской декабрьского ветра, от всеобщей убыли, нависающей гибели.

Иван Ильич был уверен в одном: любовь его к Даше, дашина прелесть и радостное ощущение самого себя, стоявшего тогда у вагонного окна и любимого Дашей, — в этом было добро.. Уютный, старый, может быть, слишком тесный, но дивный храм жизни

содрогнулся и затрещал от ударов войны, за-колебались колонны, во всю ширину треснул купол, посыпались старые камни, и вот, среди пыли, летящего праха и грохота рушащегося храма два человека, Иван Ильич и Даша, в радостном безумии любви, наперекор всему, пожелали быть счастливыми. Верно ли это?

Вглядываясь в мрачную темноту ночи, в мерцающие огоньки, слушая, как надрывающей тоской повсвистывает ветер, Иван Ильич думал: «Зачем скрывать от себя, — выше всего желание счастья. Я хочу наперекор всему, — пусть. Могу я уничтожить очередь, накормить голодных, остановить войну? — нет. Но если не могу, то должен ли я также исчезнуть в этом мраке, отказаться от счастья? — Нет, не должен. Но могу ли я, буду ли счастлив?..»

«— Даша, если бы мне подарили все, что есть, — сказал Телегин, — всю землю, мне бы от этого не стало лучше, — ты понимаешь? — Даша кивнула головой. — Если я один, на что я сам себе, правда ведь?.. На что мне самого себя? — Даша кивнула. — Есть, ходить, спать — для чего? Для чего эти руки, ноги?.. Что из того, что я, скажем, был бы сказочно богат.. Но ты представляешь, — какая тоска быть одному? — Даша кивнула. — Но сейчас, когда ты сидишь вот так.. Сей-час меня больше нет.. Я чувствую только — это ты, это счастье. Ты — это все».

«Ты — это все» — говорит Телегин любимой женщине. «Нет на свете ничего выше любви» — утверждает Даша в разговоре с сестрой:

«— Катюша, Катюша, — говорила она, глядя на свет заката, проступающий между ветвями, — ты помнишь:

О, любовь моя незавершенная,
В сердце холодеющая нежность..

— Я верю, — если мы будем мужественны, мы доживем до такого времени, когда можно будет любить, не мучаясь.. Ведь мы знаем теперь, — ничего на свете нет выше любви. Мне иногда кажется, — придет из плена Иван Ильич и будет совсем иной, новый. Сейчас я люблю его одиноко, бесплотно, но очень, очень верно. И мы встретимся так, точно мы любили друг друга в какой-то другой жизни..».

Книга «Сестры» заканчивается многозначительными словами Рощина, подчеркивающими ведущую идею романа «Сестры». Растерявшийся, чувствующий себя отщепенцем, Вадим Рощина проходит вместе с Катей мимо особняка знаменитой балерины, где разместили штаб социалистической революции. «Каждый день перед особняком собиралась большая толпа рабочих, фронтовиков, матросов, — на балкон выходил глава партии большевиков и говорил о том, что рабочие и крестьяне должны с боем брать власть, немедленно кончать войну и устанавливать у себя и во всем мире новый справедливый порядок». Рощину пока это непонятно и чуждо. Он потерял опору и веру в старое. У него нет связей с новым. Одиночество его страшит. Как человеку честному, ему непонятен смысл жизни бесцельной и не одухотворенной. Единственное счастье и

смысл своего существования он находит в преданном и верном сердце любимой:

— Давеча я был здесь в толпе, я слушал, — проговорил Рощина сквозь зубы. — С этого балкона хлещут огненными бичами, и толпа слушает.. О, как слушает!.. Я не понимаю теперь: кто чужой в этом городе, — мы или они? (Он кивнул на балкон особняка.) Нас не хотят больше слушать.. Мы боремся слова, лишенные смысла.. Когда я ехал сюда — я знал, что я — русский. Здесь я — чужой.. Не понимаю, не понимаю..

Они пошли дальше по Каменноостровскому..

— Я понимаю только одно, — глухо сказал Рощина и отвернулся, чтобы она не видела его искаженного лица, — ослепительная живая точка в этом хаосе — это ваше сердце, Катя.. Нам с вами разлучаться нельзя.. —

Катя тихо ответила:

— Я не смела этого вам сказать.. Ну, где же нам расставаться, друг милый..

Они дошли до того места, где человек с ведром только-что налил на стену белую небольшую афишу, и так как оба были взволнованы, то на мгновение остановились. При свете фонаря можно было прочесть на афишке: «Всем! Всем! Всем! Революция в опасности!..»

«— Екатерина Дмитриевна, — проговорил Рощина, беря в руки ее худенькую руку и продолжая медленно идти по затихшему в сумерках широкому проспекту, в конце которого все еще не могла догореть вечерняя зоря, — пройдут года, утихнут войны, отступят революции, и нетленным останется одно только — кроткое, нежное, любимое сердце ваше..»

Таков лейтмотив и конец первой книги трилогии «Хождение по мукам». Но это не итог. Это только начало, исходный пункт для дальнейшего накопления жизненного опыта автора и героев произведения Толстого.

Поиски Телегиным и Дашей личного счастья нельзя назвать эгоистичными. Так могло бы быть, если бы они стремились отгородиться от других людей. Идеал мешанского существования им противен. Телегин и Даша, а также многие другие персонажи романа совсем не хотят прозябать: они, напротив, стараются осмыслить свою жизнь высоким и благородным чувством. Через весь роман проходит их неукротимое и настойчивое желание выйти на широкому дорожку жизни. Их все время мучительно тревожит судьба родины, поиски правды. Тревога за свою страну, правдоискательство — замечательная, осязаемая временем черта русских людей, всей русской общественной мысли. По-своему, с меньшим пониманием и с не особенно высокой точки зрения обыкновенные русские люди Телегин и Даша живут вековыми проблемами, занимавшими лучших русских людей. Нельзя их сравнивать по масштабам знания и силе мышления с такими гигантами, как Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Но есть некоторые общие черты русского национального характера, присущие

и Телегину, и Даше. Прежде всего это патриотизм и человечность. И то, что Толстой раскрывает в своих героях, не выделяющихся ничем особенным, — типичные национальные черты, своеобразно, по-своему, возможно, примитивно и незрело повторяющие качества, присущие большинству русским людям, — это большая заслуга художника. Что же касается трилогии в целом, то она своей человечностью и правдивостью состоит в благородном родстве с традициями классической русской литературы.

Патриотическое чувство Телегина и Толстого не угасает даже в самые критические моменты развития их мировоззрения. Оно, правда, на время отвлекается в узкий идеал личного счастья, как пути к общему благу. Все-таки, несмотря на это, герои Толстого далеки от мещанского эгоцентризма. Толстой при этом не скрывает политической незрелости Телегина, резко проявляющейся в разговоре с рабочим-большевиком Рублевым. Пришли годы потрясений первой империалистической войны. Телегин замечает перемены: все всколыхнулось и надтреснуло.

«Население городов, пресыщенное обезображенной, нечистой жизнью, словно очнулось от душного сна. В грохоте пушек было ездбуждающий голос мировой тьмы. Стало казаться, что прежняя жизнь невыносима далее. Население со злорадной яростью приветствовало войну.

В деревнях много не спрашивали — с кем война и за что, — не все ли равно. Уж давно злора и ненависть кровавым туманом застилали глаза. Время страшным делам приспело. Парни и молодые мужики, побросав баб и девок, расторопные и жадные, набивались в товарные вагоны, со свистом и похабными песнями проносились мимо городов. Кончилось старое житье, — Россию, как большой ложкой, начало мешать и мутить, все тронулось, сдвинулось и опьянело хмелем войны.»

Все тяготы войны переживает Телегин. Он закалился нравственно. Ему еще более видны вопиющие противоречия русской жизни. Как мощный катализатор, война усилила распад самодержавной империи. И рядом с этим Телегин с удивлением наблюдает гигантскую силу русского народа.

«Среди всеобщего уныния и безнадежных ожиданий, в начале зимы 16-го года русские войска, прорывая глубокие туннели в снегах, карабкаясь по обледенелым скалам, неожиданно взяли штурмом крепость Эрзерум. Это было в то время, когда англичане терпели военные неудачи в Месопотамии и под Константинополем, когда на западном фронте шла упорная борьба за домик паромщика на Изере, когда отвоевание нескольких метров земли, густо политой кровью, уже считалось победой, о которой по всему свету торопливо бормотала Эйфелева башня.

На австрийском фронте русские армии, под командой генерала Бруслова, так же неожиданно перешли в решительное наступление.

Произошел международный переполюх. В Англии выпустили книгу о загадочной рус-

ской душе. Действительно, противно логическому смыслу, после полутора лет войны, разгрома, потери восемнадцати губерний, всеобщего упадка духа, хозяйственного разорения и политического развала Россия снова устремилась в наступление по всему своему трехтысячеверстному фронту. Поднялась обратная волна свежей и точно неистощенной силы.

Сотнями тысяч потянулись пленные в глубь России. Австрия была нанесен смертельный удар, после которого она через два года, легко, как глиняный горшок, развалилась на части. Германия тайно предлагала мир. Рубль поднялся. Снова воскресли надежды военным ударом окончить мировую войну. «Русская душа» стала чрезвычайно популярна. Русскими дивизиями грузились океанские пароходы. Орловские, тульские, рязанские мужики распевали «соловья-пташечку» на улицах Салоник, Марселя, Парижа... и бешено ходили в штыковые атаки, спасая европейскую цивилизацию».

Толстой бегло набрасывает исторические факты, воспитывавшие и учившие поколение Телегиных. Однако, несмотря на обилие исторических уроков, большинство русской интеллигенции не сразу сделало нужные выводы. Социалистическая революция оказалась для Телегина неожиданной и не сразу была принята. Симпатизируя рабочим, Телегин все же еще остается некоторое время на позиции нейтральности. Февральская буржуазная революция не разрешила назревших глубоких противоречий. Телегин и Даша томятся предчувствием больших испытаний. «В сущности, что изменилось с февраля? — говорит Телегин. — Царя убрали, а беспорядка стало больше... А кучечка адвокатов и профессоров, несомненно, людей образованных, уверяет всю страну: терпите, войдите, придет время, мы вам дадим английскую конституцию и даже много лучше. Не знают они России, эти профессора. Плохо они русскую историю читали. Русский народ — не умозрительная какая-нибудь штукавина. Русский народ — страстный, талантливый, мечтательный и практичный дьявольски. Недаром русский мужик допер в лаптях до Тихого океана. Немец будет на месте сидеть, сто лет своего добиваться, терпеть, а этот — нетерпеливый мечтатель..., а профессора желают одеть взбунтовавшийся океан народный в благоприличную конституцию. Да, видимо, придется увидеть нам страшные, страшные, большие события, Война и участие народа в февральской революции, свергнувшей самодержавие, усилили веру Телегина в мощь русских. Несмотря на это, он далек от политики: «Понимаете, — сознается он Рублеву, — я никогда не интересовался политикой.

— Это как так, — не интересовался?

Рублев весь встревожился...—А чем же ты интересовался? Теперь кто не интересуется— знаешь кто? — Он бешено взглянул в глаза Ивану Ильичу. — Нейтральный — враг народа».

Как мы видим, политическое сознание Телегина развивается не быстро. Зато

он вышел из горнила войны закаленным и преданным патриотом. Еще раз здесь придется повторить: он настоящий русский человек. Патриотическое чувство у Телегина развивается в более правильном направлении, нежели у Рошина. Оно выражается более спокойно, без аффектации, присущей Рошину, но с неизмеримо большей целенаправленностью и уверенностью. Поэтому естественно, что патриотическую направленность произведения Толстого декларирует именно Телегин. Глубокая вера Толстого в будущее русского народа выражена писателем через Телегина. В дни наиболее тяжелых раздумий он читает жене страницу из старинной книги, слова которой выражают внутреннее и глубокое убеждение Ивана Ильича в жизнеспособности и великой исторической миссии русского народа.

«— Ты еще не спишь? — спросил он, блестящими и невидящими глазами взглянув на Дашу. — Сядь... Я нашел... ты послушай... — Он перевернул страницу и вполголоса стал читать: «Триста лет тому назад ветер гулял по лесам и степным равнинам, по огромному кладбищу, называвшемуся Русской землей. Там были обгоревшие стены городов, пепел на местах селений, кресты и кости у заросших травой дорог, стаи воронов да волчий вой по ночам. Кое-где еще по лесным тропам пробирались последние шайки шишей, давно уже пропивших награбленные за десять лет боярские шубы, драгоценные чаши, жемчужные оклады с икон. Теперь все было утрачено, вычищено на Руси...»

Опустошена и безлюдна была Россия. Даже крымские татары не выбегали больше на Дикую степь, — грабить было нечего. За десять лет Великой Смуты самозванцы, воры и польские наездники прошли саблей и огнем из края в край всю русскую землю. Был страшный голод, — люди ели конский навоз и солонину из человеческого мяса. Ходила черная язва. Остатки народа разбредались... на север к Белому морю, на Урал, в Сибирь.

В эти тяжкие дни к обугленным стенам Москвы, начисто разоренной и выпущенной и с великими трудами очищенной от воров, к огромному этому пепелищу везли на санях по грязной мартовской дороге испуганного мальчика, выбранного, по совету патриарха, обнищавшими боярами, бесторжными торговыми гостями и суровыми северными и приволжскими землей мужиками — в цари московские. Новый царь умел только плакать и молиться. И он молился и плакал, в страхе и унынии глядя в окно возка на оборванные, одичавшие толпы русских людей, вышедших встречать его за московские заставы. Не было большой веры в нового царя у русских людей. Но жить было надо. Начали жить. Призвали денег у купцов Строгановых. Горожане стали обстраиваться, мужики — запахивать пустую землю. Стали высылать конных и пеших добрых людей бить воров по дорогам. Жили бедно, сурово. Кланялись низко и Крыму, и Литве, и шведам. Берегли веру. Знали, что есть одна только сила... крепкий, расторопный, легкий народ. Надеялись

перетерпеть и перетерпели. И снова начали заселяться пустоши, поросшие бурьяном...»

Иван Ильич захопнул книгу:

— Ты видишь... И теперь не пропадем... Великая Россия пропала! А вот внуки этих самых драных мужиков, которые с колымаками ходили выручать Москву, — разбили Карла Двенадцатого... А внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил... Великая Россия пропала!.. Уезд от нас останется, — и оттуда пойдет русская земля».

Видел ли в это время Телегин реальный путь воссоздания новой России через революцию? Нет. Будущее русской земли в его представлении целиком зависело от крепости личных связей людей друг с другом, их преданности правде...

Символическое воплощение такой программы воспроизведено Толстым в идеале личного счастья, в отношениях Телегина и Даши. Через благородство и прочность личных отношений и распространение высокого идеала среди всех людей лежит путь к сохранению земли русской. Таковы в конце первой книги трилогии взгляды Телегина. Конечно, их нельзя назвать в строгом смысле слова программой. Слишком много в данном воззрении неопределенного и неясного.

В наши дни мы в известной мере пересматриваем наше отношение ко многим явлениям культуры: кое-что уходит, забывается, как не выдержавшее испытания времени; другое же неожиданно приобретает новое звучание; так при повороте драгоценного камня в нем внезапно загорается яркий огонек, открываются новые краски. Война, которую мы ведем, по своему характеру отечественная и освободительная, национальная, заставила по-новому посмотреть на многие произведения русской литературы, изменить и дополнить многие казавшиеся раньше устойчивыми оценки. Литературу в высшей степени занимает изучение духовных национальных сил русского народа, их источник.

Патриотизм многих обычных людей, как Телегин и Даша, не всегда выражается в определенной политической формуле, в законченном мировоззрении. Часто наличие определенных духовных качеств, не объединенных в законченную социальную систему, заставляет человека любить свою родину больше жизни. Патриотизму, как мировоззрению, всегда должен предшествовать высокий нравственный уровень личности, так как патриотическое чувство самое высокое и благородное из всех человеческих чувств. И в наше время Великой отечественной войны особенно высоко ценятся высокие духовные качества людей, делающие их патриотами, воспитывающие мужество и любовь к родине. С этой стороны богатая сокровищница русской литературы еще таит в себе для нас много нового. Вслед за лучшими произведениями русской литературы Толстой в «Хождении по мукам» четко выделил главнейший психологический мотив, пронизывающий трилогию с начала до конца. Это — верность и стойкость. Верность и

стойкость в любви, социальном поведении, убеждениях — основная психологическая черта положительных героев Толстого. Проявляясь вначале только в узкой сфере личных отношений, этот мотив расширяется в дальнейшем, как доминанта всей деятельности и поведения русских людей. Устойчивость и сила личных отношений Телегина и Даши не имеют отрицательного консервативного характера, а, напротив, являются духовной предпосылкой к подлинному глубокому патриотизму. Толстой нас волнует как художник: он на примере своих героев рисует историю формирования патриотического чувства у целого поколения русских людей. Любовь к родине, патриотизм у персонажей Толстого не выглядят холодной декларацией, а воспринимаются как живое кровное убеждение и чувство.

Причина такого сильного воздействия трилогии на нас заключается не только в пластичности литературного таланта Толстого, но и в том, что патриотическое чувство Телегина и других героев трилогии изображено не статично, как нечто застывшее, данное сразу, а в движении, развитии, обогащении. Патриотизм Телегина и Даши вначале выглядит в наиболее простой форме, не как идея, а как хорошее человеческое духовное качество, заставляющее их любить свою родную землю. Поэтому мотив верности и стойкости, составляющий главный эмоциональный тон повести, нам представляется в высшей степени значительным: он глубоко раскрывает внутренние духовные истоки национального патриотического чувства русских людей, так ярко проявившегося в наше трудное военное время.

В органичности и естественности развития образов — первейший признак настоящей художественности произведения Толстого. Вывод у Толстого не рождается публицистическим приемом: идея произведения воспринимается как естественный вывод из всей совокупности жизненного опыта героев, наталкивающего читателя на глубокие размышления и переживания. В трилогии Толстого судьбы героев, поиски ими счастья, страдания их сразу обращают читателя к самым острым и животрепещущим проблемам жизни. Силой своего таланта писатель заставляет вновь пережить и горе, и радость своих героев.

V

Подлинный художественный талант отзывчив к требованиям времени. Когда Толстой в Париже писал книгу «Сестры», он не думал, что она развернется в трилогию. По мере того, как писался роман «Сестры», развертывались события в России. Автор почувствовал, что нельзя вставить точку и оставить своих любимых героев на общественном бездорожье. Много пережив, он взглянул иначе и на книгу «Сестры» — воспринял ее не как итог, а только как начало большой эпопеи. Первичный, сравнительно ограниченный замысел вырос в огромное трехтомное эпическое произведение о родине в ответственной эпоху ее истории.

Своеобразие второй части трилогии «Во-

семнадцатый год» состоит в том, что центр тяжести ее, в противоположность первой книге, резко перемещается с личных судеб героев на воспроизведение истории. Главнейшее здесь — революция, гражданская война, огненный 1918 год. Сам Толстой определяет особенность второй книги трилогии понятием — «определенный историзм».

«Второй роман — «Восемнадцатый год». Это был предельный историзм. Что спустя семь лет после «Сестер» я взялся за II часть, это меня обязывало к каким-то фрагментам историческим. Я в первый раз начал писать исторический роман, и это было очень трудно, потому что 1-й вариант, который печатал я в журнале, это были просто непереваренные куски и исторические фрагменты, которые попадались мне в руки. Это были тоже именно фрагменты, тут ничего не было связанного, приходилось восполнять эти пропущенные места рассказами очевидцев, но по рассказам очевидцев, конечно, история не пишется, поэтому тут было много допущено ошибок, которые пришлось потом исправлять». (Выступление в клубе советских писателей.) В дальнейшем Толстой серьезно переработал и улучшил книгу. Общее определение содержания книги «Восемнадцатый год», выраженное как «предельный историзм», остается правильным и для окончательного варианта. В этом отношении первая и вторая книги трилогии представляют резкий контраст: если в первой книге главенствует личное, то во второй книге господствует история, на фоне гигантского масштаба которой отдельные средние люди кажутся мелкими букашками. Возникло опасение, не является ли этот предельный историзм крайностью, которую не следовало допускать. Но для внутреннего развития Толстого-художника крайность эта являлась необходимой и положительной. Писатель сразу и решительно вырвался из мира камерных идеалов на простор широчайших общественных событий и обобщений. Взор художника прошел по просторам всей России. Истина у Толстого рождалась путем живых противоречий. Противоречие интимного, личного, составляющего главный мотив «Сестер», и предельного историзма в «Восемнадцатом годе», несомненно, не было бы разрешено, если бы писатель не продолжил историю своих героев дальше в «Хмуром утре». В последней книге трилогии все противоречия — композиционные, стиливые и внутреннего развития образов — приходят к естественному разрешению.

Толстой смело бросился в бурный океан исторических событий восемнадцатого года.

Он напоминает нам пловца, то волею стигшего в контуры и оттенки окружающего, то проваливающегося в бездну, сдавливаемого набегающими и stalkивающимися грозными волнами. То громадный художественный талант Толстого блистает яркими проникновенными картинами истории, то вдруг мы замечаем вместо ясного рисунка беглое, а иногда расплывчатое нагромождение красок и в то-

нах, и в композиции. Недостатки книги «Восемнадцатый год», а отчасти и «Хмурого утра» не в состоянии нарушить, однако, общего прекрасного впечатления грандиозной исторической картины, созданной Толстым. Отдельные неудачные страницы не могут затмить блеска художественного дарования автора трилогии. Созданы замечательные картины, доносящие до нас живое восприятие одной из самых драматических и значительных эпох русской истории.

«Восемнадцатый год» — одно из самых крупных монументальных и ярких произведений о гражданской войне в нашей художественной литературе. Писателем создана широкая, многоцветная панорама родной страны, охваченной огнем гражданской войны. Во весь голос Толстой говорит, что, кроме счастья отдельных людей, существует суровая необходимость завоевать и отстоять это счастье от темных сил, мешавших раньше жить миллионам людей.

Толстой сумел донести до нас дыхание гражданской войны. Общий колорит неповторимой эпохи сохранен в ярком, живом изображении. Выразительны и разнообразны краски автора, с одинаковым мастерством запечатлевшего и прозу быта солдатских теплушек и пафос героических подвигов во имя революции, и низость спекуляции, бандитизма, и сложные идейные искания героев-интеллигентов. Выведены живые типические люди — рядовые и крупные деятели. Воспроизводятся главные исторические факты, боевые эпизоды гражданской войны. События перемещаются на Юг, где решалась в 1918 году судьба социалистической революции. Действие быстро перебрасывается на громадные расстояния в самые различные пункты России. Советское правительство борется за жизнь нового государства рабочих и крестьян. На Юге организуются основные силы контрреволюции. Корниловщина. Создание Добровольческой армии. Мятежи на Волге. Каледин, Деникин, махновщина и так далее. «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро» можно назвать художественной летописью гражданской войны. На страницах их, как в kaleйдоскопе, мелькают сотни новых лиц, крупных и мелких организаций, воинских частей. Быстрая смена фактов, событий, людей, сложный переплет их, создающие впечатление разорванности и хаотичности композиции, не есть результат небрежного нагромождения материалов, а продиктованы самим характером бурной эпохи, обильной разнообразными явлениями и в высшей степени динамичной по своему характеру. Многие сцены и эпизоды достойны стать классическими образцами исторической художественной литературы. Художественное мастерство этих незабываемых картин сказывается еще и в том, что они относятся к событиям, уже не раз воспроизведенным нашими писателями. Толстой нашел новые краски для этих событий, обогатил наше представление о них. Глубокое волнение вызывает трагическая картина гибели Черноморского флота, когда русские моряки, спасая револю-

цию, отчизну, топили свои корабли. Естественно, когда современный читатель узнал из газет об аналогичных событиях в Тулонском порту, то неизбежно в представлении возникла замечательная сцена из романа Толстого.

Содержание некоторых исторических событий в трилогии Толстого перекликается с нашей современностью.

Горе пришло на Украину. Немцы воювали на поля молодой Советской Украины. Картины хозяйничанья в 1918 году немцев на Украине живут, словно они написаны в наше время.

«... Весь день грузились военные тележки, и поздней ночью обоз ушел. Село было ограблено начисто. Нигде не зажигали огня, не сажались ужинать. По темным хатам выли бабы, зажав в кулаке бумажные марки.. Было с чего плакать: от труда целого года, от забот, бессонных ночей — осталась горсточка бумаги...»

«Теперь в вечерней тишине был ясно слышен издалека дикий, долгий крик. Матрена сейчас же села на лавку, стиснула руки между коленями.

— Ваську Дементьева порют, — тихо проговорил Алексей, — давеча его провели на княжеский двор.

— Это уже третьего, — прошептала Матрена. Замолчали, слушали. Крик человека все тем же отчаянием и ужасом висел над вечерним селом...»

Ныне, двадцать лет спустя, немцы так же терзают Украину. И так же украинский народ восстает против угнетателей. Толстой запечатлел рост народного гнева.

«Затем пришла и беда. В ранний час, когда еще не выгоняли поить скотину, по выметенной улице пошли стражники и десятки с бляхами, застучали в окошки:

— Выходи!

Мужики стали выскакивать за ворота, босяком, застегиваясь, и тут же получали казенную бумагу: с такого-то двора — столько хлеба, шерсти, сала и яиц представить германскому интендантству по такой-то цене в марках. На площади у церкви уже стоял военный обоз. По дворам, у ворот умышлялись постояльцы-немцы, в шлемах, с винтовками у ноги.

Зачесались мужики. Кто божиться стал, кто шапку кинул об землю:

— Да нет у нас хлеба! Хоть режь, — нег ничего!...

И тут по улице на дрожках проехал управляющий. Не столько солдат или стражников испугались мужики, сколько его золотых очков, потому что Григорий Карлович все знал, все видел.

Он остановил жеребца. К дрожкам подошел исправник. Поговорили. Исправник гаркнул стражникам, те вошли в первый двор и сразу под навозом нашли зерно. У Григория Карловича только очки блеснули, когда он услышал, как закричал мужик-хозяин...»

— Поздно спохватился.

— Ой, милые, — провила Матрена, — да я им горло зубами переем...

В ворота громыхнули прикладом. Вошел жилец, толстый немец, — спокойно, весело, как к себе домой. За ним — шесть стражников, и штатский, с гетманской, в виде трезубца, кокардой на чиновничьей фуражке, со шнурованной книгой в руках.

— Тут много, — сказал ему немец, кивнув на амбарушку, — сал, хлеб.

Алексей бешено взглянул на него, отошел и со всей силы швырнул большой заржавленный ключ под ноги гетманскому чиновнику.

— Но, но, мерзавец! — крикнул тот. — Розог хочешь, сукин сын!

Семен локтем откинул Матрену, кинулся с крыльца, но в грудь ему сейчас же уперлось широкое лезвие штыка.

— Хальт! — крикнул немец жестко и повелительно. — Русский, на место!»

Рассказывая московским писателям о том, как создавалась трилогия, Толстой о ее второй книге сообщил следующее: «Там ни слова не было об обороне Царицына. И эта история выпала у меня из романа. Потом, знакомясь в дальнейшем с историей, я увидел, что Царицын играл основную роль в 1918 году. Это — центр всех событий. Потом они перекинулись на другое. Но вся вторая половина 1918 года сосредоточилась на уничтожении армии Краснова.

Что было делать? Роман написан. Не мог я заново писать. Главы новые вставлять нельзя. Мне хотелось дополнить эту историю отдельной книжкой. Таким образом возникла повесть «Хлеб». Здесь была дана чисто историческая эпоха. И вот, так как «Хлеб» обрывался на одном окружении, — а их было три, и самое серьезное было третье, то я «Хмурое утро» начинаю уже с событий, которыми кончается «Хлеб».

Повесть «Хлеб» художественно значительно слабее, нежели любая книга трилогии Толстого. Такое произведение не могло стать органической частью высокохудожественной эпохи. Толстой сам осознал несовершенство повести «Хлеб», и, несмотря на большую актуальность темы, он не сделал ее составной частью трилогии. Вместе с тем Толстой видел, что отсутствие в картине гражданской войны обороны Царицына лишает произведение исторической сердцевины. Результатом такого понимания явилось перенесение действия последней части трилогии — в Царицын; таким образом исторические материалы третьей книги «Хождения по мукам» в известной степени восполняют пробелы и недостатки второй.

Чутье художника восполнило и другие пробелы исторического содержания романов «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро». В этих произведениях мы видим в общем верную картину грандиозного исторического преобразования нашей страны. В них слышны мощные шаги истории. Толстой языком живых образов рассказал об уходе в прошлое сжившего, старого уклада. Мы видим, с какой силой умирающее старается погубить новое, светлое. В романах «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро» правдиво повествуется о ге-

роизме и усилиях, которые привели народы освобожденной страны к победе. Произведение Толстого поучительно и для современного поколения. Оно учит тому, что ничто плодотворное в истории и личной жизни не дается даром. Везде нужны настойчивость, труд, терпение, умение выносить лишения, а если цель касается судьбы родины, то не нужно жалеть и своей собственной жизни. Тяжело сейчас нашей стране, когда приходится выносить бремя грандиознейшей в истории человечества войны. И нельзя сомневаться в том, что правдивый и яркий рассказ о героизме и мужестве русских людей, своей кровью отстаивавших независимость страны и революцию от врагов, вдохнет в наших бойцов фронта и тыла еще больше решимости разгромить захватчиков.

Победное движение русского народа через «муки» вперед — главная тема трилогии «Хождение по мукам». Но Толстой не ограничился изображением одной борющейся стороны. Ярко нарисован и враждебный лагерь интервентов и отечественной контрреволюции, попытки реакционных сил остановить историю, задушить революцию. Здесь мы находим и честных заблудившихся одиночек типа Рошина, и корыстных садистов вроде корнета Оноли, и последних фанатиков-монархистов — Корнилова и Деникина, и кулацкую анархию Махно. Толстой не пользуется при описании белогвардейского лагеря приемами нарочитого снижения. Вот как, например, дана им картина парада белых генералов.

«Обедня кончилась. Из церкви повалила толпа загорелых юнкеров и офицеров. Не спеша пошла знаменитые генералы с привычно строгими глазами, в чистых гимнастерках, с орденами и крестами: высокий, картинно стройный красавец, с раздвоенной бородкой и фуражкой набекрень — Эрдели; мухростый, в грязной папахе, колючий — Марков; низенький — Кутепов, курносый, коренастый, с медвежьими глазками; казак Богаевский с закрученными усами. Затем вышли, разговаривая, Деникин и холодный, «загадочный», как называли его в армии, с красивым, умным лицом — Романовский. При виде главнокомандующего все подтянулось, курившие под березами — бросили папироски.

Деникин был теперь не тот несчастный, в сбитых сапогах и в штатском, больной бронхитом «старичок», увязавший без багажа в обозе за армией. Он выпрямился, был даже щегольски одет, серебряная бородка его внушала каждому сыновнее почтение, глаза округлились, намялись строгой влагой, как у орла. Разумеется, ему далеко было до Корнилова, но все же из всех генералов он был самый опытный и рассудительный».

Ничего нарочитого тенденциозного, а тем более карикатурного здесь нет. Однако Толстой на фоне всего романа раскрыл подлинное лицо этих людей, выступивших против народа. Обреченность белого движения в романе совершенно ясна. Белый лагерь в трилогии «Хождение по мукам» показан через призму воззрения Вадима Рошина — храброго русского офицера, уверовавшего в ложную мысль о ги-

бели России, примкнувшего во имя ее спасения к контрреволюции. Рошин разочаровался в белом движении и возненавидел его. Еще находясь в стане контрреволюции, Рошин чувствует близость ее гибели и неуверенность в правильности избранного им пути. И когда он встречается на ростовском вокзале с переодетым в полковничью форму Телегиным, он, уже не может подняться с места, чтобы пойти и донести.

«Два месяца тому назад Рошин бы не колебался ни мгновения. Но он прирос к дивану — не было сил... Иван Ильич — красный офицер — вот он, рядом, все тот же усталый, весь — добрый... Не за деньги же пошел, не для выслуги — какой вздор! Рассудительный, спокойный человек пошел потому, что считал это дело правильным... «Так же, как я, как я... Выдать, чтобы через час муж Даши, мой, Катин брат, валялся без сапог под забором на мусорной куче». Ужасом сжало горло, Рошин весь подался... Что же делать? Встать, уйти? Но Телегин может узнать его — расстреляется, окликнет. Как спасти?»

Неподвижно, точно спящие, сидели Рошин и Иван Ильич близко на дубовом диване. Вокзал опустел в этот час. Сторож закрыл перронные двери. Тогда Телегин проговорил, не открывая глаз: «Спасибо, Вадим». У Рошина отчаянно задрожала рука».

Рошин не в силах осудить Телегина, ибо он потерял веру в честность и правоту белогвардейщины. Чуткий и строгий к себе человек, он понимает силу и убежденность Телегина. Героизм последнего обесоруживает Рошина. Твердый человек, он уходит от белых. Настоящая честь боевого русского офицера и русского человека возвращает его к народу. Правда, политические взгляды Рошина имеют несколько националистический характер, но другого места служения России, кроме Красной Армии, он не находит. В Красной Армии он служит честно, проявляя храбрость и бесстрашие. Самое же главное, он приобретает здесь душевный покой и настоящее место своему патриотическому чувству.

Один из персонажей книги, Сапожников, говорит Телегину:

«В интеллигенции нашлась только одна кучечка, понявшая революцию,—коммунисты...»

Большевики — самые сильные люди в трилогии. Общие их свойства — уверенность в правоте своего революционного дела, ум, проницательность, сила воли, настойчивость. Толстой все время оттеняет их органическую связанность с народом, умение направлять и понимать народ. Они — представители народной массы. И народ идет за ними. Все же образы большевиков в трилогии Толстого — рабочий Рублев, комиссар Гимза, командир Иван Гора, матрос Чугай — психологически разработаны гораздо менее тонко и не столь всесторонне, как образы Телегина и Рошина.

Толстой в трилогии отвел большое место описанию разбушевавшейся народной стихии. Однако он никогда не был сторонником различного рода стихийнических, скифских теорий, чрезвычайно распространенных перед ре-

волюцией и в первые годы революции среди некоторых групп интеллигенции. Он слишком привязан был к земле, чтобы подобные увлечения могли лишить его здорового чутья реальной жизни.

«Кто ждал, — спрашивает Толстой в конце книги «Восемнадцатый год», — что Великобритания, отрезанная от морей, от хлебных губерний, от угля и нефти, голодная, нищая, в тифозном жару не покорится, — стиснув зубы, снова и снова пошлет сынов своих на страшные битвы... Год тому назад народ бежал с фронта, страна как будто превратилась в безначальное анархическое болото, но это было неверно: в стране возникали могучие силы сцепления, над утробным битием поднималась мечта о справедливости. Появились необыкновенные люди, каких раньше не видывали, и о делах их с удивлением и страхом заговорили повсюду».

Необыкновенные люди, о делах которых с удивлением заговорили повсюду, это были те, кто спасал родину, это были большевики-Ленин.

Сцена выступления Ленина на рабочем митинге — одна из самых сильных в нашей литературе: «На трибуне стоял новый оратор — небольшого роста человек в сером пиджаке, в измятом поперечными складками жилете. Налупив лысый бугристый череп, он разбирал бумажки.

Он сказал слегка картавящим голосом: «Товарищи!» — и Даша увидела его озабоченное лицо с прищурившимися, как на солнце, глазами. Руки его опирались о стол, о листки записок. Когда он сказал, что темой сегодня будет величайший кризис, обрушившийся на все страны Европы и всего тяжелее — на Россию, темой будет — голод, — три тысячи человек под закопченной крышей затаили дыхание».

Он начал с общих соображений, говорил ровным голосом, нащупывая связь со слушателями. Несколько раз отходил от стола и возвращался к нему. Он говорил о мировой войне, которую не могут и не хотят оканчивать две группы хищников; вцепившихся друг другу в горло, о бешеной спекуляции на голоде, о том, что войну может кончить только proletарская революция...

Он заговорил о двух системах борьбы с голодом: о свободной торговле, бешено обогащающей спекулянтов, и о государственной монополии. Он отступил шага на три вбок от стола и, наклонившись к аудитории, заложил большие пальцы с боков за жилет. Сразу выступили вперед лобастая голова и большие руки».

Полная правды речь Ленина погружает Дашу в глубокое раздумье и заставляет ее по-новому во многом осмыслить свое падение и происходящее вокруг.

«Вернувшись с митинга, она сидела на кровати, расширенными глазами глядела на завиток обоев. На подушке лежала записка от Жирова: «Мамонт ждет в одиннадцать, в Метрополе». На полу у двери валялась другая записка: «Будьте сегодня в 6 у Гоголя...»

Во-первых, это другое было сурово моралью, значит — вышнее... Говорилось о хлебе. Раньше она знала, что хлеб можно купить или выменять — цена ему известна: пуд муки — пара штанов без заплаток. Но оказалось, что этот хлеб революция гневно отгласивает от себя. Хлеб этот нечистый. Лучше умереть, но этот хлеб не есть. Три тысячи голодных людей отреклись сегодня от нечистого хлеба.

Отреклись во имя... (Но тут в дашиной бедной голове снова все спуталось.) Во имя уничтоженных и угнетенных... Ведь так он сказал? Отдать все силы, все поставить на карту, жизнь — за трудящихся и эксплуатируемых... Вот почему у них эта трагическая суровость...

Второе идейное, творческое рождение писателя, наглядно сказавшееся во второй и третьей книгах трилогии, отразилось в стилистическом своеобразии этих книг. Все три книги «Хождения по мукам» написаны в разной стилистической манере. Разность эта не чувствуется резко между второй и третьей книгами, здесь можно говорить только об оттенках. В то же время переход от «Сестер» к роману «Восемнадцатый год» ощущается явственно не только в идейном плане, но и стилистически. Для первой книги характерны поэзия настроения, лирическая созерцательность, пафос описания личного, субъективного. В отличие от этого два других романа написаны в широком эпическом плане, в спокойной торжественной повествовательной манере.рядом с эпическими картинами здесь встречаются лирико-публицистические отступления, объясняющие мысль автора, как бы стягивающие все происходящее в романе, иногда выразительное в разбросанной и как бы хаотичной композиции, к единому лирико-философскому центру. Лирические отступления Толстого, за некоторыми исключениями, в высшей степени поэтичны, особенно, когда речь заходит о России, народе. Толстой тут идет за своими героями: он митингует или разъясняет, как они. У другого, менее талантливого писателя, прием этот мог бы очень отрицательно сказаться на художественной стороне произведения. Но у Толстого публицистические отступления органически слиты с материалом и звучат как голос самой жизни.

Книга «Сестры» заканчивалась многозначительными словами Рощина о том, что война и революции уйдут, останется нетленным только сердце его любимой женщины, их любовь. Пророчество Рощина не сбывается. Любовь остается, но она не та, о которой думал тогда Рошин, иным становится весь характер отношений. Положительной особенностью произведений Толстого является то, что он не забывает за массой серьезнейших событий своих героев. Человек у него не оттесняется историческими событиями в глубь сцены настолько, что нельзя уже различить его. Герой у Толстого никогда не становится бесформенным неразличимым пятном. Занявшись историей, писатель все так же внимательно следит за судь-

бой своих ведущих героев. Толстой и его герои чувствуют несбыточность их старых планов: нет, и не может быть счастья одиночек.

Внимание и уважение писателя к личным отношениям своих героев, к старой теме любви сохраняется на всем протяжении трилогии, но освещена эта тема здесь иначе, чем в «Хромом барине» и «Сестрах». Во второй книге она приглушена показом истории, но в дальнейшем опять начинает звучать отчетливо, сильно.

Водоворот истории резко изменил судьбы Телегина, Рощина, Кати и Даши, разрушил их планы, развлек героев. «Попытка запереться с Дашей на ключик от бешеных порывов революции жалки и смешны — думает Телегин, вспоминая о прошлом. Все поняли, что в дни большого исторического перелома, меняющего судьбу всего народа, нельзя отгородиться от всего своими чувствами. Телегину стыдно было вспоминать о том, как он год тому назад суегился, устраивал квартиру на Каменноостровском». Судьбы отдельных людей гигантскими событиями отодвигаются на задний план. Самые светлые личные чувства в такие моменты не забываются, но их свет меркнет перед другими, патриотическими. Осознание неполноты своего жизненного идеала не может пройти безболезненно. Тяжесть этого внутреннего переживания усиливается еще более разлукой. И любовь, сияние которой по мысли Рощина должно было осветить все окружающее, раскрыть мир во всем его ослепительном великолепии, вдруг начинает бледнеть, становится хрупкой. Кризис чувств осложняется не только внешними воздействиями, но и сознанием крушения старого идеала любви. Письма Кати к Даше свидетельствуют, что общественные страсти врываются в личное, губят или обновляют и обогащают его:

«Он (Вадим Рошин) не замечал меня в последнее время. Ему в лицо глядела во все глаза революция. Ах, я ничего не понимаю. Нужно ли нам всем жить?».

Катя положила перо и скомканым платочком вытерла глаза. Потом глядела на дождь струившийся по четырем стеклам окошка. На дворе гнулась и металась акация, как будто сердитый ветер трепал ее за волосы. Катя вспомнила, снова начала писать:

«Вадим уехал на фронт. Настала весна. Вся моя жизнь была — ждать его. Как печально, как это никому не было нужно.. Я помню, перед вечером глядела в окно. Распустилась акация, большие почки лопались. Суегились стайка воробьев... Мне стало так обидно, так одиноко... Чужая, чужая на этой земле... Прошла война, пройдет революция. Россия станет уже не той. Воюем, гибнем, мучимся. А дерево распускается так же, как и прошлой весной, как много весен назад. И это дерево и воробьи — вся природа — отошли от меня в страшную даль и там живут своей непонятной мне жизнью..»

«Даша, зачем же все наши муки? Не может быть, чтобы напрасно... Мы, женщины, ты, я, — знаем свой маленький мирок... Но то,

что происходит вокруг, — вся Россия, — какой это пылающий очаг! Должно же там родиться новое счастье...»

Чувство героев трилогии не гибнет. Нельзя предположить, чтобы Толстой мог допустить это. Гибнет от разлуки и испытаний в первую голову неустойчивое и слабое. Сказать так об отношениях Телегина и Даши, Рощина и Кати нельзя. Их чувства на время как бы окаменевают, но не исчезают, подобно фениксу, они возрождаются из пепла обновленными и обогащенными. Личное уже не противостоит общественному, как убежище от социальных бурь, а, напротив, личная любовь еще более расцветает, озаренная любовью к родине.

Толстой проводит своих героев через самые опасные испытания. Они часто смотрят в глаза смерти. Кажется, уже нет спасения, но оно приходит. Некоторые критики упрекали автора за стремление во что бы то ни стало сохранить своих героев до конца. Он заставил их ходить по мукам на протяжении огромного трехтомного произведения, по путям и перепутьям душевного перерождения. Они должны были бы погибнуть, но различные мелодраматические условности их выручают. Рощин приходит к Кате в самую критическую для нее минуту. Так же встречаются Телегин и Даша в Самаре. Телегин, ничего не подозревая, находится в руках врага. Его немедленно должны расстрелять. И вдруг появляется Даша, которую он не видел долгое время. С ней приходит спасение. Можно привести несколько подобного рода эпизодов. Тем не менее, полностью согласиться с таким упреком по адресу Толстого нельзя.

Встает извечный вопрос о правде искусства и наивном правдоподобии. Проблема реализма художественного и реализма наивного возникает не только в связи с трилогией Толстого, но и вообще существенна для большого количества произведений, где историческая эпоха представлена главным образом в восприятии обычных скромных людей. Несомненно, что в «Хождении по мукам» много случайностей, благоприятствующих героям. Но выбросить их из искусства нельзя. Иначе нет искусства романиста, воссоздающего жизнь не в ее протокольных мелочах, а в концентрированном виде. Есть правда детали, и есть правда большого философского и художественного обобщения. Толстой идет по последнему пути. И перед нами из его произведений предстает большая жизненная истина: благородство чувств, патриотических и личных, любовь, дружба, верность сохраняют людей, приносят им победу там, где одинокий человек беспомощен. Верность героев друг другу в «Хождении по мукам» сохранила их. Это малый план вещи Толстого, а еще виден и второй, большой общественный план — любовь и вер-

ность людей своей родине, всегда спасавшие Россию в тяжкие годы.

В нашей литературе давно не встречалось произведений, равного трилогии Толстого по широте охвата и многообразию явлений. Жизнь у Толстого воспроизводится ярко, чуть не осязаемо. Он не ограничивается изображением какой-либо одной социальной среды или узкого круга определенных явлений. Он везде дома: и в петербургском салоне, и в украинских степях, и в казачьей станице, и в штабе армии. Действительность, — в том числе и те ее стороны, которые писатель знает недостаточно хорошо, — он дополняет силой творческого воображения и художественной изобретательности. Мы верим писателю даже в том случае, когда он не точен.

Художественное дарование Толстого проявилось в трилогии с первых же страниц. Все люди, нарисованные Толстым, живые, особенные, так что их нельзя ни забыть, ни спутать одного с другим. Дар изображения заставляет запоминать даже второстепенные фигуры. Сила таланта Толстого во всей полноте сказалась в воспроизведении тончайших интимных переживаний. История любви Телегина и Даши проникнута настоящей поэтичностью. Писатель заставляет нас живо ощущать всю тонкость и сложность сокровенных человеческих чувств. По глубине и живости изображения сложнейших оттенков эмоций и душевной жизни роман Толстого имеет мало себе равных в нашей литературе. Можно назвать только «Тихий Дон» М. Шолохова, одухотворенный замечательной любовью Аксиньи и Григория Мелехова. Роднит в этом смысле Толстого и Шолохова их глубокое уважение к чувствам своих героев: авторы внимательны к духовному миру своих персонажей от начала до конца, величайшие исторические события не в состоянии отвлечь внимание писателей от переживаний отдельной личности. Люди живут у них по-настоящему, в плоти и крови. В этом признак настоящего искусства, за которое народ платит большой благодарностью.

Невозможно вывести русский национальный характер, не передав своеобразия его мышления и языка. Художественная весомость трилогии Толстого во многом зависит от мастерства литературного языка. Трудно назвать еще кого-либо из наших писателей, кто бы так свободно и непринужденно владел русским языком, во всем его сложном разнообразии, как владеет им автор трилогии. Русский народ по достоинству гордится замечательным своим языком — языком Пушкина, Белинского, А. Толстого. Не отказался от этого богатства и А. Толстой. Свободно выражает писатель тончайшие оттенки мышления, чувства, поведения. Непринужденны у него переходы от эпического повествования к лирическому, от простого рассказа к патетическому изложению. Язык Толстого очень ясен, прост, сдержан и даже строг. Метафора редкий гость в его произведениях. На первый взгляд речь кажется совершенно повседневной: короткая фраза, от-

четливая интонация напоминают знаменитую заповедь Пушкина о главном достоинстве художественной прозы. Толстой отбрасывает всякого рода изломанность речи, установку на необычность выражения. Если и встречаются у Толстого эпитет, метафора, то они блистают всеми цветами смысла и выразительности.

Достоинства языка Толстого помогают верить в его героев, в то, что они действительно таковы, как есть. Несколькими штрихами он умеет создать неповторимый, запоминающийся человеческий образ. Герои Толстого и говорят так же выразительно, легко и просто, как сам писатель. Толстой не прибегает к стилизованной речи, за которой пропадает автор. Речь его героев индивидуализирована, каждый говорит по-своему, но везде чувствуется Толстой. Все это противоречит наивному пониманию реализма, но находится в соответствии с более высоким пониманием принципов реалистического искусства.

В произведениях Толстого можно найти много отступлений от правил обычного элементарного синтаксиса. Но речь ни одного крупного писателя никогда не бывает школьнически размеренной. Неточности Толстого превосходны по своей смысловой выразительности. Они обаятельны потому, что писатель в совершенстве понимает стихию русской речи, ее дух, ее смысловые внутренние законы. Неточности Толстого по существу не есть отклонения от норм русского языка, а, наоборот, совершенная демонстрация многогранности, неисчерпаемого богатства русской речи. Есть догматика правильной русской речи, а есть ее дух, безбрежная стихия, и писатель свободно владеет этой стихией. Повторяем еще раз: язык Толстого прост. Но это не простота примитива или застенелости, а простота высокого художественного мастерства. Есть в трилогии Толстого много недостатков, но за пластичность и мастерство художественного языка хочется и можно простить очень многое.

VI

Поиски личного счастья — основной мотив первой книги трилогии романа «Сестры». В романе «Восемнадцатый год» преобладают исторические события, противостоящие личным планам героев трилогии. Налицо, таким образом, имеется конфликт между личным и общественным. Разрешается этот конфликт в третьей книге трилогии — романе «Хмурое утро». История, общественное гармонично объединяются с идеалом личного счастья в понятии и чувстве родины. «Что я показал здесь?» — говорил автор в одном из своих выступлений. — Для меня самого это подсознательное желание обнажить тему родины. Она, казалось, не стояла тогда в очереди, и мне самому было страшно. Может быть, если бы я писал этот роман теперь, то эта тема родины в десять раз встала бы сильнее. Она там сосредоточилась в Рошине и Телегине.

Это было одним из самых основных двигающих начал моего романа.

Роман «Хмурое утро» вышел в свет в дни войны с немецким фашизмом. Главные события развертываются у Царицына, нынешнего Сталинграда. Как и в нынешней войне, Сталинград тогда имел самое существенное значение для победы над врагом. Именно около Сталинграда герои Толстого находят свое настоящее место в жизни. Война еще не закончена. Опять перед нами проходят бои, крупные победы Красной Армии, картины развала белогвардейщины, Махно, Шкуро, Мамонтов. Тем не менее контуры победы очерчены отчетливо. «Жить победителем или умереть со славой» — эти слова древнего русского князя Святослава поставлены эпиграфом к третьей части трилогии. Так ставится вопрос для каждого человека — гражданина нашей страны — и для всего народа. В конце трилогии Толстого выступает народ-победитель, кладется начало новой эпохи в истории родины, освещенной именами Ленина и Сталина.

Обсуждается план электрификации страны. Докладчик говорит:

«Там, где в вековой тишине России таят миллиарды пудов торфа, там, где низвергается водопад, или несет свои воды могучая река, — мы сооружаем электростанции — подлинные маяки общественного труда. Россия освободилась навсегда от ига эксплуататоров, наша задача — озарить ее немеркнущим заревом электрического костра. Былое проклятие труда должно стать счастьем труда.

Поднимая кий, он указывал на будущие энергетические центры и описывал по карте окружности, в которых располагалась будущая новая цивилизация, и кружки, как звезды, ярко вспыхивали в сумерке огромной сцены. Чтобы так осветить на коротенькие мгновения карту, — понадобилось сосредоточить всю энергию московской электростанции, — даже в Кремле, в кабинетах народных комиссаров, были вывинчены все лампочки, кроме одной — в шестнадцать свечей.

Люди в зрительном зале, у кого в карманах военных шинелей и простреленных бекеш было по горсти овса, выданного сегодня вместо хлеба, не дыша, слушали о головокружительных, но вещественно осуществимых перспективах революции, вступающей на путь творчества..

Телегин тихонько говорил Даше:

— Дельный доклад. Я этого инженера Кржижановского хорошо знаю. Вот, кончим войну, — вернусь на завод, у меня тоже кое-какие соображения.. Ужасно хочется, Дашенька, работать.. Если они такую электрическую базу подведут, — ужас что можно развернуть.. Чорт знает — какие у нас богатства! Поднять на настоящую работу такую махину, — что тебе Америка! — Мы богаче.. Подем с тобой на Урал..

Даша — ему:

— Будем жить в бревенчатом доме, чистом, чистом, с капельками смолы, с большими окнами.. В зимнее утро будет пылать камин..»

Роман называется «Хмурое утро». Название говорит об унылости, безрадостности или безнадежности. Однако действительный смысл названия другой: сквозь переплет многочисленных событий ясно виднеется светлый день новой жизни, за который ненастным хмурым утром вышли в бой русские люди.

Символика названия романа «Хмурое утро» раскрывается в словах Телегина. Он прощается после назначения командиром бригады — со своим полком, отличившимся в боях под Царицыном. Обращаясь к бойцам, Телегин говорит:

«Предупреждаю вас, — впереди еще много трудов, враг еще не сломлен, и его мало сломить, его нужно уничтожить... Это война такая, что в ней надо победить, в ней нельзя не победить. Человек схватился со зверем, — должен победить человек.. Ненастным хмурым утром вышли мы в бой за светлый день, а враги наши хотят темной разбойничьей ночи. А день взойдет, хоть ты тресни с досады».

Слова Телегина, относящиеся к давно прошедшим событиям, звучат в высшей степени созвучно нашим мыслям и стремлениям. Борьба с врагами родины ведется сейчас не на жизнь, а на смерть. Уверенность в победе окрыляет бойца и художника. В уверенности, что за «Хмурым утром» лишения и борьбы следует светлый день торжества родины и человека, а не темная ночь рабства, как этого хотят враги, — заключается пафос романа «Хмурое утро».

Толстой в своей трилогии затронул важнейшие вопросы истории. Уменье мыслить исторически помогло Телегину найти ответ на решающий для него вопрос — с кем идти в революционную эпоху, поставившую многих людей на общественном распутьи. Телегин искал ответа на волновавшие его вопросы в прошлом своей родины. И он увидел, сопоставляя настоящее с прошлым, непрерывность истории русского народа. Толстой художественно раскрыл великую преемственность нашего поколения со славными делами предков, и это составляет большую заслугу писателя.

Толстой образно раскрывает свой взгляд на преемственность нашего поколения со всей долголетней предшествующей русской историей. В результате рождается живое представление об органической тысячелетней связанности единого русского народа.

Уменье Толстого — художника мыслить широкими историческими масштабами создает в его произведении живое восприятие народа, как одной огромной семьи, как живой истории государства. При этом следует заметить, что в «Хождении по мукам» история дана не застывшая, омертвевшая в прошлом, а живая, вся устремленная вперед, в будущее.

«Они желают иметь свою собственную историю, развернутую не в прошлые, а в будущие времена, — говорит Теткин от лица «ста миллионов мужиков». — С этим ничего не поделаешь. К тому же у них вожди — про-

летариат. Эти идут еще дальше, — дерзают творить, так сказать, мировую историю... С этим тоже ничего не поделаешь».

В начале романа поступательное движение народа слышно весьма глухо. Все двинулось, но куда и к чему приведет переворот, для героев Толстого это еще не ясно. Сильнее чувствуется другое: тревожная мысль о том, что все кончено, кончилась история России. С наибольшей резкостью подобная пессимистическая философия русской истории последнего периода перечувствована и много раз высказана в романе Роциным.

С самого начала революционных событий Роцин проявляет полное непонимание происходящего. Он говорит: «Когда я ехал сюда, я знал, что я русский, здесь я этого не чувствую, не понимаю». Россию Роцин в то время не может представить иной, чем такой, какой он ее видел раньше. И, не сумев увидеть свою родину обновленной, став против деятелей новой свободной страны и всего народа. естественно, Роцин лишился родины. Для него нет пути:

«Ему казалось — тело России разламывается на тысячи кусков. Единый свод, прикрытый вавший империи, разбит вдребезги. Народ становится стадом. История, великое прошлое исчезает, как туманные завесы декорации. Обнажается голая, выжженная пустыня, — могилы, могилы... Конец России. Он чувствовал, — внутри его дробится и мучит колючими осколками что-то, что он сознавал в себе незбылемым, — стержень его жизни».

Действительно, люди жившие за счет народа, — помещики и буржуазия, — оказались без родины: народ их выбросил за пределы страны. Для них, конечно, революция представлялась концом России.

Кроме «Хождения по мукам», Толстой и во многих других своих произведениях показывает нам тип озлобленного эгоиста, белогвардейцев, прокливающих свою родину, торгующих ею направо и налево. Русская белогвардейщина готова была за бесценок продать Россию интервентам, лишь бы сохранить свое эгоистическое благополучие.

Один из персонажей повести «Ибикус» отъявленный белогвардеец, предлагает отдать Сахалин — Японии, Кавказ — Англии, Крым — Франции, Смоленск — Польше за помощь в борьбе против восставшего революционного народа. Такие люди становятся предателями родины, из них вербуются изменники. И в наше время Великой отечественной войны немногочисленные кадры бургомистров, старост и всяких иных лакеев врага вербуются из социального отребья, враждебного народу. Для этих людей нет ничего святого, ничего родного. Для них не существует и не существовало русского народа. Не даром в «Рукописи, найденной под кроватью», контрреволюционер Михаил Михайлович, одержимый ненавистью к революции, проникается враждой и ко всему русскому. Он считает — «особую конференцию надо создать для уничто-

жения русской литературы, музыки, — записать самый русский язык». В трилогии «Хождение по мукам» выразительный тип такого мерзкого предателя выведен Толстым в лице доктора Булавина, члена самарского учредительного «правительства».

«Дмитрий Степанович, одетый крайне неграшливо, обрюзгший и потучневший, с седыми нечесанными кудрями, курил вонючие папироски, кашлял, багровел и говорил, горючил...

— Страницка наша провалилась к чертовой матери... Войну мы проиграли... Не в гнев вам сказано, господин подполковник. Надо было в пятнадцатом году заключать мир... И идти к немцам в кабалу и выучку. И тогда бы они нас кое-чему научили, тогда бы мы еще могли стать людьми. А теперь кончено... Медицина, как говорится, в сем случае бессильна... Оставьте, пожалуйста!.. Чем мы будем обороняться, — вилами-троячкатами? Этим же летом немцы займут всю южную и среднюю полосу России, японцы — Сибирь, мужесков наших со знаменитыми троячкатами загонят в тундры к Полярному кругу, и начнется порядок, и культура, и уважительное отношение к личности... И будет у нас Русланд... чему и весьма доволен-с.

Дмитрий Степанович был старым либералом и теперь с горькой иронией издевался над прошлым «святым». Даже на всем доме его лежал отпечаток этого самооплевывания.

Булавин доволен тем, что уже не будет России, а, как он предлагал, будет немецкая восточная колония Русланд. Так относятся к нашей прекрасной родине враги народа. Им не понять гордости всех честных русских людей своей родиной. Рошин далек от предателей. Находясь в белой армии, он чувствует корыстность и ничтожество стимулов, толкающих его сослуживцев на борьбу против народа.

«Ему на офицерских попойках было дико слушать шумное бахвальство под звон стопок, похвалы братоубийственной войне, личности. Эти молодые, когда-то изящные лица «крестоносцев» обезображены нетерпением убивать, карать, мстить: вот они, стоя со стопочками девяностопятиградусного спирта, поют мертвый гимн тому, кто был ничтожнейшим из людей, был расстрелян, сожжен, развеян по ветру, как некогда Лжедмитрий, и, если бы можно было собрать всю кровь, пролитую по его бессильной воле, то народ, конечно, утопил бы его живого в этом глубоком озере...

Казалось (на это и жмурился Рошин), этот мертвый гимн был единственной идеей у его однопольчан... Очистить Россию от большевиков, идти до Москвы. Колокольный звон... Деникин въезжает в Кремль на белом коне... Да, да, все это понятно. Но дальше то что, — самое главное? Про учредительное собрание, например, неприлично было и говорить среди офицеров. Значит: гимн мертвецу?

Что же увлекло этих людей на борьбу и смерть? Рошин жмурился... Подставлять грудь под пули и пить спирт в теплушках уже не было героизмом, — устарело. Этим занимались и храбрые, и трусы. Преодоление страха смерти вошло в обиход, жизнь стала дешевой.

Героизм был в отречении от себя во имя веры и правды. Но тут опять жмурки, без конца жмурки... В какую правду верил он сам? В великую трагическую историю России? Но это была истина, а не правда. Правда — в движении, в жизни, — не в перелистанных страницах пыльного фолианта, а в том, что течет в грядущее.

Во имя какой правды (если не считать московского колокольного звона, белого коня, цветов на штыках и прочее) нужно убивать русских мужиков?»

Рошин не остался во вражеском лагере. Даже если бы он руководился бескорыстным заблуждением, его участь была бы жалкой и трагичной. Получилось бы то же, что с сотнями студентов, гимназистов, кадетов, юнкеров, прапорщиков, веривших в Корнилова, как в «высшее существо», которые «гибли от фран, тонули, замерзали, — отдавали жизнь для того, чтобы фабрикант, биржевик, купчина спокойно спали в пышной спальне, чтобы веселый барин попрежнему, заливаясь валдайскими бубенцами, пылил по проселочным дорогам, чтобы мужик снова закрутил головой на полутора десятинах, чтобы отжитой невозвратно дедовский век чудом вернулся...»

По сравнению с ничтожеством врагов отчины все яснее и яснее вырисовывается в представлении Рошина мощь русского революционного народа, одухотворенного идеями освобождения. Для него становится понятной великая миссия России в истории человечества. В размышлениях Рошина Толстой проявляет себя тонким художником и страстным патриотом. В больной палате, рядом с русскими простыми людьми Рошин начинает вникать в смысл происходящего:

«Их спокойствие — вековое, тяжелорукое, тяжелоногое, многодумное — выдержало пять столетий, а уж, господи, чего только не было... Странная и особенная история русского народа, русского государства. Огромные и неформенные идеи бродят в нем из столетия в столетие, идеи мирового величия и правдивой жизни. Осуществляются небывалые и дерзкие начинания, которые смущают европейский мир, и Европа со страхом и недоуманием вглядывается в это восточное чудовище, и слабое, и могучее, и нищее, и неизмеримо богатое, рождающее из темных недр своих целые зарева всечеловеческих идей и замыслов...

И, наконец, Россия, именно Россия, избирает новый, никем никогда не пробованный путь, и с первых же шагов слышна ее поступь по миру...»

Рошин нашел в себе мужество покончить с прошлым и примкнуть к народу. Великая родина сохранена революцией; именно большевики не отдали страну на разграбление немецким и всяким другим империалистическим захватчикам. Именно они помогли сохранить единство родины в великом братском союзе народов, населяющих нашу страну. Пройдя через испытания гражданской войны, герои трилогии Толстого убеждаются, что борьба народа за свое освобождение — это вместе с тем и борьба за сильную и могучую родину, за единство, независимость и честь своей страны. С этого момента иначе выглядит для них и философия русской истории. Рошин в конце романа говорит своей постоянной собеседнице, Кате: «...помнишь — мы много говорили, — какой утомительной, бессмыслицей казался нам круговорот истории, гибель великих цивилизаций, идеи, превращенные в жалкую пародию... Под фразой сорочкой — та же волосатая грудь питекантропа... Ложь! Пелена содрана с глаз... Вся наша прошлая жизнь — преступление и ложь! Россией рожден человек... Человек потребовал права людям стать людьми. Это — не мечта, это — идея, она на конце наших штыков, она осуществима... Ослепительный свет озарил полуразрушенные своды всех минувших тысячелетий... Все стройно, все закономерно... Цель найдена... Ее знает каждый красноармеец...»

Россия и революция у Толстого вначале не слиты в нечто неразрывно связанное. В начале героям «Хождения по мукам» кажется, что эти два понятия могут существовать отдельно друг от друга. Весьма интересен в этом смысле разговор Телегина с Василием Рублевым. Телегин говорит ему: «Ты за революцию, я за Россию... А чорт его знает.. Может, и я в революцию поверю...»

Усталый Рублев отвечает: «Россия, — он покачал головой, усмехаясь, — это штука с подковыркой.. Бывает, — до того остервенешь на эту твою Россию... кровью глаза даешь... А между прочим, за нее помрем все... И никто сейчас не спасет России, не спасет революции, — одна только советская власть. Понял? Сейчас нет ничего на свете важнее нашей революции».

Тема родины в трилогии Толстого — главная: она объединяет все ее части. Отсюда сила замечательного произведения Алексея Толстого. Именно живое ощущение родины делает трилогию Толстого столь созвучной нашему времени.

Для нас и для автора трилогии нетерпим человек без отечества. Без родины нет и личного счастья. Герои Толстого нашли свое место в народе, разделили его судьбу и нашли родину. Идеал личного счастья стал реальным и близким. Утверждается суровый и благородный закон, что нет для человека настоящей жизни вне счастья родины. Вся жизнь героев «Хождения по мукам» учит благороднейшей истине: полное счастье человека осуществимо только тогда, когда его родина свободна и независима. Из этого следует еще один вывод: чтобы быть настоящим русским советским человеком, надо отдать всю свою жизнь делу защиты своей родины. Всей своей душой Толстой утверждает веру в непобедимость русского народа. Трилогия «Хождение по мукам» языком художественных образов говорит о том, что наша родина переживет все беды, преодолеет все трудности и победоносно укажет новые исторические пути человечеству.

Толстой показал Россию, всю проникнутую устремлением к будущему. В трилогии ставятся самые большие, важнейшие для каждого мыслящего человека вопросы, особенно остро переживаемые в наши дни.

Исторический роман — трилогия «Хождение по мукам» воспринимается, как одна из самых злободневных книг, так как все ее три части идейно объединены никогда не умирающим пафосом судьбы нашей родины. Трилогия Толстого — горячий призыв художника к патриотическому чувству русских. Смысл этого патриотического призыва лучше всего разъяснить словами самого писателя:

«Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше. Это — беззаветный, во имя родины, тяжелый труд всего народа в дни войны. Это сознание, что русский должен побеждать немца. Это — сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание вместе с нею ее счастливых и ее несчастных дней».

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА И ЭСТЕТИКА ПЛЕХАНОВА

(К 25-летию со дня смерти Г. В. Плеханова)

М. РОЗЕНТАЛЬ



Когда мы, отмечая двадцатипятилетие со дня смерти Г. В. Плеханова, задаемся вопросом о значении его эстетических работ, невольно напрашивается вывод, что работники советской критики и литературной теории не выполнили еще полностью своего долга перед всей нашей великой русской критикой, в том числе и перед Плехановым.

Может быть, это покажется резкой оценкой, но если вдуматься в сущность дела, то нельзя не прийти к такому заключению.

Правильность этого заключения особенно очевидна сейчас, в дни войны, которая, как и всякий кризис, обостряет зрение ее современников, дает возможность увидеть то, что в обычные мирные времена не бросается резко в глаза. Война, являющаяся по своему характеру войной отечественной, национальной, освободительной, естественно и закономерно поставила по-новому многие вопросы о прошлом страны, о том пути, который привел ее на вершину славы в наше время, о той великой духовной мощи, дающей народу Советского Союза силу быть авангардом человечества в борьбе против фашизма. Отсюда тот интерес, который наблюдается у нас сейчас к истории русской общественной мысли — русской философии, русской науки, искусства и т. д. Эта работа, которая только начинается, глубоко положительна, и она должна дать плодотворные результаты, серьезно обогатить нашу мысль.

Во всей истории эстетических теорий история русской литературной критики, критические и эстетические взгляды Белинского, Чернышевского, Добролюбова и Плеханова составляют целую самостоятельную эпоху, новый огромный шаг в развитии мировой эстетической мысли.

Каково значение этой новой эпохи в истории эстетики? Каковы ее наиболее характерные особенности?

Эстетика Плеханова является в значительной мере ключом к ответу на этот вопрос. Плеханов стремился применить теорию диалектического и исторического материализма Маркса и Энгельса к вопросам искусства, заложить прочные марксистские основы эстетической теор

рии и на этом пути добился больших положительных результатов, дал многое для формирования новой марксистской эстетики. Но Плеханов, как литературный критик, как философ и общественный деятель, немислим без Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Марксизм Плеханова был результатом не только усвоения взглядов Маркса и Энгельса, но и результатом всего предшествующего развития русской революционной мысли, шедшей неуклонно и закономерно в сторону марксизма. Сам Плеханов много об этом говорит. Если сопоставить эволюцию, которую проделала западно-европейская мысль и увенчавшуюся марксизмом, с той эволюцией, которую проделала русская революционная мысль в лице Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Плеханова, то бросается в глаза поразительное сходство путей и направление их развития. И если Герцен, Чернышевский не дошли до марксизма, то это объясняется исключительно отсталостью русских общественных отношений. Плеханов правильно говорил, что удивляться нужно не тому, что взгляды Чернышевского отличаются от взглядов Маркса, а тому, что они так мало отличаются от них.

При этом нужно отметить, что передовая русская мысль развивалась в сторону марксизма не только благодаря тому, что она внимательно, как говаривал Ленин, следила за каждым новым словом западно-европейской науки и была всегда на уровне современной ей мировой науки, но прежде всего и главным образом в силу развития внутренних социальных отношений России, обусловивших самостоятельную критическую переработку достижений человеческой мысли.

С великой гордостью эту сторону дела всегда подчеркивал Чернышевский.

Он писал в «Очерках гоголевского периода русской литературы»:

«Мы уже говорили, что... прогресс в понятиях... совершился у нас самостоятельным образом. Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в

свите их учеников, как бывало прежде. Прежде каждый из нас имел между европейскими писателями оракула или оракулов; одни находили их во французской, другие — в немецкой литературе. С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике Гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету.

Развитие русской материалистической философии подготовило почву для возникновения в России марксизма. Когда настало время, когда позволили объективные условия, появился Плеханов, который, будучи вскормлен Белинским и Чернышевским, сравнительно легко и быстро перешел на позиции Маркса и Энгельса, поднял в России их знамя.

Именно это имел в виду Ленин, когда он писал (эти слова Ленина особенно сильно звучат в наши дни):

«В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданного, дикого и реакционного царизма жадно искала правильной революционной теории, следя за удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы» (Ленин, Соч., т. 25, стр. 175).

Таким образом, марксизм Плеханова был логическим закономерным продолжением и увеличением развития русской революционной мысли 40-х и 60-х годов.

Следовательно, и его марксистские эстетические взгляды лишь продолжили и оплодотворили великими идеями марксизма развитие литературных теорий Белинского, Добролюбова, Чернышевского.

Поэтому на вопрос, поставленный выше: каково значение и каковы особенности новой эпохи в развитии мировой эстетической мысли, эпохи, выраженной работами Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Плеханова, мы можем и должны ответить: это была эпоха подготовки возникновения единственно научной эстетики (критика 40-х и 60-х гг.) и основательной ее разработки на базе марксистской теории (Плеханов).

Но правильно ли будет связать эту новую плодотворную эпоху в истории эстетики и литературной критики с Россией, с деятельностью русских мыслителей?

Самый краткий анализ этого вопроса покажет, что именно русской литературной критике прежде всего принадлежит заслуга глубокой обработки почвы для прорастания на ней научной эстетики, заслуга сделать выводы, вытекающие из теории марксизма, для эстетики, теории искусства.

Последним и самым серьезным словом буржуазной, домарксистской эстетики в Европе

была «Эстетика» Гегеля. Это гениальное произведение по настоящее время не утратило своей глубины, своей огромной ценности. Новый, марксистский период в развитии эстетики не умаляет величайших достоинств гегелевской теории искусства, которая дала много для становления научной эстетики. Но гегелевская эстетика была идеалистической эстетикой, идеализм, как ржавчина, разъедал изнутри гениальные взгляды этого философа, и без преодоления идеализма невозможен был следующий шаг. Этот следующий шаг сделали уже не представители буржуазии, а пролетарские идеологи — Маркс и Энгельс. Философия Маркса и Энгельса широко открыла двери для беспредельного развития всех наук, в том числе и эстетической. Что же касается старой эстетической мысли, то она разделила судьбу всей науки, продолжавшей оставаться в ограниченных рамках буржуазного мировоззрения. После Гегеля буржуазная эстетика не дала ничего, что можно было бы поставить в один ряд с его взглядами. И можно по праву сказать, что *наиболее плодотворной, движущей силой развития эстетики становится русская критика — критика Белинского, Чернышевского и их последователей.*

Именно русская литературная критика в лице Белинского, Добролюбова и, особенно, Чернышевского дает глубокую материалистическую критику идеалистической эстетики, в частности эстетики Гегеля, закладывает прочный философско-материалистический фундамент эстетики и литературной критики, использует все ценное, что было в диалектическом исследовании искусства у Гегеля, всесторонне развивает принципы научной эстетики.

Уже Белинский, пройдя сложный и противоречивый путь поисков революционной философской истины, подверг резкой критике идеалистические теории искусства, возвышение идей за счет реальной жизни, реальной действительности. Он дал русской критике материалистическое определение искусства, которое по сравнению с Гегелем, ставившим идею прекрасного выше прекрасного в самой жизни, было серьезным шагом вперед, к марксистской научной эстетике. «Искусство, писал Белинский, это воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир». Не идеализация действительности, не украшательство природы, не изображение несуществующего, не рассказ о небывалом, а воспроизведение жизни и действительности «в их истине» — вот пафос материалистической эстетики Белинского.

Уничтожающую критику идеалистической эстетики дал Чернышевский в своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности. Поразительна та сила убежденности, смелости, самостоятельности, с которой молодой Чернышевский выступает против идеализма гегелевской эстетики, не оставляя камня на камне от идеалистического приращения действительности. Определение Чернышевским прекрасного — «прекрасное есть жизнь», его глубокая и остроумная критика прекрасного, как воплощения абсолютной идеи, проч-

но поставили эстетику и литературную критику на материалистическую почву.

Установив материалистические корни искусства как своеобразного отражения действительности, русская критика, опираясь на все ценное, что было до нее в мировой науке об искусстве, дала глубокое, опять-таки материалистическое определение сущности и значения искусства — определение, вошедшее навсегда в научную эстетику. У Чернышевского это выражено так: «...существенное значение искусства — воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни, очень часто, особенно в произведениях поэзии, выступает также на первый план объяснение жизни, приговор о явлениях ее». Объяснение действительности, изображение существенных для человека и человеческого общества сторон жизни, постановка в художественных произведениях острейших вопросов современности, народность — вот в чем русская критика видела признаки подлинного искусства. В русской критике незаглубленным мотивом звучит мысль, что только связь с действительностью, с жизнью делает искусство служительницей общества, человека. Отсюда ее ненависть — беспощадная и злая — ко всякому украшательству, ко всякому отвлечению, бегству от жизни. Оттого в ней столько хорошей злости, сарказма, желчи, когда она имеет дело с поверхностной романтикой, с мешанкой сентиментальностью, с обывательской добродетелью, со всяким фантазерством.

Русская критика философски и эстетически обосновала художественный реализм, как наиболее плодотворное и глубокое начало искусства. Реалистичность, правдивость художественного изображения действительности составляет с ее точки зрения самое высокое достоинство произведения.

Если существенной задачей настоящего искусства является объяснение действительности, то подлинным художником может называться лишь тот, кто смело, бесстрашно, правдиво изображает ее, кто выносит приговоры над ней, кто стремится своим талантом помочь становлению, развитию лучшей жизни.

«Ни один поэт, — писал Белинский, — не может быть велик от самого себя и через самого себя, ни через свои собственные страдания, ни через свое собственное блаженство; всякий великий поэт потому велик, что корни его страдания и блаженства глубоко вросли в почву общественности и истории, что он, следовательно, есть орган и представитель общества, времени, человечества».

В определении сущности и значения искусства, в оценке роли художника в обществе сказалась революционный характер взглядов русской критики, ее революционный демократизм, ее социалистическая направленность.

Русская литературная критика 40-х и 60-х годов тем еще возвышалась над всей критикой и эстетикой домарксистского периода, что стремилась положить в основу теории искусства точку зрения развития, принцип историзма. Гегелевская диалектика пошла впрок Белинскому и Чернышевскому, нисколько не умаляв-

шим значения этого революционного элемента в системе Гегеля.

Чернышевский совершенно правильно считает, что Белинский совершил переворот в русской критике своим диалектическим подходом к истории литературы. Можно добавить, что не только в русской критике, но и во всей мировой литературной критике после Гегеля трудно назвать другого человека, который так же, как Белинский, был бы проникнут пафосом историзма, пониманием зависимости литературных направлений, содержания и формы художественных произведений от изменяющихся исторических условий. «Каждое произведение искусства, писал Белинский, непременно должно рассматриваться в отношении к эпохе, к исторической современности, и в отношении художника к обществу».

Диалектическая теория развития, применяемая Белинским к истории русской и всей мировой литературы, дала ему возможность не только правильно и метко определить значение тех или иных писателей, нарисовать правдивую в основных чертах картину развития литературы, особенно русской, но и высказать ряд блестящих мыслей об искусстве, о закономерностях его развития, об эстетическом кодексе и т. д. — мыслей, явившихся итогом диалектического обобщения всего хода истории мировой литературы.

Наконец, в русской критике выработалось совершенно ясное представление о классовом характере искусства в обществе, разделенном, как говорил Чернышевский, на сословия, о партийности искусства. Белинский, Чернышевский, Добролюбов боролись против теории «бескорыстности» искусства, независимости ее от соображений общественной пользы и т. д. Трудно себе представить Белинского 40-х годов или Чернышевского и Добролюбова в роли сторонников или защитников кантовской эстетики. Это особенно важно учесть для характеристики русской критики, если принять во внимание, что многие эстетики, считавшие себя учениками Маркса, отдали сильную дань Канту. Для русской критики «искусство для искусства» было такой же невозможностью, как искусство без художественных образов, как сознание без мозга. Она отдавала себе ясный отчет в том, что то, что она проповедует, не может нравиться представителям богатых классов, самодержавию и крепостничеству, и с гордо поднятой головой шла на битву со своими классовыми противниками.

Духом классовой борьбы веет от сочинений Чернышевского, — говорил Ленин, — и эта черта русской критики поднимала ее неизмеримо выше всей домарксовой эстетики и критики, приближала ее, как и другие ее особенности, вплотную к марксизму.

Таковы вкратце теоретические результаты деятельности в области эстетики и критики наших великих мыслителей 40-х—60-х годов XIX века. В эстетических взглядах Белинского, Чернышевского, Добролюбова сохранились все необходимые элементы для того, чтобы пойти дальше, к марксистскому

обоснованию теории искусства. Но для этого, как правильно говорил Плеханов, русской критике не хватало еще правильного представления о законах общественной жизни, не хватало материалистического понимания истории.

Русские мыслители правильно определяли искусство, как своеобразное, художественное отражение действительности, но они еще не могли раскрыть сущности самой этой действительности, свести ее к ее основным, обуславливающим весь ход жизни явлениям, хотя у них имеются гениальные намеки на теорию исторического материализма.

Нужен был решающий поворот в философии истории для того, чтобы все то великое, что дала русская критика, приобрело еще более значительный смысл. Этим поворотом мог быть только поворот к марксизму.

И его в русской эстетике совершил Плеханов.

Первым словом Плеханова, являющимся прямым, логическим продолжением последнего слова Чернышевского, жившего еще, когда Плеханов организовал первую марксистскую группу «Освобождение труда», было слово о том, что дальнейшее развитие научной эстетики может происходить лишь под знаменем марксизма.

«Я глубоко убежден,— писал он,— что отныне критика (точнее: научная теория эстетики) в состоянии будет подвигаться вперед, лишь опираясь на материалистическое понимание истории» (Соч., т. 14, стр. 70).

Величайшая заслуга Плеханова в том и состоит, что своими работами, посвященными эстетике, он, опираясь на Маркса и Энгельса, заложил первые камни в фундаменте марксистской системы эстетики. В работах Плеханова слились воедино новые марксистские взгляды на историю и искусство и идеи русской критики — критики Белинского, Добролюбова, Чернышевского. Из этого сплава родилось все то лучшее, что знаменовало в эстетических трудах Плеханова дальнейшее развитие не только русской, но и всей мировой эстетической мысли.

Из всех марксистов, занимавшихся вопросами эстетики, Плеханову было больше всего дано возможности плодотворно применять марксистскую теорию к вопросам искусства. Дело здесь, разумеется, не только и не столько в личности Плеханова, сколько в тех объективных обстоятельствах, которые позволили ему достигнуть на этом пути серьезных успехов. В ряду этих объективных условий, несомненно, важное место занимают сильные материалистические традиции русской революционной мысли, в частности, эстетической мысли. Белинский, Добролюбов, Чернышевский очень много сделали для разработки научной эстетики, и Плеханов, вооруженный марксизмом, обладая крупнейшим талантом публициста и литературного критика, имел все основания обогатить эстетическую мысль новыми ценными приобретениями.

Насколько тесно марксистское обоснование и развитие эстетики (не только русской, но и

мировой) связано с именем Плеханова, показывает сопоставление того, что сделали в этой области некоторые представители западно-европейского марксизма, занимавшиеся эстетикой и литературной критикой, и что сделала Плеханов. Достаточно сравнить с ним даже такую яркую фигуру, как Мering: Мering имеет много трудов по общим вопросам эстетической теории и истории литературы, особенно немецкой. В этих трудах содержится много ценного. Но в то время, как Плеханов, будучи в лучший период своей деятельности (1883 — 1903 г.г.) последователем марксистом, не допускает и мысли о соединении марксизма с идеализмом, кантианством, Мering в общефилософских основаниях эстетики является эклектиком, сторонником эстетики Канта со всеми вытекающими отсюда последствиями. В решении таких первостепенных вопросов эстетики, как вопрос о происхождении искусства, о бескорыстности и партийности искусства, о содержании и форме произведений, о природе художественного гения, Плеханов намного выше Мeringа.

Трудно в одной статье показать, что сделано Плехановым для марксистского обоснования эстетики и литературной критики. Можно только дать схематический набросок того, что навсегда вошло в марксистскую эстетику и в наши дни стало общим достоянием.

В работах Плеханова нашло свое яркое и конкретное воплощение марксистское учение о решающем значении материальных условий жизни людей для всех форм идеологии. Плеханов очень много сделал для того, чтобы с марксистских позиций объяснить материальное происхождение искусства. Плеханов раскрыл понятие действительности, которым оперировала русская критика до него, и показал на огромном историческом материале, что труд старше искусства, что развитие искусства, его особенности в те или иные исторические эпохи коренятся в конечном счете в экономическом состоянии общества. Особенно ценны работы Плеханова о первобытном искусстве, имевшие целью своей дать историко-материалистическое объяснение происхождения искусства. Он собрал интересный и обильный материал из области этнографии, антропологии, психологии, который служил доказательством марксистского правильного понимания источников искусства.

Очень удачно и ярко показывает Плеханов те формы связи между материальными условиями жизни общества и искусством, которые характерны для развитого классового общества. Искусство,— говорит Плеханов,— есть отражение жизни. Но этого еще недостаточно для того, чтобы понять, как искусство отражает жизнь.

«Чтобы понять, каким образом искусство отражает жизнь, надо понять механизм этой последней. А у цивилизованных народов борьба классов составляет в этом механизме одну из самых важных пружин. И только рассмотрев эту пружину, только приняв во внимание борьбу классов и изучив ее многообразные

перипетии, мы будем в состоянии сколько-нибудь удовлетворительно объяснить себе «дух о в н у ю» историю цивилизованного общества: «ход его идей» отражает собою историю его классов и их борьбы друг с другом (Соч., т. 14, стр. 118).

Своим творческим плодотворным применением марксистской теории к вопросу о происхождении искусства Плеханов способствовал установлению правильного научного взгляда на закономерность исторического развития искусства. Нет ничего случайного и произвольного в том, что в одну эпоху господствуют одни эстетические принципы, а в другую эпоху — другие, подчас прямо противоположные. История искусства есть смена одних его форм другими. Искусство развивается закономерно, соответственно общему развитию социальных и прежде всего материальных условий жизни людей.

Соответственно марксистскому пониманию происхождения и законов развития искусства Плеханов определяет и предмет искусства, его цели.

Плеханов, подобно своим великим предшественникам в русской критике, считал, что область искусства — это жизнь во всех своих проявлениях, и в этом смысле не отделял содержания искусства от содержания науки. Главное отличие искусства от науки он видел в том, что философ мыслит понятиями, силлогизмами, а художник — конкретными образами. Но, устанавливая такое различие между ними, Плеханов возражал против тех взглядов на искусство, которые в той или иной форме снижали или давали повод снижать идейность, идейное содержание искусства. Этим объясняется его несогласие с Львом Толстым, считавшим, что посредством искусства люди передают друг другу свои чувства, а мысли передаются лишь словом, наукой.

Отвечая Толстому, Плеханов писал:

«Искусство начинается тогда, когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, испытанные им под влиянием окружающей его действительности, и придает им известное образное выражение (Соч., т. 14, стр. 2).

Эта поправка Плеханова имеет глубокий смысл. Плеханов не признавал искусства вне идейности, вне великих и острых вопросов современности. Искусство, равнодушное к этим вопросам, не может, говорит Плеханов, и не имеет права называться настоящим искусством.

В этой связи очень важен его взгляд на природу эстетического наслаждения. Он не задается вопросом о причинах, по которым искусство доставляет эстетическое наслаждение, — вот вопрос прекрасно осветил Белинский, — его интересует главным образом связь и зависимость эстетического наслаждения с общественной пользой, доставляемой искусством. Он критикует кантовскую эстетику, отделяющую пользу от суждения вкуса, и утверждает партийность, заинтересованность искусства в общественных вопросах.

«Разумеется, не всякий полезный предмет кажется общественному человеку красивым; но

несомненно, что красивым может ему казаться только то, что ему полезно, то-есть, что имеет значение в его борьбе за существование с природой или с другим общественным человеком» (Соч., т. 14, стр. 118).

Правда, Плеханов в своих рассуждениях о природе эстетического наслаждения допускает ошибки, полагая, что кантовская эстетика применима к отдельному человеку, а также своим чрезмерно резким разграничением рассудочной и созерцательной способностей людей. Тем не менее общественное содержание, идейность искусства для него являются неотъемлемыми признаками искусства.

Плеханов не устал настаивать на этой стороне дела.

«Задача искусства заключается в изображении всего того, что интересует и волнует общественного человека» (Соч., т. 14, стр. 83).

«... Искусство приобретает общественное значение лишь в той мере, в какой оно изображает, вызывает или передает действия, чувства или события, имеющие важное значение для общества» («Литературное наследие. Г. В. Плеханова», т. 3, стр. 25).

Подлинное искусство — искусство идей. Не всякие идеи могут быть материалом искусства, его животворящей силой. Только те идеи, которые имеют ценность для человека, для человечества, могут поднять и развивать искусство.

«Но если это так, то художник не может творить так, чтобы не иметь никакого отношения к людям» (там же, стр. 225).

Из такого решения вопроса о природе эстетического наслаждения, доставляемого человеку искусством, вытекает определенный взгляд и на вопрос о носителе настоящего высокого искусства.

«Истинно прекрасное художественное произведение всегда выражает «лиризм великой души». Чтобы с успехом идти по следам Микель-Анджело, надо уметь мыслить и чувствовать так, как мыслил и чувствовал великий флорентинец; надо уметь страдать страданиями окружающего общества, как страдал ими он».

Во всех этих своих идеях о предмете и значении искусства, о художнике Плеханов не только переводит на язык научной эстетики истину марксизма, но и обобщает работу, проделанную Белинским, Чернышевским, Добролюбовым. И эти его идеи прочно вошли в теорию марксистской эстетики и критики и без них неммыслима современная научная эстетика.

Показывая роль идейного начала в искусстве, Плеханов ни на минуту не забывает, что он имеет дело со специфической областью художественной идеологии.

Идея в художественном произведении тесно, органически связана с образной формой, в которой она воплощается. Идея сама по себе, как бы велика и прогрессивна она ни была, не составляет еще искусства. Только тогда, говорил Плеханов, когда идея находит свое точное адекватное выражение в художественной форме, только тогда мы

имеем все основные элементы, составляющие художественное произведение. В соответствии художественной формы содержанию, в правдивом отражении жизни видел Плеханов объективное мерило оценки искусства, позволяющее делать сравнительную оценку разных произведений. Художественный критик имеет полную возможность сказать, какое из двух произведений выше. Для этой цели достаточно взглянуть на эти произведения с точки зрения соответствия художественной формы содержанию.

«И только потому, что подобное мерило существует, мы имеем право утверждать, что рисунки, например, Леонардо-да-Винчи лучше рисунков какого-нибудь маленького Фемистоклоса, пачкающего бумагу для своего развлечения. Когда Леонардо-да-Винчи рисовал, скажем, старика с бородой, то у него и выходил старик с бородой. Да еще как выходил! Так, что при виде его мы говорили: как живой! А когда Фемистоклос нарисует такого старика, то мы лучше сделаем, если, во избежание недоразумений, подпишем: это старик с бородой, а не что-нибудь другое» (Соч., т. 14, стр. 180).

В гармоническом соответствии формы содержанию видел Плеханов источники красоты. Всякое нарушение этой гармонии порождает уродство, наносит ущерб красоте, прекрасному в искусстве. Но само это гармоническое сочетание формы и содержания в художественном произведении определяется по Плеханову идейностью самого содержания, его социальной остротой, органической связью художника с современностью. Этот очень важный закон искусства нашел у Плеханова, как и у Белинского и Чернышевского, свое блестящее выражение.

Закон этот гласит: чем глубже и жизненнее содержание произведения, чем острее схватывает художник актуальные вопросы современной ему общественной жизни, чем интенсивней и органичней живет сам художник этой жизнью, тем более он будет стремиться выразить эту жизнь в соответствующей точной форме, тем полнее совпадет форма с содержанием, ибо, как говорил Гегель, подлинно художественная форма есть переход содержания в форму.

И наоборот. Чем мельче содержание, чем дальше оно отстоит от жизни, от вопросов, волнующих людей, чем равнодушнее сам художник к этим вопросам, тем большее внимание он будет уделять внешним формальным эффектам, тем более самодовлеющий характер будет приобретать форма, тем формальней будет становиться искусство.

Вот почему Плеханов говорит:

«...достоинство художественного произведения определяется в последнем счете удельным весом его содержания» (Соч., т. 14, стр. 137).

«Преобладание формы над содержанием: бессодержательность и уродство, ибо красота есть соответствие формы содержанию». («Лит. наследие Г. В. Плеханова», т. 3, стр. 207).

«Когда художник сосредоточивает все свое внимание на световых эффектах, когда эти эффекты становятся альфой и омегой его творчества, тогда трудно ожидать от него первоклассных художественных произведений, его искусство, по необходимости, остановится на поверхности явлений, а когда он поддается искушению поражать зрителя парадоксальностью эффектов, тогда приходится признать, что он пошел по прямой дороге к уродливому и смешному» (там же, стр. 79).

Правильное, марксистское понимание искусства и его законов, источников художественности помогло Плеханову одному из первых увидеть тот регресс и упадок, который начало переживать буржуазное искусство конца XIX века. В статьях, посвященных этому вопросу, в концентрированной форме выступает все ценное в эстетических взглядах Плеханова. Мастерской рукой нарисовал Плеханов картину упадка, деградации литературы и живописи конца XIX и начала XX века.

Основной причиной этого упадка Плеханов считал отсутствие у художников общественного интереса, переход их на позиции мелко-го индивидуализма, мещанства, увлечение мистицизмом и т. д. Он сравнивает это искусство с великим классическим искусством прошлого и говорит:

«Если чем увлекаться, то произведениями той эпохи, когда боги были более похожи на людей, а люди на богов».

В литературе классического реализма было богатое внутреннее содержание, был целый мир идей, сообщавший ей «душу живую». Этого нет в новейшей формалистической и натуралистической литературе и живописи. Поэтому, говорил Плеханов, теперь не везет реализму: он измельчал, выродился в голый формализм. Плеханов подчеркивает тот, на первый взгляд, парадоксальный факт, что чрезмерное увлечение художественной формой имеет своим следствием разрушение формы, потерю чувства красоты.

Для того, чтобы изобразить, какая пропасть отделяет упадочное искусство от классического, Плеханов сравнивает новейший импрессионизм в живописи с картинами таких старых мастеров, как Леонардо-да-Винчи. Импрессионисты обнаруживают полное равнодушие к идейному содержанию своего творчества, делая главным действующим лицом в картине не мысль, не чувство, а ощущение. Если бы, например, какой-нибудь импрессионист взялся за картину, сюжетом которой служил бы полный драматизма момент, изображенный в «Тайной вечере» Леонардо-да-Винчи, то он, говорит Плеханов, наверняка постарался бы лучше показать световые эффекты. «Перед нами была бы не потрясающая душевная драма (как у Леонардо-да-Винчи. — М. Р.), а ряд хорошо написанных световых пятен» (Соч., т. 14, стр. 169).

Из этого сравнения Плеханов делает очень важный вывод для искусства: не свет, а человек с его переживаниями — вот настоящий

объект живописи, литературы и т. д. Этот главный объект утерян в современном буржуазном искусстве, и это делает его уродливым, не дает права говорить о нем, как о подлинном искусстве.

В опубликованном «Литературном наследии Г. В. Плеханова» (сб. 3) приводятся многочисленные записи, замечания, сделанные Плехановым при посещении международных выставок живописи, и все они направлены в одну сторону: в них подчеркивается обесчеловечение декадентского искусства.

Приведем некоторые из них.

«Танец давки винограда». Главное действующее лицо — яркочерный цвет, окрашивающий ноги женщин, которые дают виноград в широких низких кадках. Лиц этих женщин почти не видно. Видно только молодое лицо женщины, стоящей около ребенка, жадно уписывающего виноград. Но и это молодое лицо лишено всякого выражения. А ведь сбор винограда это целое событие в жизни земледельца» (стр. 265).

«Деревенские похороны». Ведь это целая драма. Где она здесь? Ее нет. Автор «смогрит со стороны живописности. Процессия действительно живописна. Но и только. Человеческие лица интересовали автора, ловя димому, лишь с точки зрения *effet de lumière* (светового эффекта), все участники процессии *жмурятся* — влияние света, *отражаемого снегом*. (Сравнить похороны у Некрасова и у Перова)» (стр. 266).

И т. д., и т. д.

Плеханов осуждает не только формализм, лишающий искусство его великого общественного содержания, но и натурализм. В натурализме он видит тот же порок. Художественные произведения, написанные методом натурализма, сводят общественные явления к физиологии или патологии и потому не замечают главного: общественного содержания жизни людей. Человек изображается не как часть «великого целого», то есть общества, а как индивидуум, как сам по себе. Такое понимание, говорит Плеханов, создает тупик для искусства, которому остается только «рассказывать лишний раз о любовной связи первого встречного вино торговца с первой встречной мелочной лавчицей» (т. 14, стр. 146).

Борьба за общественно-значимое искусство, за искусство, не отворачивающееся от волнующих народные массы, вопросов, за подлинную красоту в художественных произведениях, отражающую величие борьбы человека против общественного гнета, за простоту и естественность в художественном изображении действительности, за реализм — вот смысл всех выступлений Плеханова против новейшего буржуазного искусства. И в этом была его огромная заслуга, большой вклад в дело развития марксистской эстетики.

Таковы вкратце те положительные сторо-

ны плехановской эстетики, которые и поныне имеют огромное значение для становления и развития марксистской эстетической теории, которые вместе с достижениями всей русской критики прочно и навсегда вошли в мировую науку об искусстве и помогают нам и сейчас бороться за советское, социалистическое искусство.

Задача советской литературной критики заключается в том, чтобы в систематической научной форме исследовать и изобразить весь путь, пройденный великой русской критикой XIX и начала XX века, показать, какую роль она сыграла в историческом развитии научной эстетики, сделать ее достижения прочным фундаментом своей собственной литературной работы.

Говоря о Плеханове, было бы глубокой, непростительной ошибкой, из уважения к проделанной им работе, не учитывать ошибочных, отрицательных сторон его эстетических и литературно-критических взглядов. Та эволюция, которую он проделал, как политический деятель, не могла не отразиться и на его философских и эстетических взглядах.

Марксистский научный взгляд на эстетику и искусство получил в новую общественную эпоху свое глубокое развитие в работах Ленина и Сталина — величайших представителей творческого марксизма. С вершины достижений этой новой эпохи в развитии марксизма нам ясно видны недостатки эстетических взглядов Плеханова, которые должны быть преодолены для движения вперед.

К числу наиболее существенных недостатков литературно-критической теории Плеханова принадлежат некоторая узость и схематичность его метода классового анализа литературы, склонность в ряде случаев логически выводить из идеалов и интересов класса, к которому принадлежит художник, конкретную оценку его творчества, недостатки в применении марксистской теории отражения к явлениям литературы и вытекающие из этого неточные, а иногда просто ошибочные и неприемлемые для нас оценки русской классической литературы (Л. Толстого, Гоголя, Лермонтова и др.).

Новые теоретические возможности, вытекающие из ленинского этапа в развитии марксистской теории, а также весь исторический опыт, накопленный нами после Плеханова, дают нам основание для преодоления этих ошибок и недостатков плехановской эстетики, для более широкого и глубокого взгляда на все те вопросы, в которых ему не удалось последовательно до конца провести принципы марксизма.

Советская литературная критика, разумеется, не должна канонизировать слабые черты Плеханова — литературного критика. Но в своем собственном движении вперед она не должна потерять и крупницы ценного из того богатого эстетического наследия, которое оставил Плеханов.

БИБЛИОГРАФИЯ

ФИГУРЫ НЕ ИМЕЕТ...*

В дни войны голос нашей поэзии возмужал и окреп. Сила народной ненависти к врагу, глубина горя и величие мужества стали правдой настоящих советских поэтов. И если не существует равенства таланта, темперамента и литературной манеры, то вполне уместно говорить о внутреннем единстве поэтических устремлений, определяющем облик поэзии Отечественной войны.

Когда сердце поэта обращено к народу, стих его приобретает силу пророчества и клятвы, весомость приговора, обаяние моральной чистоты, гордую осанку доблести...

И тогда написанное, как отклик на событие дня, оставляет прочный след в поэзии. Но злободневность и актуальность в литературе неотделимы от художественности. Об этом, к сожалению, часто забывают, выпуская в свет сборники стихов вновь открытых дарований.

В изд-ве «Молодая Гвардия» вышли одна за другой две книжки стихов Анисима Кронгауза: «Эшелоны» и «Стихи о доме».

В нашей поэзии есть славная традиция особого внимания к первой книге поэта. Ведь это его заявка на всю литературную жизнь.

Вспомним первые сборники Маяковского, Асеева, Багрицкого, Светлова, Пастернака, Сельвинского, Тихонова, Уткина, Алигер и других. Они были своеобразным выражением отношения к миру — творческим credo молодых поэтов.

После первой книги голос каждого из них становился все более различим в общей поэтической симфонии.

Если бы речь шла только об отсутствии у Кронгауза яркости или самобытности дарования, — можно было пройти мимо его книжек. Но беда в том, что в них сквозит стремление автора утвердить служебно-воспитательную роль своей поэзии — мнимой, ремесленнической. Легко понять и простить поэту начинающему, набирающему высоту мастерства, срывы, шероховатости, формальную неотделанность, сбивчивость интонации. Свежее,

молодое, искреннее не теряет своей прелести от неудачной рифмы или слабого эпитета. Часто сбивчивость — след исканий, новаторского устремления. Заподозрить Кронгауза в этих исканиях никак нельзя. Его поэтика целиком в пределах четырех действий арифметики стихосложения.

Сборник «Эшелоны» поражает беспочвенностью. Автору, по совести говоря, не о чем писать. Круг жизненных впечатлений его узок. Двадцать стихотворений условно связаны единой темой советского тыла. Но ведь установление темы (очевидно, прельстившее издательство) само по себе ничего не определяет.

Можно увидеть в тылу героизм трудового лагеря страны, высокий полёт человеческих душ, торжество возмужавшего характера людей. А можно и так: запомнить в жизни одни лишь вывески.

Кронгауз лишен поэтической наблюдательности и не подвержен стихии опаляющих душу чувств. Это удивительное равнодушие определило тон и смысл стихотворения «Теплушка».

Эвакуация, сдвинувшая с обжитых мест сотни тысяч людей, уносившая в теплушках миллионы человеческих тревог, дум, стремлений, здесь выглядит детской игрой в поезде:

И точно как в трамвае
Бывало по утрам,
Так в маленькой теплушке
Все едут по делам.

Заканчивается стихотворение так:

Плечо — моя подушка,
Котомка — мне постель.
Качается теплушка
Ну, чем не колыбель?

А прочитав еще с десяток стихотворений, безошибочно узнаешь автора по неточности образов, по бедности рифм, примитивности сравнений, безвкусице — словом, по неуставному новизмемуся почерку.

Стихотворение «Родина» начинается, например, так:

* Анисим Кронгауз, «Эшелоны», «Молодая Гвардия», 1942. «Стихи о доме», «Молодая Гвардия», 1943.

Спит верста, по шпалам семеня.

Незадачливый образ «семенящей версты» плох уж сам по себе... Однако автор умудрился сделать второй ялпус в той же строке, сопоставив исключаящие друг друга понятия поспешности и семенящей походки. Но самое прискорбное в этом, что все это поэтическое инициенство автор почему-то связал с названием стихотворения..

Все стихотворение написано из рук вон плохо.

И когда автор патетически восклицает:

Там юноша мне видится воочью,
Такой, как я, сгорает на костре —

читатель попросту не верит этому уподоблению.

Юноша, готовый к бессмертному подвигу, нашел бы, конечно, иные слова о родине.

Автору нужно было отказаться от героической позы, явно не соответствующей сугубо будничному, наивно бездумному тону его стихов.

Он мог бы возразить нам: «Я переживаю все, как другие, и, не умствуя лукаво, пишу об этом». В подобном возражении была бы доля истины.

Но ведь поэзия требует не простой тождественности общих переживаний. «Жди меня», как мысль-желание, родилось в миллионах сердец бойцов, но как стихотворение создано поэтом Симоновым. А читая одно стихотворение Кронгауза за другим, начинаешь сомневаться: да понимает ли автор смысл и преобразующую суть поэзии? И в конце-концов склоняешься к выводу: автор твердо уверовал в то, что азбучные правила, распределенные по строкам и зарифмованные, превращаются в поэзию, так сказать, в процессе самой ритмической манипуляции, «Костер в снегу» — в этом смысле стихотворение сугубо поучительное. Из него мы узнаем, что костер —

На полустанке случайном
Забить заставляет нас
Камин, электрочайник,
В плите синеватый газ.

Тут все правильно, и рифмы на месте. Конечно, при более детальном рассмотрении можно было бы расширить номенклатуру предметов, заменяемых костром, например, рядом с электрочайником могли бы поместиться кофейник, кастрюли и сковородки.

Но мы иную имеем претензию к автору: при чем тут поэзия?..

И когда в другой строфе читаешь:

Нам чай скипятят, и на день
Тепло он вливает в нас, —

то мы уже не удивляемся, а только ждем новых откровений того же типа: «ледяная вода холодит в то время, как горячий чай, наоборот, — согревает». До чего же просто устроен, оказывается, мир поэзии! Сказал бы то же самое в прозе, — и вниманья не обратят, а зарифмовал, — напечатали и такое:

Люблю, чтоб в жару мне приснился мороз,

И в стужу мечтать о тепле.

или

Когда только спрыгнешь с холодных саней,
Мороз побежит по спине,
То кажется, нет наслажденья сильней,
Чем руки держать в огне.

А если согрелся и выбежал вдруг,
За сорок мороз тебе мил.

В этом духе написано все стихотворение «Лед и пламень», и нет в нем ничего, кроме умиления автора перед собственной готовностью в тысячный раз открывать Америки, делая при этом глубокомысленное лицо изобретателя.

Увы, и в этом автору приходится уступить пальму первенства небезызвестному судейскому чиновнику из повести М. Горького «О первой любви». Но тот был все-таки самобытней. Ударившись коленкой о край стула, он глубокомысленно произнес: «Да. Плотность — неоспоримое свойство материи».

Неужели же поэт не понимает, сколь губительны подобные рассуждения для поэзии?

Самый вопрос был бы бессмысленным, но напиши тот же автор двух-трех неплохих стихотворений («Мать», «Чиж»). Но, повидимому, случайны не слабые вещи (их большинство), а эти относительные удачи.

Бессодержательности стихов Кронгауза под стать их поразительная небрежность. Как это ни печально, но во второй книжке она выступает еще более отчетливо, чем в первой. Мы уже не говорим о бедности рифмы (вроде: стояли — видали, пушки — опушки, и все в том же роде). Над ними автор попросту не задумывается, и во всей книге нет в этом смысле ни единой находки.

Огорчительнее, однако, полное пренебрежение к работе над словом, пристрастие к «заимствованиям» чужих строк и интонаций, отсутствие заботы о смысловой точности стиха.

В стихотворении «Смерть рабочего» одна строка напоминает манеру поэтов «Кузницы» («жаром дышала вагонетка»), другие вырывают в памяти строки из песни «Раскинулось море широко». Тут почти текстуальное совпадение:

Говорят, что на койке больничной потом
Он долго кричал и метался, —

а всего-то в стихотворении шестнадцать строк.

Стихи на заводскую тему почему-то даны в слезливо-альбомной интонации. Например, стихотворение «Когда книгу закончил вчера лишь». Не становятся стихи убедительней и от авторских оговорок:

Я описать ее не умею...

или

Я точных сравнений найти не могу...

Сказано из кокетства, а на самом деле слова эти могли стать эпиграфом к неизданной книге. Но книги изданы. И вторая «Стихи в доме» помечена 1943 годом.

По существу, она ничем не отличается от первой. Год, отделяющий первый сборник от второго, для автора прошел даром. Однако нельзя пройти мимо наивного трюка, кото-

рым автор попытался обновить структуру второго сборника: заглавное стихотворение его в разобранном виде послужило темой для одиннадцати остальных..

В «Стихах о доме» наиболее разительно выступает бедность словаря, и поэтического восприятия автора.

В этом программном стихотворении есть такие строки:

Матерью — маленькой, милой старушкой
Сила большая приходит к тебе.

Еще в первом сборнике герои Кронгауза, покинувшие родные места, восклицали:

Мы вернемся, родной,
Минометами, минами
.....
Быстроходными танками
.....
Дальнобойными пушками..

Сила приходит старушкой, а человек возвращается дальнобойной пушкой — таков предел символической изощренности автора.

Зачастую встречаются в сборнике стихи столь беспомощные, что впору развести руками:

Хотя он с фронта удалялся,
Никчемный, бледный, сам не свой,
Но тут, выходит, оказался
Вновь у дороги фронтовой.

Кронгауз, очевидно, догадывается о сложных жизненных коллизиях, о человеческих трагедиях, неизбежно сопутствующих войне, однако, большие чувства органически чужды его стихам.

В стихотворении «Соседки» рассказано о женщине, получившей известие о бегстве любимого ею мужа с поля боя:

В рамочке из березы,
Взяв карточку со стола,
Его разглядеть сквозь слезы

В сумерках не могла.
Представить его стараясь
Всей силой любви своей,
Но все почему-то заяц
Не муж представлялся ей.

Так легкомысленной нескладной шуткой отмахивается автор от поэтического изображения душевного конфликта, от трагедии рухнувшего личного чувства. Отрешение во имя патриотического долга от самого, казалось бы, дорогого выглядит в стихотворении оскорбительно упрощенно и неубедительно.

Но самое пагубное в этих книжонках — их отрешенность от подлинной жизни. Поэт взирает на нашу сложную боевую жизнь как-то сбоку, из окна вагона, из маленького мирка тусклых впечатлений. Ему еще нечего по настоящему сказать, но уже хочется печататься. Поощрять подобные желания и не практично, и антипедагогично.

Стоит только перелистать страницы фронтовых газет, чтобы убедиться, как свежо, искренно и проникновенно выражают свои чувства молодые советские бойцы. Некоторые из них идут уже вровень с профессиональными поэтами по широте, эмоциональной силе и глубине обобщения чувств.

А изд-во «Молодая Гвардия», как бы отбывая в данном случае повинность по движению молодых поэтических кадров, напечатало стихи Кронгауза массовым тиражом.

Но стихи-то изданы невесомые, бесплодные, лишённые признаков индивидуального поэтического почерка. Их не запомнят, как не запомнят и автора. Возникший казус, когда книги отпечатаны, а поэта вроде не существует, разрешим только уподоблением автора стихов герою повести Ю. Тынянова «Поручик Кижэ». О нем сказано в официальном донесении: преступник «фигуры не имеет»..

О. Резник



„НА ГОРЕ МАКОВЦЕ“ *)

«Как мыслишь, отче келарь, помянут ли о нас?»

«Кто, сыне?»

«Дети детей наших.. годов через двести, али еще поболе. Вспомянут ли они, как мы на горе Маковце сии стены держали, ни крови, ни жития своего не жалеючи...»

«Вспомянут!—уверенно сказал Иван Суета». («На горе Маковце», стр. 224).

Читая эту волнующую историческую быль о том, как три тысячи русских людей, выдерживая напор 30-тысячной армии польских интервентов, в продолжении ряда месяцев отбивали бесчисленные атаки и сумели удерживать в своих руках защищаемую ими Троицкую крепость, — горячо переживаешь всю

трагедию этой борьбы, судьбу людей, которые грудью защищали родную землю от вражеских сил.

В этой исторической повести Анны Караваевой ярко выявлены мужество и железная непоклонность людей, решивших сражаться до последнего вздоха, умереть, но не отступить. Их не пугает ни голод, ни холод, ни смерть. Они твердо знают, что надеяться можно лишь на свои силы. Принимая бой в неравных условиях, они знают, что на стороне врагов имеются огромные преимущества и, не закрывая глаз на численное превосходство врага, его лучшую боевую оснащённость, они все же ни на минуту не теряют мужества и на предложение врага сдаться отвечают полным презрением. Вот как пишет об этом Маврикий Дзедушицкий:

«Крепость была вооружена людьми, желе-

* Анна Караваева. «На горе Маковце». Историческая повесть. «Советский писатель», 1942.

зом и мужеством. 20 сентября пригласили их к сдаче Сапега с Лисовским, обещая милость Дмитрия и щедрую награду. Но слова эти пали, как ветер на скалу Троицкую».

Нашлись среди простого тяглогового народа люди с острым умом, умелыми руками, военной боевой сноровкой, которые изучили все сильные и слабые стороны врага и сделали из них надлежащие выводы. Но как бы мужественно ни боролись и ни сражались защитники крепости, их силы все же таяли, народ чувствовал, что без помощи извне им вряд ли устоять.

Царь Василий Шуйский, озабоченный своей собственной судьбой, холодно принял посланцев из Троицкой крепости и после усиленных просьб Никона Шилова и Петра Слеты об оказании помощи дал согласие на посылку... 50 стрельцов!

Никон Шилов и Петр Слета, пошатываясь, вышли на Красную площадь. Полсотни воинских людшек вместо большого войска, от которого бежит враг! Полсотни людшек! Из-за этой горсточки посланцы осажденного града томилась, умоляли, ползали на коленях!

«— Ну спасибо царю Василию! — судорожно вздохнул Слета..»

— Зря поимели мы надежду на него, Никон.

— Едина у вас надежда: сами всем народом беремя на плечи возьмем, окромя нас, — некому!»

Дела защитников крепости понемногу поправлялись. Из польского тушинского лагеря стали перебегать в русскую крепость «казаки, гулящие люди и поддавшиеся обману и посулам ляхов государевы стрельцы».

Федор Шилов и сотники Иван и Данило пришли к убеждению, что необходимо сделать вылазку и самим ударить на врага, и пошли доложить об этом воеводе Долгорукому.

«Мыслю я, князь-воевода, и чаю — время ноне приспело: нам первым на врагов ударить... Народу у нас прибавилось, пушечки готовы, распахнем ворота, да и ударим на ляхов да тушинцев поганых!»

— Смотри, что удумал! Дурацкая твоя башка! Да они же нас сомнут, набегут, изрубят..»

— А мы с пушечками выйдем.. аль я тебе понахврасну все свое сказывал, воевода?..»

— Сего безумства мы не дозволим!.. Я себе до поры смерти не хочу.. и за ворота выходить не буду! Нам Скопина Шуйского, сказывают, на подмогу шлют.. и дождемся его в стенах наших.

— Знамо дождемся, — поддержал Голохвастов. — И я не ополоумел, на рожон не пойду, а сей дурьей голове..»

Он повернулся к Федору Шилону и презрительно ткнул его в лоб костлявым пальцем:

— Выкинъ-ка дурь из головы, орысина..»

— Кабы то в моей лишь голове было, — спокойно усмехнулся Федор, и вдруг так пря-

мо и стойко глянул в сердитые глаза воеводы, что Голохвастов сразу замолк и только переглянулся с Долгоруким.

— То не я одиноко умыслил, а и товарищи мои. Хоть тут же не мешкая, за ворота выйти. Ну-ка скажем воеводам все, как братья от одной матери. Ну? — и по знаку Федора из-за выступа бойницы вышли сотники Данило Селевин и Иван Сугета, а за ними, как на подбор, еще не один десяток заслонников, рослых, плечистых молодцов...»

Разгром Красной горки, большие потери людьми подорвали силы вражеского лагеря. Неприятелю пришлось строить новые укрепления.

Но, конечно, этой победой не решалась еще судьба крепости, это был лишь боевой эпизод, вдохновивший заслонников для дальнейших битв.

Вот что записал об этих событиях «самовидец» и участник защиты крепости Алексей Тихонов.

«Да помнят потомки наши, — о прегрозных и трудных днях сидения нашего в Троице-Сергиевом граде, врагами злобными осажденном. Не имея помощи ниоткуда, мы порешили, не жалючи жития нашего, заставить град сей. Да ведают потомки наши, что опорой, силой нашей были не бояре и не дворяне, но были нашей опорой — тягальцы, черной работной народ, малые посадские людшки, кои в сей кровопролитной войне последних зипунов лишились. И сии разоренные люди показали себя мужами храбрейшими, достойными прославления...»

Сознание правоты своего дела и лютая ненависть к врагам окрыляла бойцов, защитников крепости. Об этой ненависти пишет другой «самовидец» Симон Азарин:

«Ненавистью и гневом, неугасимым пламенем пылаем к лиходеям чужой земли, к ворам изменникам, Насильникам и злодеям-ляхам, кровопролитию и огню народ наш предававшим, шлем мы проклатие наше навечное..»

Так чувствовали, мыслили, действовали русские люди, грудью защищая свою землю. Более 15 месяцев выдерживали они осаду, голодая, холодая, погибая от вражеских пуль, ни на минуту не теряя мужества, продолжая борьбу, не останавливаясь ни пред какими жертвами.

В ноябре защитники крепости, получив подмогу от Скопина Шуйского, разгромили в открытом бою польские войска. В январе 1610 года остатки вражеских войск были окончательно рассеяны, и крепость была освобождена.

Так окончилась эта замечательная эпопея, эта славная страница в истории русского народа.

Погибают лучшие люди: Слета и Никон. Гибнет Федор Шилов, замечательный огненных дел мастер, Данило Селевин и ряд других — и все же мужество заслонников крепости не падает.

Анна Караваева сумела показать живых людей с их переживаниями, горем, радостью. Исторические события не только не заслонили людей, а, как это бывает, еще ярче выявили во всей многогранности все богатство их внутреннего мира, их благородство, доброту, человечность. Как хороша Ольга со своей горячей любовью к Даниле, своим активным участием в обороне крепости. Как она развернулась, изменилась, закалилась. Как хорош и трогателен Данила Селевин, скромный монастырский служка, превратившийся в храброго богатыря, беззаветно преданного своему народу, родине. Как самозабвенна его любовь к Ольге.

А Федор Шилов с его неумолимой любовью к родине, у которого годы скитаний по чужим землям не ослабили, а усилили любовь к родине, тоску по ней. Он не знает, что ждет его дома, но он так стосковался по родной земле, по русской речи, по людям, близким и понятным ему, что преодолевает все препятствия и возвращается домой. С трепетом и восторгом целует он родную землю, восхищается видом родных полей, радуется звуку родной речи — такой близкой, понятной и дорогой.

Федор Шилов в защите крепости полностью использовал свои знания, приобретенные им во время скитаний, и стал настоящим боевым вождем, авторитет которого вынуждены были признать и воеводы.

К сожалению, в повести Анны Караваевой,

несмотря на все ее достоинства, имеются досадные шероховатости — перегруженность ненужными эпизодами, вычурность языка, затянута отдельные сцены, рисующие старинный быт и уклад жизни.

В повести имеются сцены и типаж, взятые как бы в готовом виде из уже написанных произведений, например, скomorохи, лицемерные монахи. Образ Василия Шуйского является почти точным воспроизведением пушкинского образа, только выведенного в повести в несколько иной исторической обстановке. В новом свете показана Ксения, дочь царя Бориса. От поэтического образа Ксении мало что уцелело. Озлобленная, грубая, властная, она скорей напоминает царевну Софью.

Утомляют вычурность языка, стремление говорить на старинный лад, каким-то полуславянским, полурусским языком, и говорить не прямо, а присказками, обиняками.

«— Насчет зелена вина, кто богу не урешен, — усмехнулся Федор. — Кто пьет, тот и горшки бьет... и я фряжские кружки бивал, когда я пьян бывал. Да и то баять — в толчее да суматохе от людья не спрячешься: рот болот да есть велит. Одначе...»

Но все эти недочеты не могут умалить основных достоинств повести, ее исторической правдивости и глубокого патриотизма. Бодростью, жизнерадостным оптимизмом пропитаны страницы этой прекрасной исторической были.

М. Эссен

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, в. Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 5/VIII — 1943 г.
А490. 12 печ. листов. Тираж 30.000. Зак. 2053.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.